

КОНТИНЕНТ

2000

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 106



Ну что ж, начнем. Эпоха Водолея,
Магнитных бурь и власти безмятежной,
Дырявым ветхим пламенем белея,
Уже почти слилась с равниной снежной...

Надежда Болтянская



Тенденция основывать все в обществе на информации — глобальна. Постепенно она охватывает весь мир, и ситуация в России в этом смысле совсем не плохая. У нас гораздо меньше компьютеров на душу населения, чем в Америке, но зато очень высок уровень людей, которые эти компьютеры используют...

Вячеслав В. Иванов



Творчество Евгения Баратынского прочно вошло в духовный состав русской литературы, безошибочно отторгающей все ложное и бесчеловечное. Поэзия его вызывает особое состояние духа, поражая твердостью и силой незаурядной мысли, эстетически безупречно выраженной...

Александра Истогина



Чтоб слово молвить, научись молчать.
И, если не умрешь, понять сумеешь,
Что две души и молча говорят,
Что пустота, мой друг, молчать не смеет —
Она поёт и свищет, пустота...

Петр Шулпанов

ЧИТАЙТЕ
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Повесть
Александра
Вяльцева

Рассказ
Ирины
Муравьевой

Стихи
Сергея Пашина
Сергея Шабалина

Статьи и очерки
Галины Маневич
Татьяны
Полетаевой

А также наш
постоянный раздел

БИБЛИО-
ГРАФИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
КОНТИНЕНТА





Редакция «Континента»
выражает искреннюю признательность

Маргарите и Виктору Бернштейнам, Жану Бонамуру,
Лидии Брон, Катерине Герасимовой, Герберту Данзеру,
Изабель Депре, Клоду Кастлеру, Михаилу Копелиовичу,
Ирене Лесневской, Веронике Лосской, Марине Микитянской,
Мишелю Окутюрье, Жоржу Нива, Эдуарду Саруханяну,
Валентине Синкевич, Валерию Сойферу,
Кэтрин и Славе Термер-Непомнящим,
Татьяне Хоффер и Маргарите Якимец
за финансовую поддержку журнала,
способствовавшую, в частности,
и выходу настоящего номера.

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

106

2000, № 4
октябрь — декабрь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатели:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, строение 1

E-mail: dzirl@cityline.ru (Москва)

E-mail: continent@home.com (США)

Телефон редакции:

(095) 924-91-51

Internet: <http://www.members.home.net/continent>

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНЕВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Густав ГЕРЛИНГ-
ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Яков КРОТОВ
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС

Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ

Наталья ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ

Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА
Ul Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ

Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США

Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalign, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА

26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА

15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Петр ШУШПАНОВ	
Из тишины родится звук... <i>Стихи</i>	9
Ирина МУРАВЬЕВА	
Детские годы сироты Коли. <i>Повесть</i>	13
Надежда БОЛТЯНСКАЯ	
Смешная зимняя промашка. <i>Стихи</i>	49
Сергей ШАБАЛИН	
В двухтысячном году... <i>Стихи</i>	54
Александр ВЯЛЬЦЕВ	
BLUE VALENTINE. История одной любви	61
Сергей ПАШИН	
Ключ неверный к тайникам сознания... <i>Стихи</i>	203

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Хроника общественно-политической жизни России — в зеркале прессы и с комментариями «Континента» (<i>Июль, август, сентябрь 2000 г.</i>)	205

Беседы в редакции

Вячеслав ИВАНОВ	
«У меня нет сегодня особых страхов по поводу будущего России в XXI веке...»	254

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Галина МАНЕВИЧ	
Один вне двора посреди неба <i>К 70-летию Владимира Максимова</i>	271

ПРОЧТЕНИЕ

Александра ИСТОГИНА	
«И смерть, и жизнь, и правда без покров...» <i>О некоторых философских проблемах в поздней лирике Евгения Баратынского</i>	282

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

«Личное пристрастие к жизни и любви...»	
<i>Памяти поэта Александра Сопровского</i>	303
Александр СОПРОВСКИЙ	
Стихи	306
Татьяна ПОЛЕТАЕВА	
Значенье сна (<i>комментарии к жизни неизвестного поэта</i>)	315
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»	356
От редакции	399

ИЗ ТИШИНЫ РОДИТСЯ ЗВУК...

* * *

Мы постепенно развиваем совесть. —
Так малое зерно содержит скорость:
зеленый и стремительный росток
взломает почву, вырвется в свой срок
на вольный воздух, наливая колос,
и обретет неповторимый голос,
согласно слившийся, неразличимый боле
в могучем гуле зреющего поля...

1983

Весенняя прогулка

...Когда бы грек увидел наши игры!

О. Мандельштам

Люблю бродить по улицам; работа
нейдет на ум, когда на солнцепеке
дерутся и горланят воробы
и голуби из лунок водосточных
пьют талую водицу и воркуют;
иду бульваром — шурятся на солнце
пенсионеры, вечные как мир,
и красною лопаткой человек
копается в снегу крупнозернистом
и важно голосит, усевшись в лужу...

Люблю бродить по городу. Глядеться
в зеркальные витрины, где приманка
разложена для уличной плотвы.
Идешь себе — час клева настает —
звенит звонок — раскупорен прилавок —
и я спешу заглатывать наживку,
и радуюсь: я тоже потребитель!.

**Петр
ШУШПАНОВ**

— родился в 1941 г. в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. С 1960 по 1963 гг. служил в армии. Писать начал в 60-е годы, печатался редко — в провинциальной периодике. Живет в Москве.

* * *

...Власть уважаю за серьезность игр,
за вкрадчивость, за силу убеждений,
похожую на добрый русский кнут
иль шелковую плетку Карабаса.

...Мы грезили в русалочьей стране.
Нас обольщали голенькие девы,
Сплетая колыбельные напевы
В тугую сеть, где вечность на часах, —
Но громкие людские голоса
Вдруг разбудили нас, и мы утопли...

На берегу — разбитое корыто.
И кукольного цеха мастера
Рядят и судят честно и открыто, —
А золотая рыбка уплыла...

Земля

Пока ее кромсают на куски,
Она — то пашня, то — поля сражений.
Единая, она — мое Творенье
И жизнь моя до гробовой доски.

1973

* * *

Мне снилась жизнь,
и я хотел проснуться.
Проснулся — глядь! —
она давно прошла.
Стою над гробом чьей-то колыбели,
и кто-то в ней лежит, но знаю точно,
что там другой лежит... Не я!
Не я?...

Колокола церковей Замоскворечья
В голубизне прозрачной расстилают
Узоры из сафьяна и камчи.
Летают голуби. Пьют пиво люди.
Христос расстрелянный над ними светит.
Он души темные им кровью освещает
И молвит слово нежное: «Скорблю».

1968

* * *

Теперь мы все маленько иностранцы
Покроем душ, фасонами одежд.
Мы — европейцы; но в американцы
Попасть хотели б! жаль, что нет надежд...

* * *

Все перепуталось. Нет ни добра, ни зла.
Полжизни замело забвенья пылью.
И розы без шипов рождаться стали,
А люди без души живут и жили.

1970

* * *

Что в мире подлинно, то для иных смешно,
А для меня — тревожно и печально.
Мне всюду чудятся прекрасное
и тайна,
Пьянящая как ласки и вино.

1968

* * *

Я говорю, не разомкнувши губ,
Не молвив слова, не построив фразы.
Был прежде мудр, а стал безбожно глуп,
И потому ценю
молчание как разум.

1971

* * *

Прислушайся! Кружится первый снег,
Воркует голубь и кирпич крошится;
Клубится пар, творится смех и грех
Под крышами, и надобно решиться
Услышать тишину в себе самом
Средь гулких звуков скверика пустого,
Чтоб возлюбить трамвая ранний гром,
И шум бескрайний, и простое слово.

1974

* * *

Чтоб слово молвить, научись молчать.
И, если не умрешь, понять сумеешь,
Что две души и молча говорят;
Что пустота, мой друг, молчать не смеет:
Она поет и свищет, пустота...

1968

* * *

Из тишины рождается звук —
Он канет в тишину.
Так камушек — падет из рук
И породит волну.

А там, в зеленой тишине,
На глубине
жив отголосок давних дней,
Как уголек в окне.

1976

ДЕТСКИЕ ГОДЫ СИРОТЫ КОЛИ

Повесть

— Ну, вот вам ваш Николай, — сказал директор и подтолкнул его к сидящим на диване. Их было трое: старуха, молодая и мужик. У мужика был яркий галстук. Все они вскочили. Молодая неловко погладила его по голове очень горячей ладонью. Колька так низко опустил глаза, что они заболели.

Старуха сказала:

— Ну, давай, Коля знакомиться. Это твои родители, а я твоя бабушка. Лариса Владимировна.

Колька громко сглотнул слюну, но глаз не поднял.

— Ты не стесняйся, Николай, — прогудел директор, — ты поговори с мамой, с отцом. С бабушкой познакомься. А я пойду на урок, меня ждут, — он прокашлялся и вышел.

Директор был ничего. Он не дрался, не напивался при всех, а прошлым летом привез в детдом ведро клубники — на даче у него выросла клубника. Ее съели, не успев почувствовать вкуса. Потом все ходили с красными рожами, как в крови.

— Ну, Николай, — громко сказал мужик в ярком галстук, — что ж ты на нас и не посмотришь? Садись рядом, давай поглядим друг на дружку, познакомимся...

— Ты, Коля, не бойся, — перебила его старуха, — мы тебя не съедим, мы тебя искали, ждали...

Молодая молчала. У Кольки тяжело и противно стучало внутри. Они, наверное, слышали этот стук.

Мужик подтянул его к дивану, Колька вжал голову в плечи и боком сел между молодой и старухой.

— Не запугивай его, Леня, — прошептала молодая и опять погладила его по голове своей очень горячей рукой, — мальчик не привык...

**Ирина
МУРАВЬЕВА**

— родилась в Москве. Окончила русское отделение филологического факультета МГУ. Работала в Пушкинском мемориальном музее. С 1985 года живет в Бостоне. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Континент» и др. Автор сборников прозы «Кудрявый лейтенант» («Hermitage Publishers»), «Душа, плывущая в эфире» («Терра»); в издательстве ЭКСМО готовится новая книга повестей и рассказов — «Одна возлюбленная пара».

Колька решил и поднял глаза. Сначала все показалось ему красным, потом ярко-зеленым. Когда краснота и зелень исчезли, он увидел этих троих, словно через лупу. У молодой было испуганное лицо с выпуклыми черными глазами. Она была похожа на козу. И ресницы, как у козы, и ноздри. Кудрявая, волосы черного цвета. У бабки — красные щеки, нос — пуговкой. Мужик — широкоплечий, с большими руками, из-под ворота рубашки торчат густые волосы.

— «Лето, — подумал Колька, — а он как в шубе парится...»

И опять опустил глаза.

— Мы — твои родители, Коля, — сказал мужик, — мы тебя потеряли, когда ты был годовалым.

Колька знал, что все они говорят одно и то же. Когда на прошлой неделе толстая тетка в туфлях с блестящими пряжками пришла за Катей-дармоедкой, она тоже наплела, что потеряла ее, когда Кате был год.

— Тебе был год, Коля, — отчетливо сказала молодая, похожая на козу. У нее был громкий, резкий голос. — Шел сильный снег. Бабушка оставила тебя в коляске. И зашла в магазин. Когда она вышла, тебя в коляске не было.

— Почему? — спросил Колька.

— Украли! — вмешалась бабушка, — украли, Коля! Одна женщина, у нее не было своих детей, она тебя украла и переехала с тобой жить в Подмоскowie. А потом сдала тебя в детский дом — как своего собственного сына. Но мы тебя разыскивали.

— А откуда вы знаете, что это я? — спросил Колька. Внутри у него по-прежнему сильно стучало, но надо же было разобраться.

— Ты, ты! — заговорили они разом, — можешь не сомневаться! Хотя ты и изменился за восемь лет, взрослым совсем стал, но мы тебя узнали, а вот ты нас...

И они опять погладили его, потрепали, похлопали.

— Вы, что, меня к себе жить заберете? — спросил он, и стук внутри остановился.

— А как же! — быстро сказала бабка. — Ты будешь жить дома, и в школу хорошую пойдешь, мы будем вместе читать, ходить в кино, в цирк. Ты любишь цирк?

— Люблю, — хрипло сказал Колька. — Я по телевизору видел, у нас телевизор новый.

Телевизор был не новый, а старый, но все называли его новым, потому что директор отдал свой собственный взамен того, который какой-то крутой подарил детдому. Тот действительно был новым. Колька видел огромный ящик, который привезли на машине, и потом он целый день стоял рядом с директорским кабинетом. А вечером директор увез его к себе. Но зато теперь у них все-таки был телевизор, и детдомовские хвалили директора. Он ведь мог и старый не отдавать, и новый себе взять. Что, его поймают, что ли?

— Ну, вот видишь, — сказала молодая и заулыбалась. — Цирк ты любишь. А в детский театр хочешь пойти?

— Если отметки будут хорошими, — перебила настырная бабка, — все зависит от успеваемости.

Мужик в густой волосатой шубе под рубашкой захохотал и погрозил Кольке пальцем.

— Не советую тебе, Коля, халтурить, не советую!

— Вы меня сейчас заберете? — спросил Колька, не поднимая глаз.

— Сейчас не получится, — ответил мужик, — документы нужно оформлять, то да се. Но ты не волнуйся! Никуда мы не денемся!

Ночью Колька не мог заснуть. Страх и радость были такими огромными, что давно перестали уместиться в нем и заполнили сначала комнату, потом коридор, потом полезли на улицу и захватили не только все дома и спящих в них людей, но даже тот кусок неба со звездами, который был виден ему через форточку.

Посреди ночи пьяный Скворушка задышал в лицо перегаром.

— Ну, говнюк малолетний! — прошептал он, — пропили тебя? Теперь держись! Я тя...! — он выругался и больно крутанул Кольку за ухо. — Иди, говнюк малолетний, туалеты чистить! А то вы там блюете, говнюки, а Степан Евгеньевич подтирайт?

Он вытащил его из постели левой здоровой рукой. Правая — короткая, отсохшая, в черной кожаной перчатке — болталась в полупустом рукаве.

Идти надо было через кухню и длинный коридор. В кухне мертво чернели пустые котлы. На столе блестел замороженный кусок масла. Колька сглотнул слюну.

Скворушка нарочно привел его в девчоночью и сунул в руки осколок бутылочного стекла.

— Отскребай, говнюк! Чтоб ни пятнышка!

Носком башмака показал на линолеум с присохшими подтеками. Колька привычно стал на колени и начал скрести. Из большого пальца сразу же потекла кровь.

— Чтоб мне ни пятнышка! — заорал Скворушка и приложил ко рту начатую бутылку. Закинул мохнатый кадык. — Чтоб мне ни пылинки, сирота казанская!

Колька скреб изо всей силы. Кровь лилась на пол.

— Слизывай! — заорал Скворушка и стал багровым от злости, — пачкаешь тут дерьмом своим! А ну, слизывай! Хирургию устроил!

Директор сказал, что мама, отец и бабушка Лариса Владимировна заберут его в среду вечером. Значит, осталось еще три дня. Воскресенье, понедельник, вторник. Среда не считается, в среду его заберут. Они ему

не наврали. Они его искали и нашли. А тогда шел сильный снег. Баба-дура пошла в магазин. Он спал, годовалый пацан. Чужая баба (он видел перед собой пьянчушку с заклеенным глазом, которая вечно торчала на автобусной остановке) украла его из коляски. Унесла к себе в Подмоскovie. Мать с отцом плакали. Баба, наверное, тоже. Искали его, бегали, аукали. Теперь нашли через восемь лет. Заберут к себе. В цирк будем ходить. В детский театр.

В воскресенье утром по телевизору показали фильм «Дикая собака Динго». После фильма у детдомовцев было плохое настроение: хотелось сломать что-нибудь, разбить, поколотить друг друга. Плакали здесь редко и за слезы ненавидели. В восемь вечера дежурные учителя заперлись в директорском кабинете, откуда захрипела Алла Пугачева, зазвенели стаканы, а потом дверь отворилась, выскочил Скворушка, без пиджака — отсохшая кулья наружу — и заорал, брызгая слюной во все стороны:

— Спать всем быстро! А ну всем спать, говнюки малолетние!

Детдомовские присмирели, со Скворушкой никто не связывался. Только Тмарка-Бакинка близко подошла к нему, моргая своими подслеповатыми, мохнатыми, как пчелы, глазами, и выдохнула срывающимся басом:

— А ну, отвернитесь! Не видите, мы раздеваемся?

А посреди ночи из девчоночьей комнаты донесся лай, вой, крик, кто-то визжал, захлебывался. Прибежали дежурные по интернату: Аркаша-Какаша и Тоня-Недорезанная, а за ними вдрызг пьяный Скворушка в штанах, мокрых от вина. Тмарка-Бакинка плавала в крови, раздирала на себе короткую ночную рубашку с клеймом на животе и, дико выпучив лошадиные белки, кричала «А-А-А», потом переходила на визг и лай, набирала воздуху и опять кричала. Тоня бросилась вызывать «Скорую», а Какаша начал выпихивать в коридор детдомовских. Наконец, подъехала «Скорая», прибежали два парня в халатах поверх пальто, втащили носилки. Кровь из Тмарки хлестала так, словно в ней открылся кран. Вся простыня, одеяло и пол перед кроватью стали черно-красными, а кровь все лилась и лилась. Детдомовские, не обращая внимания на Аркашку и Тоню (пьяный Скворушка куда-то исчез), стояли и молча смотрели. Никто, даже самые маленькие, не ушли из комнаты. Парни в халатах, торопясь, перетянули Тмаркину руку резиновыми жгутами и всадили туда огромный шприц, потом начали запихивать между ее раздвинутыми дрожащими ногами куски ваты. Тмарка перестала кричать и захрипела. Из рта у нее потекла пена.

— Уберите детей! — закричал один из парней. — Вы, что, идиоты, не понимаете, что здесь происходит?

Тмарку переложили на носилки и набросили на нее колючее одеяло. Парни перемигнулись, крякнули, подхватили носилки и осторожно понесли их вниз по лестнице. Тмарка замолчала и лежала, как мертвая. Щеки ее стали странного, почти синего цвета.

Колька посмотрел под ноги и увидел на полу кусок чего-то дрожащего, скользкого, похожего на сырую печенку. Он понял, что это вывалилось из Тamarки, когда ее укладывали на носилки, и его затошнило. Их разогнали по кроватям, но спать никто не мог.

Наутро белый, как мука, директор кричал в телефонную трубку «Откуда я мог знать?», «Никогда ничего подобного!» — так громко, что слышно было через закрытую дверь. Приехал чужой дядька в кожаном пиджаке, щека залеплена пластырем, и прошел прямо в директорский кабинет. Через десять минут туда гуськом вошли все учителя, кроме Скворушки, которого уже увезли куда-то на другой машине.

К середине дня весь детдом — включая самых маленьких, восьмилетних, — знал, что Тamarка-Бакинka умерла в больнице, потому что воспитатель старшей группы Скворушка сделал ей ребенка, и, начиная с лета, два раза в неделю, Тamarка возвращалась в спальню только под утро, вся в засосах, растрепанная, красная, и пахло от нее, как из винного магазина. Кто-то из девочек громко сказал незнакомое слово «выкидыш», и Колька вдруг понял, что окровавленная печенка на полу и была куском этого самого «выкидыша». Тamarка что-то сделала с собой, чтобы ребенка не было, он стал мертвым внутри Тamarки и вывалился из нее.

В понедельник Тоня-Недорезанная собрала детдомовских в самой большой комнате, которая называлась актовым залом (в углу пылилось сморщенное знамя), и сказала таким голосом, словно она только что научилась говорить:

— Ребята, у нас случилось большое несчастье. После тяжелой болезни скончалась ученица девятого класса Тamarа Тебуллаева.

— Какой болезни? — гаркнул Сенька-Хрипун. — Ничем она не болела! Скворец ее...

И сказал слово, которое все знали, и Колька тоже. Недорезанная сделала вид, что не расслышала, и продолжала, обращаясь к сморщенному знамени в углу:

— Дорогая Тamarа! Обещаем тебе никогда не забывать тебя и постараемся быть такими же хорошими, честными и отзывчивыми, какой была ты...

Колька вспомнил, как неделю назад Тamarка-Бакинka устроила темную другой девчонке, Любке, которая залезла к ней в тумбочку за хлебом. Тamarка избила Любу так, что та целый день не вставала с кровати, а когда встала, на нее было страшно смотреть.

— Завтра, — громко проглотив слюну, сказала Недорезанная, — мы проводим Тamarу Тебуллаеву в последний путь...

Утром привезли гроб и поставили в актовом зале. У гроба стоял сгорбившийся, маленький директор в черном костюме. У него тряслись руки. Рядом с директором, словно приставленный к нему конвой, возвышались две сердитые грудастые женщины в очках. Директор начал было говорить, но споткнулся, затрясся и заплакал, показывая рукой на то, что

было в гробу. Больше всего на свете Колька боялся, что нужно будет подойти и заглянуть внутрь. Заиграла печальная музыка, и все потянулись прощаться. Подходили по одному, замирали над мертвой Тамаркой, отходили и возвращались в линейку. Все были испуганы и не произносили ни слова. Колька подошел предпоследним. В гробу лежала незнакомая старуха с ярко накрашенными щеками и губами. Только пушок над верхней губой, мохнатые ресницы и остатки малинового лака на ногтях говорили о том, что когда-то эта старуха была Тамаркой. От страха Кольку качнуло вперед, к самому гробу. Чтобы не упасть, он вытянул вперед руку, ища точку опоры, и дотронулся до очень холодного и гладкого. Это был Тамаркин палец, прикрытый розовой гвоздикой.

«Значит, вся она, — ужаснулся Колька, — вся холодная, холоднее снега...»

На следующий день его забрали домой. Директора не было, завуча тоже. Трое незнакомых людей, которых он уже неделю настойчиво называл про себя жуткими словами «мать», «отец», «бабушка Лариса», приехали на такси. Колька стоял, прижавшись лбом к стеклу, и почти ничего не видел — так обморочно и больно колотилось сердце. Он только разглядел, что мать была в большой синей шапке. Ноги его приросли к полу, и поэтому когда Аркаша-Какаша приоткрыл дверь и пробормотал: «Давай, выходи, Николай», — он не тронулся с места.

— Ну, вот и мы, Коля, — твердым громким голосом сказала женщина в синей шапке, — собирайся, пойдем домой.

Она крепко взяла его за руку с одной стороны, отец — с другой. Бабушка Лариса забежала вперед, словно боясь, что ее забудут.

— Попрощайся со своими друзьями, Коля, — приказала мать. — Мы подождем тебя внизу.

Понишила голос:

— Пусть он чувствует себя свободным. Если мы будем рядом, он не сумеет произнести того, что нужно.

Колька ничего и не произнес. Козел и Самолет играли в карты на кровати, Хрипун спал, остальных просто не было: пошли, как всегда, в город пожить. Колька постоял в дверях, посмотрел на них, они на него.

— Чего уставился, недомерок? — спросил Козел.

— Так, — ответил Колька.

— Гони четвертак, — пробормотал Самолет, и Колька закрыл за собой дверь.

В коридоре ему велели снять ботинки. Квартира была большая, и вся блестела. На одной стене — зеркало, на другой — картина. Красный ковер, синий ковер, потом цветы, много цветов, и тоже блестят. На полке разные стекляшки. Люстры.

— Вот мы и дома, Коля, — сказал отец и почему-то засмеялся, — проходи, сейчас мы тебе покажем, где твоя кровать, шкаф, все дела.

Его привели в комнату поменьше, чем та, первая, и он увидел кровать под клетчатым одеялом, рядом — еще одну кровать, розовую, с подушками, письменный стол, лампу с выкрутасами, вещи какие-то, фотографии.

— Это ваша с бабушкой комната, — сказала мать, — Тут все, что тебе нужно: твоя тумбочка, полка для любимых книг, здесь ты будешь делать уроки. А пока что иди в ванную, умойся и будем обедать.

Ничего не понимая, он пошел туда, куда она сказала, и увидел такое, что даже зажмурился: белое-белое, много разных полотенец, зеркало, разноцветное мыло и пахнет так, что голова кружится. Он прислонился затылком к стене и тут же услышал голос Скворушки: «Наблюдали в туалете, говнюки, а кто подтирать будет?» Тогда он изо всей силы затряс головой, и голос Скворушки кончился.

Котлета с картошкой, свежий огурец.

— Хочешь еще?

— Хочу...

— Так нельзя отвечать, Коля. Что значит «хочу»? Нужно сначала сказать «спасибо», а потом уж «хочу». Хочешь еще котлету? Что ты молчишь? Скажи: «хочу, спасибо» или «большое спасибо, хочу»...

— Дай пожрать парню, с воспитанием можно повременить.

— Пожалуйста, Леня, не делай мне замечаний при ребенке, если тебе что-то не нравится, скажешь потом. Ну, так что, Коля: еще котлету?

— Нет.

— Почему нет, ты же хотел?

— Я тебе говорю, ты его запугала, парень только—только вырвался, у него, небось, все поджилки трясутся, а ты с глупостями.

— Леня, я просто сейчас встану и уйду! Если ты еще раз посмеешь сделать мне замечание при ребенке, я умываю руки. Это базис, понимаешь? Это нужно застолбить с самого начала. Чувство благодарности, правдивость и чувство уважения к старшим. Все остальное надстраивается. Так что, Коля, еще котлету?

— Хочу, спасибо.

— Вот молодец. Видишь, как просто.

Отец передернулся, отодвинул свою тарелку, встал и ушел. Бабка и мать переглянулись. У матери стало красное лицо, у бабки — белое. Потом бабка побежала на кухню и вернулась с огромным тортом. Отец тоже пришел. Мать сжалась. Отец положил руку ему на плечо. Рука была, как железная. Только бы они не передумали, не выгнали меня. Очень хочу, спасибо, очень, спасибо большое, большое, хочу.

... ночью он увидел Тamarку-Бакинку. Ресницы ее бросали тень на белые щеки. Тамарка стала вновь похожей на саму себя, только она

уже не была той свирепой Тамаркой, которая до крови избила Любку, украшущую у нее хлеб. Она сидела на коленях у седого старика с очень добрыми глазами и плакала. Сквозь слезы она бормотала ему что-то на незнакомом языке, но Колькина душа понимала каждое слово.

— Дед, — захлебывалась Тамарка, — я бросила тебя и побежала, потому что боялась, что они убьют меня. А потом я вернулась, дед, но ты был уже мертвый, и рот твой был забит землей. Я легла рядом и хотела умереть, потому что кроме тебя у меня никого не было. Но они меня вытащили и поволокли, а потом я ничего не помню...

Старик прижимал к себе Тамаркину растрепанную голову и стонал.

— Я попала в Москву, и этот грязный козел сделал то, чего не сделали даже они... Как я могла жить после такого? Как бы я посмотрела тебе в глаза, если бы ты не умер, дед?

Колька не выдержал и закричал во сне — настолько жалко ему стало плачущую Тамарку и доброго старика. От его крика в доме переполошились, зажгли свет. Первой вскочила бабушка Лариса, спавшая на своей розовой кровати в той же самой комнате, за ней прибежала мать Вера в кружевном халате, с блестящим от жира чернобровым лицом.

— Кричит! — кричала бабушка. — Бужу — не просыпается! Растолкала с трудом, посмотри на него! Горит ребенок, жар!

— Врача надо, Скорую! — забегала мать и схватила телефонную трубку.

— Не надо, — грубо оттолкнул ее подоспевший заспанный и злой отец, и, как перышко, вынул Кольку из постели. — Ты чего, Николай? Приснилось что-нибудь?

У Кольки громко застучали зубы.

— Ну, ладно, ладно, — смягчившись, сказал отец, положил его обратно на кровать и накрыл одеялом. — Воды хочешь? Принеси ему водички, Вера.

Прошло две недели. Колька постепенно привык к тому, что у него есть отец и мать. Если бы его, не дай Бог, спросили: «Любишь их, Коля?», — он бы, не задумываясь, ответил: «Люблю». Но что такое «люблю», он не смог бы объяснить, потому что по привычке чувствовать страх он и сейчас его чувствовал, в то время как любовь болталась где-то на стороне и страху не мешала. Больше всего он боялся, что отец и мать передумают жить с ним в одной квартире и отдадут его обратно в детдом. Еще он боялся, что обнаружится ошибка и станет ясно, что их родной сын вовсе не Колька, а другой парень.

...Мать Веры Лариса Владимировна была воспитательницей в детском саду. Не так давно она вышла на пенсию и стала помогать своей единственной дочери вести домашнее хозяйство. Несмотря на относительно молодость Вера уже защитила кандидатскую диссертацию на

тему «Возможности преодоления детских травм» и работала в Ленинском педагогическом институте, где три года назад встретила своего будущего мужа — Леонида Борисовича Бабаева, доктора наук и тоже специалиста по психологическим травмам у детей и подростков.

Леонид Борисович считался старым холостяком и вовсе не собирался жениться. Но когда волевая и одновременно застенчивая Вера пригласила его к себе домой на чашку чая, Леонид Борисович оказался приятно поражен богатой и ухоженной квартирой в Мерзляковском переулке, прекрасной мебелью, коврами и картинами. На его удивленно приподнятые брови мать Веры, хлопотливая, приветливая женщина, не такая уж старая, но совершенно не молодящаяся и поэтому казавшаяся значительно старше своих лет, рассказала, что ее покойный отец был грузинским артистом, до того похожим на Сталина, что его даже гримировать было незачем. За это сходство отцу хорошо платили, а на съемки возили по ночам и только на правительственной машине с затемненными стеклами. После смерти Сталина отец, увы, решил, что теперь он и есть — вождь и учитель, и стал приставать к прохожим на улицах, демонстрируя хищный профиль и любимую улыбку. В конце концов, обезумевшего актера пришлось поместить в лечебницу для душевнобольных, где он и скончался, до последней минуты называя себя Иосифом Виссарионовичем и беспокоясь за положение на сталинградском фронте. После его смерти осталась просторная квартира, завешанная коврами, как грузинский замок. Дочь (то есть будущая мать Веры) ненадолго вышла замуж, родила Верочку, потом разошлась с мужем, потом похоронила свою собственную мать, вдову много страдального артиста, и целиком посвятила себя воспитанию ребенка. Жила она скромно, экономно, но так как добра было все-таки очень много, Верочке ни в чем не отказывала, а научила ее и музыке, и фигурному катанию, — короче, дала настоящее воспитание...

И так приятно, сытно, тепло стало Леониду Борисовичу в этой уютной четырехкомнатной квартире в самом центре города, так понравилась ему комната, фонарем выходящая во двор, полный тополей, и замечательно приспособленная для его кабинета, что он махнул рукой и расписался.

Не было желания Леонида Борисовича, которого Вера и Лариса Владимировна не исполнили бы с восторгом, не было ни одной его мысли, которая не была ими подхвачена и одобрена, и хотя Вера иногда позволяла себе то, что Леонид Борисович презрительно называл «бунтом на броненосце», дальше ее обиженных вспышек дело не заходило, и стоило мужу заиграть желваками, стукнуть рукой по столу или хлопнуть дверью, как она тут же опоминалась и превращалась в тихую овечку с дрожащим от слез подбородком.

Одно было плохо: Вера не беременела. Более того: она не приносила ему даже простой физической радости — несмотря на то, что в ней самой каждое прикосновение снисходительного мужа отзывалась так, будто к коже подносили факел. Чем больше она стонала, зажимая рот руками, чтобы мать не услышала, чем больше шептала ему «дорогой, ненаглядный», тем небрежнее и холоднее он становился.

В конце концов, этот неполучившийся ребенок стал основным камнем преткновения. Если Вера просила Леонида Борисовича не засиживаться допозна перед телевизором, а лечь спать, он кривил губы и спрашивал ее с тем гадким смешком, от которого кровь останавливалась в жилах: «Последняя попытка? Ну, это без меня!». Если она просила его снять дачу, чтобы не проводить лето в душном, жарко пахнущем асфальтом городе, Леонид Борисович тут же объяснял ей, что дачи снимаются для детей, а не для взрослых. Он использовал ее беду в своих непонятных целях, и, в конце концов, Вера поняла, не умом, но всем своим нелюбимым тоскующим существом, что Леониду Борисовичу давно осточертели ее дрожащие поцелуи, и запах ее духов, и скользкое прикосновение ее смазанных кремом щек, от которых он брезгливо вытирался кончиком простыни...

— Усыновляйте, — сказала мать и сжала тонкие губы.

Поначалу она ахнула и отвергла эту идею.

— Тогда иди проверяйся, — не отступала мать, — хотя я лично не советую. Если окажется, что дело в тебе, он тебя за человека считать перестанет, а если, не дай Бог, окажется, что ты ни при чем, так еще хуже. Разве им можно говорить такие вещи!

Она не пошла проверяться. Насмешки со стороны Леонида Борисовича не прекращались. Тогда Вера решила высказать вслух материнское предложение и с удивлением встретила его оживившиеся глаза.

— А что? — сказал он. — Давай! Все-таки веселее будет. Мальчишку. Я его рыбальить с собой возьму, в планетарий сходим.

— Это не игрушка, Леня, — строго сказала Вера, покрываясь гусиной кожей от волнения, — это большая ответственность.

— Ну так что? — еще беспечнее отозвался он. — Хватит вам с мамшей баклуши бить, пора делом заняться. Ты пошуруй, поищи, а потом мне доложишь.

Вера начала искать. Ее пугала наследственность. Дети алкоголиков, наркоманов, бомжей отвергались сразу: с ними можно было нарваться в будущем. На многих детей не было никакой документации, кто они и что, оставалось только гадать. Про Колю же она узнала, что матерью его была семнадцатилетняя беженка из Средней Азии, отец неизвестен, и эта девочка-беженка умерла от тяжелой болезни почек сразу после родов. Младенец, которому дали нейтральную фамилию Иванов, был переведен в Дом Малютки, где долго находился между жизнью и смертью, будучи глубоко недоношенным, но потом, к удивлению медперсо-

нала, выкабался и к девяти годам стал вполне крепким на вид пацаном с узкими черными глазами.

После первой встречи с Колькой Вера была в нерешительности: мальчик не вызвал у нее никакого душевного отклика. Но Леонид Борисович сказал: «Пойдет» — и весь остаток дня казался ласковее, чем обычно.

«В конце концов, — убеждала она себя, — мы педагоги, мы справимся с любым типом темперамента, мы привыкнем, привяжемся, Лене это необходимо. А у меня, да, у меня будет сын...»

Сын оказался невеселым, пугливым, угловатым. Он много и жадно ел, плохо спал по ночам и — несмотря на свои девять лет — читал по слогам. Вера чувствовала, что он словно бы присматривается к ним и постоянно чего-то боится. За эти две недели он ни разу не подошел, не приласкался, не нашалил, не рассмешил. Разговаривать с ним было не о чем, потому что он не задавал никаких вопросов и, кажется, ничем не интересовался. Во дворе, куда бабушка Лариса выводила его гулять, Колька не прижился. Он не стремился познакомиться с другими детьми, а они явно невозлюбили его, тут же почувствовав чужое. Вера со страхом ждала наступления школы, понимая, что нынешние летние недели — только цветочки, а ягодки начнутся потом, с первого сентября. Психоневролог, к которому она отвела Кольку по причине его ночных криков, не сказал ничего утешительного. В клиническом смысле слова, промямлил он, мальчик, скорее всего, здоров, но эмоциональных проблем будет много, ребенок травмирован, не получал внимания, не знает, что такое ласка, остро чувствует опасность даже там, где ее нет. В общем, к чему мне вас утешать, сами видите...

Вера видела, и бабка видела. Видел ли Леонид Борисович, было непонятно, потому что он стал редко бывать дома, приходил только ночевать, вечно куда-то торопился, почти не разговаривал с женой, а тещу обрывал на полуслове, хотя она и так ни в чем ему не перечила.

— Я не понимаю, — плакала Вера, по-восточному заламывая руки, — я не понимаю: ты же сам хотел этого! Что же ты теперь наваливаешь все на нас с мамой! Ему же нужно твое, отцовское, внимание! Я не понимаю!

— Я думал, хоть он отвлечет тебя от вечных претензий, — огрызался муж, — вы с мамашей скоро совсем обнаглеете: я тебе не нянька и не домработница!

По ночам Вера рыдала от несправедливости и целый день ходила потом опухшая, красная, подсакивала к каждому телефонному звонку, ожидая, что он позвонит и извинится, а к вечеру красила глаза, наряжалась, пудрила нос, прыскалась духами.

В один день все изменилось: Леонид Борисович научил Кольку играть в шашки, сходил с ним в зоопарк и два раза — в ресторан Макдоналдс.

Колька опьянел от счастья. Вера насторожилась и перестала плакать. В субботу все вместе ездили на Ленинские горы, любовались панорамой города, и отец рассказывал Кольке, сколько разных отделений в Московском Университете и какими удивительными вещами там занимаются.

— Так что, — подытожил Леонид Борисович, — учись давай, брат. Видишь, какие перед тобой задачи?

От неожиданного отцовского внимания Колька долго не мог заснуть и слышал все, о чем говорили в большой комнате.

— Вместе, конечно, было бы лучше всего, — задумчиво размышлял отец, — с тобой да с парнем, что может быть приятнее? Но, Веруня, у тебя же подготовительные курсы начинаются! Как ты можешь уехать?

— Я не хочу, — повторяла мать, — я не хочу так. Ты на курорт, а я тут буду вкалывать? Прекрасное решение!

— Но послушай, — густо, как шмель, гудел отец, — ты же сама хотела, чтобы я сблизился с ребенком. В Сочи это проще всего. Море, солнце, все время вместе: и плавать его научу, и фруктами откормлю, и в горы сходим, и в кино. Он придет домой — ты его не узнаешь!

— Леня, почему мне все время кажется, что ты меня обманываешь? — испуганно спросила мать. — Почему мне все время кажется, что ты играешь со мной?

— Паранойя, Вера, паранойя, тяжелое наследственное заболевание, — отец звонко поцеловал ее и засмеялся. — Так что решили: еду с Колей в Сочи.

Расплюшив нос о стекло иллюминатора, он не отрываясь смотрел вниз. Земля стремительно удалялась, и все на ней становилось маленьким. Вот река, тонкая и синяя, как ленточка, вот поле с черным игрушечным трактором, вот дом — меньше, чем на картинке в учебнике, но главное — ни одного человека! Далекая нестрашная земля без людей, с синими реками. Колька почувствовал к ней жалость, словно перед ним открылось чье-то притворство. Всю жизнь он был уверен, что она огромная, и — вот пожалуйста!..

Вечером после ужина пошли к морю. Колька осторожно наступил на воду, и море сразу же сказала ему какую-то короткую громкую фразу, в которой было много шума. Потом замолчало, словно припоминая, и тут же повторило, только теперь внутри шума пронзительно прокричала чайка. На небе блестело размазанное желтое солнце. Море подымало к нему волны, как рукава без рук.

— Пап! — подпрыгнув, закричал Колька — Вот это да! Пап!

— А ты думал? — весело спросил отец. — Это тебе не бассейн Москва!

... никогда его не заставляли мыть пол в девчоночьей уборной осколком разбитой бутылки. Никогда Скворушка не приходил к нему на

рассвете, не запускал руку под одеяло, не шарил, тяжело дыша, потной ладонью по его животу. Не было ночи, когда из Тamarки вывалилась печенка и осталась лежать рядом с кроватью. Ничего этого не было.

Его звали Коля Бабаев, а не Иванов, у него были отец, мать Вера и бабушка Лариса Владимировна, все они жили в большой прекрасной квартире с зеркалами, и сейчас он приехал к морю, в которое медленно опускается солнце.

Вот такая была у него жизнь.

— Коля, — сказал отец, когда они вечером лежали в кроватях, и Коля почти уже спал, — я хочу тебе кое-что сказать.

Голос отца был странным: словно он не говорил, а кричал: Ко — ля, Я, хА — чу, сА — зАть.

— Завтра сюда приедет одна моя знакомая, — прокричал отец, почти проглотив слово «МАЯ», — будем отдыхать вместе. Веселее ведь, верно?

— Верно, — испугался Коля.

— Но я прошу тебя: не говори маме, что мы отдыхали не одни. Она у нас осталась работать там, в городе, в духоте, ей будет обидно. Понял меня?

— А мама не приедет? — спросил Коля.

— Не думаю, — отец, наверное, сморщился в темноте, потому что слова сжались в трубочку, — не думаю. Понял меня? Ни слова о том, что к нам кто-то приезжал.

— Ладно, — сказал Коля, проваливаясь в блаженный сон, — не скажу я.

Во сне он увидел, как Скворушка чистит грязным ножом картошку. Картошка вскрикивала от боли. Из-под кожуры текла кровь.

— Слизывай! — орал Скворушка и подносил окровавленный комочек к его лицу. — Я кому говорю!..

День прошел очень хорошо и весело. Много купались, обгорели, отец играл в волейбол с мускулистыми парнями, потом обедали, ели сливы с мороженым. В восемь часов вернулись в свою комнату, и отец переоделся в новые белые шорты и черную майку с изображением дракона.

— Во дела! — про себя удивился Коля, увидев дракона на его груди.

— Ложись спать, — не глядя на него, приказал отец, — ты сегодня набегался. А я пойду пройдусь, посмотрю, что и как.

Он плотно затворил за собой дверь и ушел. Коля с ногами взобрался на подоконник, чтобы увидеть, как отец выходит на улицу, но его не было. Коля подождал. Потом высунулся из комнаты. Коридор был пуст, все отдыхающие либо пошли на море, либо еще где-то развлекались. «Куда ж он подевался», — забеспокоился Коля и побежал на первый этаж.

На первом этаже висело зеркало и рядом с одной из дверей росла небольшая чахлая пальма в кадке. Колька пощупал ее волосатый ствол и вдруг услышал отцовский голос.

— У — у — х! — рычал отец, задыхаясь.

Колька замер на месте.

— Ну говори: скучала? — прорычал отец, — говори!

Никто не ответил. Отец тоже замолчал. Потом раздался женский смех, и отец застонал, словно его убивают. Колька в страхе рванул на себя дверь. Перед ним краснела голая отцовская спина, поджарившаяся на солнце, головы не было видно, она пряталась в чьих-то волосах, рассыпанных по подушке, а справа и слева от отцовской спины вздымались огромные белые ноги с огненными ногтями. Колька зажмурился и тут же услышал:

— А — а — а!

Из—под отца вылезла чужая женщина с горящими щеками и очень большим ртом, которым она пронзительно кричала:

— А— А— А!

Отец приподнялся на локте и обернулся. Колька его не узнал. Отец был мокрым от пота, пот лился с него ручьями, и волосы на лбу стали кудрявыми и черными. Глаза без очков казались такими яркими, словно в них брызнули морской водой. Огромный, голый, молодой, кудрявый, он делал в кровати то, о чем Колька давно все знал, потому что любой детдомовец, начиная с тринадцати лет, делает то же самое и потом рассказывает мелюзге, вроде Кольки, что это такое.

Увидев его, отец стал темным, как кровь. Вскочив с кровати, он набросил на себя смятую простыню и, не говоря ни слова, вышвырнул Кольку за дверь, как котенка.

С этого вечера все изменилось. Женщину, с которой отец делал то, о чем Колька давно все знал, звали Аллой Аркадьевной. Она была намного красивее матери Веры. Колька догадался, что Алла Аркадьевна была отцовской марухой, и он поехал на море, чтобы жить с ней и удрать от матери. Колька же ему вовсе не был нужен, и хотя отец ни одним словом не заикнулся о том, что случилось в комнате с пальмой, он начал явно тяготиться Колькиным присутствием и постоянно отсылал его от себя.

— Поиграй, Коль, — обходя его глазами, говорил отец, — с ребятами познакомься. Что ты все с нами да с нами?

Играть он не умел, потому что в детдоме не часто играли. «Ребят» же в пансионате было немного, и никто из них не выражал желания знакомиться с Колькой. Оставалось море. Он входил в воду и, стоя в ней по горло, ждал волны, подпрыгивал, когда она приближалась к нему, и вместе с нею несясь к берегу. Если бы в эту минуту его видели Козел с Самолетом!...

Отец лежал на полосатой подстилке рядом с белой, как молоко, Аллой Аркадьевной. Все вокруг были черными и желтыми, только Алла Аркадьевна заворачивалась в полотенце, чтобы солнце не портило ее белизны. У нее были полные длинные ноги, и купальник — белый, с золотом на груди. Сквозь золото просвечивали черные виноградины сосков, а когда она выходила из моря, под животом тоже просвечивало что-то темное, на что, не отрываясь, смотрел его отец и к чему немедленно устремлялась его рука, как только Алла Аркадьевна, набросив на себя купальную простыню, ложилась на полосатую подстилку, спиной к солнцу.

Отцовская рука была жадной и очень горячей. Колька чувствовал ее жар, хотя между ним и полосатой подстилкой было не меньше метра. Закрыв глаза и нахлобучив на лоб кепку с оранжевым пластмассовым козырьком, отец лежал на спине. Левая рука его, свободно откинута в сторону, вяло перебирала раскаленные скользкие камни, а правая была просунута под живот Аллы Аркадьевны и что-то там делала, двигалась, хотя никто на свете, кроме них троих — Кольки, Аллы Аркадьевны и самого отца — не подозревал об этом. Алла Аркадьевна то вдруг начинала тяжело дышать, словно ее кто-то душит, то смеялась отвратительным легким смехом, словно ее щекотали, то приподнимала рыжую спутанную голову и шептала отцу: «Перестань, ненормальный!». И опять падала лицом на подстилку. А отец молчал, хмурился, улыбался, постанывал, и левой свободной рукой поправлял лежащую на нем развернутую газету. Колька сам не понимал, почему ему все время хочется вскочить, заорать, изо всей силы ударить по отцовскому животу, сорвать с него эту газету, которую тот все равно не читает, бросить в него большим гладким булыжником, серым от морской соли... Ему хотелось самому просунуть ладонь под ленивую Аллу Аркадьевну, потрогать черные виноградины ее сосков, шею, ложбинку между правой и левой горками на груди, поцеловать ее спутанные рыжие волосы, ее лицо — такое равнодушное, ослепительно-белое, с темными, как малина, оттопыренными губами...

Среди ночи он открывал глаза. Отцовская кровать была пустой, хотя ложились они в одно и то же время и оба сразу засыпали, измученные солнцем и морем. Значит, поспав немножко, отец — тихонько, боясь разбудить Кольку, — крался к двери, держа в руках свои пляжные шлепанцы, и потом бежал, неся — да, неся, потому, что хотел скорее к ней! — скатывался на первый этаж, к двери с пальмой, за которой его ждала блещущая в темноте всеми своими буграми и горками, равнодушная к Кольке, ленивая женщина. И что потом? Потом они ложились в кровать. И начинали делать то, о чем Колька все знал.

А ведь как хорошо началось! Какое было море, и свет внутри воды, и свет посреди неба, и парусник на горизонте! Приехала рыжая и все поломала. Ее бы избить до полусмерти. Чтобы она вся стала черная. А то лежит посреди пляжа, выставилась, как сахар, сука...

...Он входит в воду. Отец так и не научил его плавать, пообещал только. Море полно медуз, они обжигают людей, хотя, кажется, что такого? Плавают какие-то скользкие тряпки. Все на свете так. Пока не дотронешься, не узнаешь. А дотронешься — и пеняй на себя: зачем дотронулся? Он опускает в воду лицо, смотрит. Здесь-то, у берега, ничего: раковины и водоросли, а если отплыть? Далеко-далеко? Там, наверное, дно похоже на кладбище, в котором лежат люди. Ведь сколько капитанов и разных моряков утонуло в море!.. Куда же они делись? Умерли все и спустились на дно. Очень просто.

В квартире было по-летнему душно. Мать встретила их в новом платье, с распущенными волосами. Губы накрасила, ресницы, как у куклы. Наклонилась и два раза клюнула Кольку в щеку. Потом подошла к отцу и подставила ему лицо. Отец усмехнулся.

— Ты ничего не хочешь мне сказать? — хрипло сказала мать.

— Что именно? — раздраженно спросил отец.

Мать не ответила. Сели обедать. Бабушка Лариса принесла сковороду с котлетами. Отец вдруг развеселился, начал шутить, шелкнул Кольку по носу, похвастался, как они замечательно отдыхали вдвоем в городе Сочи, каким чудесным было море по вечерам, как их вкусно кормили. В столовой зазвонил телефон. Бабка хотела было ответить, но отец оттолкнул ее и схватил трубку.

— Алло! — закричал он и вдруг закрыл за собой дверь.

Что-то он еще говорил там, но было не разобрать. У матери глаза выкатились наружу, как пинпонговые шарики, бабка притихла. Отец вернулся и принялся за еду.

— Кто это звонил, Леня? — тихо спросила мать.

— Это? — отмахнулся отец. — Это мне звонили по делу.

— По какому? — мать прикрыла глаза.

— Тебе какая печаль? — грубо сказал отец. — Давно не шпионила?

Мать испуганно посмотрела на Кольку, разрыдалась во весь голос, задохнулась, закрылась ладонями, сбросила на пол стакан с лимонадом и побежала в коридор, словно за ней кто-то гнался. Кольке стало страшно. Он боялся, что отец догонит ее и изобьет. Но отец сидел неподвижно, опустив глаза и сжав в кулаки свои большие волосатые руки. Бабка шуршала салфетками. Наконец, отец встал.

— Поговори, поговори, — прошуршала бабка и всхлипнула, — по-людски надо, по-человечески...

— Осточертели вы мне, — тихо сказал отец, — вот вы у меня где сидите, — и провел ладонью по шее, словно отрезая себе голову.

— Поди погуляй, Коля, — приказала бабка, перестав всхлипывать, — потом доешь, поди погуляй...

Вечером, когда он уже разделся и собирался лечь спать, в комнату неслышно, будто кошка, проскользнула мать Вера. Накрашенные ресницы ее слиплись от слез и колышками торчали в разные стороны. У Кольки сразу же заболел живот.

— Коля, — ласково сказала мать, — тебе нравится жить здесь, дома?

— Нравится, — удивился Колька и положил обе руки на живот, чтобы было не так больно. — А чего?

— Ах, нравится, — вздохнула мать. — Ну, а где тебе больше нравится: здесь или в Сочи?

— Здесь, — сказал Колька и тут же испугался, потому что у матери опять полезли наружу глаза, — и в Сочи.

— Но ведь тебе же, наверное, было скучно в Сочи? — прошептала она. — Ведь папа же был все время занят в Сочи?

Дверь распахнулась, и отец — в белых трусах, босой и всклооченный, — вырос на пороге.

— Хватит! — заорал он и изо всей силы толкнул Кольку на кровать. — Оставь ребенка, идиотка!

Мать раскрыла рот и стала ловить им воздух, как рыба.

— Педагог сраный! — кричал отец. — Кащенко по тебе плачет! Вся в дедушку своего, княгиня!

Мать убежала, хлопнув дверью. Отец устало опустился на стул рядом с Колькой.

— Вот что, — сказал он и изо всех сил потер лоб ладонью. — Вот что: о Сочи ни слова. Понял меня?

Колька кивнул. Из глубины отцовских глаз выплыла белая Алла Аркадьевна. Сквозь прозрачную ткань купальника просвечивали соски. Она посмотрела на Кольку и лениво закачала рыжей головой.

— Понял меня? — строго повторил отец.

— Понял, — сказал Колька, глядя под ноги, — чего не понять...

Ночью он проснулся от грохота. Что-то покатилося, упало, разбилось. Над кроватью появилась бабушка Лариса в ярко-белом больничном халате и заплакала:

— Нет у тебя сердца, нет, нет! По-людски надо, по-человечески!

В соседней комнате горел свет. Отец, спиной повернутый к Кольке, показался неправдоподобно большим. Под его руками бились худые, с черными волосками ноги. Волоски блестели под лампой. Голос, не похожий на материнский, громко кричал:

— Уходи! Больно! Больно! Так не хочу! Так не хочу!

— Замолчи! — грохотал отец. — Замолчи, я кому сказал! Я тебя свяжу сейчас, если не перестанешь!

Бабка подбежала к волосатым ногам и стала зачем-то кутать их в одеяло.

— Идиотка! — орал отец. — Лекарство нужно! Тазепам! В сумке у нее тазепам!

Он отскочил в сторону, чтобы дать бестолковой бабке сумку, и Колька зажмурился от страха. На отце ничего не было, кроме черной от загара кожи, а мать, оказывается, каталась по кровати, быстро-быстро болтая ногами в воздухе.

— Дверь! — приказал бабке отец, на секунду встретившись глазами с Колькой. — Дверь закройте!

Бабка захлопнула дверь, и Колька остался в темноте.

... он был предприимчивым, деловым человеком. В тридцать шесть лет — кандидатская, в сорок четыре — докторская. Специалист по детским психологическим травмам, педагог. Его последняя книга «Ошибки и достижения Зигмунда Фрейда в вопросах сексуального развития подростков» была переведена на японский язык. Он трижды ездил на международные симпозиумы и научился есть японское блюдо суши деревянными палочками. У него была прекрасная квартира, доставшаяся от сумасшедшего грузина, любящая жена, красивая мебель и большая библиотека. Он собирался вот-вот купить новую машину и засесть за новую книгу, которую тоже переведут на японский. Ему уже заплатили аванс. Вера была плоской и неловкой. Но, в конце концов, не велик труд покопать ее пару раз в месяц. Молча, быстро, ничего не испытывая. Жили и жили. Удобно жили, он многое успевал...

Алла появилась осенью. Его раздавило. Он не был бабником, и женщины, знавшие его до Аллы, тосковали по ласке, потому что он не ласкал их. Они бывали нужны ему только в постели и только на короткое время. Вера же, ставши его женой, перешла из разряда женщин в разряд бытовых предметов. С ней можно было не церемониться. Но, оказывается, и для него был припасен капкан. Он сделал шаг, и капкан захлопнулся. Его защемило. Сначала — крайнюю плоть, потом все остальное. Никогда он не испытывал ревности, теперь она его измучила. Алла была замужем, и этого мужа он видел однажды в метро. Муж оказался неприятно высоким, выше его, довольно красивым. Было воскресное утро. Алла держала мужа под руку той же самой рукой, которая в пятницу цапала голую спину Леонида Борисовича длинными ногтями. Представить, что мужу позволяется то же самое, что и ему, было больше, чем проглотить бритву. Она сказала ему, что уйдет, если будет, куда. Уйти было некуда. У Леонида Борисовича лежали деньги на новую машину, полученные за переведенную и изданную в Японии книгу. Но этих денег не хватило бы на покупку квартиры. Значит, жилье нужно будет снимать и отказаться от планов на машину. Она сказала ему, что как только он разведется, она родит ребенка. Леонид Борисович был уверен, что то, что у них с Верой нет детей, не его вина. Однако в глубине души его подтачивал страх: а вдруг? Вдруг? Все это было запутано и тяжело. Все, кроме наслаждения, которое Алла ему приносила. Он согласился взять из детдома чужого

мальчишку, потому что надеялся с его помощью укрепиться в своей прежней, удобной, семейной жизни. Расчет его был неверен. Страх потерять Аллу стал сильнее. Сочи — это была ее идея. Она сказала, что придет, если он все возьмет на себя. Он взял. В Сочи она сообщила ему, что разводится, муж перебрался к матери. Проверить, говорит ли она правду или играет с ним, как кошка с мышкой, было непросто.

— Если ты ни на что не годишься, — сказала она, — я должна буду пересмотреть ситуацию.

— Что значит: пересмотреть? — помертвел он.

Она посмотрела на него прозрачными глазами.

— А как ты хочешь, чтобы я жила? — медленно спросила она. — Мне придется вернуться к нему, вернее, вернуть его, потому что у нас с тобой будет ребенок.

Бабка Лариса Владимировна с утра начала собирать вещи и хлопотать. Сегодня они переезжали на дачу. Мать с отцом еле разговаривали друг с другом — это Колька заметил. Но он заметил и то, что мать стала спокойнее, а отец, наоборот, каждую секунду выходил из квартиры покурить и был очень угрюмым. Бабка два раза спросила мать: «Лекарство не забыла?». И мать отмахнулась с досадой. Вчера за ужином отец почти ничего не ел, хотя ужин был вкусным: вареники с вишнями и мясной пирог. Колька все не мог наестся после детдома и всякий раз удивлялся, что мать так мало кладет себе еды на тарелку.

На дачу переезжали в собственной машине Жигули. Колька не знал, что они такие богатые и ахнул: своя машина! Оказывается, все это время Жигули были в ремонте.

— Старая лохань, — сказал ему отец и поморщился.

— Может, я ее, это, помою, пап? — предложил Колька. — И колеса, и все...

— Потом, — пробормотал отец, — на даче помоешь.

Что такое дача, Колька пока не знал. Оказалось — небольшой домик с открытой верандой и отцветшим кустом сирени перед крыльцом.

— Предупреждаю, — сказал отец, — я здесь торчать не намерен. Мне нужна цивилизация. Если вас это устраивает — в кусты по-маленькому, вы и наслаждайтесь.

Мать попыталась что-то возразить ему, но промолчала. Отец закурил, сказал, что хочет спать и растянулся в шезлонге под умершей сиренью. Мать и бабка начали раскладывать вещи. Небо вдруг стало темно-лиловым и вспученным, словно его надули изнутри.

— Гроза будет, — озабоченно сказала бабка.

— Можно, бабуль, я, это, в машине посижу? — спросил Колька.

— Нечего там делать, — огрызнулась мать, — машина для того, чтобы ездить. Можешь погулять пока по нашей улице, но далеко от дома не отходи.

Колька вышел за калитку и, остро чувствуя свою ненужность, побрел по дороге. Слабенькая речушка с хрупким деревянным мостиком отделяла дачный поселок от деревни, в которой шумно носились куры, скрипели колодцы, надрывались собаки. Кольке до слез было жалко этих собак — голодных и старых.

«Кур, небось, зарежут, — подумал он, — зимой съедят, суп наварят, а собаки так и будут лаять, пока не сдохнут».

Он смотрел на черное распухшее небо, зная, что оттуда вот-вот хлынет дождь, и ему стало казаться, что он совсем один в целом свете. Людей-то не было. То ли они попрятались от надвигающейся грозы, то ли поумирали все, как Тамарка-Бакинка. Отец, мать и бабка Лариса превратились в черные точки, слегка вздрагивающие в самой глубине его уставшей памяти, где тяжелыми глиняными пластами лежали те, кого он никогда не забывал: мертвая Тамарка, сухорукий Скворушка, Аркаша-Какаша, беспомощный директор, Козел, Любка-Воровка, ребята и девчонки из старшей группы, Сенька-Хрипун, Самолет...

Он чувствовал, что его место там, среди них, а вовсе не здесь, с чужой семьей, в которой мать с отцом скоро съедят друг друга.

«А, плевать, — подумал он и проглотил соленый комок, — чего мне? Больше всех надо, что ли?».

Справа от него остановился велосипед, подняв целое облако пыли. Парень лет тринадцати—четырнадцати смотрел на него какими-то уж слишком голубыми глазами. Сбоку у него не было одного зуба.

— Ты че? — спросил парень. — Идешь — не смотришь?

— Я ниче, — сказал Колька, — тут, это, не было никого.

— А я тебе — пустое место? — усмехнулся парень и протянул крепкую коричневую руку, знакомясь: — Петр.

— Николай, — обрадовался Колька, и внутри у него все заколотилось.

— Хочешь, ко мне зайдем? — подумав, предложил парень.

— Хочу, — ахнул Колька.

— Ну, так, садись давай, — и парень хлопнул ладонью по багажнику.

Колька сел, и они покатили. Зарохотал гром, и тут же налитое пугающей чернотой небо с треском лопнуло, засверкало и обрушилось на землю накопившейся в нем обжигающе-холодной водой. Незнакомый Петр изо всех сил закрутил педалями. Колька прижался лицом к его обтянутой мокрой футболкой спине и, чувствуя распирающее грудь счастье, успел подумать, что худа без добра не бывает: разрешили бы ему посидеть в Жигулях, не вышел бы он за калитку, не подружился бы с человеком.

Через несколько минут Петр бросил велосипед и за руку втащил его в свой дом по развалившемуся крылечку. Колька не успел опомниться. Он оказался в комнате — очень теплой, потому что в ней, не-

смотря на лето, топилась печка. В углу стояла кровать под деревенским лоскутным одеялом со множеством маленьких белых подушек. На стене тускло блестели фотографии: военные с выпученными глазами, бородатый старик в орденах, две стриженные девушки в красивых белых платьях, жених с невестой, обменивающиеся кольцами. В соседней комнате маленькой кухне напевал тонкий женский голос: «Ах Надя, Наденька, мне бы за двугривенный в любую сторону твоей души...»

— Мам! — басом сказал Петр. — Я до станции не доехал, дождик...

— Да Бог с ней, со станцией! — отозвался голос, и в комнату вошла женщина с такими же, как у Петра, очень голубыми глазами.

И так ясно, так ласково взглянула она ими на мокрого до ниточки Кольку, что по всему его телу разлилось тепло и стало уютно, как если бы его взяли на руки и принялись укачивать.

— Да разве это дождик, — грустно сказала она, — не дождик, а беда! Ты погляди, что за окном творится! Я уж печку растопила, чтоб сырости не было. Кушать хотите?

— Хотим, — ответил Петр и подтолкнул Кольку к столу.

Она мигом достала из гудящего, как улей, холодильника кусок колбасы, яйца, зеленый лук, сделала яичницу, высыпала в розовую пластмассовую вазочку остаток конфет из бумажного кулька, разложила еду по тарелкам.

— Только вы, ребята, переоденьтесь, — ласково попросила она, — а то простудитесь, заболите.

И принесла Кольке сухую майку.

Все это было, как во сне. Он и впрямь боялся заснуть, потому что ноги и руки его сделались ватными, тело обмякло, а внутри груди — слева — запрыгал солнечный зайчик. От этого ему стало щекотно и захотелось смеяться.

— Ешь давай. — сказал Петр.

Колька принялся за еду, но чудесное ощущение сонливости, тепла и веселья только усилилось.

— Ты чей такой? — спросила она, улыбаясь, — дачник?

Колька, не выдержав, рассмеялся. И она рассмеялась.

— В каком ты классе учишься? — погладив его по голове, сказала она и вытерла ладонью выступившие от смеха слезы.

— В четвертый перешел, — ответил Колька, подставляя ей затылок. Рука была теплой, мягкой, чуть вздрагивала.

— С родителями ты здесь? — не переставая гладить его голову, продолжала она.

Колька кивнул и вдруг поправился:

— Они говорят: «родители», — прошептал он, — а я откуда знаю? Из детдома я.

Она всплеснула руками и, забывшись, отвела от лица густую прядь коричневых, с сединой, волос. Колька увидел, что правая щека ее покрыта ярко-белой, неживой кожей, похожей на ножку ядовитой поганки.

— И давно ты у них? — спросила она.

— Не, — сказал Колька, — я, это, не помню точно, с мая, вот.

— Ругают они тебя? — тихо сказала она.

— Не, — смутился Колька, — они, это, они сами ругаются.

У него зашипало глаза, и он испугался, что сейчас заплачет. Тогда она придвинулась на табуретке, обеими руками обхватила его и прижала к себе. Она втиснула его внутрь своего большого, теплого тела, и Колька сразу успокоился. Голова его лежала на ее груди, и он близко-близко видел маленькую стеклянную пуговицу и кусок шеи, пахнувшей печным дымом и ягодами.

— Ничего, деточка, — зашептала она, — ничего, маленький. Потерпи, не плачь. Они тебя взяли, значит, ты им нужен, привыкнете друг к другу, полюбите. Не плачь, маленький. А станет тебе скучно, приходи к нам. Ты у нас и переночевать можешь, и уроки поделать, поиграете... Ничего, маленький...

Дождь кончился. Петр посадил его на багажник и повез домой. На небе блестела радуга, и трава переливалась синевой и золотом, почти как Черное море на закате.

— Слышал, че мать сказала? — спросил его Петр у калитки. — Ты к нам приходи. Мать у меня очень добрая.

— А че у нее на щеке? Белое? — спросил Колька.

Петр опустил глаза:

— А это в нее отец кислотой плеснул. Он в тюрьме сидел, а, когда вышел, плеснул в нее кислотой из бутылки. Ну, его опять посадили. Мать у меня несчастная. Но ты приходи. Отец нас достает.

— Как достает? — испуганно спросил Колька.

— Ну, как? — глядя под ноги, ответил Петр. — Письма пишет: «вернусь, убью. Так что жди, не надейся». Очень он на нее зол, на мать.

— За что? — спросил Колька.

— Не знаю, — уклонился Петр, — а только я ее в обиду не дам. Приедет, я его сам убью. Вот что.

Леонид Борисович набрал номер и услышал, как Алла тяжело вздохнула прежде, чем сказать «Слушаю». Этот вздох неожиданно растрогал его. В конце концов, она тоже переживает. И чем она-то виновата?

— Алена, — сказал он в трубку, — я в Москве, я вернулся с дачи.

— Да? — тихо спросила она. — Неужели? Ну, приезжай.

— Ты что — одна?

— Я одна, — сказала она, — конечно, одна.

«К черту, к черту, к черту, — крутя баранку, остервенело думал Ле-

онид Борисович, — уйду, и все! Проживут! Вера сама зарабатывает! На мальчишку буду давать! Мальчишка меня в упор не видит... Ему — что я, что — это дерево, все одинаково, подзаборник! Они только в теории привязываются, а на практике... Как волка ни корми...».

Нечего было себя уговаривать: решение вызревало в нем долго и, наконец, вызрело, упало с души, как камень. Он любил одну женщину и не любил другую.

Любимая им женщина лежала на диване, входная дверь была не заперта. Он со страхом заметил, что живот ее округлился под белым халатом.

— Ну, — сказала она, не глядя на него, — как семейная идиллия?

Леонид Борисович с досадой поморщился.

— Тебе больше нечего мне сказать?

— А тебе? — и перевела на него прозрачные, дымные глаза.

Голова медленно пошла кругом. Ничего не хочу, только эту бабу. Он стиснул зубы, лег рядом с ней на диван. Все, начинается. Она засмеялась и отодвинулась.

— Ни, ни, ни! — сказала она и быстро провела ладонью по его лицу — Доигрался, дорогой.

— Какая разница? — задыхаясь, прошептал он, — Все равно ведь доигрался!

— Какая разница? — пропела она и села на диване, поджав под себя ноги, лицом к нему. — Какая разница? А если сейчас, — понизила голос, — дверь откроется, войдет мой муж и спустит милого друга с лестницы?

Она медленно расстегнула халат, сбросила его движением плеча.

«А — ах! — содрогнулся он. — А — а — а — ах!»

Она взяла его руку и провела ею по своей белой шее, потом по левой груди, задержавшись на ярко — красном соске.

— Вот этим, — словно подражая маленькой девочке, сказала она, надувая губы, — мы будем кормить нашего сиротку. Вот отсюда пойдет молочко...

Вдруг она с силой отбросила его руку и отвернулась.

— Что? — испуганно спросил он. — Точно, да?

Она полоснула его сузившимися глазами:

— Представь себе! Точней не бывает!

Навалилась на него белой грудью и обеими ладонями взяла за горло.

— А, может, мне тебя убить? Надоел ты мне!

Он попытался поцеловать ее, она звонко ударила его по лицу.

— Надоел!

Он вдруг понял, что она не шутит.

— Хорошо, — прохрипел он и завел ей руки за спину, — хватит драться! Я же с тобой не спорю.

— Что значит: не спору? — спросила она

— То и значит, — ответил он спокойно, — как ты хочешь, так и будет. Я уйду оттуда.

Вдруг она притихла, легла рядом и прижалась к нему. Леонид Борисович боялся пошевелиться.

— Учи, — глухо сказала она, — это не я попросила, это ты решил.

Он начал расстегивать рубашку, делая вид, что не торопится.

— Да быстрее же! — прошептала она и укусила его щеку горячими губами, — быстрее!

... А-а, Пушкино уже. До чего ему знаком этот перрон, словно бы и не прошло восьми лет. Киоск с газетами. Так. Жизнь поменялась, пишут про другое, ему наплевать, у него свои дела. Пирожки местной выпечки. Раньше мясные продавали по двадцать, капустные — по десять. Теперь деньги другие, пирожки те же. Взял два мясных с непрожаренным луком. Вкусно, горячие.

Какая она теперь? Без груди, изуродованная? Опять у него внутри все запылало. Сосед говорит, вся седая стала. А была? Веселая, легкая, не ходила — летала. Когда ж она поседела? А вот, наверное, когда он на нее бутылку вылил. Плеснул — она на пол осела и покатилась, зашлась криком. Красавица моя. Обещал вернуться, видишь, слов на ветер не бросаю. Уродовать тебя не стану, куда ж тебя еще больше уродовать, а жить не дам. Потому что жить тебе незачем. Не любил бы — не стал мारаться. Мало их, баб, кошек шелудивых, под чужих мужиков бросаются! Что ж теперь, каждую убивать? Тошно мне. Рвать меня тянет, язва, должно быть, разыгралась. Гастрит двенадцатиперстной. Ну, ладно. Приехал я, Саша. Александра Николавна. Встречай гостя. Как мы жили-то с тобой поначалу? Как в раю. Все вместе. На рыбалку ездили, в гости ходили. Зарабатывал я, баловал тебя, дуру. То одно куплю, то другое. За бананы ветерану войны переплачивал: ему без очереди давали, а я тебе ташил. Выпивал, конечно, как без этого? Ну, да — ты плакала, заливалась: «Не пей, Вася! Говорю: не пей!» А мужику без водки — разве жизнь? Вся сила кончится...

Как он тогда влип? Ничего не помню. Разошелся по пьянке, бутылкой по башке: хрясть! Проломил. Инвалидом племяша оставил. Всю жизнь на совести. В себя пришел уже в наручниках. Она таскалась в тюрьму, опухшая, зареванная. Только-только родила тогда, молока было много, вся кофта мокрая. Сам чуть не плакал. «Жди меня, Саша, вернусь — заживем!» И в письмах писал: «Вернусь — ноги твои мыть буду за то горе, что тебе причинил, капли в рот не возьму, жди, надейся!»

Верил ведь, что ждет. А она закрутила — года, небось, не прошло. Петьку к матери — и пошла! Спасибо, сосед написал, намекнул — черным по белому. Терпеть неумоготу было. Рассказал там одному, поделился. Тот говорит: «Ты, птенец, баб не знаешь. Баба так не может, чтоб ее

один покрывал. Ей надо силу свою доказать: вот я, мол, какая. Мигну — и все мои. Не убивать за это надо, а воспитывать. Природу исправлять. Они послушные, бабы, любят, когда их воспитывают.»

Ну, нет, это не по мне. Я вам не Макаренко: воспитывать. Убью, и все. А потом лягу на твою могилу и с места не сойду, пока сам не сдохну. Моя — моя и есть. Хоть живая, хоть мертвая.

Срок дали — пять лет. Отбыл — приехал. Нагрязнел, как снег на голову. Выследил ее на станции. Сошла с электрички. С хахалем. Мужик как мужик. Мужик-то чем виноват? На ней — платье в горошек, прическа высокая. Супруг законный в тюрьме слезами умывается, а она — причесочку! Так. Шел за ними до самого дому. Сумерки были. Ух, как она шла! Боком к нему, боком, так всем своим горохом к чужим штанам прилипилась, что... Ладно. У него в кармане нож был. И кислоту раздобыл. Но кислоту на крайний случай. Не кислотой баловаться ехал. Они за дверь. Он подождал для приличия, постучал вежливо. Она открыла. Он — раз! И всей бутылкой в нее плеснул. Сам не понял, как так вышло. Не хотел ведь кислотой-то. Она и повалилась. Вся стала черная, как снег весной. Буграми какими-то пошла. Тут этот мужик на него. Она по полу катается. Дальше — что? Соседи. Мужика оттащили. Скорая. Унесли ее под простыней. Потом узнал: выжила, грудь левую пришлось отрезать, до кости прожгло. Ну, и на лице тоже. Щеку испортил. Извиняюсь. Сосед ему написал: живет смирно, Петьку растит хорошо, ты, Василий, подумай. Всяко бывает. Ладно, подумаю. Восемь лет думал. Вернусь — убью. Принимай, Саша, гостя. В каждом письме правду писал, предупредил. Ни словечка не ответила. Гордая. Ты меня попроси, попроси, Саша. Ты у меня в ногах поваляйся. Да нет, не попросит. Красавица моя...

Вот, дошел. Что ж меня так рвать-то тянет? Не дело. На диету надо.

Постучал. Дверь не заперта. Толкнул. Стоит к нему спиной: то ли тесто месит, то ли еще что. Сгорбилась. Седая вся, не наврала. Обернулась к нему, он зажмурился. Вот и встретились.

— Здравствуй, Александра Николавна, не ждала? — а у самого губы прыгают, все слова забыл.

Молчит. Смотрит. Глазоньки мои, незабудки.

— Не узнала меня? Муж твой. Василий Николаич. Что смотришь? — Нашарил в кармане нож. Тут. Куда ему деться?

— Рассказывай, Саша, как жила без меня, как...

Опять все слова вылетели.

— Вася, — говорит, — уходи от греха, Вася.

От греха! Все нутро в нем поднялось. От греха! О грехе-то ты бы раньше вспомнила, когда хахалю свою ... подкладывала!

— Ладно, Саша, кто старое помянет...

Вынул ножик, подошел к ней. Она и не думает прятаться. Стоит, как неживая, только глаза синеют. Попроси меня, попроси, я кому говорю! Са-а-ша! Стоит.

Поднес ей нож к горлу.

— Помогите нам, — сказала она и заплакала.

Под «нам» — то он ее и полоснул.

Хрустнуло под рукой что-то. Нож вошел глубоко, ровно. Она упала ему на грудь, кровь, как из крана. Подхватил ее, обнял крепко. Оба повалились.

Бабушка Лариса Владимировна варила клубничное варенье. Кольку заставили читать

«Робинзона Крузо». Вслух, с выражением. Мать делала вид, что слушает, а на самом деле не спускала глаз с дороги, по которой отец должен был вернуться из города.

— Ты так, Вера, в сумасшедший дом попадешь, — поджав губы, сказала бабка и сняла пузырящуюся пену огромной ложкой.

Мать не ответила. У матери была мигрень, и голову она обмотала серым пуховым платком. Как только отцовская машина подъехала к дому, мать сорвала с головы платок и посмотрелась в зеркало. Отец вошел тяжело, как старик. Лицо — мрачное, небритый.

— А мы заждались. заждались, — пропела бабка, — я уж говорю: да он сегодня в городе заночует, у него куча дел! А ты приехал!

— Заночевал бы, — злобно ответил отец, — если бы мне жить давали... А то ведь...

И пошел умыться. У Веры задрожал подбородок.

— Молчи. молчи, — зашипела бабка. — Он — свое, а ты — без внимания. Подите погуляйте, потом спать. Ночная кукушка дневную перекукует...

Сели ужинать. Молчание висело над столом. Зажгли свет. Черные бабочки прижимались к огню, осы, шипя, тонули в варенье.

Вдруг заскрипела калитка, и рядом с крыльцом появился Петр. С того дня, как мать его угощала Кольку яичницей с луком, прошла неделя. За эту неделю Петрову мать успели зарезать и похоронить. Колька слышал, как бабушка Лариса говорила об этом с соседкой, и видел, сколько женщин в черных косынках и мужчин в кепках — несмотря на жару — шли к Петрову дому со станции мимо их дачи.

Дом, где жили Петр и его резанная мать, был через три улицы. Ни один человек на свете не знал, что Колька успел побывать там в гостях, но когда четыре дня назад бабка сказала: «Муж убил, сына оставила», — он сразу понял, о ком идет речь.

— Тебе кого, мальчик? — спросила бабка.

— Мне его, — сказал Петр и кивнул головой на Кольку. — Выйдешь?

Колька вскочил из-за стола и выбежал.

— Коля! — крикнула мать Вера. — Ты куда? Кто тебе разрешил?

— Я, это, — спохватился Колька, — вот, это друг мой, Петя, у него мать зарезали...

Все трое приподнялись на стульях.

— А ну, идите сюда, — приказал Леонид Борисович.

Колька и Петр переглянулись, но не двинулись с места.

— Я кому сказал? — Леонид Борисович повысил голос. Они поднялись на террасу.

— Садись, мальчик, — засуетилась бабка Лариса, — чаю попей...

— Не хочу я, — хмуро ответил Петр, глядя в пол, — я попрощаться пришел.

— Уезжаешь? — спросил Колька.

— Тетка к себе берет, в Серпухов, — сказал Петр, — она одинокая, болеет там...

— Так, — сказала бабка тихо, — так это, что, твою маму...

Петр поднял глаза. Кольке показалось, что он ослеп, ничего не видит: из голубых глаза Петра стали белыми, и какая-то в них стояла мутная вода, пленка какая-то.

— Мою, — ответил он.

— Отец ее, что ли, твой? — не унималась бабка.

Петр кивнул и вдруг опрометью бросился вниз по ступенькам, хлопнул калиткой. Колька, не спросившись, побежал за ним.

— Когда вы соображать начнете? — загрохотал отец на террасе, — кто же так...

Колька догнал Петра у самого поворота, потому что Петр шел быстро, почти бежал, и кулаком вытирал слезы.

— Петь, — крикнул Колька, — обожди, ты куда?

Петр резко остановился.

— Я мамку мертвую видел, — сказал он, плача. — Гроб-то открыли проститься. Она лежит, горло платком замотано. Все равно, как девчонка. И тетка говорит: «Шура помолодела».

— А ты? — спросил Колька.

— Я ничего, — задыхаясь, сказал Петр, — я смотрю, и мне ничего. Наклонился к ней, а у нее ресницы — как задрожат!

— Ресницы? — ахнул Колька.

— Ага, — сказал Петр, — словно она хочет глаза открыть, а не может. Они замолчали.

— Слушай, — Петр вытер мокрую от слез руку о штаны, — я чего пришел? Мамка тогда, когда ты у нас был, сказала, что ты — несчастный. Она все хотела к вам придти, на родных твоих поглядеть. Она мне сказала, что если ты им не нужен, мы тебя к нам заберем. Ну, вот.

Колька молчал.

— Я пришел, — сказал Петр, — потому что я сейчас уезжаю. Но я потом приеду, когда большим стану, и заберу тебя, хочешь? Будем вместе жить. Хочешь?

Голос его задрожал.

— Я тебе напишу. Адрес-то ты свой знаешь?

— Знаю, — кивнул Колька, — Мерзляковский переулок, дом шесть, квартира восемнадцать.

— Ладно, — сказал Петр, — я тебе буду письма писать. А эти тебя отдадут, на фига ты им сдался? — Он мотнул подбородком в сторону Колькиной дачи.

Колька многое хотел бы сказать ему, но что-то не получалось.

— Правда заберешь? — наконец спросил он.

— Правда, — твердо ответил Петр. — Ну, до свиданья.

— До свиданья, — глотая слезы, сказал Колька. — Приезжай скорей.

Луна плыла по небу и качалась, словно ее напоили и она забыла, куда ей плыть. У нее было плачущее сморщенное лицо. Колька подумал, что там, высоко, может быть, тоже живут люди, а раз так, то ведь и они, наверное, умирают, и их хоронят. Может, луна напилась на поминках?

За стеной разговаривали отец с матерью. Сначала — негромко, потом мать зарыдала, и тут же раздался грохот, словно кто-то рухнул с кровати, и материнский крик:

— Я тебя не пушу!

— А я тебя не спрашиваю! — отцовский бас перекрыл все звуки. — Не рви на мне майку!

— У! — отрывисто и хрипло ухнула мать и вдруг закуковала, как кукушка: — У — У! У-У! У-У!

Зажегся свет, и послышалось торопливое шарканье бабкиных тапочек.

— Я тебя убью! — кричала мать в перерывах между «У-У, У-У». — Я найму людей и убью тебя, ты с ней жить не будешь!

— Ну, все, — отчетливо сказал отец, — хватит с меня.

И тут же от дома отъехала машина, словно отец впрыгнул в нее прямо из окна.

Колька вжался головой в подушку, натянул на себя одеяло. Ночь была теплая, но его затрясло, как в прошлом году, когда он в детдоме болел корью.

Утром они с матерью поехали в город. В окне моросил дождь. За всю дорогу Вера не проронила ни слова.

— Мам, — не выдержал Колька, — мы куда едем-то? Домой?

Мать громко сглотнула слюну.

— Нет, — сказала она, — не домой. В другое место.

— Куда? — спросил он.

— Увидишь, — прошептала Вера, и лицо у нее стало такого же красного цвета, как плащ.

Колька вдруг разглядел болячку на материнском подбородке. Болячка была замазана белым и поэтому стала сильно заметной на по-

красневшей коже. На вокзале мать долго дозванивалась куда-то из автомата, потом что-то записала в блокнот. Взяли «левака». В машине так сильно пахло бензином и вином, что Кольку затошнило и он испугался, что его вырвет. Хотел было попросить, чтобы остановились, но увидел Верины выпуклые неподвижные глаза и промолчал. Через полчаса машина затормозила у голубого дома с костлявыми балконами. В лифте тоже пахло вином, а кнопки этажей были липкими. На пятом этаже кабинка остановилась и вошла толстая старуха с зонтом и палкой.

— Вниз? — спросила она почему-то злым голосом.

— Наверх, — таким же злым голосом ответила мать.

Старуха промолчала, но вид у нее стал такой, что еще немного — и она избьет их своим зонтом. На девятом этаже мать дернула Кольку за руку: «Приехали!». Кольку все сильнее и сильнее тошнило. Мать позвонила в дверь, обитую коричневой клеенкой.

Алла Аркадьевна, совершенно такая же, какой она была месяц назад в Сочи — только вместо белого купальника на ней был большой и пышный белый халат — стояла на пороге. За ее спиной висело квадратное зеркало, в котором отражался рыжий затылок и рядом красное лицо матери Веры с болячкой на подбородке. Кольки не было видно, так как зеркало висело высоко, а он был маленького роста.

— Где? — прохрипела мать

— Кто? — ласково спросила Алла Аркадьевна.

— Леонид, — прошептала мать.

— Ах, вы за мужем? Сейчас заверну, — и Алла Аркадьевна звонко крикнула в глубину квартиры: — Ле-е-ня! Тут за тобой из партбюро пришли! Одевайся!

Мать сделала было шаг вперед, но Алла Аркадьевна отпихнула ее. Глаза Аллы Аркадьевны стали злыми и темными:

— Но, но, но! — вскрикнула она, — ты куда? А ну, на место!

Мать левой рукой толкнула ее в грудь, а правой схватилась за рыжие волосы и изо всех сил дернула их.

Алла Аркадьевна не успела закричать, потому что из комнаты вышел отец. Таким страшным Колька его еще не видел. Отцовское лицо было искажено и казалось, что у него не два, а четыре глаза и несколько ртов. Брови сдвинулись в одну лохматую черную полосу, а волосы стояли дыбом, как шерсть озверевшей собаки.

При виде отца мать отпустила волосы Аллы Аркадьевны и подпихнула Кольку прямо в живот Леониду Борисовичу. Колька, не удержавшись, влетел лицом в отцовскую горячую, пахнущую потом рубашку.

— Ребенок же! — закричала мать. — Смотри, ведь это ребенок!

— Замолчи! — прошептал отец, но так жутко, что Колька зажмурился. — Зачем ты пришла?

— Я пришла, — дрожащим голосом ответила мать, — потому что ты не имеешь права бросить семью, потому что я, — и она положила на

горло обе руки, словно ей было больно говорить, — потому что я — твоя жена, а это твой сын...

Леонид Борисович сморщился, все его глаза исчезли.

— Вера! — он схватился за голову. — Вера! Ведь я тебе говорил! Я ведь тебе все сказал! Не будем мы жить вместе! Не будем! Не можешь ты меня заставить!

— Ой, ну, с меня, кажется, хватит, — пробормотала Алла Аркадьевна и вдруг весело засмеялась: — Родители! Колю бы своего пожалели! Он у вас в психушке кончит!

— Колю? — прошептала мать. — Откуда она знает, что это Коля? — и обернулась к Кольке: — Ты с ней знаком? Видел?

Колька молчал. Больше всего ему хотелось, чтобы все это было сном и чтобы он быстрее проснулся.

— Я спрашиваю тебя, — повторила мать. — Ты ее когда-нибудь видел? Колька замотал головой.

— Ай, ай, ай! — и Алла Аркадьевна погрозила ему большим белым пальцем, — Да разве мы с тобой не встречались? Разве мы не плавали наперегонки, не играли в дурака?

— Что? — прошептала мать. — Какого дурака?

И вдруг ударила Кольку по лицу.

— Предатель! Убирайся от меня! Гаденыш!

— Перестань! — проревел отец. — Идиотка!

Мать разрыдалась. Колька стоял оглушенный и чувствовал, как у него шиплет щеку. Отец вплотную приблизился к ним.

— Вера, — видимо, сдерживаясь, сказал он, — я своего решения не поменяю. Мы с тобой еще поговорим. Я буду помогать. Уходи отсюда.

И вдруг высокая, неловкая мать в своем скользком красном плаще опустила на колени и сказала Кольке:

— Проси отца. Становись. Проси его. Мы не уйдем.

— О, Господи! — задохнулась Алла Аркадьевна. — Да сделай же ты что-нибудь, Леня! Я сейчас милицию вызову!

Мать не шевелилась. Красный плащ стоял над ней так, словно на спине, под плащом, прятался человек.

Алла Аркадьевна высоко подняла волосы обеими руками и ушла куда-то, хлопнула дверью. Колька и отец посмотрели друг на друга.

— Черт знает что, — отчаянно сказал отец, — вот ведь угрозило меня... Коля, уведи маму домой. Успокой ее. Я позвоню вечером. Обещаю.

— Мам, — прошептал Колька, — пойдем, мам, это, домой поедем...

Вера тяжело поднялась с колен. Лицо ее было каким-то голубовато-серым, помада размазалась.

— Пожалеешь ты об этом, Ленечка, — тихо сказала она, — ох, как ты пожалеешь!

В лифте они молчали. Дождь из моросящего стал тяжелым и холодным. Опять поймали машину.

... дом, подъезд, мокрые помойные баки у подъезда. На двери приклеен листок «Их разыскивает милиция». Два лица: мужское и женское. Женщина похожа на гисну, которую Колька видел по телевизору.

В квартире было сумрачно, пыльно, окна зашторены. Не снимая плаща, Вера бросилась к телефону и принялась кому-то звонить. Колька пил воду из-под крана и слышал, как она шепчет в трубку:

— Войдите в мое положение! Какая травма? Два месяца — не срок для адаптации! Я профессиональный психолог, я знаю, что говорю!

Вечером приехала бабушка Лариса. Посмотрела на мать, лежащую на диване под пледом. Сварила макароны. Вытащила из сумки банку клубничного варенья и пучок укропа.

— Грибов на участке очень много, — сказала бабка, — хотела собрать, да потом плюнула. Не до грибов.

Прошло еще несколько дождливых и пасмурных дней. Колька стал бояться ночи, потому что сны ему снились такие страшные, что он просыпался в слезах, а однажды даже замочил постель, не удержался. Мать обнаружила это первая, сделала огромные глаза и позвала бабку. Бабка велела Кольке идти в ванную, сдернула с кровати его простыню и сказала матери:

— Сама понимаешь, о чем речь.. Не мне тебя учить.

Мать сжала виски руками и опять пошла звонить кому-то по телефону.

Случилась же эта неприятность вот почему. Колька видел во сне, что он вырос, стал моряком и служит на подводной лодке. Он плыл на огромной глубине и чувствовал море. Оно шумело и со всех сторон обнимало его. Колька успел только подумать, что здесь намного лучше чем на берегу, как вдруг раздался грохот, и вспыхнул огонь. Лодка развалилась на куски, вода вперемежку с огнем хлынула и сзади, и спереди. Колька почувствовал, как запекло сначала в голове, потом в самом низу живота. Он начал барахтаться в этой огненной воде и звать на помощь. Звал он всех на свете людей, которых знал по именам, но людей этих было не так много, и вскоре Колька начал просто кричать «мама», хотя думал он не о Вере, а о ком-то другом. Ему казалось, что если он еще немного продержится и будет звать маму, она услышит его и отзовется. Он почему-то знал, что мама его далеко, не только в другом городе или даже в другой стране, но где-то гораздо дальше и для того, чтобы она его услышала, надо кричать громко-громко и очень просить при этом, чтобы им с мамой помогли. Кого просить, он тоже не знал,

но Тот, которого нужно было просить, понимал, что Колька не знает Его имени и не обижался на это.

В конце концов, в животе что-то лопнуло, и произошла неприятность.

Вечером пришел отец. Наверное, до этого он позвонил и сообщил, что придет, потому что бабка вымыла всю квартиру и наготовила очень вкусных — судя по запахам — вещей. Вера ей не помогала, только сидела перед зеркалом и красилась. Накрасившись, она смотрела на себя, как на чужую, потом вскрикивала и бежала в ванную смывать все, что накарсила. К восьми часам она все-таки накарсилась окончательно, и щеки у нее стали такими розовыми и блестящими, словно на них наклеили конфетные бумажки.

Отец пришел чужой и невеселый. На голове у него была маленькая клетчатая кепочка, и он, видно, отпуская бороду, потому что из подбородка лезла густая щетина, похожая на срезанные в поле толстые стебли сорняков.

— Иди спать, Коленка, — ласково сказала мать Вера, глядя на отцовскую щетину так, словно она сейчас бросится выдергивать ее зубами.

— Да, Колян, — торопливо поддержал ее отец, — ты сейчас лучше иди ложись, а я к тебе потом отдельно загляну, — и вытащил из кармана большую шоколадную плитку. — Сразу только не ешь, а то живот заболит.

Бабка возилась на кухне, так что Колька лег на постель не раздеваясь и не зажигая света.

В соседней комнате закашлял отец и сказал, кашляя:

— Простыл я, погода хуже ноябрьской...

Мать перебила его дрожащим голосом:

— Ты когда думаешь вернуться, Ленечка?

Отец, видимо, не успел ответить, так как бабка ворвалась из кухни и запела:

— От кашля липовый цвет надо заваривать. Шалфей с ромашкой, свеженький боярышник, пустырник, корочку дуба... Полчаса на огне, потомить, потомить, потом через марличку, через марличку, и — как рукой... Главное: потомить как следует.

— Вера! — отец возвысил голос.

Но бабка опять вмешалась:

— А я тебе пирожков на закусочку, потом горяченькое принесу, ногу баранью запекла с чесночком, и выпьем, как люди, все по-людски, все по-человечески... Верочка-то от плиты не отходила, жена ведь, старалась для тебя, по-людски все...

— Вера! — не обращая на нее внимания, сказал отец. — Я хочу развестись, потому что собираюсь жениться. Она ждет ребенка.

Наступило молчание. Потом мать тихо спросила:

— Ребенка? От кого?

— Прекрати! — заорал отец. — В таком тоне я не разговариваю!

— Но я, честное слово, не понимаю, — так же тихо и странно повторила мать. — От тебя ведь нельзя ждать ребенка, Ленечка, я на опыте убедилась...

— Вера! — отец понизил голос, но Кольке показалось, что еще секунда, и он набросится на мать с кулаками: — Я пришел не для того, чтобы слушать гадости, а для того, чтобы решить практический вопрос: что ты намерена делать с Колей?

— Забирай его, — равнодушно сказала мать, — что я намерена с ним делать? А ты что намерен?

— Куда я могу забрать его? — пробормотал отец. — Мне некуда!

— А мне незачем! — закричала мать. — Мне незачем!

— Но подожди, — растерялся отец, — так все же нельзя, мы же люди...

— Кто это — мы? — начала было мать...

И тут Колька не выдержал. Непонятной силой его сдернуло с кровати и вытолкнуло в ту комнату, где был накрытый стол, а за столом сидели так и не снявший кепочки отец и розовая, блестящая, как кукла, мать Вера. Они сидели друг против друга, и между ними лежала чья-то небольшая, словно бы детская, до черноты зажаренная нога в прилипших к ней чесночных дольках. Кольку и до этого ужасно тошнило, но сейчас, при виде черной детской ноги, затошнило до того, что он зажал обеими руками рот и ничего не смог сказать, даже крикнуть не смог. Они вскопили при его появлении. Он догадался, что речь идет о том, чтобы отдать его туда, где страшнее всего, то есть в детский дом, в актовом зале которого лежит мертвая Тамарка-Бакинка, а в кухне гримасничает пьяный Скворушка. У него задрожали ноги, из глаз хлынули слезы, но поскольку говорить он все равно не мог, само собой получилось, что он упал перед ними на колени, точно так же, как это сделала мать Вера, когда их выгоняли из квартиры Аллы Аркадьевны.

— Коля! — завопил отец и тут же схватил его огромными горячими руками, — Коля, да ты что!

Но больше Колька уже ничего не помнил.

Прошло несколько дней.

Кажется, все это время он был нездоров, потому что к нему приходил участковый врач, прослушивал его и простукивал. Каждый день бабка заставляла его пить какие-то таблетки, от которых ужасно хотелось спать и было очень сухо во рту. Потом бабка почему-то исчезла, и мать сказала, что она тоже заболела и поехала лечиться. Колька уже встал с кровати и тихо ходил по дому, не зная, куда себя девать. Мать разрешала ему смотреть телевизор и не заставляла читать ей вслух. В душе у Кольки наступило оупение, и все стало безразличным. Еду мать

не готовила, а просто покупала в соседней кулинару и разогревала на плите. Иногда она забывала накормить Кольку, потому что самой ей совершенно не хотелось есть и она могла, не евши, пролежать целый день на диване, кутаясь в свой серый платок.

Наступила среда, 26 августа. Показывали фильм «Бриллиантовая рука». Мать подошла к Кольке сзади, перегнулась через его стул и выключила телевизор. Колька задрал голову и посмотрел на нее.

Похожая на козу незнакомая женщина отвела глаза.

— Коля, — сказала эта женщина. Кольке показалось, что рот ее полон травы, и она хочет ее проглотить. — Коля, у нас в семье сложные обстоятельства. У нас большая беда, К— к— коля, — коза подавилась травой, — и мне нужно уехать из Москвы, чтобы поправить свое здоровье. Бабушка тоже лечится...

Два выпуклых глаза неподвижно смотрели на Кольку.

— Но ты должен пойти в школу, — сказали глаза, и рот повторил за ними, как эхо: — «Д-д — должен — н — н...»

— Ладно, — вдруг ответил Колька и почувствовал, что у него запекло голову, словно опять начался сон про лодку. — Ладно.

— Так что поначалу ты пойдешь в ту школу, где тебя знают и любят...

Коза вытянула вперед руку и погладила его очень горячей ладонью. Колька судорожно отдернул голову от ее руки.

— А потом, — давась травой, заторопилась она, — потом мы, конечно, заберем тебя обратно. Это — вынужденный поступок, и все это не продлится больше двух-трех месяцев...

— Ладно, — повторил Колька, чувствуя, как печет голову, — ладно...

... сначала с мокрого песка под детским деревянным мухомором, только что заново покрашенным к началу сезона, поднялась Тамарка-Бакинка. Оказывается, все это время она пряталась в песочнице, а Колька, живший в том же самом дворе, и не подозревал об этом. Потом к ней присоединилась Петрова мать, обняла ее за плечи и поцеловала. И Тамарка, и Петрова мать были одеты в светлые платья, только на животе эти платья были сильно запачканы чем-то красным. Колька изо всей силы напряг глаза, потому что почувствовал, что сейчас должен появиться еще один человек. И правда: там, где луна особенно сильно освещала двор, стояла скамейка с прилипшей к ней размокшей газетой, и кто-то, в таком же светлом платье, как Тамарка и Петрова мать, сидел на этой скамейке, спиной к Кольке. Лица этой женщины Колька не видел, но даже затылок ее и худая рука вызывали в нем такую сладкую боль, что ничего другого и не нужно было: пусть только она сидит там, внизу, а он на нее смотрит.

Но тут Тамарка-Бакинка задрала голову и увидела его. Лицо ее засияло, словно увидеть Кольку было большим счастьем.

— Смотри, — громко, на весь спящий двор, сказала Тамарка Петровой матери, — смотри, Коля!

Петрова мать тоже задрала голову. Несмотря на высоту, он разглядел тоненький красный шрам на ее горле, но щека, которая запомнилась ему в виде ядовитой поганки, была чистой и белой. Петрова мать оказалась не такой, какой она была тогда, на даче, а совсем молоденькой, почти, как Тамарка, может, чуть постарше, только глаза ее остались прежними.

— Нашли, нашли! — закричала она, — ну, слава Тебе!

И быстро подбежала к той, которая сидела спиной к Кольке.

— Да не плачь ты! — сказала она. — Нашелся! Гляди, вот он!

Женщина на скамейке повернулась всем телом и вскочила, но Колька по-прежнему не видел ее толком. Глаза его слепило от восторга, сердце колотилось так, что хотелось кричать, и поэтому он чувствовал только кусок сгустившегося света, который становился все ярче и ярче.

— Мама! — сказал он сам себе. — Это же мама моя!

— Иди, иди к нам, — радостно кричала ему Тамарка, — иди, не бойся! Я им сказала, что найдем, я сказала, что мы найдем!

— Иди скорей! — как эхо, повторила Петрова мать (Колька вспомнил, что ее звали Шурой!). — Иди к ней!

Он хотел ответить им, что сейчас придет, сейчас, сию минуту, но в горле остановился ком. Тогда эта не знакомая ему, родная его мама, громко заплакала, и тут он, наконец, разглядел ее. Она была похожа на него, как две капли воды, у нее было точно такое же лицо, которое Колька каждый день видел в зеркале, когда чистил по утрам зубы и умывался, только волосы не короткие, а длинные, густые и кудрявые, как у Тамарки. Она ничего не могла сказать ему, потому что плакала. И тут Кольке стало так жалко ее, как никогда в жизни не было жалко никого на свете.

— Ладно, — закричал он, — я сейчас приду! Я уже иду, мам!

«Главное, чтобы успеть, — торопливо думал он, одеваясь в темноте и не попадая в рукава рубашки, — я уже иду, вот же я!».

Не зажигая света, он нашарил ботинки, положил в карман куртки перочинный ножик, подаренный Леонидом Борисовичем, половинку жевательной резинки, застегнул молнию и осторожно вышел из комнаты. В квартире было темно, из соседней спальни доносилось тяжелое дыхание Веры. Боясь, чтобы она не проснулась, он открыл входную дверь и, не захлопывая ее, чтобы не устраивать лишнего шума, бросился вниз по лестнице. Добежав до площадки первого этажа, он остановился, убедился, что за ним никто не гонится, и вышел во двор. Во дворе никого не было. Он огляделся по сторонам, надеясь, что они зашли в тень густых липовых деревьев. Под деревьями было пусто. Тогда он побежал к песочнице. Мокрый песок был похож на пластилин черного цвета. Колька начал расковыривать его перочинным ножом, но ничего, кроме

детской лопатки, не обнаружил. В ужасе он отбросил ножик в сторону и даже не пожалел о нем. «Где же они?» — заколотилось в нем так, словно кто-то начал стучать в живот барабанными палочками. Он чувствовал, что они где-то рядом, ждут его, но как найти их, не знал. Кольку охватил страх. Он принялся бегать по двору, плача и задыхаясь.

— Мама! — закричал он.

Гулкое эхо подхватило его голос, и каждый кирпич простонал вслед за ним: «Мама!».

На пятом этаже зажегся свет, из открытого окна высунулась какая-то женщина и перегнулась через подоконник.

— Мама! — надрывался он. — Мама моя!

В доме переполошились. Теперь свет горел почти в каждом окне, и из всех окон смотрели люди. Колька кричал и кругами бегал по двору. Иногда он спотыкался и падал, но тут же вскакивал и, не замечая боли, бежал дальше. Наконец, в самом последнем окне, на восьмом этаже, появился Скворушка с бутылкой в руке и голосом, от которого в Кольке остановилась кровь, сказал:

— А я уже иду, иду! Одеваюсь!

Колька упал на землю. Захлопали подъездные двери. Он понял, что все эти люди уже близко и сейчас схватят его. Тогда он собрал последние силы, чтобы еще раз позвать ее:

— Мама!

Яркий горячий свет накрыл его собою, как одеялом. Колька понял, что это она. От счастья он вскочил на ноги, но тут же резкая боль в груди бросила его обратно на землю. Дышать стало нечем, но мама была тут, она легла рядом с ним и принялась гладить его голову. Колька успел почувствовать, что становится совсем маленьким, размером с куклу, и обрадовался, что теперь маме будет гораздо легче, — она просто возьмет его на руки и унесет.

Так и случилось.

Когда она уходила по двору с младенцем на руках, во двор въехала Скорая помощь. Она показала на нее глазами двум женщинам, которые шли с нею рядом. Тамарка-Бакинка мстительно улыбнулась при виде белой машины с красным крестом на боку, а Петрова мать только покачала головой. Ни одна из них не стала смотреть на то, как санитары закрывают простыней маленькое скорчившееся тельце.

Они улыбались новорожденному, который сонно смотрел в ночь молочными глазами и еще не понимал, что с ним происходит.

СМЕШНАЯ ЗИМНЯЯ ПРОМАШКА

* * *

Ну что ж, начнем. Эпоха Водолея,
Магнитных бурь и власти безмятежной,
Дырявым ветхим знаменем белея,
Уже почти слилась с равниной снежной.

Никто не пишет повесть лет текучих,
Конечно, временных. Святой отшельник,
Попав из кельи в братство невезучих,
Скрижали отложил на понедельник.

Но воскресенье длится без вечерни,
Как будто храм себя обороняет,
Росток дочерний на потеху черни
Увядавший стволлик мощно обгоняет.

Магнитных бурь эпоха Водолея,
Переживем, потерпим, перескочим,
Еще темна ветвистая аллея,
И это ненадолго, между прочим.

* * *

Морщины — зубчики на шее старой лампы,
Клеенка мокрая, и кактус не цветет.
Как упоительно, не дожидаясь рампы,
Смеяться, зная все слова наперечет.

**Надежда
БОЛТЯНСКАЯ**

— родилась в 1963 г. в Москве. Окончила Московский инженерно-строительный институт в 1986 г. Член Союза писателей Москвы. Автор двух сборников стихов — «Я из породы длиннокрылых» (М., 1996) и «Пьяная ртуть» (М., 1997), а также ряда публикаций в «Гранях», «Неделе» и др. изданиях. Живет в Москве.

Не убаюкиваясь крепким нозепамом,
В стихах выдумывать письмо — и не послать.
Предосудительно с родным простившись хламом,
Пустые полки, как упрек себе, держать.

Все это ночь. Ночами снятся супермены
Из детективов производства Ю Эс Эй.
От затянувшейся нешкольной перемены
Мне не становится ни ярче, ни теплей.

* * *

... И сотни тысяч матерей
Прощали детям неудачи,
Простой пожизненной задачи
Найди решение скорей.

Петь дифирамбы или выть,
Жить, стиснув слабенькие зубы,
Когда ж в мозгу затихнут трубы,
Любимой маме позвонить.

Давно прощения прошу,
И снова норов нараспашку,
Вовсю скандалю, рву рубашку,
Ору, отчаянно грешу.

* * *

Вдали от жгучей мостовой
Упьемся сочною травой,
Где пули-оводы летят,
Где пулеметный треск цикад.

Пронзив осколком солнца грудь,
Продолжим свой росистый путь,
Страна невыплаканных слез
Вдали белеет не всерьез.

Еловых шишек канитель,
В бору колючая постель,
И, как утрата всех наград,
Пустых бутылок свежий склад.

Амстердам. Впечатление.

Фальшивый дым марихуаны,
Небрежен глянцевый мулат.
Бывают северные страны,
Где ты изменчив и крылат.

Дождинок капли над каналом,
Мы тихо, медленно плывем.
Покорным штилем, а не баллом,
Живет продольный водоем.

Там, сверху, — бешенство, веселье,
И снова запах гашиша.
Закрой глаза, не пробуй зелье,
Пройдем на площадь неспеша.

Запомни Рембрандта седины,
Ван Гога ярость и жару.
Затянут топкие перины,
И грянет колокол к утру.

* * *

Учиться одиночеству в толпе,
Стоять струной на каменном столпе...
Тяжелый флирт — еще и не роман,
Когда слова сквозь рот и шиш в карман,
Глухие телефонные звонки,
Автоответчик давит на виски,
Английский дурен, шепелява речь,
Пожалуй, смыслом можно пренебречь,
О, как я ненавижу телефон,
Армированный кнопочный бетон,
Наукой овладев пренебрегать,
Голландцев начинаю постигать,
Когда они молчат, молчат, молчат,
И вдруг, как мы, без умолку скворчат,
Изголодавшись в чаще немоты
И с иностранцем перейдя на «ты».

* * *

Кошачьих лап намокшие следы,
Когтистых пятен вьется перфолента,
Смешная дрожь оттаявшей воды
В тревоге предзакатного момента.

Он не умрет — дряхлеющий квартал,
Старух, ворон, студентов заповедник,
Щербата пасть — бульдозера оскал,
Еще в коляске будущий наследник,

Наследник обветшалых тополей
И ноздри забивающего пуха.
Герань в окошке вовремя полей,
Полы помой и не реви, старуха.

* * *

От бесчисленных дрязг
Только грохот и лязг,
Снова искры из глаз,
Снова жизнь напоказ,
Безразличие слов,
Мимолетность слогов,
Кто ты — старец, юнец,
Эмигрант, наконец?
Позабывших обид
Унизительный стыд...
И ложишься в кровать
Томик Гёте читать.

* * *

Живя во власти вязкой лени,
Больное тело не кори.
И снова белые ступени
Хранят от цепкой дребедени.
Сливайся, слушай и смотри.

Годится ль истинная рана
Для гармоничной красоты?
Глядь, из древесного тумана —
Не честолюбие Ватикана,
А лики, сдержанно просты.

Теперь невзрачные заботы
Не столь понятны, сколь ясны.
Тоска, бессмысленные взлеты,
Ехидство шуток, слов длинноты,
Минуты светлой тишины.

* * *

Смешная зимняя промашка,
Молчаньем отозвался тост.
Блестит граненая стекляшка,
Увы! На мне одна рубашка,
А впереди — Великий пост.

Глаза блестят, глаза сухие,
Уж больно слезы нележки.
Чудные, разные, плохие,
Непроходимы дни глухие
И ночи, смыслу вопреки.

Согреет вздрогнувшее тело
Тепло заветного креста.
Сорвав рубашку — что за дело! —
Гоню невзгоды неумело
И жду Великого поста.

В ДВУХТЫСЯЧНОМ ГОДУ...

1.

А.Баденкову

Просматривая ветхие тома,
я не ишу спасительных подсказок.
Мой опыт безнадежно-однообразов.
Абстрактен, как свобода и тюрьма.
Я перестал что-либо понимать
в героях дня, в метаморфозах наций,
в цикличности бунтов и коронаций,
в словах: импичмент, кризис, компромат...

Просматривая ветхие дома,
я не могу найти чердак и выход.
Мой путь наружу из ошибок выткан.
Блажен, кто невзначай сошел с ума.
Любимый пес двора — глаза навывкат,
вчера пролаял: В городе зима!

Ошибся пес. Осенних похорон
не кончился сезон преступно-яркий.
За чернильным окном — горьковатый дымок Пролетарки,
а под ним субмарины до боли знакомых ворон.
Я жил в Нью-Йорке, а теперь в Москве —
все возвратилось на круги своя недавно.
Что-либо понимать в своей судьбе
я разучился, а в чужой подавно.

Просматривая новые глаза,
я не надеюсь обрести в них света.
Я наложил на ожидания вето
и прошлое спустил на тормозах.

**Сергей
ШАБАЛИН**

— родился в 1961 году в Москве. В 1977 году вместе с семьей уехал в США, где кончил в Нью-Йорке художественную школу. В 1997 вернулся в Москву. Стихи публиковались в журналах «Время и мы», «Новая Юность», «Побережье», «Встречи» и др. Автор двух сборников стихов (1995 и 1999). Живет в Москве.

И все смешав: асфальт и облака
я горизонт назвал одним из флангов.
Но продырявив сумрак бумерангом,
покинул место звездного броска.

2.

Не мое

Морды НЕ МОИХ коней
Целовали НЕ МОЮ весну.
Крики НЕ МОИХ детей
Разбудили НЕ МОЮ жену.
Рокот НЕ МОИХ стихий
Город сотрясал с утра.
И писал я НЕ СВОИ стихи,
Но не мог остановить пера.
Я захлопнул НЕ СВОЮ дверь
И пошел платить НЕ СВОЙ долг
На окраину, где низ — верх,
Вероломность и цепной дог.
Долго рылся НЕ В СВОЕМ белье
И заглаживал чужую вину.
И просроченный купил билет.
И вернулся НЕ В СВОЮ страну.

3.

Я потерял тебя...

Я потерял тебя в убогом каждодневье.
В стране сытых желудков и некормленных чувств.
В стране, в которой общаются по инерции
И никто никому по сути не интересен.
Ты была спасительным несоответствием
В кожанке а ля «секс пистолс»
И с оранжевыми зайчиками в солнечных волосах...

Я бросился искать тебя в бары восточного Вилледжа,
Но ты жила в них весной 89-го, а сегодня зима 97-го —
Много империй, дружб и смертей утекло с тех пор.
Как разжалованный дирижер, я вслушивался
в звуки уличного оркестра,
Но он безнадежно фальшивил без твоей первой скрипки.

Каркасы сгнивших догм,
отживших мифов сор.
Прокуренный шофер
их сгрузит в тишине
На пустыре эпох
и выключит мотор,
Увидев новый век
в забрызганном окне...

5.

Вечер пишет постскрипtum. Прощальное солнце в пике.
Засыпающий пляж натянул одеяльце тумана.
Конференции чаек на забрызганном солью песке.
Оратории океана.

Керамический лайнер топорщит трехцветный закат.
Я лежу на спине, изучая воздушные трассы.
Я уже отсчитал свой тридцатник на грешных песках,
И провинции неба теперь не пугают пространством.

Хорошо жить на пляже, бежав от локтей и лото.
От кривых Доу Джонса,* нелепости вечных цейтнотов.
Спать под стойкою пирса и пламенно верить в ничто.
В отрицание смысла... Да только не верится что-то.

Мои мысли о них — о камнях отшумевших лавин,
Чародеях-строителях в небе потерянных лестниц.
Непростительно трезвый — я завидую им.
Как несбывшийся хиппи последней декады столетья...

6.

Серые таганские дворы.
Отчуждивших лет шемающий рокот.
Складки трещин над бровями окон
И подъездов камеры-миры.

Штабеля невымощенных дел.
Сгорбленных прохожих обслонявив,
Псина-дождь о жизни прохрипел
И сказал, что Родина линяет.

* Биржевой показатель

Я покинул станцию Нью-Йорк,
Что конечно редко, но не ново,
И под ливнем прошлого промок
В сумерках Большого Дровяного.

О жестянки вымаранных крыш
Я тушил безвременья огарок.
И ворон изверившихся крик
Собирал по раковинам арок...

Оставайтесь живы до поры!
Не спешите в чад заморских кухонь.
Серые таганские дворы,
Где гуляет осень-потаскуха,

Где изрытый оспой истопник
Разливал горячее портвейна, —
Я смотрел почти благоговейно
На его кирзовые ступни...

Я тогда на многое смотрел
Празднично, по-детски, без озноба.
... Но последний гонг уже отпел
Сумерки Большого Дровяного.

7.

Горняк

А.Еременко

Патриаршие пруды безлюдны зимним утром.
Но спуститься можно в магазин за пивом
И украсть у юной продавщицы полминуты,
Что-то о погоде бормоча неторопливо.
А потом подняться на седьмой этаж и спешно
Затопить ершом желудка злую шахту.
Это не особенности творчества, конечно.
Так... издержки зимнего ландшафта.
Что за маета на Патриарших?
Ни мечты, ни музыки, ни дома.
Как горняк сложившийся и старший
Расскажи про Эверест, Ерема...

Альпинизм — это грань шахтерства.
Над твердыней тихая победа.
А «полета вольное упорство»
Иногда проходит так бесследно.
Сувенирным скальпелем из глины
Трудно демонтировать кладбище,
На котором из щелей могильных
Рвется жар — предтеча пепелища.
Детям карантинных лет России
Было не до лирики однажды.
Ведь бушлат демисезонно-сизый
Не заменишь смокингом бумажным.

8.

Рязань

Когда Москву утюжит солнце ревностно
В Рязани дождь угрюмо-проливной.
В рязанях не загадывают ребусы,
Которые решить не суждено.

Суровый вождь над треугольной площадью
Ласкает сердце вечностью совка.
Бельишко так не рыночно полощется
За рыжим торсом бывшего ДК.

В неведеньи есть толика спасения.
Здесь не прижилось слово банкомат.
Зато есть водка имени Есенина,
Но не высокой пробы, говорят.

Последний пел посконную Рязанщину,
Но устремил в столицы паруса.
В начале это было партизанщиной —
Художнической выходкой С.А.

Потом не состоялось возвращение.
Не ступишь дважды в тот же наворот.
Хотя — Рязань живет не по Есенину...
Бог только знает, чем она живет.

Есть высший сюр в уездности без примеси,
Когда не виден взлет и мягок скат.
В Москве режут финансовые кризисы.
В Рязани — небо, а под ним тоска.

А также осень безучастно-желтая.
И Кремль в укусах от татарских стрел.
Центральный рынок. Смертные с кошелками.
И несколько поэтов не у дел.

Здесь не играют в горе-коалиции
И в горны из картона не трубят.
Привет тебе, российская провинция,
Терпящая столицу и себя.

9.

Фиолетовые кони

Латунный месяц, как клинок, упруг и тощ,
Бесшумно обезглавил рыжий полдень.
А по хрустящим половицам рош
Гуляют фиолетовые кони.

Они пьют юность из распахнутых озер,
Колдуньи ночи ветреные братья.
Хлысты, подковы, седла ... что за вздор?
Конь создан не для сбруи, а для счастья.

Пусть говорят, что в мире мира нет,
И телероботы о кризисах долдонят.
Вдали от революций, бирж, ракет
Гуляют фиолетовые кони.

Им непонятен наш кадящий ад
И жалкий перечень страстей и страхов наших.
Они, как ангелы, в безвременье летят
По фейерверкам новорожденных ромашек.

В грохочущих цунами смутных лет
Мятежный лайнер духа не потонет,
Пока по этой измордованной земле
Гуляют фиолетовые кони...

BLUE VALENTINE

История одной любви

Жертва Богу дух сокрушенный...

Пс. 50: 19

От автора

Жара, Москва купается в огне распростершихся над ней африканских циклонов — и это после майского снега — везде открыты окна и, заглушая рев машин, из магнитофона несется: «...А вокруг белым-бело, и снегом замело...».

В этих противоестественных условиях я пытаюсь писать роман...

Эту историю мне рассказал один приятель. Обычная история. Про ломки. Он рассказывал, чтобы чуть-чуть развеяться. И еще потому, что мысли были странны и вряд ли пришли бы ему в голову в других обстоятельствах. Было сильно больно, он говорил, и он что-то разглядел, что обычно не видно. Это мне показалось интересным. Впрочем, как кому.

В доме с окнами на явь —
Птицы в небесах рассвета...
Жизнь метнулась за края,
Как несчастный с парашюта.

I. Приближение к истории

Его благополучная жизнь продолжалась год — и кончилась катастрофой. Не благополучной жизни, но всего сразу. Столько лет худого и невзрачного быта не смогли сделать того же.

В этом была и его вина... Хуже того — тысячу раз он сам торопил развязку. Теперь он понимал, как все это было не серьезно. Вообще много понял: что не надо спешить ломать тех, с кем довелось жить... Странно, он ведь знал это и раньше, кажется, он *всегда* знал это. Но

**Александр
ВЯЛЬЦЕВ**

— родился в 1962 году в Москве. Учился в Архитектурном институте. Печатался в «Знамени», «Континенте», «Независимой газете», «Литературной газете», «Юности», «Огоньке» и других литературных изданиях. Живет в Москве.

принимал не за счастье, а за обузу, и в мистерии видел обязанность и ошибку. Вообще, банальные мысли оказываются самыми верными, а сложные конструкции распадаются. И получил то, что он тысячу раз хотел. Он попался на иллюзии ненавистного ему постоянства и собственной неуязвимости. Его слишком большие запросы железным образом привели его к *разбитому корыту*, под крышу дома, откуда он когда-то двинулся в путь, и если бы не уверенность в возможности временно укрыться в вине и географии — надо было бы довести сюжет до конца, потому что выход ему не виделся.

Во всяком случае *сюжет*, опыт... Про какие-то вещи отныне он сможет говорить не понаслышке. Если сможет их сперва пережить. В общем, он наконец столкнулся с *жизнью*, от которой был всегда отделен ваткой... Прежде его мучили мерзавцы и чужие. Теперь предали свои и самые близкие. Это большой опыт.

Захар стал вспоминать все, что предшествовало катастрофе, их последние два месяца, шаг за шагом.

Он гулял один по мокрому заснеженному городу, наслаждаясь лучшим собеседником, уверяя себя, что так проще всего. Ни подруги, ни знакомых, ничего, что отвлекает от созерцания бессмысленно проходящего времени. Это было весьма поэтическое настроение. Все, что с ним сейчас происходило, давало пищу, растравляло обиды, а значит, имело отношение к стихам. А это и было его теперешнее дело. Он читал стихи и о стихах, бубнил их, гуляя по ночам с собакой. Писал о них. Мир был настолько неадекватен ему, что почти фантастичен. И он был рад всему небывалому и жаждал странности и небольших неопасных взрывов.

Желание сочинять родилось в нем давно. Это была актуализация небывшего, но как бы разлитого во вселенной, проявляющегося только на уровне мысли, попавшее в книги, словно в каббалистическую ловушку. Это все-таки была свобода, зона неподчинения. И он как наркоман или истинно верующий жил в своем мире, где создание текстов важнее их публикации. Да и времена тогда были малорасполагающие к обнаружению себя в пространстве. Он хорошо помнил то время, когда реальности, собственно, не было, а была вымороченная до последней степени дрянца.

Он ни с кем себя не сравнивал, не спрашивал чужого мнения, думая, что делает свое дело. Наверное, в двадцать или двадцать пять лет это было допустимо. Но однажды наступает возраст, когда всякий русский невrastеник начинает вспоминать, что Лермонтов уже энное количество лет в могиле, а трубы славы все еще не режут слух...

Он слышал про этот кризис тридцатилетних, и что некоторые даже кончают с собой. Захар не чувствовал никакого позыва к этому. Бли-

зость смерти и отчаяние вдохновляли его, но скорее как опасный инструмент, чем как единственный выход. Наоборот, он был уверен, что все делает правильно. И если бы не Оксана...

...Оксана иногда очень скептически на него смотрела. И при этом хотела, чтобы он просматривал ее материалы и критиковал (а лучше хвалил). Кое-что они даже делали вместе. Отчасти в угоду ей, отчасти из-за возможности хоть что-то заработать он стал окучивать журналистику. Дело это было немудреное и довольно приятное. Суть была в правильном соотношении фактов, дерзости и блефа, чтобы получалось неглубоко, но ярко. Труды его вызывали определенный интерес, и он то возмнивал о себе что-то, то впадал в уныние. Ибо не прекращались звонки ее знакомых мужчин, писателей, издателей, коллег, и Оксана часами выслушивала их похмельные исповеди — где, с кем и почему они пили, с кем спали, и кто их обидел — учила жизни, объясняла женскую психологию (тем, кто интересовался не мальчиками), уговаривала не расстраиваться (тем более, что поводы всегда были смешотворны). Они приглашали ее в гости, в кафе, в путешествия, открывали ей свои замысловатые сердца. Она забавлялась и наслаждалась всем этим, как редким блюдом. Да, эти воркования могли длиться часами, а Захар сидел в другой комнате, совершенно забытый. И это была лишь верхушка айсберга: Захар мог вообразить, что творится на работе. После этих разговоров Захар испытывал глубокое чувство неполноценности.

— Скажи, как я вообще на общем фоне? Ну, по сравнению с теми, с кем ты общаешься (на ее радио)?

Она улыбается:

— Не волнуйся, ты тоже из *нашего* карасса.

Из «нашего»... Любопытно бы знать, кто еще в него входит? Но зачем спрашивать очевидные вещи, да и поза ревнивца была ему не к лицу.

Ему были по вкусу иные роли... Было время, он попеременно изображал из себя профессора, бродягу, какого-то эстета или артиста... Но самым ужасным был образ *свободного человека*.

— Да кто же ты? — спрашивала его Оксана. — Скажи мне, чтобы я успокоилась, чтобы я знала, что меня ждет?

А он отказывался определять себя. Личины он избирал лишь потому, что был неспособен играть самого себя. Он считал, что его не существует *в мире объектов*. Реально он существовал лишь в своей субъективности. В этом тихом, надежном, недоступном месте, словно в оранжерее или в загородном саду произрастало его капризное одинокое «я». Не имеющее имени, лица и предпочтений. Ничем не детерминированное. Выбирающее то или другое как иллюзорный способ существования.

Новый Год прошел обычно, важным семейным делом, маленькой пуританской коза нострой, исполнение предписаний которой в окса-

ниной семье строго соблюдалось многие годы, с неизменными, положенными этому дню развлечениями, когда ты твердо находишь свой стул, с которого не слезишь часов шесть, и входишь в новый исторический этап обожавшимся и отупевшим.

Захар утешал себя спиртным, из полуоткрытого окна дуло — и наутро, после бессонной ночи и вина, почувствовал расплату. От похмельного нездоровья он перешел в прямую болезнь.

Болезнь — ощущение своего ничтожества и слабости. И все же отрадное ничегонеделание. Свобода от реальности, на которую ты имеешь официально зарегистрированное право.

С точки зрения Оксаны, Захар злоупотреблял этим правом.

— Я уйду на работу: кто будет гулять с собакой?

— А Кирилл?

— А если он задержится на улице?

— До восьми часов?

— Ну, а если?

Чтобы не мучиться никакими *если*, он пошел гулять с собакой сам.

Даже собаки не проявляют полную любовную доступность. Розанов думал, что государства образовались из склонности женщины проституировать. Закон и традиция стоят на пути вседозволенности, охраняя природу с одной стороны и свободу — с другой.

Недоступность женщины (и друг друга) — врожденная, благоприобретенная, — спасает мир от хаоса. Это его радовало, как лисицу ее виноград.

В Рождество, утешавшее за обыденность Нового Года, наметилась определенная хаотичность мира. Красивые женщины, вино и музыка породили то, что эрос стоял в полный рост. По полутемной комнате с гремящей музыкой скользили чудесно одетые девушки, и классический сексуальный интерес и ощущение вседозволенности летали за ними тенью. И еще танцы, как способ выразить симпатию и максимально приблизиться к интересующему тебя объекту, не нарушая приличий.

Последнюю гостью Захар провожал до метро. Захар никогда не был влюблен в нее, но сегодня она была необычайно красива, и он вдохновенно ей что-то болтал всю дорогу. И на прощанье они поцеловались, словно договариваясь о последующих действиях. В этот пьяный вечер все казалось возможным.

Праздники, дни рождения — моменты, когда исполнялись «тайные» желания. Может быть, поэтому он и боялся *компаний*, что человек слишком увлекал и обманывал его наивную душу. И еще — слишком велика была разница между этой дионисийской мистерией и завтрашней реальностью, где не было места слабости, доверчивости и открытости. Только война: честная, беспощадная, по-своему славная.

Его мимолетные, фантастические, никого ни к чему не обязывающие «влюбленности» — наверное, давали его жизни некий тонус (тоже, наверное, фантастический). И, чем недоступнее дичь, тем больше азарт охотника. Пусть он с самого начала понимает, что цель, усилия и жертвы не стоят того.

Наоборот, он жил последнее время младенчески целомудренно, и эротики в его жизни не было даже во сне. И все же надо держать себя в форме, то есть завоевывать и сражаться. Иначе — болото, тоска и жалкие сопли неполноценности.

Женщина для него, как и для многих мужчин, была зеркалом, в котором отражались его достоинства.

А «достойнством» было с избытком: он был богемой, уже довольно известным писакой во второстепенных жанрах. Он бывал в ударе, он произносил амбициозные и дерзкие пассажи, мужья уже ревновали к нему своих жен. И только сам он понял, и то гораздо позже, что в том, как он аранжировал ситуацию, было что-то мазохистское, самоненавистническое.

Погода была все так же плоха, денег было все так же мало, но в жизни намечался какой-то прорыв. Может быть, поэтому вот уже полгода он испытывал некую *примиренность* с этой самой жизнью. Удивлялся и поражался себе. Не то долгожданная мудрость жизни, не то равнодушное ее отсутствие. Ведь он умел только писать.

Захар восхищался самодостаточностью людей, например Даши, для которых «творить» значило болтать, делать подарки, ходить в гости и вызывать устойчивое желание себя видеть.

Есть много видов «творчества»: у плиты, в болтовне, в танце, на теннисном корте. Творящий лишь за столом — ничтожен.

И его угнетала мысль, что он совершенно исключил себя из жизни, окружив себя вторичными вещами, то бишь идеями — и в их мире и существует. Он стал худшим филистером, чем какой-нибудь марбургский философ. Встречи с реальным были сокращены до минимума. Он жил будто в камере обскура или являлся персонажем китайского фонаря. Он обложил себя ваткой и ничего-то ему, как Обломову, не надо и никого-то он не хотел видеть (кому нужно — сам придет).

Наверное, пришло время сесть и истребить накопленное в сделанном. Только уж больно долго сидит. Не прирасти бы к стулу...

Или какой-нибудь бешеной страсти. Там тоже свои небеса и их познание.

Значит, бросить все, бежать? Тогда-то, разрушив все — он чего-нибудь достигнет, то бишь напишет!

...Они долго мечтали об этой квартире, нервничали, бегали, отчаивались. Воображали, что здесь, в отдельной, заживут неким идеальным

образом, так что даже Москва станет сносна. Тогда это было главным: получить место для жизни. Выбор был невелик, а терпения не было вовсе. И вот они получили симпатичную квартиру, где были кривые полы, падала штукатурка, соседи сверху текли, соседи сбоку оралы, и вольготно здесь себя чувствовали лишь мыши и тараканы.

Вот и теперь выполз один большой на край раковины в окружении молодняка, словно броненосец в окружении эсминцев... Может быть, потом Захар будет о ней жалеть. Если что-нибудь *потом* будет.

...Последнее время он жил с ощущением назревающего землетрясения. Мир менялся на глазах. Дело было даже не в том, как менялся внешний мир. Что-то происходило с ними со всеми. Он видел, что Оксана неудержимо дрейфовала в сторону от его жизни. Все менее нуждаясь в нем как в партнере и собеседнике, в явном противоречии с тем, что он думал о себе сам и даже с тем, что говорили ему другие. Еще одним камнем преткновения было их разногласие в методах воспитания Кирилла. Ее методы воспитания были просты и единообразны: пассивность и всепрощение.

— У меня один ребенок, и я хочу, чтобы его жизнь была как можно счастливее.

— Ограждая его от сложностей, ты лишь вредишь ему.

— Я сама ненавижу сложности, и не хочу, чтобы они были у других. И не ты ли проповедуешь сложности, а сам себя во всем щадишь?

Во *всем* — это значило, что он не так зарабатывал деньги (деньги, конечно, незначительные). Он не пил, не шлся по приятелям, покупал и готовил еду, строил дачу, учился водить машину, отрабатывая свою «свободу», так раздражавшую Оксану. На четвертом десятке лет она вдруг поняла, что есть поведение «мужское» и «не мужское».

Не раз уже он хотел все бросить и уйти. Однажды они расстались почти на полгода, но это было давно. Последнее время его хватало на сутки или двое, жить без нее, в грозной ярости и обиде. Так было прошлым летом... Если бы у него тогда хватило сил.

Он ехал на дачу, ничего не видя вокруг себя, с тихой ненавистью ко всему человечеству.

Обида фокусирует зрение в одной точке. Ничто не смеет отвлекать ее от самой себя.

«Неужели лучше рабство, но с теплом и светом? — думал он. — Этот тепленький ад, где накапливаются годы и ложные положения? Ах, эти наивные богословы, рисовавшие ад жутким местом с зубовным скрежетом! Ад именно место тепленькое, место удобненькое, поэтому его можно терпеть вечно. И никогда не решиться на холодный воздух свободы. По многим причинам...

Может быть, ты ответствен за ложные состояния, из которых сложилась твоя жизнь, и ты не смеешь разрушить это — просто потому,

что ты *нравственный человек*? Нравственный человек не имеет права быть свободным. Он всю жизнь платит за ошибки многолетней давности. Что за сила нужна, чтобы отказаться от тяжести и лжи своей жизни! Бердяевский конфликт свободы и жалости.

И даже сказав жестокое «нет» — что дальше? Где тот рай, где ты мог бы жить спокойно и твердо? Жизнь дотягивается до тебя всюду — и вдруг понимаешь, что выхода нет — и что смерть — это, может быть, именно то, что ты ищешь.

И однажды ты убеждаешься, что не можешь заставить мир жить по-твоему. Вы не приемлете друг друга и не уступите друг другу ни дюйма. Ты будешь идти на маленькие обманы и компромиссы, чтобы избежать большого обмана. Ненавижу компромиссы! У каждого своя правда, и он вправе защищать ее вплоть до собственной смерти. Смерть оказывается самым простым и, в общем-то, неизбежным выходом для тех, кто не хочет знать компромиссов. Жизнь — не политика. Жизнь — вызов. И только право на смерть доказывает твою свободу.

Чтобы жить *правильно* — надо быть жестоким: с собой и с другими, отменяя все промежуточные, неистинные сущности. Надо отсекал недостоинные тебя ситуации, всегда четко зная — чего ты хочешь, что ты имеешь право хотеть.»

...Но проходили дни, и обида ветшала, кинжальное зрение расфокусировалось, он начинал видеть жизнь иначе, теплее, уязвимее. Прежнего пафоса обиды уже не доставало, чтобы отказываться от мира и своей прежней проверенной, как-то сложившейся жизни. Появлялся соблазн простить другого и, напротив, винить себя за излишнюю суровость и прямолинейность. Он вдруг ощущал, что никого у него нет — кроме этого человека, оставленного где-то в холодной плазме непонимания. И Захар возвращался, они обнимались и все прощали друг другу. И жизнь начинала свою новую спираль лжи или правды.

Анализируя свои неудачные уходы, Захар понял, что дело застопорилось из-за малого: он уходил от кого-то, а не к кому-то.

Весь день он жал на газ, как заправский битник — первый раз с законными, новенькими, несколько дней назад полученными правами. Отвез Оксану в Кунцево (решили дать друг другу отдых). Шел веселый рождественский снег. На мокром белом шоссе машину с лысой резиной вело, словно Пьяный Корабль Рембо.

На следующий день в непроходящем угаре он рванул на машине на дачу... Хотелось событий, хотелось каким-нибудь образом отметить что-то взрывающееся в его жизни.

Сказал ей:

— Может, претензии ко мне не от того, что плох, а от того, что твое сердце занято *чем-то* другим?

— Нет, — возразила она, — не обольщайся. Думаешь, так снять с себя ответственность?

...Чуть отъехал, с ним случился небольшой инцидент, который он не воспринял как предупреждение: на ледяной горке поехал не вверх, а вниз и уткнулся в прижавшегося сзади такого же «жопера». Лишь слегка погнул ему номер, и в качестве извинения объяснил хозяину как проехать на Подкопаевский.

Уже подъезжая к поселку, завяз на горке в снегу. Ни вперед, ни назад. Эти судороги привели лишь к тому, что он посадил аккумулятор. Вылез, пошел с собакой к даче (взял ее как на грех, думал ночевать), пробивая путь через глубокий нехоженный снег. Было сразу и мокро, и холодно. Засыпанный снегом поселок казался мрачным и необитаемым, да и был таковым. Собака тонула в глубоком снегу, скулила и не хотела идти дальше. Он и сам не хотел.

В дом он заходить не стал: уже темнело и снега по пояс. Поспешно двинул в город за помощью. Ему повезло: на площади у автостанции зацепил роскошный трехосный «Урал» размером с дом: он его как пушинку вытащит...

Потом в темноте шесть часов вдвоем с водителем «Урала» «Урал» этот злосчастный откапывали. Первый раз, когда он попытался объехать захаров «жопер» слева — и завяз по колеса (зима невероятно снежная), второй раз — когда попытался справа: самоуверенный «Урал» ушел в снег почти целиком, как в болото. Прокопали перед ним путь, возведя по краям сугробы в человеческий рост... Мокрый тяжелый снег. Все, говорил он себе, не могу... Лопата падала из рук, пот рекой, задыхался, как от долгого бега, легкие с кровью рвались сквозь горло, мокрая собака скулила в машине, как испуганный младенец. Он был уверен, что это был самый большой фак в его жизни. Но «Урал» прошел...

Развернувшись, он стал брать горку с Захаром на хвосте — и забуксовал на вершине холма. Черный снег и копать из под его крутящихся вхолостую колес накрыли «жопер» тучей. Еще секунда, и он сорвется на Захара (как утром Захар на «жопера»). И тогда Захар помолился... Медленно-медленно «Урал» преодолел горку, а потом просто тащил его, с севшим аккумулятором и неработающим стартером по дороге, пока «жопер» не завелся. На обратном пути он уже не останавливался на светофорах и, собрав мозги в точку, искал сквозь залепленное стекло приметы дороги. Поздно ночью, мокрый, одревеневший, Захар ввалился в квартиру.

Потом выяснилось, что перегорел какой-то толстенный электрический кабель — отчего машина запросто могла сгореть. Как же он ехал без этого кабеля? Захар уверился, что его возвращение было чудесным. Несомненность милости была столь очевидна, что, полагал он, он доехал бы и без двигателя. (Захар думал, что все плохое в его жизни позади. А его лишь баловали и давали отсрочку.)

...Захар пил портвейн, оставшийся от праздника, слушал музыку и печатал на компьютере. Что ему мешало жить так с самого начала? Интересно, на долго ли его хватит? «Творчество — форма моего умирания,» — выводил Захар. (Он чего-то ждал, к чему-то готовился... Счастливому, ужасному? Кажется, он был на переломе жизни, переломе горы, и вот-вот покатится. Если не теперь, то когда? Лучшей возможности не будет.)

Свобода, новая любовь — и то и другое казалось ему отрядным. Он уже отмотал свой срок и выплатил все долги.

Кроме того: не надо было готовить еду, убирать квартиру. Оксана была страшная неряха, и все всегда в квартире лежало вверх дном, давно забыв места своей жизни.

Легко говорят о достоинствах только тех людей, чьими достоинствами не боятся соблазниться. С древности повелось: не называй ни имя Бога, ни имя беса...

Захар никогда не говорил о *ней*, и не хвалил ее. И не ждал ответных комплементов. Но запах ее духов его мучил. Кажется, он влюбился в них раньше, чем в нее саму. Влюбился?

Но последнее время он казался себе совершенно свободен. Надо спросить и с того человека, который давал ему эту свободу. Который приходил домой все позже и позже, молчаливый, со светящимся тайной радостью лицом, и утыкался в компьютер, играя до трех ночи в пасьянс, а потом отворачивался к стене. Они честно прошли вместе долгий путь, но когда-то и великие друзья расстаются у некой роковой развилки, осознав возможность по-новому осуществить идею пути. Жизнь одна, и хочется испытать все ее варианты.

Варианты, конечно, одолевали... Он сидел один дома, никто не звонил. И он никому не звонил.

Когда тобой долго никто не интересуется, начинаешь жалеть себя и появляется сильный соблазн впасть в ничтожество.

А ничтожество не способно на подвиг измены. На измену способен лишь великий эгоизм.

Неумение броситься в омут — его творческий недостаток. Омут страсти, порока, игры — дал бы ему опыт и сюжеты. Он же считал, что нет человека, который бы стоил его души. Что здорово для философа, для беллетриста — смерть.

Ему совершенно нечего было делать. Вся его работа — раз в неделю выкидывать материал на *ее* радиостанцию (уже почти их домашнюю). Отклонения от графика так же ненаказуемы.

И вдруг раздался звонок, от которого у него похолодели руки: Даша спросила его, не будет ли у него времени взглянуть на компьютер ее подруги, в котором что-то там сломалось?..

Они скользили по мостовой от метро Академическая, он держал ее под руку. И вдруг ему пришло в голову, что они идут их первые шаги вместе, и он теперь точно знает, на какую развилку свернет и с кем.

Мир вдруг стал ярким и звонким, будто в окно вставили цветные стекла, и Захар стоял в столбе цветного света, словно почувствовавший истину, когда женщина, может быть, на пять минут, становится богом...

Починить компьютер ему не удалось, да он и не мастер. Зато на кухне они долго говорили с Дашей и подружкой о якобы невозможности для компьютера заменить реальный мир (столь довлеющий). Захар не стал спорить, ссылаясь на личный многолетний опыт общения с этой напастью, когда, выходя на улицу, хочется найти кнопку, чтобы вызвать на экран запаздывающий троллейбус. Сказал другое: для философа или психоделического путешественника мир — иллюзия, сновидение, покрывало майи. Так во сне или выйдя из сна — реальный мир бледен и случаен по сравнению с величественным и ярким миром сна. И где правда? И после этого утверждать, что компьютерный мир — иллюзия? Но иллюзия вообще все, и не надо больших усилий, чтобы это понять.

— Не знаю, — сказала Даша, — я вообще не люблю игр, ни компьютерных, никаких. Я даже в шахматы играю не как все.

Она стала рассказывать, как играет в шахматы. Ее прежний муж всегда поражался, что все ее усилия на шахматной доске сводились к созданию непреодолимой защиты. Расставит фигуры и сидит в них, словно в крепости, не делая шага вперед.

— Я думаю, это очень верно говорит о тебе, как о личности, — сообщил Захар. — Ты сама по жизни — обороняющаяся крепость, боящаяся всякого вторжения.

— Ты думаешь? Может, ты прав, я никогда об этом не думала.

Умная подруга теперь ушла, оставив их вдвоем — поговорить об его эссе, которое он дал ей прочесть. Но у него вдруг пропало желание вести разговор об анжамбеманах. Даша была очень умна, но не специалист, и ему не хотелось тратить драгоценное время на полупрофессиональную трепотню. Зачем говорить о неглавном, когда можно поговорить о насущном?

Но как трудно о нем говорить, и с чего начать?

Он вдруг потерял всякий задор, и она, знаменитый собеседник, отходящий беседе, как спорту, тоже молчала. Не надо говорить о главном, оно может выпрыгнуть исподволь. Но сколько они ни говорили, оно не выпрыгивало. Напротив, они нарочно начали спорить и перечить друг другу, чтобы у беседы было напряжение, силком взнуздывая себя на мысли, — о совершенных пустяках, и он предложил эту тему тоже закрыть. Их гордость, их агрессивная самость была еще не способна покориться неопределенным влечениям. После этого ему ничего

не осталось, как одеться и спокойно уехать, со всей очевидностью показав себе и подруге, что они просто друзья, и никаких планов друг на друга у них нет.

Наверное, он упустил свой шанс. Ясно, у него не было опыта в этих делах: охмурять, создавать прозрачную завесу, постепенно приближаться, и, наконец, встать вплотную, так что пути для побега уже нет.

Или он мало *этого* хотел?

Он никогда не знал, когда надо переступить границу, отделяющую человека от человека, и которую могут переступить только мужчина и женщина. Когда две совершенно независимые личности, два острова в океане вдруг становятся просто мужчиной и женщиной, и с этого момента начинают умопомрачительно и неподобающе доверять друг другу, словно знали они друг друга вечность.

Лишь в благородной любви я грешен!

Увы.

Все же у него имелись мысли о некоем *своем* пути. Этот путь не обязательно предполагал одиночество. И если твой прежний спутник потерял веру в оправданность претерпеваемых невзгод, то отчего бы не найти нового спутника, более способного оболящаться абстрактными ценностями и не насущно нужными красотоми?

Но, как инстинктивно подозрительный разведчик, Захар все пытался понять: не попал ли он в руки другого разведчика, не предаст ли тот его в последнюю минуту? И он не мог этого решить.

В Даше всегда сквозила какая-то неопределенность. Закрытая на все замки, она что-то скрывала: ранимость или панический страх жизни — под видом железного самообладания и даже самоуверенности на грани высокомерия. Сегодня она была доступна и ласкова, завтра — жестка и неприступна. Иногда казалось, что она лучше всех них, иногда — хуже. Это тоже прельщало в ней, но никак не давало полюбить ее как что-то свое.

А у него все же была своя гордость и своя ответственность, не пускавшая его всю жизнь в оголтелые блуждания по кривым переулкам. Может быть, потому, что он не стремился к тому, что *просто*, в чем была очевидная сладость.

«...Я как хемингуэйевский леопард с Килиманджаро, который, конечно, не сбился со следа, потому что в этом деле нет совсем никакого пути, но который шел верно, пытаясь стать больше, чем леопард... Смысл этого утверждения, может быть, лишь в том, что я так же мертв...».

Захар думал о скуке, испытываемой рано или поздно всяким мужчиной от секса, от соседства в постели с женщиной, особенно когда жарко, не спится и тоска. Но бывают моменты, когда жена странным образом вновь становится твоей любимой женщиной... (*Она вернулась.*)

Казалось, они опять любили друг друга, надолго ли? Произошел ли перелом? Дай Бог! — думал Захар. Значит, конец «мечтам»? Пусть так. Оксана считала, что он не очень обрадовался ее возвращению. Наоборот: если бы так можно было бы избавиться от неопределенности!

Он еще ничего не знал, возвращаясь домой, встав за плиту, чтобы сделать обед, потом усевшись писать статью.

Вечером она призналась, наконец, — что любит другого, — и его, а не только его... Он давно это чувствовал. Сидела перед компьютером с отсутствующим лицом, о чем-то думая или, напротив, пытаясь забыться. И так почти каждый вечер, как другие — пьют. Он не мог больше этого видеть!

Роковая ошибка Толстого: я дурен — и вы такие же. И еще хуже, ибо не видите, а я вижу! Отсюда все глупые выводы и максимализм. Не любил Лев Николаевич человека — и не верил, думая, что смотрит на человека, а смотрел в зеркало.

Это — читая «Крейцерову сонату»... Захар читал все про «любовь» и «измену». Хотел узнать то, что чувствуют другие в *его* ситуации (а когда то — *просто* читал). Хотел научиться отрицать любовь — и женщину. Хотя «измены» еще нет — *изменила* лишь душа, не тело. Значит — изменилась душа. А он и не заметил или не хотел замечать.

Постоянная диалектика жизни: зло, получающееся из добра, смерть, выходящая из тела Брахмы... Из того, что повезло, что они встретили нужных людей, что в нужный момент оба оказались готовы, а потом много раз испытали и профессиональное и моральное удовлетворение — ныне мучительное несчастье... оставленность, неопределенность, глупость (глупое положение). С другой стороны — он и сам постарался, да и не без греха. Поэтому, может быть, не только *несправедливость* и диалектика, но и *справедливость*, и осознание некоторых вещей, и даже возвращение чувств, как всегда бывает при утрате. Положительный опыт утрат.

Он вспомнил свою молитву на склоне горы. Такого унижения еще никогда не было. Это не укладывалось в нем. Это мучило, как напоминание, что один на один он не справится с жизнью, как приближение к установлению истин простых и страшных. Он вспомнил Бердяева: отрицание Бога возможно на поверхности, не в глубине...

...Вот о чем он думал перед самым концом... Они ему устроили *День всех влюбленных!*..

II. Мертвый сезон в Батуми

Во «Внуково» бестолочь, уныние. Грязный, драный аэропорт, билет — 150 тысяч, два рейса в неделю, только «коммерческие». Да и те неизвестно — летают ли: за отсутствием топлива или пассажиров? Так все

убеждало в *постоянстве веселья и грязи*, в которой поблескивали бриллианты «свобод».

То, что самолет мог улететь позже — это понятно. Но самолет мог улететь *раньше*. Поэтому приезжать надо было за полтора часа — не ошибешься. Бессмыслица, принимавшаяся со смирением — и удовлетворением, что она не застала врасплох.

Над воротами для выхода пассажиров рейс обозначен загадочной буквой «Ю». Одетый перспективно «по-южному» (может быть, отсюда и «Ю»?) — Захар понемногу давал дуба в ожидании неба. Рейс, конечно, задерживался.

Много мыслей, много времени. Нервный полустрах — последний раз он летал почти тридцать лет назад — и готовность, желание рисковать. Мчатся туда, где долгая вялотекущая война. К войне поближе. В небо, где война всегда — с судьбою, случаем, убитый заранее — и потому увитый спокойствием. Молитесь за меня!..

Вырвавшиеся слова вполне поместились в отведенное администрации время.

Отлет наминал отплытие на яхте контрабандистов: мимо багажного отделения тащили огромные тюки в салон, забив сумками и ящиками все свободные места. Толпа «проводяющих» — толстых, здоровых грузин. Подходили к сидящим, говорили что-то по-своему, и те вставали и уходили. По требованию пилота освобождали проход: новая перетасовка коробок. Новая трата времени.

Вообще, все было очень вольно. «Провожажие» грузины свободно гуляли по аэродрому, какие-то национальные люди задолго до взлета сидели в салоне и пили коньяк, никто не пристегивался и даже не садился. А самолет был маленький, Захар никогда такого не видел (украинской авиакомпании). И загружен, вероятно, был как черт. Непонятно, как взлетит. Легко было догадаться, почему столько их падает.

Жуткое ощущение взлета. «Молитесь за меня...»

Вдруг невероятное солнце! «Надо жить над облаками!» — подумал он. Вверху был роскошный черный космос. Внизу — арктический континент. Облака под ним, упругие, как взбитые сливки, производили впечатление твердой поверхности, по которой можно ходить. Мозговые рельефы, бороздочки, морщины. Даже две колени, оставленные каким-то небесным грузовиком. Действительно «твердь», как в Библии. От солнца в салоне жарко.

Поверхность расстилась, и на дне неба расчертилась агрокультурная «плитка», белая от снега, пересекаемая поблескивающими трещинами рек и паучьими клубками поселков: орнаменты, линии, чертежи, метафизическая геральдика больших расстояний и широкого обзора. А вдали появились горы.

«За это не жаль рискнуть смертью!» — решил он. (В огромную цену билетов должна входить плата за зрелище.)

Горы, как кошки, прыгали за самолетом, пытаясь потеряться о него боком. Холмы под снегом морщились, как полуспушенная надувная подушка. Как все меняется, остраниется от замены точки зрения: это другой мир, вообще не Россия. У этого еще нет имени. Ничейная земля, художественный объект. Справа появилось что-то вроде двугорбого верблюда — Эльбрус: гладкая ледяная громада, лоснящаяся подтаявшим снегом. Трудно было поверить, что горы бывают такими острыми: словно грудь девушки.

До гор летели два часа. Отсюда сверху они удивили: частокол вершин, непроходимая белая чаша! Рекламно облетели их по параболе, так что Захар увидел их в нескольких ракурсах. Словно кино. А еще говорят, география не лечит!

Структура и мир облаков были прихотливы и необъяснимы: тут свои горы, равнины, немислимый крен второго облачного слоя, бросающий козырек тени на первый. Врезались в облака, как в лес, с содроганием и мгновенной потерей ориентации, словно при падении в воду. И вдруг из киселя бывшей тверди — свинцовое море, его, домашнее, почти позабытое...

Мертвая заснеженная античность побережья: так это, наверное, увидели аргонавты.

Двенадцать лет спустя. Уже один.

Юг: рядом со взлетной полосой паслась лошадь. В иллюминатор было видно кладбище бутылок и мандариновых корок. Батумская «таможня» — это куча ненадежного вида мужиков без формы (но с оружием), что сторожит узкую дыру запасного входа на задворках аэровокзала, куда их и направили через все летное поле. Кажется, он был единственный русский, прилетевший этим рейсом. И мрачные грузины с автоматами активно пытались показать ему власть и раскрутить на деньги («таможенные сборы»).

— Ты кто? — спросили они (уже порывшись в его паспорте).

Вот она: вечная проблема «идентификации» — необходимость объяснить *кто ты есть* (неизменная во всю его жизнь). Раньше он в таких случаях отвечал «художник». И был не далек от истины. Теперь говорил «журналист» — и в чем-то был прав.

Вещи долго никто не вез, а потом никто не разгружал. Он влез в грузовик, стал передавать сумки вниз, пока не нашел свою.

Кое-что он знал о Батуми. Связи нет. Телеграммы опаздывают. Письмо, словно бутылка с *sos*'ом, плыло два месяца.

Странно: его никто не встречал. За десять штук он взял частника на микроавтобусе «форд» и поехал по указанному адресу. По дороге расспрашивал шофера о жизни. Перебои с электричеством, отопления нет, газа нет, бензин, впрочем, есть — 600 руб.

Многое можно было понять просто глядя в окно. Ободранный серый город. Мало людей. Отсутствие уличной жизни. Нищета и неблаго-

получие, бросающиеся в глаза, действовали как холодильник. При плюсовой температуре Захару стало холодно.

Водитель не только крайне странно вел машину — резко, не останавливаясь, словно в анекдоте, на светофорах, он, оказывается, был еще и излишне самоуверен: никак не мог найти улицу в этом небольшом городе. И местный страж порядка был не в силах ему помочь.

— Может быть, это бывший проспект Сталина? — спросил он.

— Может быть, — ответил Захар.

Вот он и «дома». Он почти не мог узнать места. Все здесь сильно пообносилось, ободралось и имело страшно захламленный вид.

Ему открыла незнакомая старушка.

— Муртаз, это тебя! — закричала она.

— Кто? — доносится из глубины квартиры.

— Какой-то молодой человек.

В проеме темного коридора появился Муртаз. Он изумленно посмотрел на Захара, стоящего на еще более темной лестнице, и не мог понять, кто это. К тому же они не виделись несколько лет.

— Как, ты?! — Он наконец-то узнал. — Откуда?! Почему не написал?

— Я послал телеграмму.

— Мы ничего не получили... Грета, смотри, кто приехал! Это же сын Михаила!

Захар переполошил весь дом, чувствовалось, что они отвыкли от гостей «оттуда».

Ему срочно на спиртовке согрели суп. Стали рассказывать про свой город.

Он считался спокойным: аджарский властелин Абашидзе охранял границы российскими пограничниками. Снаружи же — грабили, останавливали поезда. Поэтому жили изолированно. В Тбилиси было еще хуже и страшнее.

Половину суток не было света. Горячей воды не было. Отопления не было. Предприятия стояли. Газа не было. Газет не было. Телевизор по ночам — первая российская с плохим изображением. Еще тбилисская или аджарская, непредсказуемо и странно.

Увеличенная пенсия — 90 тыс. купонов (900 руб.). Картошка — 40 тыс. Хлеб по карточкам 400 грамм на человека. Еду грели утром и прятали в одеяла.

От былых грузинских застолий ничего не осталось. Не было даже вина.

Его хозяйка курили по-черному: все-таки занятие. К ним присоединилась соседка — та, что первая встретила Захара и которая была здесь как дома. Иногда она приносила хлеб и сплетни, услышанные в очередях. Промеж себя они говорили на странной смеси русского и

грузинского, произвольно и легко переходя с одного на другой. Ходили пешком, пили чай из термосов, вегетарианствовали — и говорили, говорили. Шутили: здоровый образ жизни. Все это его слегка покорило. С непривычки все показалось слишком мрачным.

Два года уже они худели и «здоровели». Продавали вещи. В квартире изо рта шел пар. Вечером с проживающей у них веселой 72-летней «тетенькой», спасенной из Тбилиси, Захар раскладывал пасьянс и спорил о религии (она неверующая, но чтитла экстрасенсов и летающие тарелки). Сидели за пустым столом — одетые, завязанные в платки, словно эскимосы в чуме.

Ночью он спал во всей одежде.

Утром Захар спустился к почтовому ящику и принес свою же телеграмму. Стоило дать ему ее с собой.

Ему дали ключ и отпустили на волю. Вышел на улицу: погода значительно выиграла против вчерашней. А он был как бы «отдыхающий», вероятно, единственный на весь город — и пошел отдыхать в местный парк.

Как бы они ни жаловались — это был рай земной. Солнце, пальмы и снег («Асса»). Чудесный запущенный город. Вновь увидел зелень: магнолии, лавр, какое-то «ложно-эскулапово дерево». Черное море, впервые за семь лет. Совершенно не в сезон.

Смешно, они считали русских трудолюбивыми и аккуратными. Там, где требовалась точность и обязательность, у них всегда работали русские. «Как у нас — немцы, — подумал Захар. — У нас много общего: русские — недополучившиеся грузины.»

Они уверены, что в России-то все будет хип-хоп. Их бы устами...

Ближе к обеду начался чисто академический разговор о грузинской кухне. Различалась западная и восточная. В подтверждение он ел «чадо» — домашний хлеб из кукурузной муки. По-грузински следовало есть руками, кроша и макая чадо в подливку, бульон или сок рыбы.

Жил он опять с людьми читающими. Рассказывали про папашу Гамсахурдиа, знаменитого писателя и скверного человека.

Смотрел оружие. У Муртаза был целый арсенал. Миленький газовый и тяжелый вороний пистолет аргентинского производства: они тут все подготовились к обороне.

Грузия туркенизировалась. Прежде жалкая, как все советское, и экзотическая — ныне она все менее узнавалась как что-то свое, все более возвращалась к своим азиатским корням. Пожалуй, здесь построят капитализм по-турецки быстрее, чем в Москве, решил он.

Вечером пришла еще одна соежка, молодая женщина, которой все равно нечего делать. При керосиновой лампе нагадала ему Бог знает что на кофейной гуще. Кажется, что-то угадала... 72-летняя «тетенька» рассказывала еврейские анекдоты.

Он понял, как плохо приспособлены современные города к войне и осаде. Картонные стены и невозможность добыть тепло домашним способом — превращали квартиры в склеп и холодильник для живых. Грузия, как и все остальные, перешла на «цивилизованный» советский тип жилья — без каминов, печей, труб, беззащитный при любой аварии, рассчитанный на стабильную жизнь в тысячелетнем советском рейхе.

Тут была одна фотография на стене, 92-го, кажется, года, где присутствовали некоторые небезызвестные ему лица. Он старался не смотреть на нее. Поэтому, наверное, все время смотрел. Ночью приснился уточненно-изуверский сон: как пришел «домой» и оказался в большой компании, в которой он никому не был нужен. Все были веселы и при деле, один Захар смешон и досадлив. Ближайшие когда-то люди стали хуже чужих. Они не только уничтожили настоящее, это пустяки. Они уничтожили *прошлое*. Это и было главным кошмаром. И он все искал и не находил какие-то вещи и все время наступал кому-то на ноги. Последнее, что было здесь его — потеряно и исковеркано.

...Хапи — местный базар. Европейская одежда, ширпотреб, разнообразие обогревательно-осветительных приборов. От местного колорита тут остался только сыр сулгуни. Завал курток и штанов, гораздо лучше тех, что реально носили на себе грузины: драность и затрапез, особенно на детях, почти что маленьких бродягах. А двенадцать лет назад изображали из себя франтов.

Грузины — ленивые «аристократы». Любили повторять: все грузины цари, а престол один. Поэтому постоянно враждуют. И ничем не занимаются (впрочем, торгуют).

И такое место пропадает! Он глядел в окно: старинный голубой дом с башенкой напротив, дежурные пальмы. Дрожа, смотрел на них сверху, столь же прозаичных, как клен или береза. И уходил греться на улицу.

Целовались все, даже урловатые подростки на улице. По-восточному стояли группами и по одному. Беседовали или молчали. Словно собирались произвести революцию. Правда, сегодня была суббота. Но то же он наблюдал и вчера. Бездна магазинчиков и аптек, многие — в «старых» помещениях, покинутых в 17-ом году. Большие магазины и универмаги — закрыты. То же — кафе и рестораны.

Пришел в порт. Внизу плескался сине-зеленый кобальт. Дети плавали в ледяном море на игрушечных лодках. У причала стоял российский «Клен» из Сочи. Вдоль горизонта — белые щепочки рыбаков. А вокруг уже знакомые заснеженные горы.

Очень подходящее чтение: история Блока, Белого и Любви Дмитриевны («Щ.»). И как Белый бежал в Германию, так Захар, словно Пушкин, бежал на Кавказ.

Утром забежавшая соседка сообщила, что из-за самодельной печки сгорел местный прокурор с двумя девушками. Захар пошел посмотреть. Вкрут пепелища стояли люди, говорили: обычное дело. Нет, все же две девушки — это чересчур. Постоял, пошел дальше. Иных занятий у него не было.

Каждое утро его спрашивали: что он будет сегодня делать, словно здесь была обширная культурная программа. И он отвечал одно и то же: гулять. Ибо сидеть в ледяной квартире было невозможно. Для этого надо было иметь их привычку.

Какие-то мертвые комиссионные, блошинные лавки, где навален «на продажу» всякий покрытый пылью хлам: за год можно наторговать копейку. Обычные восточные манифестации белья над ущельями улиц и верандами. Щуплая ажурность балкончиков, дорогие архитектурные прихоти колониального стиля.

Он сидел в приморской аллее под бамбуком. Том самом, без которого становятся вульгарным, как считали китайцы. Только что он купил по дешевке картинку в местном салоне. Гоча Качеишвили. Милое женское лицо. Здесь он казался себе богачом.

Аллея была пуста. Лишь поблизости фотографировались жених с невестой.

Этот город — как его жизнь: дешевая, нищая, полуразрушенная, пустая, с полустертыми следами бывшего шика и не без экзотики.

Сейчас он пойдет к летнему театру, где в 82-ом году он и *она* слушали курортных имитаторов Битлз. Здесь был какой-то символ. Он приехал сюда кончить то, что было начато двенадцать лет назад. Подобрал лист магнолии на память.

Пустота, завязанные пальмы, напоминающие женщину, наскоро заколовшую волосы. Прекрасный город гиб на глазах, подобно прибрежным аттракционам, ставшим жертвой детей и мародеров.

Возможно, скоро то же постигнет парки: их порубят на дрова. По вечерам над Батуми стоял сильный запах дыма, словно в деревенском Псебае два года назад. На окраинах не было никаких пальм и прочих курортных излишеств. Какие-то вообще деревья, одно-двухэтажные грязные домики, полудеревенские дурно одетые люди.

«Больше всего мне жалко — мою жизнь. Эту хрупкую, мучительную конструкцию, возводившуюся столько лет. Она проросла сквозь меня, придавила, придавала форму. Я слишком долго был с *ней* вдвоем, чтобы безболезненно начать воспринимать себя как совсем одного.» Каждую ночь ему снился один и тот же сон. Батумские впечатления ничто перед этим. Их не было в его снах.

Когда-то, обращаясь назад, он вспоминал что-то важное из своего детства, южное море, белый город, горячий камень солнечных улиц.

Теперь *она* так или иначе была во всех его воспоминаниях. Куда бы он ни оглянулся — он стоит там с нею или рассказывает ей об этом...

Он почти не сохранил дистанции, зоны независимости. Она отошла и оставила неприкрытой огромную часть его жизни.

Местные стражи порядка не блистали приметностью. В качестве доказательства полномочий — автомат на боку или дубинка. В лучшем случае фуражка. Имели ли они право вмешиваться в его жизнь — никто не знал. Впрочем, сомнительным этим правом они не злоупотребляли.

По набережной шла красивая и холеная по местным нормам девушка, оставляя за собой шлейф сильного парфюма. А на соседней улице с минаретом — сплошная Азия, с закутанными темными старухами на ступеньках, путаницей дворов, бельем через улицу, с размеренной и загадочной жизнью. Местные обитатели были как никогда в своей стихии: без света, воды, отопления, как сто и двести лет назад. Они, наверное, и не заметили разницы, внесенной независимостью и войной.

«Никто не поет с таким чувством, как одинокий», — прочел он у Константинэ Гамсахурдиа, которого купил на местном развале.

У грузин все очень долго и необязательно. Климат приучил их к лени. Они философски ждут, что все само собой образуется. «Подготовка» к обещанному лобию длилась несколько дней. Каждый день приобреталось по одному ингредиенту или рассуждалось о нем. Он боялся, так же будет протекать и его отъезд: завтра, может быть, кто-то отвезет в аэропорт посмотреть расписание (дозвониться «нельзя»). Или кто-то даст аккумулятор, и тогда поедут сами (две машины — ни одна не ездит). Завтра или послезавтра все это сделаем. Только бы до гаража дойти, во двор спуститься...

Зато народ был по восточному любопытен: глазел, лез в тетрадь, дети ходили толпами и кричали «американа!». Походило на театр: навязчиво, но без конфликтов. Народ в целом не ожесточился — Захар всегда любил грузин. Грузинские девушки на углу бывшего проспекта Сталина закричали: «Какой красивый мужчина!». Увы, нет пророка в своем отечестве.

...Они внезапно подвалили к нему на пляже — местные парубки: кто, откуда, зачем приехал, чем занимаешься? Сурово и подозрительно. Он отвечал без агрессии, страха или высокомерия. Ему было все равно. И был большой опыт подобных внезапных знакомств. Кончив допрос, юноши стали говорить о «высоком»: о кино. И, конечно, о войне, на которую им идти (у всех свои проблемы). Для них это долг, который они готовы выполнить без страха, но с отвращением. Это было по-настоящему искренне.

На следующий день он попытался рисовать: особнячки начала века, деревья — абсолютно без толку. К тому же выводило из себя неумеренное любопытство. Он был не в силах вести столько бесед и все объяснять. Он казался себе белой вороной, к тому же залетной. Все же за годы изоляции эти люди как-то одичали.

Он был неправ: вышел к морю — и никаких проблем. В огромном количестве этой ласковой воды было что-то умиротворяющее. Тут не было ни Батуми, ни Москвы. Это был новый мир, такой же «другой» и безымянный, как горы. К морю он ходил, как в церковь: подняться и успокоиться.

Летающая над морем чайка кричала «ау!»...

Непонятно, кому он будет все это рассказывать? Основной объект слушания потерян. Молчаливый объект отсутствия.

На следующий день он наблюдал за долгожданным приготовлением лобио (делали для него): фасоль, грецкие орехи с кинзой, аджика и т.д. Ели холодным с чадо. От Захара на столе бутылка вина.

Ко нему здесь относились на редкость трепетно: утром дверь не захлопывали, но прикрывали, убирая защелку ключом снаружи. Спать это не помогало, но зато он мог оценить заботу.

Грета и «тетенька» до сих пор очень переживали каждое выключение света и телевизора. Это вовсе не означало, что когда свет и изображение были, они, скажем, беспрерывно готовили, читали или не отрываясь смотрели в экран. Скорее, это был символ благополучия и нормальной жизни, прекрасный сам по себе. «Мы все испорчены цивилизацией и хотим жить как люди — со светом, канализацией, телефоном, даже если в ста километрах — война», — думал Захар.

Машина заменяла грузину лошадь. Грузин без машины был невообразим. Зато за рулем он забывал, что он не на скачках. Заводили машину тут в основном толканием, а останавливались разве что поболтать с приятелем — посреди дороги, без внимания к другим участникам движения. В прочих случаях дадут по клаксону — «я еду!» и — жжжж на поворот (светофоры, впрочем, не работали).

Захар выходил на улицу и шел к ближайшей палатке. Один раз он даже спустился в погребок, где, однако, нашел единственную стеклянную емкость с белым вином.

Он пил Вазисубани, Целикаури, Саперави, Цинандали, Мукузани, Алазанскую долину, Аджалеши, Ахашени... Покупал их в палатках по 1500 руб. и пил с хозяевами. Могло показаться, что ему весело. И правда, тут такое нежное и ласковое море. Гулять вдоль моря в феврале — это вам не фунт изюму!.. Местных почти не было. Для этого надо иметь что-то другое — в себе — чтобы любить его. Иметь о чем подумать под его шум. Тут ведь ничего нет — и все-таки это самое богатое место!

Впрочем, они имели его каждый день. Приходили с собаками и те, кто собирал щепки. Он знал, как будет грустить завтра, последний раз гуляя вдоль него. «Сентиментален ты, братец!..»

Он понял, что не может быть единственным богом своей вселенной. Ногог ипи (боязнь единственности). Ему нужен еще кто-то равный, с

кем он, может быть, должен иногда бороться, как Иаков с Богом, но с которым он мог бы говорить — до последней степени откровенности, кто чувствовал бы, как он, но не был им.

Последнее время между ними было много снега и войны. И все-таки, как у Иннес де ла Крус:

*Есть множество причин, чтоб нам расстаться,
Одна причина есть, чтоб вместе быть...*

Эта причина — внутреннее тождество, доходившее до телепатии, никогда не закрывавшееся от него бутафорской вражды. И — страх одиночества. *Одиночество для человека — это бессмыслица.*

Он, конечно, тоже очень старался. Благодаря ему она попала на заре всего в жуткую мясорубку. Весь перекрученный и изломанный, из комплексов и фобий, он только пытался начать жить. И она его выходила. Десять лет спокойной воды, высокий уровень общения.

Захар сам позаботился о своем отъезде: встал, дошел и купил... Мимо заправок, хинкален, палаток с пивом, блошиных базаров на каждом углу (иногда попадались очень занятные вещицы). Аэропорт был за городом, километрах в пяти. Вокруг уже настоящая деревня. Огороженные садики, вяло колготящиеся в предчувствии весны люди.

Он думал, будет сложнее. Оказалось все просто. Есть деньги — лети, хоть сейчас... Назад шел снова пешком. Не хотелось выглядеть жлобом: шестидесятилетняя, полугодовалая Грета ходит пешком на кладбище к матери за двадцать километров. Он только взял пиво в палатке — и глотал понемногу всю дорогу.

Хозяева очень удивились, как легко он решил эту проблему.

Итак, больше проблем не было. Только тоска и необходимость гулять.

«Забочусь об отъезде, — думал он, — а ведь мне *некуда* возвращаться. Некуда и не к кому. Жизнь надо строить заново. Разрушенный в одну ночь Дрезден.»

Под мечетью он услышал пение муэдзина. Очень приятная штука. Странно, ему ни разу не довелось слышать его в настоящей Азии. Впрочем, в те годы все мечети были музеями.

Провезти через батумскую таможенную бомбу или пистолет — плевое дело. Багаж не просвечивался, а слегка ворошился. И то лишь у негрузин. Так что не угонит самолет только ленивый. Вместо одиннадцати вылетели без четверти два.

Облака отвратительно высоки и плотны. Гор не было: что-то нащупывалось внизу взглядом, словно в тине пальцами ног. Вверху почти черное небо. Вокруг — никак не структурированный хаос.

Снег перечеркивал керамику внизу. Вата цеплялась за крылья, словно тени грешников, решивших либо вырваться вместе с ними, либо утanutь в свой Шеол.

Они падали в этот Солярис. А там — блестящая цивилизация «Внуково». Все познается в сравнении.

Мертвый сезон в Батуми: высокая мера Пути.

III. В чуланчике

Кисельный день, белый снег. Он ездил в Южный Порт, заполнял какие-то документы. Делал автоматически, не для себя. С собой у него свои счета.

Сентиментальные и неполноценные нуждаются в чувствах, которые они мечтали бы видеть направленными на себя. Поэтому они любят *добро*. Сильный не нуждается в добре, как не нуждается в форе и по-блажках — как в вещах безразличных и унижительных. *Недобро* не есть обязательно зло. Как небелый не есть обязательно черный, думал он, глядя на проносившиеся за окном пятиэтажки.

Потом дома у родителей читал статью Тростникова об искусстве. Как-то автоматически спорил, подыскивал доводы. Как сказал Кокто: профессиональные привычки самые стойкие, им даже смерть не помеха (поэтому стекольщик в его «Орфее» и после смерти ходит по улицам и предлагает стеклить окна). Он имел все права и не читать эту в высшей степени абстрактную статью, но она помогала ему отвлечься. Он и так теперь не поедет ее отвозить и обсуждать. Его отчаяние выливалось в слишком заметную злость и несправедливость. К тому же он мог наглядно убедиться в разнице между человеком спокойным, каким являлся автор, и предельно возбужденным, каким являлся в данную минуту он сам, в их оценках, в их взглядах на искусство и жизнь, вообще на смысл писания таких статей. По мнению Захара — в этих писаниях не было никакого смысла, и презрение делало его выше и как бы сильнее. Мозг был безжалостен и остр, слог строг и едок...

Кончил Тростникова и опять принялся за свое.

...В тот вечер после тенниса Даша зашла к ним в гости. Это всегда было чем-то чревато: то Кирилл ломает палец, то у него случается приступ аппендицита. Он ждал, что Оксана скоро придет с работы, но не торопил. Последнее время им с Дашей хорошо говорилось вдвоем. А придет Оксана — и эти две великолепные женщины начнут состязаться в остроумии или вспоминать какого цвета был бантик у подружки, встреченной двадцать лет назад у булочной, его задвинут в угол: куда ему с ними тягаться!

Около одиннадцати Даша спохватилась и сказала, что ей пора идти. Захар решил проводить. Он очень любил эти проводы близких ему женщин, рука под руку. — только чтобы не дать упасть. И какая-то новая мера откровенности в недолгом ночном разговоре до метро. Он не понимал, где Оксана, предчувствовал тяжелый разговор — это его угнетало, не хотелось думать об этом вовсе.

Они вышли из подъезда и столкнулись с Оксаной. Впрочем, она была не одна... Они стояли здесь и прощались. Оксана была в каком-то угаре: она отшатнулась от них, потом низко поклонилась, издали, и страшно ненатурально засмеялась. Захар так же издали поклонился им. Чтобы это могло значить, кроме того, что она пьяна (последнее время она часто пила на работе)?

У метро он поцеловал Даше руку и сказал спасибо. Может быть, за то, что он был при этой сцене не один.

Дома он сразу понял, что Оксана хочет ему что-то сказать, что-то *страшное*. Неужели то самое — окончательное? Ноги ослабли, бешено забилось сердце, он ждал и трепетал, как при объявлении смертного приговора (когда продолжение неизвестности, может быть, хуже топора).

— Ну? — спросил он намеренно спокойно.

Она отшатнулась от него в угол и заикающимся голосом, не отмечаящим его торжественности, произнесла:

— Я считаю, что между нами отношения кончились. И я прошу тебя, сейчас, если ты можешь, уехать...

Поразил не смысл слов (чего они друг другу не говорили), но тон.

— Твоя любовь зашла так далеко?

— Да!.. Наверное, я дура, что говорю об этом, но я слишком уважаю тебя, чтобы скрывать...

Пока он был оглушен и еще не чувствовал боли. Так же оглушенно, почти с облегчением стал собирать вещи. А она заперлась в ванне.

Он стал думать: доехала ли Даша? Самое простое — поехать переночевать к ней, а там видно будет. Такой повод: он отменял всякие ссылки на непрочитанные страницы. Но у нее молчал телефон. Холодно он сообразил, что она поехала к Артуру, ненавистному своему возлюбленному, а прочие друзья совершенно не в курсе, и у него не хватит духа им объяснять...

Из метро он позвонил родителям:

— Я сейчас приеду.

И вот он снова в своей комнате, столько лет спустя. Его состояние было, верно, столь отчетливо написано на лице, что родители ни о чем его не спросили. На следующий день они вдруг вспомнили про батумских друзей, к которым он мог бы отправиться с гуманитарной миссией. Сегодня же отец пойдет отбить телеграмму, послезавтра Захар улетит... Но как дожить до послезавтра?

И утром он сорвался на электричке к Лёше.

Лёша — бывший геолог и художник. Последние два года Захар редко видел его — с тех пор, как Лёша поселился за городом, потеряв желание и возможность снимать комнату в Москве, став плотником и строителем собственного дома. Пару месяцев назад Захар был у него, еще с Оксаной, и увидел, как далеко он продвинулся, превратив изгнание в смысл жизни.

У Лёши был их общий приятель Андрей-Хаер, приехавший на своей иномарке, и они заговорили о здешней коммерции, на которую Хаер убил год.

У него была палатка рядом с «Пекином», место стремное и злачное. Ее теперь нет, осталась машина. Больше всего достал его контингент: бомжи, бандиты и шлюхи.

— Я боялся шизануться. Что-то начинает твориться с душой. И хотел, да больше не мог...

Необходимость этого была заметна по его помертвевшему, поставшему лицу, усеянному какой-то сыпью...

Наверное, в этом было что-то самурайское, акутагавовское. Но молчание, но открытая отдача боли — были еще страшнее! Стоило только задуматься, сосредоточиться на ней — и он просто бы завыл, начал бы биться головой об стену... Это и так предстоит ему ночью, второй бессонной, кошмарной ночью...

Он был обманут легкостью, с которой он перенес кунцевскую разлуку. Может быть, потому, что сидел дома, в привычной обстановке, с книгами, работой. Не было чувства, что он ушел и что-то бросил. Не было ярости и обиды. Они разъехались, словно друзья, с ощущением, что так же легко могут снова съехаться. Когда не жжешь мосты — не чувствуешь и потери.

Но никогда его не выгоняли — он уходил всегда сам. И он сам решал, когда ему вернуться. Дверь как бы всегда была открыта. Не надо даже было каяться в чем-то, надо было просто спокойно объясниться и признать, что оба были неправы.

Все это в прошлом. Он не находил инструментов, которыми можно было здесь что-то поправить. Мосты действительно сгорели, и сжег их не Захар. Поэтому они сгорели по-настоящему...

Он выяснил это сегодня, позвонив ей вечером, после того, как днем заехал домой — отбуксовать сломанную машину и взять вещи. Он хотел попросить ее уйти на этот момент, но одновременно хотел застать ее или их, будто с личным, словно только этим мог что-то для себя прояснить. Он позвонил от дома, и она сама спросила, хочет ли он, чтобы она ушла? И он вдруг безумно захотел ее увидеть.

Он позвонил в дверь, словно пришел в гости. Он увидел ее первый раз после двух недель, первый раз после *того* вечера. Она изменилась: с подстриженной челкой, что он никогда не давал ей сделать, с темными кругами под глазами, тоненькая, нервная, она казалась другим человеком, как женщина — невыносимо привлекательна. Он и правда чувствовал себя, как в гостях, лишь собака отнеслась к нему как всегда, виляла хвостом и жалась к ногам.

Он поставил на стол ликер, и они стали говорить, по виду очень спокойно. Он шел по минному полю слов, не называя главных вещей,

стараясь понять — все ли для него кончено? Она щадила его, она ничего не говорила прямо, она не подводила к окну, чтобы показать: мир изменился. Можно было подумать, что они просто поссорились, как в январе, и что только от их доброй воли зависит — жить ли им вместе снова. Но она смотрела на Захара с мукой, пряча глаза, и на его прямой вопрос: «что же ты собираешься дальше делать?» — ответила:

— Не знаю, я сейчас в каком-то свободном полете, я куда-то падаю, и мне уже все равно.

— Может, тебя надо поддержать?

— Может быть...

Они даже целовались перед дверью:

— Если хочешь, мы все вернем, все изменим! Если хочешь, пусть у нас будут дети, я буду таким, как ты хочешь! — шептал он в полубреду.

— Что это ты вдруг? — засмеялась она.

— Я многое понял за эти дни, многое пережил.

— Я понимаю. Я тоже... Ты все-таки самый лучший... — сказала она на прощание, пряча глаза, и он ушел, так ничего и не поняв. Он, как мальчик, все надеялся, что самого страшного не случилось, что в ее словах было что-то другое.

Наверное, она впрямь жалела его.

Он ждал весь вечер, что она позвонит, начнет каяться и звать его обратно. А он еще подумает, поупирается. И вечером, когда тоска, как обычно, стала захлестывать его, она и правда позвонила.

— Я сижу одна, мне страшно грустно...

— А мне-то каково!

— Но я чувствую, что это я во всем виновата!..

Она утешала его, он утешал и оправдывал ее, она говорила ласковые слова, она признавалась, как волновалась, пока он был в Грузии, звонила его родителям, каялась, узнавала на работе, не идут ли там бои? Они почти вернулись в свой прежний тон, предшествовавший примирению. И уже прозвучало просительное:

— Знаешь, я решила уйти с радио. Я хочу, чтобы ты вернулся...

Он положил трубку и сразу позвонил снова — чтобы разом кончить пережитой бред и поставить все точки, спросил о главном...

— Я думала, ты все понял... — сказала она. — Ты, конечно, не пове-ришь... это произошло нечаянно, никто не ожидал...

Он долго молчал.

— А потом?

— Да, извини... Он меня утешал, я так была убита твоим отъездом...

— Где это было, у нас дома?

— Да... Он плакал... Мы все так несчастны — и все из-за меня! Гос-поди, я так виновата перед тобой, сможешь ли ты меня простить?.. — и так искренне, так отчаянно рыдала в трубку.

Но он не мог даже думать об этом. Ему надо попытаться понять, как ему жить с тем, что он услышал, как ему жить с самим собой, совершенно не оказавшимся готовым...

Он не рассматривал больше вариант *вернуться*. Он пытался понять что-то совсем другое. Может быть, *как* вдруг завершить длинную-длинную жизнь?

...Искусство ничему не учит. Сколько бы ни писали про разбитые сердца и поезда, как лекарство от трагедии, ты оказываешься безоружным, сталкиваясь с этим... Тут есть какая-то черта. У тысячи людей бывает так. Почти у всех. Что такого философу, что твоя жена спала с другим? Если она страдает и просит тебя вернуться. Просит, понимая *все*... И просит простить. Но он не мог простить. И не знал, как будет жить дальше. Жить с человеком, которого он, оказывается, не знал. Зато знал, как будет страдать один... Нужно проявить силу, принять одно или другое. Христианский безразводный брак действительно зиждется на реальном психологическом факте: *невозможности принять измену*, необходимом существовании в жизни лишь одного человека, одного любовника, одной постели. Ты можешь сколько угодно *считать и воображать*. Реальность вернет тебя к истине. Да, ничего нельзя и все запрещено. Об этом можно рассуждать и оправдывать, когда это случилось с другим. Убеждать его смотреть на вещи проще. И вдруг — этот ступор. Столько ценностей, о которых ты страдал, отвергнутый, вдруг не стали стоить ничего. Что значат слова! Боялся, догадывался, отпихивал мысль. И лишь услышав — понял окончательно всю неподъемность факта. Тебя даже не оттолкнули, тебя уничтожили, глупо, пошло! Она уже поняла, уже очнулась. И это еще хуже. Лучше бы все развалилось до последнего куска. Не было бы дилеммы. Любого другого в подобной ситуации он бы проклял и забыл. Проклял бы и за меньшее. Проверенный способ. Вся жизнь он отвергал *других*: лишнее, второстепенное, без чего можно обойтись, если приходилось выбирать между ними и гордостью. Так он растерял почти всех. Теперь он должен отвергнуть этот последний клочок, последнее имущество. Логическое развитие, упирание в точку. Может быть, не совсем отчаяние, если сохранилась способность к отказу. Наличие силы — отвергнуть. Равной, может быть, нажать курок. Смерть, другая жизнь? Все равно. Смешно: рога!!! Наконец-то стал взрослым: у маленьких оленей рогов не бывает.

Пол вечера по телефону он искал Артиста, чтобы вмазаться. Не нашел. Зато поговорил с его бывшей Олей. У них тоже все как-то вдруг и таинственно оборвалось, родился какой-то ребенок. Артист отрицал, что от него. Оля тоже отрицала, так гордо и категорично, что это вызывало сомнения.

— Я забыла, кто он такой, — сказала Оля спокойно. — Ничего про него не знаю и знать не хочу.

Она не ожидала его звонка, но, кажется, разговор состоялся, несмотря на годы, что они не виделись, и на то, что никогда не были особенно близки. Он вообще никогда не был близок с подругами своих друзей. Тем удивительнее, как он был теперь светск и болтлив. Он перешел какую-то границу, и ему теперь все было нипочем. Он никому ничего не был должен и к тому же находился в состоянии сверхконтроля, потому что любая слабость убила бы его. Лишь иногда путались мысли. Была ясность и отчаяние. Жизнь — абсолютно чистый лист, и он размашисто водил по нему рукой, безо всякой надежды заполнить в ближайшее время. Любой новый опыт, любой разговор казался ему страшно важным и необходимым.

Но в глубине души он не верил, что на этом пустыре ему удастся что-то построить. Зато он щедро хотел пользоваться свободой делать то, что он никогда не делал. Но внимательно взглядевшись сюда, он сразу пришел в уныние от убогости предложения. Или практической его иллюзорности.

Утром он позвонил Тростникову, извинился, как показалось Захару, замогильным голосом, что не привезет статью, и поехал к Лёше. У него не было другого выхода.

Лёша, тоже год назад при сходных обстоятельствах расставшийся с женой, — в новой неразделенной любви и беспомощных звонках со станции... Человек не находит себя в свободе, человек отпихивает от себя свое спокойное прекрасное одиночество. Человек — самоед, его природа не позволяет ему быть спокойным. Их волновали одни вещи: Лёшу — в ситуации *до*, Захара — *после*. Захар ничего не рассказывал Лёше, тем насыщеннее по смыслу были его *не-признания*. Он теперь много знал о любви.

Говорил в основном Лёша — почему расстался с Костей, их старым приятелем из Прибалтики, который жил здесь год после ухода лёшиной Оли. Двое в занесенном снегом доме. Без всяких конфликтов, снимали кино. Достраивали дом. Костя был постоянное «да», чтобы Лёша ни предложил, — мягкий, немного женственный, застенчивый, курил траву и имел какую-то мощную статью. Захар думал, что Лёше повезло... Рассказ выходил путанный и неясный. Кажется, возникла какая-то любовь, которую Лёша пресек.

Слова проскакивали мимо, избирательно застревая в памяти.

У него вино, у Лёши трава. Это отвлекало, но и ослабляло. Лёша, изумительный человек, ни о чем не спрашивал. Ночью в своей комнате, маленьком чуланчике под крышей, Захар вновь останется один. Он боялся этого момента и желал его. Он хотел еще немного подумать, он хотел взглянуть еще с какой-нибудь точки зрения, вдруг понять что-то особенное.

Может быть, выход — смотреть на факты, а не на эмоции? Ведь белое — осталось белым, ветер — ветром. Какое ему дело до чужого

мнения! Что-то, конечно, навсегда поломалось — в отношениях друг к другу. Черный, ничем не выводимый след. Но, может быть, и «польза», опыт, *память* о виденной пропасти. От этого «свободного полета» (как она определила свое состояние) и удара! Но: он видел стену, через которую не мог перешагнуть. Какая-то грязь — навсегда! Брезгливость, которая не изгладится.

Мог понять, но не простить! Если кого-то когда-то, имея его, имея сердце, ум — любила *так!* — то это конец. Не знает ее, отказывается от прошлого!

Он думал об этом, машинально смотря лёшино кино под нервную музыку Bel Canto. Он уже видел его однажды... In the light of my fire Raise up footsteps in snow... — Далеко в белом поле метался огонь костра. И вот уже среди заснеженных елей полыхал дом... In the white-out conditions My eyes have no you...

Захару казалось это близко.

А, может быть, наконец стало действительно *интересно*? Обыденность кончилась. Жить как прежде нельзя и, может быть, слава Богу? Что было? — веселенькое болото. Теперь — бездна, с призраком тоненького мостика над ней (мазохизм!). В конце концов, чего только в жизни не бывает. Надо принимать жизнь, всю, какая бы она ни была. И — такую. Жизнь, а не мнения о ней, свои, чужие. С точки зрения мнений: это — кошмар, с точки зрения мудрости — пустыки. Ты можешь перешагнуть стену, если ты сам — каменная стена. Но если ты сам каменная стена — скоро тебе изменят опять. Никто не хочет жить со стеной. Не верящий в реальность зла, не верит и в *добро*. Ему — все хорошо, но со сносочкой: до определенной степени, относительно. Без рабства и преклонения. А это раздражает, как скупость и трусость. Или эгоизм.

Неуязвимой позиции нет. Окончательной любви — нет. Окончательного доверия. Окончательной ненависти.

Ты же сам хотел сильных чувств, думал он, восставал против болота средних чисел и средних отношений. Что же ты плюешься, когда кто-то сделал здесь больше тебя, что ты — только планировал и вожделем?! Смог отдался страсти, забыть долг, благополучие... «Только любил, а теперь и уважаю!..» Гной, сперма и кровь сердца...

Но можно посмотреть еще более «философски»: зачем ему вообще — люди: эти слабые, неуравновешенные, непредсказуемые, докучные существа, которых можно иметь в друзьях, но нельзя иметь в возлюбленных, женах и т.д.? К черту людей, к черту женщин!

В конце концов, они давно хотели расстаться. И лучшего повода не будет. Что ему стоило начать бороться за нее: он ведь все давно *знал*. Почему не сгреб в охапку, не увез, не пошел венчаться? Она ведь так просила, как утопающий... Но его это устраивало. Хуже того, то, что она «замаралась» — давало ему право замараться тоже. Хотелось же *нового эротического опыта*?!

Хотя до конца он, конечно, не верил. Думал, что пронесет. Очень ей доверял и жизни не знал. Из этих трех вещей все и произошло. Значит — он отнюдь не жертва. Дирижер-провокатор. Такие погибают первыми и хуже всех. У нее хоть что-то было, хоть короткое наслаждение. У него — ... Нет, не ему быть моралистом.

Разве он сам не говорил, что считает ее не женой, а «соратницей по борьбе», разве он сам не отвергал право собственности на человека, разве он не признавал за ней *свободы в любви*, так же как и за собой? И разве не воображал каких-то ангельских отношений, не будучи ангелом? Что же он ропшет? Почему «презирает» и мучается?

У него есть тысяча оправданий для нее. Но есть пункт, в который он уперся и не мог ступить шагу дальше. *Его* жена не могла сделать такое. Не могла так поступить с ним. Это чья-то чужая жена, с кем-то другим... Брезгливость, которую он не мог преодолеть. Хуже, чем обида и ненависть. Никогда он не сможет жить в этой квартире, спать на этом диване. Смотреть на нее прежними глазами. Она могла в чем-то не устраивать, но он уважал ее. В ней была цельность. Теперь он *не уважает ее*, ее облик распался...

Да, был пункт, который он мог легко принять и простить у других, но не у себя. Это то, что бывает с другими, как смерть. Он пытался принять и привыкнуть — и не мог. Если он будет и дальше решать этот пункт — он умрет или сойдет с ума. Ему легче просто отодвинуть проблему — вместе с *ней*. Нет ее, нет проблемы. Он закусил сердце. Он «простит» — как *чужому*. И не вернется, как к *чужой*.

Он, видимо, оказался большим пуританином, чем думал. Хуже того, он видел в сексе какую-то мистику, нечистое и священное одновременно. Поэтому он так относился к порнографии: она профанирует секс, убивает в половой любви тайну, превращая ее во что-то пошлое и дежурно-физиологическое, вроде испражнения. Вот его пункт: алтарь был осквернен. Он никогда не сможет снова быть там, где был чужой. Именно эту мысль он не мог поднять и уразуметь: это все никуда не укладывалось. Поэтому он отказывался от всего, чтобы не сойти с ума при попытке постигнуть и принять это.

Он понял, откуда происходит его брезгливость и нежелание принять *эту ситуацию*: она не должна была сделать это *до того* как порвала с ним. Не объявить ему *после*, — *потому что она его уважает, чтобы скрывать*, — это смешно! Скрывать! — куда ей скрывать: у нее все было написано на лице! Вот этого он не мог простить: она *щадилась*, тянула до последнего момента, избегала разрыва до того, как ситуация с ее любовью выяснится окончательно, сделав Захара заложником своих страстей. И когда все произошло и произошло непоправимо, она произнесла: ступай, Рогожин, тебя не надо, «я слишком уважаю тебя».

Она как всегда слегкомысленничала, она думала, что жизнь игра, что можно так, а можно и этак, что все это ничего и не страшно. Либо он

стерпит и поймет, либо и без него как-то обойдется. Не думать о человеке, которого убиваешь, это, наверное, и есть *страсть*. Но зачем же тогда вспоминать о нем после, жалеть, звонить, пытаться совместить несовместимое: любовь к одному и предательство к другому — и все же надеяться удержаться за него, чтобы спасти себя от угрызений совести? Надо иметь мужество, надо вести себя как взрослый человек: что отрезано, то отрезано. Тем более, когда отрезано *так*. Зачем же такое надругательство, такая слабовольная легкомысленная жестокость?..

Любил ли когда-нибудь его этот человек? Что он о нем знает? Ничего. Кто он ему? Никто. Такой же, как и все. Как любому — мог простить, как своему — нет.

И он уже не будет думать о том, что сам мало старался, мало хотел сохранить... Потому что *после* — так не ведут, бывают милосерднее к обманутому и отвергнутому, мучаются, но не намекают, что жертва была напрасна, и что он убит случайно и за зря... И что, если возможно, то все назад... Надо платить за наслаждение: одиночеством, ощущением бессмысленности всех жертв и — измены. Платить, а не просить снисхождения. Последовательная жестокость — единственное милосердие палача. Не отрезают ногу и не говорят: «Извини, иди и ходи, если можешь».

Он бы стерпел, если бы она просто его оставила. Он не мог стерпеть того, *как* она его оставила!

Лёшин дом был того рода дом, из которого можно вообще никуда не выходить. (А Захару это и нужно было: не выходить, не быть одному.) Дом создавался для автономного существования, словно подводная лодка, вообще без земли в голове, как будто за окном была необитаемая пустыня. А там был замечательный дачный поселок, с елями, тенистыми участками, перепутанными улицами и старыми дачами в деревянных стенах, стоящими к лесу передом, к веку задом. А Лёша неделями никуда не выходил, кроме магазина и телефонной будки на станции, — ни в поселок, ни в лес, ни купаться летом, и корил себя, но всякий вновь прибывший начинал врубаться в его состояние с полуоборота и жить точно так же. Вот и Захар тоже. Хоть и ходил каждый день по снегу, пытаясь от нечего делать понять план поселка, блуждая и теряясь. Это тоже работало: мысли сбивались и рассеивались.

Долго после этого он смотрел на лёшин дом, как на место чистое и спокойное, где не может быть женских измен, пустословия, недосказанности и интриг, глупых ссор и рокового непонимания.

Он прочел лёшин дневник: Лёша дал его, вероятно, в качестве акта доверия, как человеку, находящемуся в такой же, как и он, крайности, когда между людьми исчезает всякая условность и осторожность.

Порой было наивно, чаще всего — очень точно. Хорошее чувство языка. Вообще, все очень знакомо и близко. Очень добрый и мучающийся человек, усложняющий для себя бытие и свое в нем пребывание. Трудности с мотивацией действий. «Беззащитность» философа, способного преодолевать препятствия — но на саморасходе. Тонкая, порой мастерская рефлексия — плоды полного одиночества. Верно и обратное: человек, воспринимающий мир лишь как внеположенный и в значительной степени чуждый *объект*, без личного в нем присутствия и желания раствориться в нем — не может не быть одиноким. Это тоже было знакомо. С этим надо бороться и не надо бороться. Это усложняет жизнь, но дает замечательные плоды печали.

Огромный опыт для него: даже не думал, как может быть сходен со ним другой человек, и Лёша в частности. Стиль его был проще, но чувства — много человечнее и трогательнее. Захар — феодальный замок, отвергающий перемирие. Лёша — скорее одинокое дерево, являющееся и не являющееся частью пейзажа.

Тут было много об истории с Костей. Лёша очень мучился их отношениями, очень жалел Костю — за то, что ничем не мог ему помочь. За то, что вынудил его уехать.

Вообще, очень многое понял. Все эти дни — огромный опыт: что-то о себе, женщине, жизни. Невыносимое совмещение несовместимых чувств и понятий. Он понял, что если действительно любит ее — примет; если по-настоящему врывается в суть жизни — примет: жизнь — бездна, и то, что с ними случилось — свойства ее. А на других — плевать. И на их мнение. Посмотрим. Не стоит быть таким гордым и неприступным. Он убивал все живое вокруг себя. Ради стройки? Склеп это будет — вот что это будет за стройка!

...О, она стала интересным человеком! Способная на *такую* страсть, такие жертвы... Такую жестокость. Они оба стали интересными людьми. Особенно, если он примет это. Способный на такое приятие чего-нибудь да стоит!

Не ясно, слабость ли это, сила? И то и другое. *Приятие* — это и принятие своей вины, своей ответственности за ситуацию.

Какая мучительная будет жизнь! Мучительная в любом случае. Самое худшее, если они не сделают выводов и вновь скатятся к отношениям: «под лежащий камень вода не течет». Течет. И еще как! Сметает потоком.

Вечера у них проходили за столом с постоянно возобновляемым чаепитием. И разговоры, значит, были соответствующие.

Захар признался Лёше, что во многом разобрался и многие затемнения — просветлил. С жизнью стало легче, а с судьбой труднее. Не жизнь, а судьба стала главной проблемой.

Лёша тихо танцевал один в полутемной комнате под «музыку для Ксюши» — он записал с радио кассету, под которую мечтал танцевать со своей капризной возлюбленной, внучкой знаменитого поэта, молодой и уже известной журналисткой. У них что-то сложное и, кажется, безнадежное. Но музыка звучит у Захара в ушах и находит оправдание всему, самому страшному. Возвышенная печаль, которой не нужно больше утешений, как сказал поэт...

Собиратель формул, коллекционер чистых фигур речи. «Вы этого ждали: меньше слов, больше музыки», как говорили на одном модном радио...

К ним часто заходил армянин Коля, их сосед-строитель с грустными глазами. И у этого любовная драма: найденная им здесь барышня, продавщица в магазине, вдруг не приехала.

В Армении у него была жена и двое детей. Армения — это другое дело, там с любовью строго: один раз прошел с девушкой по улице — женись, а то родственники яйца отрежут. А чтобы изменять — ни-ни! Если изменит жена — придет отец, отдерет за волосы и выгонит вон на улицу: «У меня больше нет дочери!» — мужу и мараиться не надо. Нельзя даже просто встречаться с другим мужчиной отдельно от мужа. Все видят, все всё знают, пальцем показывают. С мужчины спрос иной. Но и женатому мужику иметь любовницу — запахло.

Другое дело в России.

— Вот стерва! — все сокрушался Коля. — То каждый день ездила, не выгонишь, а то... А — пусть уходит!

Захар предложил ему вина, он отказался. Вместо этого покурил травы. Заходили и женщины: строители-хохлушки. Они эту траву и привозили. Все они здесь отогревались от своих вонючих барачков, девушки даже мылись. Лёша относился к ним, как к сестрам.

Странное отношение к ней, как будто она умерла. А о мертвых — либо хорошо, либо ничего.

Он поехал в Москву и позвонил ей по телефону. Он не мог не говорить с ней, что-то обсуждать, искать обходные тропки, дорожки, чтобы вырваться из кошмара, отчаянно надеясь, что существует какое-то лекарство, что можно что-то сказать или сделать, что изменит ситуацию, и станет не так больно.

Она ему обещала какую-то жертву, и он жил этим всю неделю у Лёши, переходя от гордого презрения ее принять, к страстному желанию.

По телефону он узнал, что увольнение откладывается: *ей не хватило духу*... Во всяком случае, честно.

Она проявила редкую последовательность в пассивности и безволии. *За день до всего* она уверяла его, что это невозможно, и честь его вне опасности. И говоря, что все произошло *нечаянно* и до последней

секунды никто не верил, что это произойдет, — она лукавила. Это могло случиться, только если давно вожделелось, пусть ее не оставляла надежда, что она справится с собой. Но моральный человек, нося в себе подобные желания, уже должен был принять какое-то решение: либо разорвать с Захаром, либо — с *ним*. Потом она не устояла еще раз — в его отсутствие (она была так несчастна, *он утешал* ее...). Несчастливая беспомощная овца. И, наконец, решив уйти с радио, чтобы все-таки что-то сделать для прекращения этого бреда, и объявив это Захару — ей *не хватило духу* исполнить...

Зато ей хватило духу, изменив ему, выгнать его из дому. По видимому, это была плата за откровенность.

Он опять застрял в этих мыслях, а ведь, казалось, простил и успокоился.

«Гроб заказывали? Распишитесь...»

Хотел мистерии, хотел аффекта, выпадения из обыденности — получил. Только вместо светлого порхания вскользь по бытию под дружественными наркотиками — как будто переехали танком. Ненавидел формальные отношения — получил неформальные: от чужих людей ножом в спину.

Лицемерие — столько месяцев лицемерия, которым она отравила их и без того трудные отношения. Увлечшись другим, все более любя его, не возвращаясь домой, или тупо играя час за часом на компьютере в пасьянс — возвращаясь, — она нарушила всю связь между ними. Постель — особый разговор: разжигаться рядом с нею, уже спящей (или притворяющейся) или говорящей ему усталым или безразличным голосом: «спокойной ночи». Он был пресыщен — такой — ею, избавление от нее казалось благом. К тому же думал: уйдет она, останется Даша или кто-то другой. Какая глупость!

Он вспомнил, как говорил с Хасром об эрозии личности в бизнесе. А эрозия всех моральных констант и потеря ответственности от общения с богемой? Этот легкий, веселый, полупьяненький, вседозволительный мир артистов, журналистов и писателей, в котором она жила последний год. Он видел, что ей хорошо, и не хотел создавать для нее монастырь. В конце концов, она переживала это впервые в жизни. Поэтому он не очень серьезно отнесся к ее внезапному желанию оставить радио и быть куда-нибудь увезенной, далеко-далеко, хоть за границу. К тому же она не объясняла причин. Это было несколько месяцев назад. Значит, вот как давно она уже все поняла. Сколь долго тянулась ее неоткровенность.

Она соблазнилась своей хорошестью, ей нравился ее успех — среди умных и талантливых молодых людей, пишущих злобой и спермой. Блестящая, желанная для всех — для нее это было второй юностью, последним, может быть, балом. Он много раз говорил ей, намекал. Она отрицала: его честь была, словно в сейфе. *Мы просто друзья, мы играем...*

Она легко расточала себя, легко отдавала. И доотдавалась... Она жила, как актриса. Жизнь для нее была сладкий и мучительный праздник. Она нарушала долг, мучилась этим, обманывала себя и его, пила, чтобы позабыть об этом, беспамятно веселилась... Она сильно изменилась. Качнулась на качелях жизни. И так же сильно полетела назад. Станут ли теперь качели ее постоянным аттракционом?

...Он хотел забыть ее совсем. Но вернувшись в Москву и выпив вина, звонил ей ночью от Пети, — он встретил его на улице недалеко от мастерской и обрадовался, как Бог знает кому. Петя повез Захара к своей новой возлюбленной (воля его оставила)...

Возлюбленная Пети, бывшая сослуживица по работе, недавно родила ребенка. Она жила в Кузьминках, к тому же черт-те где от метро, и Петя взял мотор, что было Захару тоже на руку, так как облегчало задачу хранить невозмутимость — сидя у Пети за спиной.

Последнее время Петя процветал: у него были деньги, он ездил на моторе и снимал двухкомнатную квартиру для возлюбленной. Не голодала, верно, и петина основная семья.

Петя был превосходный человек и при этом не мучился никакой виной. Он показал своего нового ребенка, свои новые картины. Пришли веселые молодые люди, совсем из другой среды, приятели возлюбленной. Пили вино, пели песни и беззаботно острили. Захар вместе со всеми. Он давно заметил, чем ужаснее у него на душе, тем легче даются слова: они извергаются как-то мимо разума, погруженного в неподвижное созерцание беды. То есть, одна, абстрактная часть разума была удвоенно активна и необычайно изобретательна, к тому же в обстоятельствах ее очевидного гуманитарного превосходства.

Однако при первой возможности он сбежал с кухни и уединился в комнате с телефоном.

Оксана объявила ему, что собирается *неделю* думать: выбрать ли веселье, успех, «любовь» — или его, монастырь. Ей будет мучительно не хватать радио, где «все» складывалось для нее так удачно. Отказаться от единственного для нее сейчас доступного делания, «творчества». Обменять «любовь» на возможную ненависть, на жизнь, когда двое не смогут нормально смотреть друг другу в глаза, на соприсутствие со своим «грехом». Может быть, многие годы. К чему ей это? «А, пусть уходит!» — как говорит строитель-армянин.

Ему-то только как жить? Не мог ни есть, ни спать. Стал курить. И пил. Пил постоянно, как будто расплевываясь с жизнью. Тряслись руки. Истерическое возбуждение до слабости в ногах. И никакого забвения.

Так и поехал утром, взяв у родителей машину, не чувствуя сил что-то откладывать электричкой, вообще терпеть людей, вздумав развеяться дорогой. Машина для него, еще неопытного водителя, это всегда упражнение воли. Родители пытались остановить — куда там: надо было

куда-то вырваться отсюда, где уже наизнанку вывернуло от тоски. Всегда осторожные, они не настаивали, верно, поняли, что лучше сейчас с ним не спорить.

Захар сразу понял, как они правы, но решения менять не стал: ехал в затмении, беспрестанно сбиваясь на свои мысли. Он встряхивал головой, чтобы собраться, вцеплялся в руль и весело думал, как хорошо было бы теперь разбиться. Чувства и бред колотились в нем, парализуя страх. Он ждал от жизни чего угодно, теперь он мог, не кокетничая, презирать ее и не верить ей. Мокрая, раскисшая дорога, залепленное стекло: постепенно опасность мобилизовала его, и ближе к лёшиному дому он чуть-чуть пришел в себя.

В нем жило крепкое ощущение, что все в жизни кончилось. Пришибленное, бесполое существо, для которого уже ничего не имеет значения: ни жизнь, ни смерть, ни творчество, ни работа, ни любые вещи, ни другие женщины. Его сейчас можно было бросить на ответственный участок фронта, как камикадзе. Отчасти он уже другой человек. Не понятно — как жить этому другому человеку в другой жизни?

Morituri te salutant!

А ведь говорил ей, еще когда *это* началось с ее близкой подружкой Аришей (та тоже, после кучи лет брака, додумалась влюбиться в начальника на работе): все это лишь правило полового подбора в узком коллективе. Она обижалась за Аришу: причем тут коллектив, если это *любовь*? Ариша, кажется, выкрутилась. Строгая Оксана дала маху.

«Неужели Господь совсем меня оставил?»

Странно, они много раз предсказывали это, порознь и вместе, и где-то за *два дня* в разговоре: мол, то, что происходит теперь, может быть очистительным ураганом, который или обновит их любовь, или разметает ее совсем. Так и произошло. Обновил, разметал?

Странные красавицы из «Московского наблюдателя» пушкинской поры, словно сделанные из миндальных орехов, крема и желудей. (У Лёши была большая коллекция вырезок — от деда-художника. Он дарил Захару на выбор.)

Лёша играл со своей кошкой Асей. Как в цирке, она брала у него еду изо рта, целовала в губы, запрыгивала на шею и укладывалась там воротником. Трогательная любовь одинокого мужчины к своей кошке. Иногда казалось, что он принимал ее за женщину, заколдованную, как в восточных сказках, проявляя к ней чувства, интенсивные и странные, редко достающиеся даже людям. Нет сомнения, он бы женился на ней, будь она более антропоморфна. Еще с ними жил ее сын, здоровенный увалень Макс, которого по весне новые хозяева возвращали Лёше, чтобы Макс орал и гадил на природе. У Лёши разговор с ним был короткий: как только кот начинает душераздирающе выть, он брал его за

шку и выбрасывал за дверь на свирепый мартовский холод. Тот орал снаружи, потом со скрежетом полз по раме и царапал форточку. За неделю таких упражнений кот переборол свой инстинкт и не орал.

Длинными вечерами под плетеным абажуром, едва освещавшим комнату, они говорили обо всем на свете. Мысль была чиста, безотрад-на. В голове хрустальная ясность. Мысль давалась легко. Трудно дава-лось существование. Обо всем этом и говорили.

Печь — изящная немецкая буржуйка — центр их жизни в этот хо-лодный март. Дом, собранный из вагонки с минватой внутри, жил на электрообогревателях и этой печи. Ночью Захар выходил на улицу и откапывал из сугроба деревянный хлам, оставшийся от строительства, и там же на месте пилил его — кормить их прожорливого друга. Лёша кормил его вообще черте-те чем. По концепции безотходного суще-ствования он жег в печи все, что может гореть: мусор, очистки, старые кеды. Пустые бутылки ставились на буфет или отдавались пьяницам.

Вечером на поселок опускалась непроницаемая тишина. В печи го-рел огонь, отражаясь в оконном стекле. Он помогал молчать, когда го-ворить не хотелось. Мысль, пришедшая в голову, немедленно актуали-зировалась.

— Все-таки христианство — в смысле *вера*, как вообще религия, область именно экзистенциального отношения к жизни, — начал За-хар после неопределенной, хотя и давно поставленной точки. — Бердя-ев приводит слова епископа Федора: «Что такое наука, когда речь идет о спасении или гибели души для вечной жизни». Обскурантизм, мра-кобесие? Да. И — несомненная истина. Говорят, что наука и религия занимаются одним и тем же: познанием. Ничего подобного. Религия ничего не познает и не должна познавать. Она — лишь *копит силу* — для столкновения с непознаваемым и бесконечным. Она скромно зна-ет, что последние вещи можно постичь только через откровение, одер-жимость или никак... Наука бесспорно познает, и спасибо ей за это. Но что она познает? — Что, сделав те-то и те-то математические действия, мы получим то-то и то-то? А в результате, когда нажмем на выключа-тель, — зажжется свет? Конечно, лучше жить со светом, чем без него. Но какое это имеет отношение к последним тайнам? Наука так же далека от них, как при Тутанхамоне. Лишь через миллион лет, может быть, она сможет определенно ответить на вопросы, на которые религия пытает-ся ответить уже теперь...

Лёша слушал его очень внимательно и молча кивал, хотя с религи-ей у него были свои счеты (с этого и начался разговор).

— Ложь религии, — продолжил Захар, — в ее утверждении, что со-вершив те или иные обряды — мы будем ближе к истине, чем те, кто не совершил их. С этого момента религия уже становится псевдонаукой, но без достоинств и честности настоящей науки.

Если бы она пришла и сказала: да, это страсть, я умираю без этого человека, разреши мне! — Захар, может быть, отошел в сторону и не переживал бы *так*. Он признавал, что есть вещи, неподчиняющиеся разуму и воле. Но недоверие к нему, желание обмануть его, что-то сделать за его спиной, как будто его и нет вовсе, причем зная, что обманывают и убивают убогого, слабого, замученного, с издерганными нервами и психикой человека, — это было жестоко и нехорошо.

Впрочем, он сам удивился, насколько оказался слаб. Всю дорогу он демонстрировал «силу», наскальный манфредизм (и, может быть, ввел в заблуждение). Тут вообще был какой-то рок: каждый воображал что-то другое: Захар — что «все к лучшему», она — что «с ней этого не случится»... И ни он, ни она не ожидали и не смогли стерпеть того, что получилось. Парадокс, судьба. Насыляет Бог затмение...

Вообще, последнее время его раздражал в ней дух легкости, суетности, озабоченности разными пустяками. Он или ссорился с ней (из-за них) или принимал (их), меняя *к ней* отношение. Может быть, единственный смысл ситуации — что с них спадет все пустое, дурацкое, ненапервонужное!.. Неужели такое страдание ничему их не научит? После единственной его встречи с ней, сразу после Батуми, — он мог сказать это определенно.

В жизни бывали разные вещи, но такой боли он, пожалуй, не испытывал никогда. И то, как избили его летом на мосту, когда ночью он возвращался от родителей, не шло с этим ни в какое сравнение. А ему пустили тогда много крови. Но лучше бы его отметелили еще двадцать раз и вдесятеро сильнее, переломали бы все, что можно, — но не это! Он мог сказать это легко и уверенно.

Без четверти шесть утра. Сон не шел. Наверное, он поступает неправильно — жалеет себя, умоляет Бога об избавлении, надеясь по привычке как-то приноровиться к ситуации, которую кто-то за него решит. Надо быть сильным (наконец), что-то сделать. Он чувствовал, что вернуться не сможет: доходил до какого-то «пункта» и сходил с ума. Картина затемнялась, искривлялась и приобретала очертание фобии, навязчивой идеи. Центр ее — *они* в проеме двери *через два дня* (Захар зашел взять вещи перед Батуми). Он столкнулся с ними в двери подъезда. Два чужих человека. Чужая женщина и чужой дом. Два натолкнувшихся друг на друга антимира, не способные даже взглянуть друг другу в лицо. Кошмар, сон, галлюцинация под *клипом*: так не бывает, так не может быть! Двенадцать лет: общие друзья, идеи, воспоминания, общее все... — ничего нет, даже поздороваться нормально не смогли — у обоих шок.

Или тогда, когда она утрировано, почти паясничая, кланялась, словно пьяная, Захару с Дашей, когда они выходили все из того же подъезда, *им* провожаемая — через два, вероятно, часа *после всего*. Наверное,

была как безумная. Он почувствовал, что здороваться за руку с *ним* не надо. Он рад, что этого не произошло: для Захара был бы позор, для того — подлость.

Эти два страшных ночных воспоминания. Кажется, так же вспоминал бы детали автокатастрофы, в которой она погибла. Невыносимое для мозга: то, что было и не могло быть.

И все же он подозревал, что есть что-то, за что можно зацепиться, еще как-то взглянуть... Все целиком переосмыслить, одолеть кошмар, избыть его в каком-то тотальном мозговом штурме. Все, что сейчас с ним происходило, было мозговой штурм, аффект, предельное напряжение... Он должен многое для себя решить.

Первый довод — его вина. Второй — прощает: страсть, ошибка, влияние «среды». Третий — не мог быть один: привычка, столько лет вместе. Четвертый — опыт, обновление чувств, огромная духовная работа, которая тоже не бесполезна. Обложил с четырех сторон *историю*. Но одолеть не мог. Ведь так просил — избавить от адюльтера, ведь так просто было, ведь знала, что делает с ним... Такая жестокость, безумный прыжок в бездну. Сладкое безрассудство, сделавшее всех несчастными. Не мог забыть, что был предан хоть на один миг, на один день! Зато — целиком. Как ему потом во всем этом жить: безумии, слезах, лжи и грязи чужой любви, порожденных мигом вседозволенности?! Столь многое сразу обратилось в ничто. Может быть, все это и надо было кончить? Крепкий был зуб и продержался бы еще долго — но его почти выдернули с помощью *таких* клещей. Большой потерял сознание, но жить, наверное, будет. Кончайте, сколько же можно!..

Как нормальный слабый человек — он хотел покоя и ясности, дома, чая, тишины, чтобы все было однообразно и просто. Но бессознательно он, видимо, ценил эту ситуацию стояния на краю, созерцания ужаса, перехода от надежды к отчаянию. Он должен знать, как глядят на смерть, как чувствуют жизнь те, кто обязан терпеть, когда они не в силах это терпеть!

Лёша уехал в Москву, Захар один в доме. Еще раз посмотрел «Зеркало». Великий фильм, удивительное доказательство мощи и истины искусства. Хотя, может быть, то, что переворачивало Захара, переворачивает другого с боку на бок во время третьего сна.

Рядом с этим — все переносимо и не так страшно. Он все же умел любить и переживать. Он все же наслаждался, когда можно лишь плакать. Плакать, что жизнь вообще *такая*. И то, что было с ним — в ее русле, из ее кино. Это было очень больно, а, значит, не мелко. Это главное.

Если раньше чувства к ней стягивались к симпатизирующей привычке, теплему безразличию, любви-равнодушию, то теперь размаши-

то колебались от любви к ненависти и обратно. Два чистых состояния, смешиваемых по закону дополнительных цветов. Настоящей любви, лишенной чувственного элемента, и ненависти — за предательство, боль и безумие, мучавшие его все эти дни неподъемными идеями и необходимостью как-то справиться с новой информацией.

То самое решение, которого он жаждал, потому было и невозможно, что никак для себя ничего не могло решить это самое мифическое *сердце*. Если раньше в каких-то пунктах было плохо — то станет ли в них лучше теперь? Зато в других — станет точно хуже. Естественно, ее гордыня будет слегка поколеблена, но можно ли жить на минном поле, боясь каждый день случайным словом наступить на спрятанную и похороненную мину?

Итак сегодня все *кончилось окончательно*. Меньше, чем за месяц (погиб мир). Она сделала выбор. Наверное, правильный.

— Что ж, будь счастлива, — сказал Захар и повесил трубку.

Во всяком случае, сегодня она была довольно спокойна и чуть ли не весела. Легко смирилась с потерей. Не первый раз. Рефлекс женского сердца.

Он специально вернулся в Москву к положенному сроку, чтобы услышать все «в комфорте», то есть поближе к моргу, дивану, замкнутому пространству, если ответ будет неблагоприятный (чтобы не сорваться при Лёше. А сдержаться — разорвало бы пополам). И вот услышал.

Четвертый заход отчаяния. Он хотел надеяться — последний. Во всяком случае, дилеммы больше не было. Проблема выбора и примирения с *фактом* — снята. Она отныне для него кончилась, и, следовательно, все ею совершенное. Теперь он начнет «вытеснять» все связанное с нею и ею олицетворяемое. Теперь начнет *ненавидеть* всерьез. Или презирать. С этого дня он снимает с себя *вину*. Он был «виновен» — пока она оставалась его, хотя бы на уровне мысли. Пред этой, *чужой*, женщиной он больше ни в чем не виноват. Чем-то ей обязан, но, он надеялся, взаимно.

Теперь действительно начнет строить мир заново. В который раз. Ничего, как сказала Тамара: за одного битого двух небитых дают. Знать бы только, кто дает и кому?

У Тамары он был вчера, без машины, чтобы много пить. Но пили мало, много говорили. Вчера он был еще *горд*, еще в раздумии: принять — отвергнуть. Думал, от него что-то зависит. Просил Тамару поговорить с ней, но не очень уговаривать, мол, «не так уж нам и надо, не так уж мы убиты». И Тамара обещала. И вот отверг не он, отвергли его. Поделом.

Да, сам бы он не смог носить вину. Настоящую. Уж лучше с ним, чем он — если разрыв был неизбежен. Второй раз она брала инициативу на себя. Жаль только: почему *опять*, неужели все повторяется в его жизни? Почему его бросают, почему его не любят? Знак ли это какой-

то избранности или указание, что пора мылить веревку? Наверное, вытерпит. Забывать-то он умел.

Она, кажется, уже утешилась. Что ж, тем более. Если бы страдала — он имел бы долг перед ней, имел бы иллюзию чего-то несокрушенного, на чем им можно выплыть. Страдал бы от необходимости рвать и не мог бы порвать. Ждал бы звонка и боялся его как соблазна (проявить слабость, принять невозможное, быть выше фактов...). Теперь уже все это не важно. зуб вырван. Очень большой зуб. Кровь хлещет, но обратно он уже не вырастет. И рана, может быть, заживет.

Начал забывать, начал *забывать*.

...Для этого на следующий день он поехал к Вите с Надей. Они были радушны: все теперь готовы его жалеть. Вместе пошли в магазин, купили водки и вермута. Витя с Надей сделали отличный стол и твердили: ешь, ешь! Но он не мог есть, пропуская одну за одной, всё по очереди, в дикой смеси, — и все говорил-говорил: об искусстве, о Боге, о вере — и вдруг внезапно начал блевать прямо на пол. Его уложили на диван, Надя подставила таз, гладила по волосам: успокойся, ничего страшного...

И лишь тут он стал говорить о главном, ради чего приехал: что ему делать, как жить, как относиться теперь к этому человеку?!

Их приговор: бросить, забыть. Не надо переживать: это же не его грех. Будто ему от этого легче.

— Я понимаю тебя, — говорит Надя. — Я не ожидала от нее. Мы все всегда так хорошо к ней относились. От кого угодно, но не от нее.

— Это блядство! — режет Витя. — Хотя вы и жили невенчано, это ничего не меняет. Забудь ее, она не стоит того!

Но Захар так не думал. Они хотели доказать, что она хуже, чем она есть (хотя, куда уж хуже?). Им казалось важным, чтобы он *морально* оценил ситуацию и как моральный человек отрезал бы как ломоть... Но ему плевать на мораль, скорее его волновала его гордость, и никакая ее вина не казалась достаточной, когда его мучила *такая* привязанность.

Нет, они не понимали его и ничем не могли помочь.

Ближе к ночи Захар пришел в себя. Они предложили остаться, но он отказался. Он исчерпал все варианты, чтобы забыть и забыть. И отчаяние тупо, неодолимо накатывало на него.

IV. Возвращение

Какие некрасивые люди едут в метро в семь утра. Какие чудовищно некрасивые люди!

...С ним не было никаких вещей: куртка, ключи. Самоубийца — человек несуетный. Его путешествие — самое необременительное.

Сегодня месяц. И он между смертью и приятием ситуации «сплывал» и *принял* ситуацию. Никогда он не думал, что зайдет так далеко в отчаянии и любви. Действительно, любимому можно *простить все*. Даже то, что она и теперь не способна отказаться от *того человека*. Какая несчастная, невыносимая для него любовь! Невыносимая для всех. Отчаянная ситуация. Теперь это — еще — дурачки напоминало марьяж-а-тра. Или катр. Что не приносило облегчения.

Ему захотелось испортить ей «торжество». Не дать ей окончательно «утешиться», показать, кто тут по-настоящему труп. Все же она любимый его и несчастный человек. Слабый, запутавшийся в страсти и раскаянии. Из нее можно вить веревки. Ее можно убить одним словом. Она и сама не хочет жить. Если бы *отпустили* с той стороны, она бы, наверное, сбежала от Захара не глядя. Она и так сделала все, чтобы отказаться от него. И сегодня он сделал ее положение совсем невыносимым. Зато спас себя. Вряд ли, погубив себя, он доставил бы ей удовольствие. Все они теперь *насмерть* связаны друг с другом. И никуда им друг от друга не деться. Троим, четверым... Захар почти простил *его*. Говорят, он *плакал*, наставляя ему рога...

Все это, конечно, бред. Больно было вспомнить, что было время, когда ничего этого не было. Когда они были верны и не изменяли клятвам, как римские легионеры, хотя, вероятно, и мало любили. Теперь хотя бы любят. К сожалению, не всегда друг друга.

Он думал, что есть вещи, зная которые, жить нельзя. Во всяком случае, в том месте и с теми людьми, кто был виновником этих вещей. Теперь он знал, что жить можно *со всем*.

Они сделали *все*, чтобы исключить его из игры. И он, как гордый человек — поддался на этот соблазн: обиды и свободы.

Но страдание вернуло ему ум, и открылся настоящий каюк. Он больше не даст им шанса. Фиг вам: он вернулся. Это его дом, его женщина. Почему он должен делить или отдавать ее другому?

Он не даст проявить ей слабость. У этой ситуации все равно нет развития. Любовь? Хорошая штука — вроде чумы. Но любовь еще не судьба. А лишь момент судьбы. Почему он должен отдавать за *их* любовь — столько лет жизни и свою *судьбу*? Не слишком ли щедро? У них есть — они сами. У него нет *ничего*. Да, он будет эгоистом. И потому — мудрым человеком. Таких птичек не отдают. Даже если с хвоста она — змея и нанесла смертельный укус. Это было искушение. Обновление того, что за двенадцать лет превратилось в рутину и перестало цениться. Он, наконец, понял ситуацию. Понял себя. Она может уйти сама. Помогать им и подыгрывать он не будет. Они не получают больше того, что получили.

— Не надейся, я тебя не отдам, — пробормотал он.

Она подняла глаза, словно не расслышала или не поверила.

Во всяком случае, пока хватит сил держать. Может быть, она его возненавидит. Как «ненавидит» N. (женскую половину с той стороны, не отпускающую мужскую половину на свободу). Будет совсем гадко — разойдутся. А пока он будет лечить. Как лихорадку. Счастья, может быть, пока не будет (оно в этой ситуации вообще не заложено), но будет *покой*. Премилая вещица, как оказалось.

Да, он оказался слабее, чем думал. И это заставило его бороться. Они выбросили его в безвоздушное пространство: в один миг он остался без прежней жизни, жены, дома. В этой пустоте он мог держаться только за свою гордость. Да, это была свобода, но в этой свободе ситуацией хотел управлять он. Решать — куда падать, с кем и зачем... Они ему не дали этой возможности. Они слишком легко от него отделались: человек закрыл дверь, и его как бы не стало. И никогда не было.

Ах, *они* страдали, они *такие добрые* («все говорят»). Им надо было делать не так. «Ты меня бросаешь, уходишь к другому — так уходи. Тебе в утешение будет он, мне — хоть привычная обстановка.» Цинизм? О нет! — это единственный способ — он понял это — чтобы не сойти с ума: амортизация скорби привычными делами, созерцанием привычных вещей. Даже этой малости они его лишили, добренькие.

Ему пришлось быть строгим. Игра больше не будет вестись в одни ворота, будто один из субъектов конфликта совершил самоубийство аля Лопухов.

Он думал об этом, пока она спала, после целого вечера конвульсий, ломания рук, душераздирающих криков:

— Ты убил все мое счастье! Моя жизнь кончена! С этим со всем я не смогу жить!

Приступ отчаяния был так суров, что он съездил к матери за колесами. Но даже горсть элениума с сонapakсом взяла ее не скоро.

И все-таки он не поддался, не сбежал, но строго сказал ей, что никуда больше не уйдет. Он сделал свой выбор.

— Ты хочешь остаться?! — кричит она, словно он резал ее ножом.

Она, видимо, думала, что, проведя первый курс лечения, он уйдет. Он же получил свое, он же рассчитался с ней!

— Ты убиваешь меня! Никогда не думала, что ты можешь быть так жесток! Я прошу тебя: оставь меня теперь!

— Нет, нет, нет! Я буду тебя *лечить*.

— А если я умру от такого «лечения»?

— Может быть, это будет лучше?

— Может быть. Тогда бы уж поскорее!

У нее появилось серьезное желание умереть, даже умереть *вместе*, по-японски.

— У нас еще будет время об этом подумать. — Он говорил это спокойно. Сегодня ночью он весьма приблизился к сей развязке. У

него были сильные козыри: отступить ему некуда, как бойцам Красной армии.

Оксана сказала, что, узнав о его «возвращении», *друг* сжег все свои рукописи. Что ж, поделом. Хотя — это поступок, думал Захар (было там два или три симпатичных рассказа). Тот смог сжечь рукописи. А что смог сделать Захар? Уехать в Батуми, пить?.. И еще много-много ночей у него был этот потолок на даче у Лёши. Может быть, он стоил всех рукописей. Никогда он не забудет этого чудовишного потолка, каждую доску его, пробуравленную взглядом до дыр, каждый гвоздь.

Они говорят о доброте, шепетильности... Увести жену человека, которомужимаешь руку, рассуждаешь о творчестве! Захар был способен увлечься, он даже был готов допустить постель и измену *жене*. Но измену *другу*! Он мог поклясться, что ни разу в жизни не взглянул на жену друга с этой точки зрения. Все они были для него бесполоыми. Тут был какой-то блок, мгновенный рефлекс. В России потому и не было *армянских* законов, запрещающих жене встречаться с мужчинами отдельно от мужа, — что в европейском сознании сильно утвердилось понятие порядочности. Впрочем, изменить жене — тоже непорочно. Но тут хотя бы — свой человек: уж если она не поймет, то никто не поймет. И не простит. Священна — чужая собственность. Изменяя жене, ты в первую очередь изменяешь себе, своему представлению о судьбе, семье, изменяешь всей прежней жизни, своей собственной. Изменяешь своему прошлому. А прошлое для человека весит побольше *теперь* и всех его радостей.

И теперь Захару уже нельзя было надеяться на победу. Он прежде всего не мог доверять ей. Замешкается он чуть-чуть — и она сбежит. Или сделает, скажет что-то такое, отчего он сам уйдет. Второе — тактически неверно, но так скорее всего и будет. Он не перенесет ее слез, криков и оскорблений. Хотя он понимал, что она теперь не в себе.

Между тем, шли дни, она не ходила на работу, немного успокоилась. Каждый день Захар, по заведенной в Батуми традиции, приносил вино, они ничего не обсуждали, молча играли в шахматы, что никогда раньше не делали, чтобы убить время.

Кажется, ничего не выйдет. Он вошел в комнату — она за компьютером: играла в пасьянс. Его передернуло! Полгода они провели так: он на диване читает, она играет на компьютере. Теперь он знал: она была вся в любви, как кошка, и только этим спасалась. Такой одуряющий наркотик... И что же — опять?! У них не может быть ничего иного?..

Он взял трубку и позвонил. Пусть придет. «Все решим и выясним.» Она была не в себе, металась вокруг Захара, ломала руки:

— Зачем ты ему позвонил?! Что ты задумал?! Чего ты хочешь добиться?!

Весь вечер Захар развлекал ее разговорами. Ему уже было все равно. Будущего все равно нет. Страшил только чердак у Лёши...

Ногог! Каждый день он открывал все больше ужас ситуации. Как жаль, что она не была с ним откровенна — *тогда*, когда все начиналось. Теперь ему казалось порой, что болезнь уже неизлечима.

Вообще, многое узнал (в разговорах под вино, между истериками, убийственно откровенных). И что знаменитая Ариша вовсе не «выкрутилась», и что вообще все очень грязно в жизни: их знакомые бабы сплошь и рядом изменяли мужьям и даже рожали детей от чужих мужчин. И ничего, люди с этим живут, и крыша у них не едет. Не разум, а страсти правят человеком, и никто не хочет за них платить (кроме как ежедневной мукой обмана).

И еще он узнал: встречи не будет. Оксана заставила *его* отказаться. Или ему слабо.

Итак, Захар как бы «победил»: *друг* отказался от нее при нем: Для этой незапланированной встречи Захару понадобилось, чтобы Оксана еще раз сбежала, пока он был в гостях у Даши. А он бросился ее разыскивать. И разыскал. Они шли по переулку, а Захар неожиданно вывернул из перпендикулярного и очутился прямо перед ними. Оксана отбежала, и они стали говорить. И *друг* отказался. Скрепили договор рукопожатием. Захар вынудил его на это. Иначе, он, может быть, убил бы его.

Поразительно, но все, что *случилось* — уже не было проблемой для него («обманутый муж»). Ему, оказывается, еще «повезло». С ним были откровенны. Может быть, она уже жалела об этом. Потому что Захар разрушил их маргинальный союз. В следующий раз будет «умнее» — подобно другим женщинам, годами обманывающим мужей.

Его хотя бы не обманывали, за исключением самого факта любви, отчего он был лишен возможности оказать помощь. Теперь, может быть, уже поздно. Он не мог сторожить ее — и не хотел. А она была как влюбленная кошка. Она не отвечала за себя. Быть еще раз брошенным или стать свидетелем безумия или суицида — вполне реальная перспектива для него.

Либо они оба сойдут с ума. Поистине, может быть, дачный потолок был лучше. Но до этого ему нужно попытаться: целиком изменить жизнь и создать для себя и нее новое бытие, что-то совместное, пока трудно воображаемое. Но не было никакой надежды и уверенности в ее силах. Да и в своих. Мир ужасен, люди — слабы и потому подлы (и это *самые* лучшие). К тому же быть каждый день свидетелем приливов *такой* любви, *такой* страсти, рядом с которой лишь его смерть что-то значила. Удерживать угрозой смерти — это было низко для него и обидно. Хотелось надеяться, что есть все-таки кое-что еще. «Господи, и это гово-

рю я: гордый человек, воображавший за собой все достоинства и права на любовь самых лучших женщин! Как я раздавлен!» — Бегал он как безумный по квадрату комнаты.

Он всегда был уверен, что его достоинства сверкают ярче солнца. Он не учел, что люди склонны создавать неформальные отношения и суррогат брака, когда много времени проводят вместе. К тому же в таком выгодном месте, как *работа*: где нет скучного быта, детей, грязного белья, досадных мелочей ежедневного существования. Где они яко чисты ангелы. Водочка, веселье, свобода, тонкие духовные прелести: полигон для половых игр.

И мешать союзу таких «ангелов»!

«Эти добрые люди хотят меня убить.»

Он просил ее только об одном: не обманывать его и впредь, не обманывать, как обманывают других — шадя. Или боясь сделать выбор. Ну, и, конечно, не совершать суицида. Все остальное он берет на себя. А пока что — мрак, ничего не видно: как оно будет, как возможно чему-нибудь быть? Чем будет заниматься она? Чем — он? Каково ей будет сидеть дома — без ее любимого, замечательного радио, где у нее все так получалось, где ее все так любили, где такие замечательные люди? Но остаться там — это безумие! Это все по новой.

Да, теперь он «победил». Но такой ценой, что, может быть, лучше проиграл.

А ведь он воображал, что теперешнее ее положение для всех лучше: ее избавил от мук совести, *их* — от выбора и безумного ожидания, когда *N.* сдастся... И ничего для них не закрыл, не прервал окончательно (пока). А надо рвать, потому что силы на исходе, ураган страстей крут, и любое решение, если уж Захар осмелился его принять, должно быть потрясающе прочным и бесповоротным. Все будет или выжжено, или сметено.

Такой вот был сюжет. Если переживет его — может быть, чего-нибудь напишет. Если еще будет писать. Отчасти из-за его писательств все и произошло. И — доверчивости, что женщина, будучи одна, может устоять. Весь последний, самый «ценный» год — вспоминался им с ужасом. С ужасом глядел на эти стены. В них копилась вся бесконечная ложность положения. Готовился взрыв.

Взрыв, однако, может быть, не последний. Теперь *их* любви «не хватило», чтобы переступить через Захара и *N.* Или через пошлость обмана. Но кто знает, что будет дальше? Кто тут за что-нибудь отвечает?

— Будем биться с упорством обреченных, — утешал себя Захар. В ощущениях — состояние постоянного гриппа.

Морозы внезапно кончились, словно и вправду наступила весна. Снег по-прежнему настырно лежал во всех садах и на газонах, но днем за окном и без солнца журчала вода. Все ожило и рассылало приглашения на скорый пир...

Еще совсем недавно Захар думал, что и ему есть место на этом празднике страсти. Оказывается — нет. Только в другом несообщающемся сосуде — жило чувство к нему. У него не было даже той надежды, что была у Рустама, бывшего дашиного мужа, — что его верность будет вознаграждена: нет общих детей и соперник к тому же «добр, как ангел». На что уж тут рассчитывать?!

У Заточника было что-то вроде: пшеница мучима бел хлеб дает. С ним что-то странное творилось, доброе что-то. Амбиции и манфредизм куда-то исчезли. Что если — навсегда? Поломали ему крылья, его глупый понт и легкомысленную уверенность в жизни (в жизнь не верил, но удара ждал не отсюда).

Наивен был до дикости! Выдумал себе со скуки проблему соблазна красотой. Измены ради красоты, сильных чувств. А изменили ему — и не ради красоты. Вот проблема. Женщина слаба, влюбчива и безрассудна. Ее легко соблазнить, если действовать умело. Красота вообще не самый сильный динамит человеческих отношений. Соблазн добра, бессилие перед сочувствием, роковые проявления благородства, чудовищная жестокость «добрых людей», внезапные, необъяснимые страсти, отрезающие путь назад и ставящие ситуацию с ног на голову... Диалектика зла, всегда рождающегося из добра, и неразрешимые противосочетания людей, так что одному действительно надлежит уйти в «ледяную пустыню».

Не только красота, догадался Захар, но и самый акт между мужчиной и женщиной ничего не значит. Максимальная открытость и доверие — да, и в то же время это меньше сердечной привязанности и выбора сердца (подразумевался *отсутствующий*). Женщина искренна и в любви и в сексе, но видит разницу — и брак все равно не устоит. Ни красота, ни секс не нужны были ей, да и ему. Нужно было постоянное присутствие *своего*... И это невыносимо, когда ты *не свой* для *своего*.

Все эти дни они жили в сумасшедшем эмоциональном напряжении. Каждый день шел за месяц. Пили, болтали, смотрели телевизор. Захар стал брать кассеты в местном пункте видеопроката... Два больших или приговоренных к смерти. Избегали резких движений и разговоров. Избегали вообще каких-либо положений, повторяющих прошлое. Прошлое — проклято! Нового — нет. Обманывали себя сохранностью прошлого и возможностью будущего (в смысле, что, может быть, выживут, всякое бывает). Все висело на одной сопле. У него совсем не было сил, гордости... Была мучительная задавленная обида и оскорбленность (ничем не искупаемая, кроме забвения). И была невозможность жить, не видя ее рядом. Жить в одиночестве. Если он уйдет и выживет — будет чудо. Если не уйдет, и они выживут вместе — еще большее чудо. Имен-

но то, что все было против них, отодвигало боль, потому что, собственно, как болеть из-за того, кто тебе не принадлежит? Кто чуть ли не специально все отрезал? И не получил желаемого. Зато получил вину. Надо быть милосерднее к ней и в то же время — готовиться к отъезду. Да, Захар связал *его*. Он же и развяжет. Или она развяжет. Она развяжет от чего угодно. И он все это терпит! Либо он ошибается, и это действительно *любовь*? То есть судьба, то есть на всю жизнь? Вероятно, сможет сломать. Не сломать бы и *ее* вместе с этой любовью! Всякая «правда» имеет свои пределы.

Пока Захар был в Батуми, Даша стала поверенной ее чувств. Даше, конечно, было сподручнее взять сторону женщины в сходной ситуации, провинившейся перед моралью *их круга*. А для Даши и не было ничего сладостней психологической эквилибристики и установления «истины» с помощью сложнзакрученных вербальных актов. Это был Сократ в юбке.

И вот Оксана, вернувшись от Даши, восклицает:

— Какие же мужчины дураки и эгоисты, когда не дают женщинам в *таком* положении свободу на год-два — посмотреть и окончательно выбрать!

Потрясающая наивность или лицемерие! Захар не знал, как у других женщин, но дать свободу Оксане на год-два — это дать ей свободу *совсем*, навсегда, дать ей *свободу*, которую она боится и ненавидит. Дать ей «посмотреть» — это не значит оставить ее в положении *между* ним и другим. Это значит немедленно сдать ее другому, за которым она будет ходить, как собака, и ждать не решения и выбора, а лишь — доколе у N. хватит терпения. И в этом положении она будет ждать месяц, год, пять лет. Пока не надоест — ей или N. (или всем троим). А Захар будет где-то в инобытии. И после пяти или десяти лет она, может быть, решит вернуться. Но захочет ли он ее принять — по существу, бывшую все это время женой другого, захочет ли он принять *чужого* человека? Ведь жалеют лишь о потере *своего*. И что он сам будет — и с кем: через пять или десять лет? И будет ли?

Дать ей «подумать» — это оставить наркомана соскакивать среди поля маков. Если, конечно, это наркомания. Если же нет — то тем более попробовать нечего.

Почему он не просит: дай мне год или два — пока я привыкну или найду кого-нибудь?

Уходя, он не будет обозначать срока и кивать: отложим-ка лечение на год-два. Если это не болезнь — то нечего и соваться. И он не хочет ждать год или два, прежде чем у него появиться возможность приступить к изучению этого вопроса. Он уйдет с расчетом *насовсем*. А там как получится.

Единственная польза от этой ситуации: Захар понял, что значит *любить* и *терять*. Трудно сказать — уравнивало ли это знание весь ужас, имевший и продолжавший иметь место быть?

Она страдает, она не помнит себя минутами... и она легкомысленна до невозможности. Говорит:

— Что ты так переживаешь, это же во всех романах описано. Такое бывает почти у всех людей.

— У всех бывает, а у меня не должно было быть! Странно, иногда ты каешься, а иногда — чуть ли не гордишься своим *предательством*.

— Я бы не использовала этого слова! Кто просил тебя возвращаться? Я бы жила с ним, а ты стал бы *другом*. Почему нет? Это так нормально. Ах, зачем мы так привязали себя друг к другу?!

Где же предательство — тут или там (Захара или *друга*)? Ему давалось понять, что он *лишний*, но пока можно и так. Чтобы его утешить. Чтобы он *все* понял и добровольно ушел.

Что же, если не *все*, то кое-что он понял и стал готовиться. «I must be ready.»

Пока Захар был с нею, он был готов уйти. Гордость и обида участвовали в этом. Но стоило ему уехать куда-нибудь на час по делам — все в нем содрогалось, слабели руки, воля оставляла его — и он хотел лишь умереть или скорее вернуться.

«Разве тут кому-нибудь что-то не ясно?» — вспоминал он ее слова. Зачем он откладывает удар на плахе, если он все равно должен быть нанесен? Опять привыкнет к ней. Опять потеряет... Неделя, две недели, месяц — вот все, что есть в его распоряжении.

Чума, думал он. Надо выздоравливать. Самому поставить точку. До того, как она скажет: «Ну, срок истек. Что же ты, милый, думал? Я же тебя предупреждала».

Захар чаще, чем раньше, стал заезжать к Даше. Прежде она сама заходила к ним после тенниса. Но теннис он бросил. Ему все же страшно интересна была эта женщина, имеющая мужество плыть против течения, установленного *их кругом*, постоянно отстаивавшая свое, ни для кого больше недопустимое право жить как хочется, и поэтому экзальтированная, напряженная и духовно неуспокоенная. Из этого напряжения рождались все ее неординарные мысли.

Захар сидел на диване в полутьме в ее комнате, освещенной лишь белой неоновой баранкой на полу, бросавшей свет на белые обои, отчего казалось, что они вдвоем — на освещенной рампой сцене. Это была не квартира, а маленькая галерейка, где все было рассчитано удивить посетителя: картинки, вещи, драпировки, чистенькая, гладенькая, без единой досадной мелочи. Дизайн разрабатывал, верно, Артур,

пижон и сноб, ее роковой возлюбленный и когда-то Захаров близкий друг.

— У тебя очень *холодная* комната — дом Снежной Королевы, где на полу из осколков льда хочется складывать слово «вечность», — таким своеобразным образом похвалил ее Захар.

Холодная она была по тону и обстановке, не по Цельсию.

— Такая была задумка, — парировала она.

— Я не смог бы в ней жить, — возразил он, словно его приглашали. В «задумке» была искусственность, любезная сердцу Артура, раздражавшая его.

Это сбило их на разговор о дизайне и архитектуре. Даша показала ему фотографию «дома с привидениями» в Киеве (Городецкого, кажется, — о нем и Виктор Некрасов писал), с горгонами, лепниной, финтифлюшками.

— Вот дом, в котором должен жить архитектор.

— Нет, — возразил Захар. — Это дом для людей, которые *играют* в жизнь. Жизнь же проще, строже и трагичнее. Она не обманет себя финтифлюшками и не найдет в них себе утешения. Однажды все внешнее и избыточное соскочит, когда человек столкнется просто с жизнью. Настоящая жизнь серьезна и проста, и она не позволяет с собой играть. Жилье должно быть скромно, для того, чтобы оно было человечно.

Даша еще раз взглянула на фотографию, словно сравнивая со сказанным.

— Наверное, ты прав...

«Еще бы, — подумал он. — Это моя единственная привилегия». Мысли шли из него легко, не подпитываясь волей. Он встречал их как почти безразличных гостей, пришедших его утешить. Его метод был прост: любую вещь он сравнивал с познанной им «истиной» — и выносил приговор.

V. Tango till they're sore

Снег вился поземкой по обледеневшему шоссе, машину вело во все стороны, иногда поперек движения, Оксана вскрикивала и то бранила его, то вцеплялась в локоть.

Лёша не было дома, но у Захара был ключ — еще *с тех пор*. Ждали его, танцевали под Тома Вейтса, в ритме его танго, одновременно занимаясь любовью. Все у них теперь было нагло, безумно и вдруг, как на тонущем корабле. Потом пили чай, и в это время вошел Лёша. Они проговорили за чаем до поздней ночи. Потом был жуткий трип под LSD, ради которого и приехали: попытаться сбросить напряжение, что-то *понять*, — с истерикой и ее судорожными объятиями:

— Почему люди не могут жить вместе, почему не могут *понять*?! — кричала она.

Захару казалось, что он *мог* понять — и жить с *ними* вместе, вместе с кем угодно. Они же братья, друзья, возвышенные личности! Потом постель, страшная, жадная любовь, страшная, жадная Оксана, в которой он боялся утонуть и умереть... Разбуженная им жажда, которую он не мог утолить.

На следующий день под плетеным абажуром они заговорили о вещах, так или иначе связанных с любовью. Лёша рассказал о своих отношениях с Ксюшей, вспоминал, как он вел себя с прежней женой, и пытался понять, в чем его ошибка.

— Существует три вида «брака», — стал рассуждать Захар: — Брактусовка, то есть дружба с элементами брака; мешанский или буржуазный брак — ради производства детей, создания гнезда, покупки машины, дачи... И брак-жертва, когда двое живут ради друг друга, а не ради своих дел и даже творчества. Брак-отречение: когда весь смысл — в жизни с другим человеком, а все остальное мелко и необязательно. Без всего остального можно жить, без него — нее — нет... Брака-тусовки не выдерживает долго ни одна женщина. Только наивные юноши (вроде него и Лёши, добавил он про себя) могут думать, что женщина способна быть партнером, соратником, врубаться в те же приколы — и жить ими. Жить в убожестве, жить под номером «два» в иерархии духовных предпочтений: сперва картинки, литература, философия, свобода... — потом ты.

Лёша кивнул. Он уважал чужие идеологические конструкции, даже мало подходящие для него лично.

Захар же знал, что ныне от него требовалось кончить прежнюю жизнь, выбрать любовь к женщине и принять все ее последствия. Завершить повесть об одиноком эгоисте, за которого все его до сих пор держали.

— Если невеста уходит к другому, еще не известно кому повезло! — усмехнулась Оксана. — Знаешь, кто это мне сказал, пропел даже?... Тамара...

У Тамары тоже большие проблемы с браком. Об этом рассказала Оксана, которая на днях побывала у нее в гостях. Они теперь ездили в гости порознь: так было легче говорить.

Когда-то давно, вскоре после свадьбы, Тамара изменила Валере. Сильно потрясенный, их брак тогда устоял, но с тех пор Валера расплачивался с ней той же монетой с неослабеваемым энтузиазмом. И Тамара со смирением несла свой крест, считая себя во всем виноватой. Но теперь, когда деньги ударили ему в голову, он блудил открыто и с шиком, призывая Тамару разделить его радость.

Они продолжали жить у Лёши, читали психоаналитика Делеза, погружаясь в его теорию фетиша (у Лёши всегда имелась пара неожиданных книг). В это время их собака воевала с лёшиной кошкой Асей. Кошка шипела, выгибала спину, которой прикрывала свою миску, но, в конце концов, запрыгнула на буфет. А Дусе только того и надо

было: обследовать и подыскать из кошачьей миски. Макс, в отличие от Аси, не чувствовал здесь себя хозяином и улепетнул от Дуси на второй этаж.

Для развлечения Захар решил приготовить лобio по-батумски. В хозяйстве вегетарианца Лёши мясорубки не водилось, и он пошел за ней к соседу. Оксана с дивана с усмешкой смотрела за процессом, словно на первую репетицию плохо выучившего ноты оркестра. Равнодушный к еде, Захар умел играть простые кулинарные чижик-пыжики: рис-картошка-макаронь-рис, не уважая этот вид усердия. Пока варево стыло в снегу, он сходил на станцию и купил красное вино. Сели за стол, включили музыку. Хоть он делал все на глазок и по памяти — ему показалось, что получилось адекватно. Разнообразенный его гастрономическим номером, вечер прошел весьма удачно.

Днем они обычно гуляли. Ее надо было развлекать, ей нельзя было давать ни секунды задуматься, ослабнуть, загрустить. Но сегодня ей не захотелось никуда идти:

— Иди один, — сказала она спокойно.

Сладкая березовая тоска наличников, вечная «ж» веранд. Отлучившийся за заборы лес — звал укрыться под свои ветви. Там так сладко, спокойно. Город — оторвавшаяся от безобразной материи чистая духовность. Деревня зимой — плутание души в деревьях, сон, успокоение. Не то смерть, не то мудрость.

Вернувшись, он застал ее быстро прячущую какой-то лист.

— Что это?

— Неважно, так, глупая писанина.

Она быстро порвала и кинула в печь.

Вечером, когда она одна, в свою очередь, пошла гулять, он дотошно исследовал печь. Письмо было мелко, очень старательно изорвано и перемешано с золой и углями. Он разыскал почти все клочки, разложил их на полу. Это напоминало игру в «пазл», где в конце концов должен был возникнуть какой-то смысл. Получившееся он склеил скочем. Вышел один тетрадный лист, с двух сторон исписанный ее акkuratным детским почерком:

Господи, Господи! Как жить? Зачем (любимый вопрос). Если бы кто мог вообразить, чего это стоит... Быть куклой, вещью... Нет, это пустяк. Вот, наконец, способ узнать, что такое пустота. Бесконечная, непреодолимая. Нет желаний. Нет даже желания желаний. Вот теперь, видимо, действительно не хочу жить. Раньше — дурацкая поза. Что-то вроде пошлого декаданса. А главное — не хочу хотеть жить. Незачем. А значит же — это-то и было нужно. Если с такой готовностью отказалась от всего. Воля к самоуничтожению. Никогда не умею сказать «нет». Проще (а значит и удобнее) — отдать. Возьмите — даже если последнее. Он никогда не увидит (да и не захочет даже взглянуть на ситуацию)

моими глазами. Он не умеет смотреть чужими. Тут ничего не поделаешь. Когда я думаю, как он все это видит, я понимаю, что иначе и не могло получиться. У меня (злые, плохие) отняли мое. Меня же обидели, обобрали. Я ушел (оскорбленный). Теперь я благородно тебе все простил (дряни). И ты же еще не ценишь (дрянь). Ужас. Ужас. Ужас. (Шутка.) Мне нет дела, что ты потеряла, не надо было у меня отнимать. И даже никогда не увидит, не поймет, что я ему отдала. Всю жизнь. Больше у меня нету. Меня может понять сейчас только один человек, который сам тоже от всего отказался. Чего бы это ни стоило.

Ему удобнее считать это страстью. Пусть. Вот тут я не унижусь до объяснений. Этого никому нельзя знать. Не положено. Он никогда не сможет увидеть, как я его, такого несчастного, не смогла оттолкнуть, как его больные глаза... Господи, где взять мужества? Другие, в ком жизнь кипит, смогли бы перешагнуть, во мне жизни нет, видимо, настоящей. Имитация жизни. Самочка-обманка.. Будем играть. Show-time.

Зачем я ему с выжженным нутром? Неужели не видит? Или это уже не важно? У меня жизни нет, и у тебя пусть не будет. Говорит, расплачивайся. Сам-то готов расплачиваться? Говорит, расплатился. Значит, так и есть. Господи, скорее помереть, не мучай. Только не 10 лет, не 20, не 30... Рак, спид, другое рожно, все равно. Нельзя заглядывать в рай. Никогда не забудешь. Все кончено. Никогда. Никогда, никогда тебя не...

Вот, он совсем сошел с ума: перехватывает предназначенные печке «записки» — чтобы знать, о чем думает она, когда у нее темнеет лицо, а в глазах — слезы. На глазах у Лёши они вели тонкую войну из намеков и недомолвок, внешне храня веселье и трогательное согласие. Минуты слабости и самоотречения кончались страстными примирениями. Он не верил в ее силы, он боялся ее самоотверженности и смирения: он не имел желания испытывать их и пользоваться ими. Он все же надеялся на любовь... Все же, как бы ни было плохо — это лучше страшной пустоты его недавней гибели здесь. Утонченной жизни погребенного живо.

Их погубил дух легкости, невыносимой легкости. Умение не смотреть на вещи, уклоняться от трагедии. Они уже теперь пробовали веселиться, произносить милые пустяки... А ведь ничего еще не кончено, не изжито — да и не могло быть изжито, стоило лишь копнуть вглубь. Нового существования не было, они пробовали продолжить старое, до трагедии, с поправкой на случившееся, но не упоминая радио и все около-него-бытие. Поэтому жизнь казалась отброшенной на полтора года назад... но со страшной болью, стоило только отвлечься от произведения или слушания телеги.

Он уже зачеркнул для себя старую жизнь, возненавидел многие нейтральные вчера моменты, включая квартиру, в которой жил. И со-

вершенно не представлял *новую* жизнь, особенно для нее. Если она вернется на радио — это конец. Ему просто надо будет собирать вещи. Скорее всего так и будет. Несколько дней, неделя — так. Тогда ясно, что *для него* новая жизнь: жизнь здесь, у Лёши, вино, писание, какая-нибудь далекая граница... Работа по забвению и выживанию.

«Посмотрим.»

Милые архитектурные нелепости старых дач: пристройки, веранды, сараи, потонувшие в невероятных снегах этой зимы. И невозможные цвета: ядовито зеленые, желтые, синие, — русская тяга к лубку. Все ветхое, кособокое, упавшее, с остатками бывлой дачной роскоши: белыми ставнями-жалюзи, плетением наличников, псевдо-античным ордером. Огромные участки, тень елок. Самodelьно-иррациональные новации и затеи. Живое, нищее, трогательное, дорогое...

Вечером Лёша стал вдруг рассказывать про свою маму. Помимо Ксюши, это самая большая его проблема. Она пила и лечила себя полями и травами. И среди бела дня принимала Лёшу за Сатану. Открытым текстом объявила, что от него исходит зло во Вселенной. Сама же работала на ее благо. Писала обвинительные и, по существу, очень жалкие записки с перечнем лёшиных вин, в которых выявлялась вся ее детская беспомощность и страх жизни. И оставляла их ему в коридоре. Он показал их: целый ворох маленьких бумажек.

Весь вечер они судили и рядили, как человек доходит до жизни такой? По лёшиным словам это началось с появлением в доме его бывшей жены, Оли. Мама сразу ее невзлюбила — с того момента, как вошла на кухню и увидела, как Лёша чистит картошку, что он никогда не делал, а Оля сидит на подоконнике и курит. После разрыва Оля вдруг приехала к маме и рассказала, какой Лёша ужасный, что он законченный наркоман и т.п. Может быть, этим она хотела оправдаться, почему от него ушла. И в этом, наконец, встретила понимание. На отрицании Лёши они поладили больше, чем на любви к нему.

Захар же вспомнил, как, еще до всякой Оли, встретил его матушку на улице, и как она вдруг сразу стала говорить про Лёшу, и про его проблемы с девушками, и как это сильно на него влияет. А это, скорее, сильно влияло на нее.

— Может, она просто тебя ревновала? — предположила Оксана. — Слишком тебя любила?

— Не знаю. Иногда мне кажется, что в наших отношениях было что-то ужасно ненормальное...

Присутствие Лёши мешало им слишком отклоняться от образа более менее нормальной семейной пары. И он тактично молчал, когда их захлестывали истерики, понимая, что они приехали сюда не отдыхать...

VI. Артист

В конце марта они вернулись в Москву, полоса спокойствия кончилась. И он опять был весь в своих мыслях.

Зачем он добивался от нее «выбора», «решения»? Хотел хоть как-то ее наказать? Или был не готов вернуться, понимая, что никогда до конца не примирится с *этим*? Даже Тамару просил повлиять на нее, чтобы не принимала решения «из жалости»... Бравировал: он и сам еще *будет решать*. И был раздавлен тем, как она наконец *решила*.

Захар не мог поверить, что она действительно любит *друга*, а его — лишь жалеет. И что для нее совершенное ею — не грех. Не грех перед собой, но лишь перед Захаром, мешающий ей теперь уйти.

Он вернул все к тому, что было. Но уже с тем новым, что стало. И это ужасно. Но без этого — было бы еще хуже.

Он испытал жесточайшее наказание гордости. Невыносимость обеих ситуаций. Вытеснял из памяти куски жизни (не самые неприятные, но с чем-то связанные, может быть — лишь по ассоциации).

Мысль, что твоя жена спала с другим, все равно неподъемна. К тому же, когда она сама и до сих пор принадлежит ему вся, с потрохами, а жизнь с тобой ведет по непонятной обязанности и принуждению.

Душа была выжжена. Какая-то новая любовь казалась абсолютно невозможной. Что на даче, что в Москве — он жил каким-то безумным существованием. Но он и не желал бы вернуться к «нормальной» жизни, к своей *прежней* жизни — полной наивных мечтаний, дурацких надежд и самообольщений. Он проклинал ее, он ненавидел ее. Он искупал ее, он наказан за нее...

Внезапно позвонил Артист. Он сам разыскал Захара — немного поздно. Весенним вечером в конце марта они встретились у метро «Аэропорт», пестреющего палатками и первыми цветами. Артист купил бутылку пива и повел его дворами к своим приятелям. По дороге он объяснял Захару, где и за сколько сейчас приобретают *клип*, с которым Захар же, лет семь назад, в эпоху крутых экспериментов, его и познакомил. Захар уже знал, что Артист собрал какую-то новую команду и записывает длинные инструментальные композиции. Когда-то они с Артистом были очень близки и тоже пытались что-то вместе сочинять. Но все это далеко в прошлом. Теперь Захар ждал, что *клип* вышибет его так далеко, что на какое-то время он *освободится*.

Захар не спешил, слушал телеги Вадима и снисходительно смотрел на его дурачества. Вадим был новый идеолог чего-то, какой-то внеконфессиональный буддист или чего-то в этом роде. Артист очень уважал его, вникая и перенимая для себя его мысли. Но ничего особенно нового Захар не услышал. Что Вадим купил такую-то книгу, что прочел в

ней такую-то забавную мысль. Потом они достали «патроны». Странно, они ширялись в задницу, а не по вене, поэтому никуда не «уходили», сохраняя способность координировать движения и дергать струны. Захару этого было мало.

Тромбы не ползли червяками из иглы, как бывало, и он едва лег — исчез и легко умер на глазах у Вадима, Паши и Артиста, пока те настаивали и кидали в пространство свою клипом же спровоцированную музыку. Под нее он отправился в путь. Она была его Вергилием, прочерчивая формулу маршрута.

Да, это было самое сильное, что могло «присниться». Захар «увидел», что *пола нет*. Это было настоящее откровение: десексуализация существ и сущностей. Слияние их. Освобождение себя от самости, от дурацкой тяжести «Я». И рядом все время была *она*, находившаяся в другом месте, мире, судьбе. Не просто рядом — в нем. Как одно. Она — это он... Очередная иллюзия. Или правда. А иллюзией было то, чем он жил теперь. Заснул в реальность, проснулся в сон, в кино, показанное ему — «трансцендентальному»...

Было много другого, что описать труднее, чем описать музыку, что искаженно сияет в разных религиях, давно ему знакомое, от этого не потерявшее силы. Сорокаминутное самоубийство, «бизнесмен-трип», как называл его Захаров наставник в этом деле. Здесь не было и не могло быть никаких «жду, как в аэропорту — не приходит». Тут «приходило» сразу и мощно, разрывая трехмерность, как плоский занавес, за которым ты находил потайную дверь вечности, широко открытые ворота со множеством запутанных тропок, в конце которых ждал *последний* смысл.

Когда самолет уже заходил на посадку, из небытия стал смутно мерцать Артист. Он дробился и распадался, доносясь сквозь звуки и космические помехи. Артист говорил, говорил, говорил. С какого-то момента до Захара стал доходить смысл. Артист говорил, что наблюдал за ним весь трип (неужели для контроля, как некогда Захар у себя дома следил за ним и прочими «отъехавшими» товарищами?). Он говорил Захару об их долгой дружбе, и что прочел его сборник стихов и ему понравилось. Он рад, что Захар остался таким, как прежде.

Потом зашел Кабан с вином, люди пили и допоздна играли музыку, снова мучая попу. От такого количества могучего яда, которое они пропускали по крови, Захару стало не по себе.

На улице было темно, холодно и свежо, и исчезли все признаки весны. Захар чувствовал легкость и неадекватность с действительностью до странности. Он не был пьян, он все еще был немного не здесь. Но людей было мало, и некому было обратить на это внимание.

Все это слегка примирило с жизнью. Впрочем, за этим он и ехал.

Теперь — он отпустил ее на работу (якобы на два дня). Самое дурацкое из всех решений. «Решение». Что он мог сделать? Настаивать на

своем праве на нее и провоцировать взрыв (ненависти или отчаяния)? Эта работа — для нее, эта судьба — для нее. Почему он должен держать эту блестящую, замечательную женщину в тюрьме? У него не хватало эгоизма почувствовать себя в праве это делать. И это, вероятно, его ошибка. Так он ничего не добьется. Хуже того — вызовет скверное повторение и рецидив. Или окончательный разрыв (тоже решение). Или ложь, как у Аришсы, Марины, Оли. «Боже, избави хотя бы от этого!» — умолял он.

Если она бросит *теперь* и *опять* — значит, он того и заслуживает. Последний тест. Он не мог мучить ее. Она была способна *отказаться*. Он тоже способен. Сам обозначил сроки. Танго кончилось. Она свободна, она возвращается. Она вновь с *ним* или рядом с *ним*. Пусть решает. Захар боялся, что это лишь больше ее измучит. Отказываться издали — возможно. Быть вблизи и отказываться... Это страшно и, скорее всего, невыносимо для нее. Через месяц, два месяца все понесется снова.

Что ж, он попробовал по-другому. И он думал, что будет по-другому. Он понял ситуацию изнутри. Она свободный человек, а не жертва домогательств. И он не позволит проявить ей большее великодушие. Хотя сейчас ей понадобится сила едва ли не большая. Что же, теперь она сама отвечает за себя. И, отчасти, за него. Если опять не устоит, что ж... Да, это больно. Удивительно умная, тонкая, красивая женщина. *И не его*. Хуже. Сам не оценил. Может быть, если не устоит и теперь, после всего, — все же не стоит любить ее *так*.

Вечером Захар заехал к Артисту. Сейчас Артист жил с Олей, бывшей лёшиной женой (все артистовы девушки были Олями, эта уже третья). Вспомнили, что их дружбе *тоже* двенадцать лет.

— Под знаком Юпитера. Прошел цикл. Теперь мы как бы знакомимся заново.

— Ну, это ты слишком серьезно загнул! — отшутился Захар. Ему показалось, что Артист глобализировал в угоду своей астрологической шизе — хотя они и вправду не виделись несколько лет.

Оля сидела за столом рядом с Артистом, совершенно спокойно, словно так оно всегда и было, хотя за много лет Захар привык видеть рядом с ней совсем другого человека. Может быть, он усложняет? В конце концов, Лёша не умер. Вот и он мог бы так же (как Лёша или как Артист). Но верилось с трудом.

Артист рассказал про дом, который строил один в деревне, придумывая какие-то блоки, чтобы поднимать на высоту бревна. Включил музыку, которую недавно записал. Она напоминала ранний «Grateful Dead» и была очень недурна, хоть и не для этого мира и времени. Но это было нормально и в порядке вещей.

Наконец Артист принес *грибы*.

Захар проглотил горсть, и они продолжили болтать. Захар походя вспомнил, что Оля упрекала Лёшу за наркотики. Конечно, в жизни не все так просто.

Грибы действовали только дома, куда он вернулся на моторе ночью. В темной комнате кайф аранжировал предметы и тени, создавал из них интереснейшие картины и бесовские рожи, соединяя в одной плоскости то, что реально находилось на расстоянии и в перспективе.

Но вот с Оксаной — действительно второе рождение любви. Второй брак или роман. Роман с собственной женой. С трепетом и ревностью. С отметанием всех посторонних мыслей, планов и увлечений.

С журналистикой было покончено в любом случае. Дурацкое занятие, суетливое, пустое. Занятие наивных, несерьезных, окологкультурных людей. Не способных по-настоящему творить или преодолевать соблазн легкого и звонкого существования (в редакциях, на людях, презентациях, со сплетнями, пьянством, быстрой «славой»)... Стал тяжелым, очень тяжелым. Другие были ему не интересны. Совсем не хотел ни с кем говорить о «высоком», о литературе (как с зашедшим Тростниковым — чувствовал, что впустую, по инерции — и ни к чему). Мира нет и не складывался. Может быть, — хорошо. Никогда еще он так не жил: вне кокона, желаний, иллюзий, тщеславия, беготни. Долго так, наверное, нельзя, но и нового кокона он не хотел. Новых привычек, новой скуки, новых «дел». Ему надо было разобраться с собой. С ней. Со своей жизнью. Что-то окончательно в ней понять. Иначе все дела — пустое. Тем более творческие. Или не надо никакого творчества? Это тоже надо понять.

Теперь надо было становиться служащим, бизнесменом, «мужем», зарабатывать деньги, делать ремонт. Надо было кончать эксперименты, пробы, завоевания. Надо было сделать жизнь строже, проще, без вычурностей и заявлений (это — последнее). Надо было посмотреть, как это бывает — по-другому. Надо стать, наконец, взрослым человеком. Может быть, скучным и ограниченным, — и серьезным, и цельным. От кого не уходят жены. Или кто может жить и тогда, когда они уходят.

У него было такое ощущение, что он понемногу сходит с ума. Эти игры в чувства с женщиной, которой он не верил, которая за себя не отвечала, которая сама почти безумная... И которую он подозревал во всем. И с этим подозрением ему, может быть, жить долго. Наблюдать, следить, ловить и менять ее настроения. Был в постоянном психическом напряжении. И еще — стала так красива (постригла челку, похудела, обострила линию скул). Действительно стала «роковая». Любовь-ненависть: хотелось гладить и делать больно. Он пугался: а вдруг однажды захочется ножом, как Рогожин?

Не правильнее, не спасительнее ли было теперь уйти, бежать, не доведя ситуацию до полного бреда и кошмара? На что он надеется? Радио их все равно отдалит и разделит. Легкость бытия, возможность играть — она же *актриса*. Масса интересных людей — чего там Захар! Все это уже было. Причем тогда и он был «журналист» и как бы коллега, член тусовки. Теперь — ненавидел и ни ногой. Зачем он ей? —

слабый, никчемный, ничего не делающий, даже не пишущий? Страдающий, любящий? — о, это надоест. Зарабатывать деньги? Вряд ли это их сблизит. Она потеряна для него — теперь он видел это ясно. Потеряна даже не от любви: скорее, сама любовь — следствие веселого журналистского плавание, где она обрела себя, где она была счастлива, весела и на месте. Все это вместе давало ей больше, чем он один, досадливый, слабовольный «муж»... «Противный муж, как ты не прав...»

Да, она актриса. И радио — отличный полигон для демонстрации ее талантов (женских и редакторских, «личных и профессиональных»). Между им и радио она выбрала радио. Невыносимую легкость. Он знал, она еще заплатит за этот выбор (все же — она тонкое и сентиментальное существо). Смешно: лишь крах радио или всей страны — способен был спасти их брак. Речь шла о чьей-то крови — вот до чего дошло. Да, это не могло продолжаться долго: «Мама, почему царевна вышла замуж за этого дворника?» — из фильма о Волошине (брак с Сабашниковой).

Впрочем, он не дворник-гений — и это все усложняет.

...Он жил как гений, не будучи им. В этом вся проблема. Когда-то не доучился, не обрел места. Не устраивал педантично свою судьбу, не возводил столбы, не ставил решетки. Лишь гению позволено спрямлять судьбу и обходить ловушки, неодолимые для профана.

И вот ему уже за тридцать — а у него ничего не было, словно у чеховского героя: ни образования, ни призвания, ни судьбы. Чем он мог быть *ей* интересен: посредственный художник, неудачливый поэт, журналист-дилетант (теперь уже *ex-*)? Когда ее окружали люди яркие, состоявшиеся, известные...

Прежде всего, у него не было воли. Даже полное крушение не дало ему решимости искать новые пути. Он стоял на краю, но в нем не просыпался инстинкт самосохранения. Это было странно.

Ему надо уйти, это ясно. И надо попробовать работать. Но если уйдет — жить сможет только у Лёши. Значит, работа накрылась. А будет работать — это ничего не изменит. Это нужно только ему, не ей. Будут жить двумя параллельными жизнями. Ничего хорошего из этого не выйдет. В пару месяцев все окончательно треснет. Что ж, это тоже срок. Или она постепенно отстранится от *них*, или он — от нее. В первое он не верил ни секунды.

Он всегда ненавидел *ничтожество*. Поэтому и шел этим путем: был максималистичен, не терпел компромиссов... И вот сам стал ничтожеством. Ибо — преувеличил силы, понадеялся на мнимый талант. Он, вероятно, достаточно странный. Но это еще не обеспечивало успех в отрасли. Ему ли это не знать?

Есть люди, *обреченные* быть художниками, но не имеющие к этому дара. Художники по характеру, по темпераменту, по устройству ума, по привычкам. По судьбе. Выброшенные отовсюду, не состоявшиеся ни на одном ином поприще. И вот не состоявшиеся и на этом. Нищие,

ненужные, смешные. Слабовольные или неталантливые. Разбрасывающиеся. Зрячие во всем, кроме понимания самих себя. На одного нормального — сто таких. И Захар был из их числа. Это тоже такая судьба. Нельзя стать другим. Можно лишь повеситься.

«Во мне нет ничего столь оригинального, — продолжал мучить он себя, — что выделило бы меня из толпы. Мое оригинальное — моя слабость, некоммуникабельность, тоска. Одиночество. Вероятно, я один из самых закрытых людей во вселенной. Мне и на холодном батумском балконе это «нагадали». Даже гадалка удивилась — моему умению (несчастью) все скрывать в себе. Черт побери! — ведь очевидно, что не жилец! Хотел гораздо больше всех, мог — гораздо меньше. Вот корень. И что — и дальше *вот так*, и двадцать лет, и тридцать? Ужас! Действительно, страшная штука жизнь.»

Страшно, невыносимо, но уже не скучно.

Оксана восхищалась собой перед зеркалом:

— Почему весь мир не лежит у моих ног?!

— Если я мир — я лежу! — вскричал Захар.

Она еще немного покрутилась перед зеркалом, гордо прошла по комнате.

— Ах, почему я не могу быть по жизни *easy rider*’ом!.. — воскликнула она.

Да, она теперь действительно была хороша. Как «роковая женщина» — она не могла принадлежать кому-то одному. Она принадлежала никому и всем.

И два дня работы превратились в четыре. И уже она возвращалась в одиннадцать, убитая лицом. Понятно: имелись оправдания. Если она думала его обмануть — напрасно: Захар смотрел очень внимательно. Он надеялся, что ему удастся почувствовать заранее. Только зачем этого ждать? Бред, бред, бред!..

И надо было искать работу. Скверно, у него не было ничего, даже этого.

Внезапно он попал во все романы и во все фильмы сразу. С ним случилось то, о чем он лишь читал, смотрел или слышал. Настоящая трагедия вошла в его жизнь: одна из двух *главных* вещей, вокруг которых крутится все существование и искусство: смерть и любовь. Вещи тесно взаимосвязанные и взаимозаменяемые. Вот, несчастная любовь к другому, измена, безумие, необходимость и невозможность разрыва, слабость, опять безумие (с его стороны)... Все время на грани, из последних сил, вне будущего и прошлого, на узком поле *теперь*, минном поле. Вне интересов, желаний, планов — с единственной задачей удержаться, устоять... Найти силу или уйти, или забыть, занизить важность, найти компромисс с гордостью. Притом что ничего не было решено,

любовь не прошла, и то, чем занимался Захар, и какую роль он играл — было непонятно — и — не то нелепо, не то — мудро.

Прошла неделя, сплошь из психоделии. Она помогла ему отчасти разрешить проблему секса.

Захара всегда удивляла та огромная роль, которую теперь отводили сексу, будто «сексуальная революция», как и положено, привела к «сексуальной диктатуре», и теперь ревнители новой сверхидеи воспрещали говорить о чем-либо другом. И не дай Бог — чувствовать себя свободным от этой напасти.

А ведь *сексуальное влечение* вовсе не самое сильное. Во всяком случае — есть много вещей, способных его вытеснить, заменить, предать забвению, а не преобразовать, «сублимировать»... Человек в крайнем состоянии, состоянии жизни-смерти, привлекающий всю психическую энергию, чтобы выжить, не сойти с ума, человек загнанный, несчастный, «выпавший из гнезда» — не о том он думает. Сексуальное влечение не играет для него тогда никакой роли. Сексуальное влечение — атрибут спокойного существования, тихого, безболезненного прохождения через мир, по существу, буржуазная, обывательская штучка. Не так уж много времени дано нам быть в подобном состоянии.

И сцены с крутыми мужчинами, способными умереть за секс (даже не с Клеопатрой, а с Шарон Стоун) — были красивы, но малоубедительны. Ну, а если их и правда убивают, что ж, так им и надо. Не стоит играть роль паука, сжираемого самкой после совокупления. Захару был ближе иной образ — в значительной степени асексуальный, слегка академический, да — и джентльменский тоже.

И еще он понял, словно откровение: пол — это неважно. Это вторичное. Измены нету (словно у Гиппиус). Есть социальные стереотипы, общественное мнение. Всего меньше он был намерен на них равняться. Не «осквернение ложа» было важно для него, но *нелюбовь*, отсутствие любви, отсутствие прежних отношений. Хотя иногда между ними были такие страсти, что казалось — больше прежнего! Все стало очень большим, ярким, невыносимым. Разверстая, голодная пасть ее чресл! Может быть, это и есть жизнь? Может быть, первый раз он жил полной жизнью? В которой сгорают и сходят с ума. Состояние сильное для личности. Она (личность) проверяет и закаляет себя. Для другой жизни? Вероятно, хотя сейчас в это невозможно было поверить. Была только эта несчастная и безвыходная ситуация, и, дай Бог, нам выйти из нее живыми... — думал Захар.

Тугой закрут — любви, раскаяния, обиды, безнадежности... Жизни только не было — того, чем наслаждаются и за что бывают спокойны.

Он всю жизнь создавал идеальные комплексы (не то в сверх-Я, не то это его сверх-Я их создавало): идеальную женщину, идеального друга, идеальное занятие, страну, писателя, книгу, идею. Или самое любимое,

чем-то подлинно лучшее, чем все остальное. Поэтому он роптал, поэтому требовал невозможного, не соглашался на половинчатые решения, неокончательные ситуации. Поэтому не пил, не искал денег, работы, «просто» развлечений... Поэтому *увлекался*: вся его жизнь — это переход от одного увлечения к другому, с перерывами на разочарование. Он, собственно, и не жил нормально, не смотрел реально на вещи. Все время в эйфории, экзальтации — или в депрессии, унынии... Тут нету идеала, там нету... А как тогда жить! Разве стоит жить, исходя из чего-нибудь другого?.. Вот ошибка. Надо жить в реальности, с реальными людьми, в реальных отношениях. Со скукой, но не с депрессией. Без идеала, но с мелкими радостями, которые дают друг другу люди, даже не будучи идеальными. Твоего человека, твоего дела, твоей книги — нет. Есть просто бытие, женщины, вещи. Ты думал разумно сделать свою судьбу — и не сделал никакой судьбы. Неумение принять белое вместе с черным, неумение и нежелание отворить человека, ситуацию с ее позитивной стороны — это незрелость, посредственность, бедность духа. Ты хотел только черпать и брать, — ах, если бы ты давал сам, если бы тебе было, что давать, — у тебя не было бы половины твоих проблем. Не запертая, отстреливающаяся крепость, хмуро глядящая на проходящих незнакомцев, но загородный дом для каждого, где — тихий разговор и покой. Простодушное веселье и откровенность. Внимание и желание понять чужие проблемы. Вот элементарный ликбез взаимоотношений. И всего этого в нем почти не было. Поэтому остался один. В такой заднице!

Ему надо стать проще, надо перестать быть эгоистом, желать каких-то идеалов. «Господи, дай мне простоты!»

VII. Очень хороший солдат

Закрытость — следствие комплекса неполноценности; закрываются, чтобы скрыть: либо грехи, либо недостатки характера или ума. Грехов у него, вероятно, было не так уж много, зато все время ощущал провалы в уме и характере.

И даже потом, почувствовав себя наконец уверенно, найдя в своей жизни поступательное движение, окольцевав ее повседневным делом, расправившись с депрессиями — он лишь стал проявлять снобизм и самомнение, но не открытость. Если бы у него было время (в отсутствии животворящего, как теперь, повода)... Теперь он понял, что всегда смотрел *на себя*. Даже когда он смотрел на человека, он видел себя, его отношение к нему, Захару, а лишь потом самого человека. Да и то, как диалектическое развитие темы «себя» и своих интересов (для которых тот мог пригодиться). Он всегда *играл*, чтобы показаться лучше (ибо не нравился себе натуральный) — и потому был вынужден ежесекундно

следить за собой, за текстом, за ролью. Некогда было смотреть в зал. А это были лишь его проблемы, залу было наплевать. Поэтому, наверное, и не помнил — лиц, слов: не потому, что не интересны другие, — он не давал себе труда помнить и разглядывать их.

«Существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства...»

Теперь уже было поздно ставить на смирение, любовь, преданность. Во всем, что они смотрели или читали сейчас, они видели свою историю. И спорили. Она теперь была на стороне тех, кто меняет свою жизнь, и в упорстве одной из сторон сохранить брак видела либо слабость, либо эгоизм. Захар, естественно, и внове для себя, смотрел прямо противоположно (в частности, на конец «Механического пианино», что показали в среду).

Теперь он снова стал ставить на *гордость*. В принципе, тогда же, в среду, он и хотел уйти. Ему надоели эти бесконечные стычки, новые, абсолютно не ее мысли, «аллегории» — из жизни Рустама, из жизни других...

— Ты говоришь, что смог бы уйти — лишь возненавидев, — начала она. — По-моему, это неправильно. Уходить надо *любя*.

— Любя?! Чего ради!

— Ради хорошего самочувствия женщины.

Бросившей тебя женщины — не договорила она.

— Нет, это не любовь, — огрызнулся Захар. — Любовь терпит *все*, она действительно эгоистична. Как любовь матери к ребенку, настоящая, никем не оспариваемая любовь. Полное соединение, невозможность, невообразимость разрыва.

Сколько же ему ощущать идиотизм своего положения и терпеть?! Придется вернуться к знакомой и проверенной гордости. («Господи, дай силы!») Но он не будет спешить: один раз он уже поскользнулся. Второе возвращение — смешно и невозможно. Он не будет спешить. Будет практиковаться в умении *ждать*, как гессевский Сиддхартха.

Пока, чтобы чем-то заняться, стал ремонтировать кухню — в квартире, где ему, вероятно, не придется жить. Это отвлекало, к тому же — лишь «подвигами» он смог бы завоевать ее. Если же не сможет — что ж, выполнит долг человека, плевавшего на свою квартиру много лет. За это время надо во всем разобраться и скопить мужество. Он надеялся, в это время не произойдет ничего худшего. Хотя — играл с огнем.

Играл. Все последнее время — подтверждение. Опять не видел ее. Ее чувства, отношения — не менялись. Снова, как *тогда* — она существовала лишь в спящем или отсутствующем состоянии. В прошлую пятницу устроила на работе истерику: *друг*, ведите ли, не оценил степень ее отчаяния и готовности к самоубийству — ибо перед его глазами была собственная жена, то режущая вены, то прыгающая из окна.

Ей надо было что-то предложить, сильное, кардинальное. Поэтому и помчались на LSD-сеанс к Лёше. И на этот раз весь трип — истерика: от невозможности все всем объяснить, все разрешить, примирить, чтобы все обнялись, и опоссум сам спустился к охотнику с дерева. Ее мечта: дать всем промокашек и создать марьяж-а-катр... Под кайфом действительно все это казалось возможным. А утром вновь тоска, уязвленное самолюбие, постоянное сознательное усилие «быть выше предрассудков». Он отдал все, она отдала все: оба мучались, оба были на пределе.

Захар смотрел в окно на знакомый до последней черты пейзаж, все более погружавшийся в весну. Краски после бессонной ночи и кислоты были резки до боли. Черная стена елей, мокрый проржавевший кирпич стройки. Сам воздух был резок и тяжел.

— Как ты это терпишь? — спросила она из-под абажура.

Захар пожал плечами.

— Наверное, я стал очень хорошим солдатом. Есть такой американский фильм, «Универсальный солдат», кажется. Вот и я вроде. Главное, отдать приказ, указать цель — а сделать я смогу все.

Она помолчала.

— Как жалко, что ты не был таким *тогда*. (То бишь «прежде», в прошлой жизни!) — Поздно! поздно! — вскричала она. — Все в моей жизни *поздно*... (Встреча идеального человека, «исправление» Захара.) — И закончила: — Теперь у меня нет к тебе претензий.

Но никому это уже не нужно. Он тоже опоздал (исправиться). Что ж, Захар знал с сопливого возраста: *dum spiro spero*...

Самое правильное, думал он, — действительно уйти, разорвать навсегда. Но мы не делаем то, что *правильно*. «Я буду делать то, что выбрал, или дожидаться второго акта, какого-то нового поворота сюжета... Господи, дай силы!»

И все же он часто думал, что должна быть какая-то временнбя камера, отсек, где уравнивается давление того, что случилось, с давлением того, с чем можно жить. Если им суждено жить вместе. Значит — уйти, на время, навсегда?

— Не знаю, как тебе, а мне помогает только христианство, — сказала она в тот же вечер, уже в Москве. — Я все-таки рада, что для меня это так важно.

— Что ты хочешь сказать?

— Что я хочу не так, как *хочется*, а так, как *надо*. — Это было произнесено спокойно и гордо. Наверное, она думала, что Захар ее похвалит. А он понуро скрючился на стуле.

— Тебе что-то не нравится?

— А разве это может кому-нибудь понравиться?! — взвился он.

— Я тебя не понимаю... — сказала она с досадой.

— Не понимаешь? Ну, ладно... Значит, ты понимаешь теперь ситуацию с точки зрения христианской жертвы?

— Да, а разве я не имею права? Я пожертвовала *всем*...

— Ну, как же: «последнюю рубашку отдала»... Ты в один день породила безумие, в котором я пребывал месяц, и получила безумное мое возвращение. Действие родило противодействие...

— Вот, как ты видишь...

— Да, я так вижу! Нет, так эти вещи не делаются! — Наконец Захар почувствовал, как в нем поднимается воодушевляющая злоба: — «Я считаю, что наши отношения кончились!...» Действительно, с точки зрения оскорбленной гордости. Я выжал из этой гордости все, что мог. Но нельзя, оказывается, в один день порвать все, зачеркнуть огромный кусок жизни, почти всю сознательную жизнь. Нужна буферная зона, некий временной период, когда люди привыкают, что теперь, скажем, будут жить без ног, смиряются, учатся ходить на костылях. Или убеждаются, что намерение — привыкнуть — было ошибочно.

Она не хотела его понимать, ей легче начать плакать.

Теперь же уже и вправду все был «поздно»: *друг* воспользовался поводом и ушел в несознанку. Она снова в истерике. Она поставила на карту все, а *он* так легко отделался. Он был спокоен, он вернулся в семью, у него все хорошо. Она не могла примириться с этим. И не могла признать, что *ошиблась*. Для нее любовь оказалась важнее, чем для него — это было, конечно, невыносимо. И Захар им, получается, все поломал. Потому что, пережив такой кошмар, *друг* уже не захочет соваться сюда вторично. И это — любовь? Разве отказываются так легко от своей *судьбы*? Неужели Захар был прав? Один лишь раз у влюбленных все сходится и получается. Но что сходится — постель? А потом месяц ломали руки? Но тогда *друг*, хоть пассивно, но работал над ситуацией, «работал» с N. В тот четверг в переулке он добровольно-недобровольно вышел из игры. И, наверное, испытал облегчение (вслед, может быть, за страданием)... Он оказался слабее, чем думал Захар. Он полез в это очертя голову, не зная, чем это кончится, что Захар не уйдет так просто, что Оксана будет переживать так сильно... Что вот такая чепуха, крошечная заноза, как *совесть*, вырастет до бревна. До целого леса.

Прошло легкомысленное отношение к любви. Любовь двух людей, особенно, если поблизости бродит кто-то третий — это вроде оголенных проводов под большим током. В такие вещи не играют. Роман двух людей — это как смерть или самоубийство. Так это и надо мерить. Никаких шуточек, адюльтеров, «приключений»... Во всяком случае, не для таких, как мы, — думал Захар.

Поэтому он был так поражен «Последним танго в Париже» Бертолуччи: секс для героев был дежурным блюдом, хорошо идущим к похо-

ронам и самоубийствам. Безлюбый секс и жизнь, построенная, сконцентрированная и вращающаяся вокруг него. В то время, как человек должен вообще забыть желания и перестать есть, спать, не то, что трахаться. Они что — совершенно ненормальные?!

Может быть, человек ищет в сексе забвения, спасается от ужасного мира за окном, от холода и бесчеловечности всего своего бытия? Но это значит снова рассматривать другого человека — как объект, снова творить долг, вновь заниматься тем, что и породило всю ситуацию. Это — вновь не думать о последствиях или махнуть на все рукой, как человек, направившийся к смерти. Махнуть рукой на себя, свой страх, свой эгоизм — любить, раствориться в другом, поставить на него все, как в рулетке (русской) — и принять долг, последствия, отказ от молодости, влечение к смерти... Влечение к смерти и есть мудрость, человечность и простая любовь. Не мечта, не заоблачные дали, не блеск славы, но этот близкий к тебе человек — центр и смысл всего. Любовь — как награда тех, кто не смог стать героями. И неизвестно, что лучше!

Увидел *его* телефон в *ее* записной книжке и ничего не испытал.

— Вот и еще одна лампочка перегорела, — сказала Оксана.

— Осень.

Иногда она приходила с работы и предлагала:

— Давай выпьем.

И он понимал, что что-то случилось. Иногда она даже приносила то, что предназначалось к выпиванию.

Они спокойны, они будто отдыхают на берегу после кораблекрушения, в котором едва не погибли.

...Он ведь сам не желал, чтобы у них было по образцу Филемона и Бавкиды. Что же теперь сетовать: «Ах, почему у нас не получилось?!»

Наверное, у него и вправду открылось «второе дыхание», как бывает в спорте, когда уже выбился из сил.

Захар гулял ночью по городу. Как раньше. И не как... Тоски от жизни не было. Была тоска по уничтоженному прошлому. Словно по детству. Когда он думал, что мир крепок, надежен, постоянен. И так же постоянны и знакомы знакомые ему люди. Конец детства. Уже ничего не могло быть как прежде, так же беззаботно и легко — хотя эти слова никогда ему не нравились. И раньше ему не было легко, тем более не будет впредь. Но по другим причинам. Все-таки он стал меньше болтать, стал взрослее (и психоделики тут тоже помогли).

Два раза Захар видел «гражданскую войну» в Москве, строил баррикады, был избит спецназовцами об колонны Большого театра (раньше, чем первый раз попал в него) — и т.д. и т.п. А такой простой вещи, как измена жены, не знал. И не знал, что ничто не в силах справиться с

этим. Измена и уход жены. Или попытка ухода. Все пустяки, и лишь это страшно. Прав Лоуренс: отношения между государствами значат меньше, чем отношения между мужчиной и женщиной.

VIII. В ванне

Оксана стала много жестче. Иногда украдкой плакала, иногда лас- тилась, но иногда — атаковала, резко и зло, так что Захару становилось страшно. Особенно, когда выпивала вина. Вот и питерской Гале, заехавшей в гости, досталось: та спала до часу, опаздывала на работу, ходила к батюшкам и к богемным тусовщикам, искала мужа и жила в облаках, исходя из правила, что «если нельзя, но очень хочется, то можно». Страдала, конечно, и искала понимания.

— Не надо никаких иллюзий! — вещала Оксана. — Хватит шадить себя и оставаться детьми! Хватит мечтать и ничего не делать. Или хватит говорить об этом. И прятаться за *храм* не надо...

Нет, Оксана не была похожа на ребенка, вся человеческая подноготная была открыта ей, как книга. Даже разговоры о благодати Бога были неуютны ей.

В эти минуты она называла любовь Захара эгоизмом и заботой о себе. В эти минуты она — лишь несчастная разлученная влюбленная, а он — пьявка, малодостойный человек, настаивающий на союзе любой ценой, терпящий брак, в котором любят не тебя, а другого. В эти минуты она уже «ничего не боялась» — следовательно, его ухода тоже. Идиотизм, ставший структурой их жизни. Время шло — ничего не складывалось. Захар видел все безумство попытки. Был благодарен лишь за опыт, который сломал его. Который дал взглянуть на себя по-другому, который убил все интересы и занятия. Наверное, так смотрят на жизнь старики.

Когда он сомневался, что выдержит, он лез в ванну: это успокаивало. Лез почти каждый день...

Научиться не сосредотачиваться на себя — главное дело, которым он был занят. Перестать рассматривать любой факт, событие, состояние — с точки зрения себя, своей пользы, своего самоутверждения. Перестать любую мысль начинать с себя. Заслонять собой мир. Перестать переживать за себя, охранять, обольщаться, расстраиваться (к сожалению, истинные вещи — банальны).

Надо на самом деле попытаться жить без иллюзий. Наверное, это скучно. Зато раньше было «весело» (во всяком случае, иллюзий до фига). Иллюзий, что то-то и то-то — прекрасные вещи, иллюзий, что эти прекрасные вещи — необходимы ему. Да, первая иллюзия — желание. Что он действительно желает то-то и то-то. Что он столь крут, что ему нужен весь мир. Или хотя бы то-то и то-то. Что ему все время нужно что-то еще! А нужны просто терпение и воля. И простое внимание к

простым вещам. Это среднее счастье и подлинное. Все остальное — занятия для дураков и гениев.

Кстати, была и еще одна «пострадавшая» в *этой* истории — Полинька, ведущая с их же радио, появившаяся там еще до Оксаны, ба-рышня умная и красивая, игравшая голосом с театральным совершенством, любившая литературу, что при ее специальности было вовсе не обязательно. Скромная, восторженная и искренняя, совсем не из этого мира. Она и была на тот момент любовью *друга*, разыгрывавшего в другие моменты трепетного семьянина (супругу его, N, они тоже знали: *другу* и здесь повезло, его окружали исключительно достойные женщины). Этот «добрый ангел» неоднократно приходил к ним с Полинькой. Захар не обращал внимания: это *их* жизнь, видать, у художников сплетен и микрофона так принято. Он еще не понимал, что сам попал в число *их*, что и на него распространились те же законы.

К тому же он всегда радовался приходу Полиньки, больше чем *друга*. У них тогда были даже совместные передачи на радио, где они втроем ворковали в эфире: *друг*, Оксана и Полинька. Это был пик дружбы.

Потом *друг* перестал приходить с Полинькой. Не сложно было догадаться почему.

Полинька звонила *ему* в слезах. Существование жены не смущало ее. Ее смущало существование Оксаны. А какая была дружба! Эта — распалась первой (Захар не уловил предупреждения). Она ушла из их дома, потом ушла с радио.

Захар догадывался, что могло их рассорить, спрашивал у Оксаны: она, естественно, молчала, уверяла, что не знает. Но ничего не сделал. Не мог или не хотел? Следил за развитием, как зритель. Думал, может быть, скоро и он сыграет... И сыграл. Аплодисменты.

Новая история: стала упрекать его в *абортах* (десятилетней давности).

— После этого я могла тебя только презирать! — заявила она без обиняков.

Он подозревал, что интерполяция. Сама говорила все время, что охлаждение наступило позже и по другим причинам. К тому же трудно не заметить изменение отношений, если оно реально было, да еще так давно.

— Ни одна женщина не может простить мужчине аборта! — кричала она ему в коридоре, предупреждая его бегство.

— И между неразумным червячком — плодом твоей любви с женщиной — и мужчиной, — ты выбираешь червячка?

— Да! Или не прощу — за *убийство* слабого ради своей выгоды... Как вы мне все отвратительны — ничтожные мужчины-дети, не способные на ответственность!

— Стало быть, «ответственность» — это ложиться с женщиной в постель, не думая о червячке, не внушая этой мысли ни ему, ни себе, не удостоверившись, что планы на рождение червячка у обоих совпадают. Да, случаются червячки — но ведь никто об этом не думает. К тому же — упрекать в этом меня, вообще бежавшего постели, как чумы!

— Да-да, и это тоже! — кричит она, но уже о другом.

С другой стороны — может быть, действительно недостаток ответственности: не видеть связь одного с другим (секса с детсадом). И *отделять* постель от трагедии, не видеть, что любовь — порох (и смерть). На сколько это «ответственно», а на сколько — бессознательно?

...Все шло, как обычно: их общение состояло или из веселых, почти бессмысленных побасенок, или из наездов. Например, что у *нее* никогда не было и нет до сих пор своего дома, комнаты, угла. Что это дача Захара, квартира Захара. Что все в них делалось, как хотелось Захару и вопреки *ее* желаниям. И даже ремонт теперь — *демонстрация* и в любом случае не вовремя.

Потом, правда, просила прощения.

Спали, как у них уже давно завелось: вместе, но порознь, словно между ними меч. Вернулись к состоянию *до*, с тем отличием, что он теперь знал *почему* и уже не заводился. Он уже пережил что-то похожее на смерть и, надеялся, что поумнел. За спиной, на стороне — у него *ничего не было*, ему нечего было противопоставить и нечем защищаться. Поэтому он был терпелив и спокоен. Если бы он был таким год назад! Хотя — зачем? Счастья-то все равно нет. Даже этого, когда потеряно все. Когда от всего отказался. Простого домашнего счастья — за отказ от молодости и ее безумных желаний, в награду за жертву и смирение. За отказ искать что-то в другом месте. Вместо всплеск любви (страсти-забвения) и ненависти — пустота, скука, равнодушие.

Это он как бы «победил».

Странно, они ведь действительно почти не любили друг друга. Давно ничего не испытывали, кроме скуки и раздражения. Потом был какой-то жертвенный порыв, когда многие вещи открылись заново. И вот опять — двое, которые не испытывали радости от того, что они вместе, пролетали, как кометы, обмениваясь короткими, ничего не значащими репликами. Ему приходилось соответствовать ее настроению — потому что односторонняя любовь — ужасна. *Она* отталкивала, *она* была как каменная. Прекрасная кариатида — из самых любимых. Вот, чего он добился, вот предел доступного в его жизни блага. Ну, а на что он надеялся? Все, что могло быть, сгорело уже давно. Теперь же — не может быть даже прежнего. И даже его мужество и смирение — не помогут здесь. Слишком поздно.

Осталось лишь двенадцать лет и привычки. Ему было тяжело с ней порвать, как с ребенком. Отношение, особенно когда она холодна, как к сестре.

Двенадцать лет. Ему было многое дано, и он так плохо этим распорядился. Чего он хочет еще? Человек отдал ему значительную часть жизни. Разве не довольно? Может быть, это ее последняя возможность начать жизнь заново, иметь детей от любимого мужчины и т.д. Зачем тут Захар — опять и опять? Будто не ясно, что они отдали друг другу все, что могли отдать, и все получили. Поэтому пусты и холодны, и постоянно ссорятся (не ссорятся — цапаются). Все ясно, а сил не было.

Старая жизнь и старая любовь умерли. Рассчитывать ли ему теперь на новую? Или искать новую любовь с кем-то другим? Но, как сказала Даша в приватной беседе с Оксаной: ему нелегко будет найти другую женщину. Скорее всего — невозможно. Вот он и цеплялся за старую.

Снова в ванной, как Марат. Лежал долго-долго, до полного остывания воды. Никто не дергал дверь, не торопил, как не торопят, когда ищут вену для вмазки.

Думал, что любит ее как свою антитезу: она светлая, он темный, она широкая, он узкий, она экстравертка, он интроверт. У нее нет средних состояний — депрессия или восторг. Поэтому любит середину. Он человек середины, и поэтому любил, проповедовал — крайности, ненавидел компромиссы. Она естественный человек, он — искусственный. Она тонкий, он — изломанный...

Она говорила, что в этой ситуации никто не проявляет себя альтруистом. Живя с нелюбимым — она, поэтому, наибольший из них альтруист. И опять давала ему это понять. Она приносила жертвы богам гуманизма. Как он это все ненавидел! Как бы он хотел избавиться или заставить ее полюбить себя! Отчасти все-таки она его любила, ибо переживала, подходила просить прощения...

— Тебе очень плохо? — спрашивала она. — Я очень тебя мучаю?

Захар напомнил ей фразу из Заточника, про бел хлеб и ум свершен. То есть — польза. Ей эта ситуация не давала ничего.

— ...Лишь понимание, что быть счастливой невозможно, потому что жизнь одного человека не ценнее жизни другого.

— То есть?

— То есть — я не готова платить твоей жизнью за свое счастье.

— Ты не волнуйся, я и сам уйду. И нам альтруизм не чужд. А главное — не могу жить нелюбимым.

Пока рядом — как-то не видно. А каково будет вдали?

Лежал в ванной и думал, что он все еще не может стать настолько сильным, чтобы не думать о себе. Он все еще может бросить в разговоре: «Зарабатывать деньги — это вульгарно». Причем он с удовольствием устроился бы куда-нибудь в редакцию — рожать концептуальный понос, а предлагали — торговать коврами. Для аристократа у него слишком мозолистые руки.

А, может, и не стоило лезть в это околочультурное дерьмецо? Переживать и тратить себя из-за пустяков. Но со свободной головой — торговать или валять дурака...

Ванна и для нее... (как гроб и как дом). Он слышал, как она спускала и вновь набирала воду. Наверное, рыдает. Не о том, что сделала с ним и с собой, а о том — чего не сделала.

Ситуация все время требовала от него *силы*. Он не мог позволить себе выть и отчаиваться. Но никакого прогресса, ничего не менялось. Наверное, надо было действительно уехать — чтобы понять. Может быть, раздельно они смогли бы сделать какие-то шаги. Куда-то...

Он прямо видел, как память умирает, покрывается пылью; как то, что было живым, становится мертвым. Каков срок жизни воспоминаний? В этом беспамятстве и было исцеление. Вообще, как много прошло и как много изменилось.

IX. В кухне

Два дня она не отрываясь читала роман *друга*, откуда-то выплывший и, видимо, не попавший в число сожженных рукописей (они, как известно, не горят). А утром в постели слезы. Тогда (в воскресенье) он точно решил уехать. О чем она и узнала по его возвращению с рынка (купил кое-что для ремонта стен, но не всей кухни — раз времени для этого у него нет).

— Соответственно, и в Питер, как ты понимаешь, я не еду.

Оксане дали задание проинтервьюировать Стрижака — любимого писателя *друга*. Это и было формальным поводом рвануть в Питер. Ну, и развеяться. Это развеянье готовы были даже оплатить: вернуть деньги за билеты — *друг* очень добр.

Снова слезы, очередное долгое выяснение отношений. Захар дал ей денег на билет. Перед его уходом с ней истерика. Почти такая же, как два месяца назад, забитая коктейлем сонапакса и элениума. Следовательно, он остается, и они едут в Питер. Более того — *на машине* (предложил как соломинку, как ребенку игрушку: загорелась, подействовало, стала смеяться сквозь слезы, обнимать его). А там будет видно. (Ничего не будет видно!)

Придя в себя, сказала ему любопытную вещь: она вспоминала его недостатки — потому что так ей было удобней: обосновывать необходимость разрыва. Ей больно представить любой его уход. Один раз она уже *пережила* его. Но у Захара больше не было сил. Неделя или две — посмотрим...

На следующий день он свалился с легкими: маниакально работал в кухне: разобрал печь и часть стены в их старинном доме. Это тоже помогало, как ванна. Накануне гулял с Лёшей, говорили о приезжаю-

щем Наумове. Зашел к Тростникову и дал свою повесть (это было последнее, что он успел написать). Вечером заходила Даша.

С ней было легче, чем раньше, когда он был склонен смотреть на себя очень серьезно. А теперь болтали о пустяках. Не мог ни с кем говорить об *этом*. Она, конечно, замечательное явление, хотя too sophisticated, как говорят американцы. Впрочем, можно воспринимать это и как комплимент.

Захару был ясен и широко открыт характер некрасивых людей. Но красивое *женское* лицо — это загадка. Наверное, женщина легко бы разобралась в ней, как он легко проникал прелесть «загадок» мужских. В тени (в сиянии) красоты ничего не разобрать. Все одинаково правильно и важно. Красота — это искусство, прежде всего искусство скрывать (что ты человек и материя, а не ангел и мираж)... Что стоит красоте скрыть недостатки характера?! Раз плюнуть! А мы ловимся.

Дашей можно было восхищаться, но вряд ли любить. Ее очарование было во многом *сделанное* (что не уменьшало его прелести). Она вся — бесконечная борьба, вооруженная крепость, всегда готовая как к отпору, так и к нападению. Интересно было бы понаблюдать ее под LSD.

Он свалился, а Оксана ушла не в свой день на работу: «закрывать грудью брешь», как она выразилась. И не звонила. Кажется, ей была не очень интересна его болезнь. За весь день она не нашла времени позвонить и узнать, как он себя чувствует. Не говоря о том, чтобы прийти, благо идти недалеко.

...И вернулась в истерическом состоянии, со слезами в глазах. Насилу успокоил. Вышла в магазин — и снова-здорово.

— Мне кажется, я схожу с ума... — сообщила она.

Просто нервы, подумал Захар: берет на себя слишком много (обуздывать чувство — долгом). Да и без долга — ничего не получалось (проблема — с той стороны). И не могла по-прежнему с этим смириться. Красила стену, чтобы успокоиться.

Покраска стены, пасьянс и «Осенняя соната» — вот, что смогло ее отвлечь. Говорили об эгоизме дочери. Стали много в нем, фильме, понимать. Оказались ужасными эгоистами все. Для Захара было открытием, как тридцати-с-чем-то-летняя дочь, сама давно мать, переживает и помнит, что в четырнадцать лет мать отрезала ей косы (героиня) или купила туфли вместо босоножек (Оксана). Это не прощается и возводится в ранг трагедии.

Утром он был совсем без сил. Недоделанная кухня, болезнь, приготовление обеда. И все без всякого смысла и будущего. Не жизнь, а затянувшиеся похороны. Тот случай, когда разговоры о смерти и безумии не казались преувеличением. И неприятны, как вполне реальная перспектива.

А на улице солнце.

По мере того, как болезнь отступала, настроение падало. Захар с удовлетворением признал, что стал бесплатным приложением к домашнему хозяйству. Он готовил, поднимал и отправлял в школу, катал на машине родственников, возился с кухней. А она спала или сидела у компьютера, или перед ящиком (когда не плакала). И целовала в затылок: «прощай, душа моя», убегая на работу. Какое-то кино, честное слово! В каждой женщине бездна лицемерия (может быть, безотчетного).

Тяжело разговаривать с женщинами и надеяться на их объективность. От вчерашнего часового разговора, начавшегося с обсуждения странного для Захара поступка лёшиной Ксюши (делала Лёше авансы и вдруг улизнала с другим), — запомнила лишь, что он «призывал ее думать над ситуацией» и «искать истину» (женщина — прирожденный карикатурист). Вроде Гумилева, якобы убеждавшего целый час свою знакомую из экипажа «быть как солнце». Кому-нибудь расскажет и выставит дураком. И сама будет уверена, что Захар именно это и говорил.

Говорил же он, что женщина должна платить за успехи своего кокетства, что умозаключение «жизнь — это ад» — умозаключение шестнадцатилетнего, что не надо загонять себя в угол постоянным ощущением и фиксацией своей несчастью, что *надо думать над ситуацией*, а не только лишь эмоционально ее *переживать* — в истерике или безумном веселье. И что, может быть, есть более важные вещи, чем любовь, и что не надо ничего в жизни преувеличивать, — но надо попытаться понять, что наше так называемое *счастье* — и *истина* — не одно и то же. И что вряд ли мы, не поняв каких-то вещей, можем быть счастливы. Если только мы, случайно, не дети.

...Когда он шел по бульвару — он мог представить себя *одного*. Одного, возвращающегося в свою одинокую квартиру, чтобы что-то там делать с самим собой. Но — вот он поднимается по лестнице, вот он открывает дверь... Там не ждет его ничего неожиданного, неизвестного ему. Он входит, он открывает холодильник. Там тоже нет ничего неожиданного. Он берет пиво. Он берет книгу, он пытается писать картину... Творчество — единственная доступная ему область неизвестного. Только тут что-то непредсказуемо. Почему нужен человек? Человек — это область непредсказуемого. Это всегда сюрприз и загадка. Поэтому столь велика потребность в живой душе, чтобы жизнь не стала легким и пустым дуновением.

Х. Питер

Первый раз он ехал туда на машине. При другой ситуации не поехал бы. Теперь напротив: чем хуже (непредсказуемое, опаснее, острее) — тем лучше. При выезде из Москвы Оксана спросила:

— А ты будешь брать хиппи, если они попадутся?

— Вот еще, чего ради?

— Как же, тебя же брали. Надо отдавать долги.

— Хиппи я ничего не должен. Если я кому должен, то это жлобам.

Километры не соответствовали отведенному им пределу, времени для преодоления известного расстояния требовалось гораздо больше, чем казалось по атласу. Притом что ехал быстро (11 тысяч одних штрафов).

Скорость, уходящая вперед дорога — это завораживало.

— У Гальони, иль Кальони закажи себе в Твери... — Путешествие было очень русское, настоящее литературное, дразнящее память.

В Валдае было холодно, шел мелкий дождь. Архаичная, износившаяся прелесть. По крутому спуску вышли к озеру. На той стороне темнел лес и белел собор, недостижимый и неподлинный с такого расстояния.

— Что ты снимаешь одно и то же — ты же не Антониони!.. — беспрерывно дразнила его Оксана. — Мне холодно! — жаловалась она, переминаясь на мостках. — Хочу есть, хочу пить!..

Остаток пути они пролетели под Тома Вейтса, ставшего рефреном этого года: им был дорог его темный невнятный надрыв, пьяная бичевская слеза. Одна из областей их хрупкой близости: And it's Time, Time, Time... — пришло время от всего отказаться, пришло время за все платить; пришло время все забыть... — мимо деревушек, чудесно расцветавших во вдруг прорывающемся заходящем солнце, мимо аллей старых голых тополей, мимо свинцовых озер, холмов, церквей, мимо городков с забываемыми названиями, вроде Тосно, памятными ему по случившемуся здесь некогда стопу.

Никогда еще он не вел машину так долго и так быстро. Утомление нудно росло, перемежаемое удачной картинкой или просто радостью от того, что все менялось вокруг, и он сам руководил своим перемещением в пространстве. К тому же можно было остановиться и отдохнуть, что было большим плюсом по сравнению со стопом.

Питер был холоден и темен. Огромные ямы в асфальте, словно проехали танки. На светофорах машина глохла, и занемевшая нога уже не успевала ловить газ. У него было ощущение тяжелой проделанной на пределе сил работы. Не обошлось без плутаний: автомобильные маршруты были иные, чем те, к которым он привык, преодолевая Питер на трамвае или пешком.

А у Гали все тот же карандаш вместо задвижки на двери и сломанный выключатель в дабле, сломанный холодильник, что и год назад, что и всегда. К числу сломанных прибавился лишь телевизор. Зато четыре кошки (что они едят?).

Нет бруска поточить полено, называемое ножом, штопора — открыть бутылку. Очарование абсолютной бедности.

В Питере живут наиболее русские люди — мечтатели: они все ждут момента — когда все сложится и само-собой образуется. Когда ситуа-

ция будет благоприятствовать — и тогда малым усилием можно будет достичь великого результата. Поэтому такие нищие и унылые. Поэтому такая художественность и прелесть.

Что еще?... Необязательность всех слов и всех поступков. Решения не принимаются, из сделанных выводов не проистекает никаких следствий. Красивые разговоры, красивые жесты, эмоциональные переживания страшной силы. Без поступков. Вместо поступков — тусовка. То, что не требует долгих усилий, последовательности и отказа. Делают те, кто жертвует. Кто перестает снисходительно прощать себе и ждать.

Во всех нищих социумах причины нищеты одни и те же — именно эти.

...Богатство личности и слабость характера — обычные тут вещи. Поэтому реальные творцы — люди ограниченные. Поэтому вместо романов — рассказик или вовсе треп за столом.

Утром на каком-то черте-где проспекте Кима нашли дом Стрижака. Во дворе безнадежность и солнце. Она ушла, он остался один. Бросились в глаза роскошная золотистая колли, гуляющая в пустом дворе, и это солнце. А на Невском через двадцать минут — снег.

Когда он отвез Оксану к Стрижаку, было два часа. В седьмом она первый раз позвонила, сказала, что пьет последнюю чашку чая. Второй раз позвонила в начале одиннадцатого. Они договорились, что Захар встретит ее в одиннадцатом в метро. Захар прождал пятьдесят минут и пошел домой. Оксана явилась минут через двадцать.

— Я же *просила не встречать!* — сказала она с вызовом.

— Ты хочешь сказать, что столько времени брала интервью? У тебя даже пленки столько не было!

— А я не могу просто посидеть?! Просто поговорить с приятным человеком!

— Но интервью-то ты взяла?

— Нет, не получилось. Мы просто беседовали. А потом он быстро напился.

— И ты все сидела?

— Он меня не отпускал... Мне что, нельзя в кои веки доставить себе удовольствие, я что, должна быть всегда как привязанная?!

— А я?

— Ну и делал бы, что хотел.

— Я иначе себе представлял это путешествие.

— И это *ты* считаешь себя обделенным?! — воскликнула Оксана, не обращая внимания на Серафиму и Галю.

Ему, видимо, полагалось прыгать от счастья, ему следовало ликовать: вести двенадцать часов машину (вчера), чинить (сегодня), ждать ее, встречать, провожать... А это она — страдает. Это она — снисходит. Это она проводит в гостях девять часов под видом интервью, для которого так

долго искался диктофон, и которого нет. Они *просто* беседовали. Ну, как же: любимый писатель *обоих*.

Захар воображал, что Стрижак лишь повод, и что это *их* путешествие — и заблуждался. Он просто шофер. Удобный муж при великолепной даме.

— Я вообще не понимаю, что елuchилось? Не ты ли сажал меня в поезд в N. (почти десять лет назад) и уезжал путешествовать? А я рыдала и просила не бросать... с больным Кириллом... Не ты ли уезжал в X., Y., Z.?

Они слишком долго прожили вместе: всегда есть, что вспомнить при надобности. Если она претендовала быть Захаром восемьдесят-какого-то года — это его мало радовало. К тому же, все его отъезды длились не дольше недели, со звонками из любого крупного населенного пункта. Он даже в Новгород попал лишь потому, что они были в ссоре и почти в разводе. Интересно, что она именно теперь вспомнила эти свои обиды. Будто он мало наказан... Женщина помнит *все* — и в том свете, в котором надо. И женщина не умеет *прощать*, прощать по-настоящему.

Заперлись в комнате и стали сводить счеты на грани скандала. Оксана говорит:

— А что такого? Что ты все преувеличиваешь?

— Хорошо, пусть я преувеличиваю, но *это* изумило и наших хозяев.

— Это они тебе сказали?

— Да, я провел с ними целый день. Не отходя от трубки.

— Если так — я могу уехать!

Хозяева рвутся в дверь и силком их мирят. Приказ Серафимы: о сегодняшнем больше ни слова. Зато она засыпает темами: Бадмаев — травник Николая II, гитарист Петр Панин... Вайзберг, Зверев, Немухин, «Алеша» Герман... Все как всегда. Захар с Оксаной понемногу ожили, надрасад прошел. Ночью даже испытали друг к другу нежность. А ведь пару часов назад могли расстаться навсегда.

Утром поехали шестером в Комарово (с Колей, галиным сыном, и с Володей Воробьевым — коллегой по радио, здесь обнаруженным и подобранным). Серафима опять блистает памятью: фамилии сыплются как от внештатного биографа всех питерских знаменитостей трех последних десятилетий (а сквозь восторженные гимны прорывается вечный припев: «Ненавижу этот город! Хочу в родную Москву!»). После великолепных горок меж прибалтийских сосен — песчаный комаровский пляж с видом на Финский залив (огромная лужа с торчащими камнями). Здесь за яйцами вкрутую и вином новые серафимины рассказы: о визите к Твардовскому, о встречах с Ольгой Берггольц, Ахматовой... Все (кроме Захара и Гали) в говорильном ударе, лишь иногда перекрываемом криками Серафимы в самых патетических местах:

— Коля! Не суй руку в воду — она отравленная! Вот вопьется тебе червяк под кожу!..

— Какой червяк, Серафима Николаевна! — смеется Оксана.

— А что ты смеешься? Говорят, есть такие аллергические черви. После того, как дамбу построили...

— Это басни, нет никаких аллергических червей! — снова смеется Оксана (она все знает: у нее тьма познаний во всех науках).

— Ну, не знаю... Все равно не суй руку, слышишь, Коля! Сейчас отлуплю! — и с театральной яростью машет рукой.

Потом — Репино (Куоккала). Дом закрыт, но им было дозволено восхищаться именем. Восхищались, снимали на камеру. С машиной все было очень просто. Без усталости можно объехать за раз большой кусок культуры.

Вечером — город (любимейший из всех). Собчак экономил на белых фонари включали в одиннадцать. Впрочем, белых ночей не было и в помине, поэтому к моменту включения — хоть глаз выколи. Улицы черны, лишь избегают буквы кинотеатра «Паризиена». Несутся машины с зажженными, словно на трассе, фарами, пугая редких прохожих. Это Невский.

Черное, глухое, как в блокаду, Марсово поле с мерцающей надписью в кровавом свете вечного огня: «Против богатства/ власти и знания/ для горсти/ вы войну повели/ и с честью пали/ за то чтоб богатство/ власть и познание/ стали бы/ жребием общим».

— Кто сочинил? — спросила Оксана.

— Сатана, — кратко ответила Галя.

Затем набережная с великолепным ночным трезиниевским собором и далекой сахарной Стрелкой В.О. Троицкий мост забит людьми, которые ловили корюшку в огромные сачки.

— Как называется то, во что вы ловите? — спросила филолог-Оксана у рыбаей.

— Да, никак не называется, — стал жаться один, перетаптываясь среди пустых бутылок импортной водки.

— Почему никак? — обернулся другой. — «Мотней» зовется.

— «Мотней»? Великолепно! — восхитилась Оксана. У нее отличное настроение.

Они стояли с рыбаками и слушали удары этих «мотней» об воду.

...Утром на крутом живописном повороте шоссе в двухстах километрах от Питера отраднo мелькнуло село Миронuшки. Родина прикинулась не родиной, а чем-то лучшим, чем она могла бы быть, если бы снилась нам.

XI. Ctrl-F3

Поздним московским утром, после бесконечной дороги, от которой во сне лишь мелькание белой полосы:

— Снова плачешь?

— Вместо того, чтобы упрекать, лучше бы пожалел меня!

— За что пожалел? Что я занимаю чужое место?!

Он вскочил и вышел из комнаты. Потом стал собираться. Пытаясь удержать — Оксана стала опять вспоминать его вины (им несть числа).

— Помнится, ты говорила, что вспоминаешь вины, потому что тебе так легче.

— Что легче?

— Обосновать разрыв.

— Я этого не говорила. Ты неправильно меня понял. И я совсем не хочу тебя винить. Ты просто не жалеешь меня, когда мне плохо, вот все, что я хочу сказать.

— Ну, скажи мне, почему тебе плохо?

— Просто проснулась, а мир такой ужасный...

— Неправда! Разве я не знаю, почему тебе плохо?!

— Да, я люблю его и *продолжаю любить*! Это несчастье, я ничего не могу с собой поделать! Разве надо меня за это ненавидеть?!

— И ты считаешь, что я могу с этим жить?

— Ну, мы же жили раньше.

— Разве *это* была жизнь?!.. Я ухожу, пожалуйста, не останавливай меня.

— Ты уверен, что хочешь уйти?

Захар все в себе взвесил и твердо сказал «да».

— Ты думаешь, я не понимаю, что я мучаю тебя? — Она подошла к нему совсем близко. — Прости... Моя жизнь кончена, в ней не может быть ничего хорошего.

— Из любой ситуации можно сделать свои выводы, чтобы жить потом, исходя из этого опыта.

— Какие выводы я должна сделать? Что я дрянь, что я все всем испортила?! Может быть. Ты не можешь думать иначе. Это ситуация, из которой нет выхода. Я не могу тебе ничего объяснить... С одной стороны, я не могу признать возможности в моей жизни адюльтера... с другой — я не могу перешагивать через людей.

— Я тысячи раз говорил тебе, что мне этого мало — жалости!..

— Нет, я тоже люблю тебя...

— Но странною любовью... Как родину...

Она обняла за плечи:

— Я не хочу, чтобы ты уходил... Тебе надо научиться закрывать глаза на некоторые вещи.

— Какие же веки надо иметь в таком случае...

Через полчаса ей уже весело. Вспомнила, как однажды сидя за компьютером сказала ему: «Я узнала, как можно возвращать то, что прежде было на экране: Ctrl-F3.» — «Кисонька, — воскликнул Захар, — нажми скорее Ctrl-F3!»

Вечером она зашла к нему на кухню.

— Когда ты будешь такой, как сейчас («Рожа у меня, что ль, кислая?» — подумал он), я буду звать тебя Кафкой.

— Лучше Поллаком.

— Почему Поллаком? Я знаю только художника Поллака.

— Это муж Милены, которому его друг Кафка наставлял рога.

...Как ему не стыдно, что он делает?! Живет с нелюбящей (или *очень* нелюбившей) его женщиной, все отдавшей другому. Вернувшейся к нему из-за его слабости. И в пределах квартиры любящей лишь Кирилла, что и показывает в минуту дурного настроения. Она привыкает к этой жизни, но он не привыкает. Он ни ей не мог простить, ни так взять и уйти (пока ее нет). И себе простить не мог — за возвращение. И простить себе ту прежнюю дурацкую наивную жизнь, в которой *она* занимала не первое место.

Стены были почти покрашены, можно было уходить.

Раньше он существовал в мире, где некоторые вещи были невозможны. Теперь ему либо надо начать жить в мире, где возможно *все*, либо уйти. Уметь примириться с фактом — это, может быть, *мудрость*, но не *счастье*. Это значит, что люди могут жить друг с другом несмотря ни на что. Ради чего? Ради спокойствия. Идеал невозможен, и его более не ищут. Захару надо пожертвовать Оксаной ради формы *своего* мира. Пожертвовать любовью, которая требует ничтожества. Которая не только терпит *факт*, но и принимает жертвы от другого.

А утром снова козырные карты его *вин* в ее руках:

— ...Мне наобещали, что дача строится для меня. Что ж, люди склонны произносить какие-то слова. Сама виновата: зачем обольщалась...

Какой дурацкий театр!

— Тебе надо бороться за право быть оскорбленной: мисками, тапками, кастрюлями моих родителей, — и бороться за право мстить обидчикам. Иначе как же: я, такая хорошая, и вдруг обо мне не думают! Не видят, не помнят — если и не делают это назло!.. Если нет борьбы, значит, я *подчиняюсь*! Ни за что!.. Они, кстати, делали тебе не одно лишь зло.

— Ты попрекаешь меня, что я *пользуюсь* их вещами? О, много раз!.. Из-за того, что ты не работаешь, они компенсируют недоданное тобой. Поэтому и беру. Без всякой благодарности: беру от них, потому что не даешь ты!

И это после того, что случилось (будто они вернулись в *до*). Может быть, истерическое состояние. Может быть, ничему не научились, не стали шепетильнее друг к другу. Не стала (тем более) любить его, чтобы прощать «привилегии», вроде временной нетрудоспособности по причине сентиментального ранения в грудь.

И затем она уходит (как проигравший — Захар не посмел спросить куда и когда вернется?). А на кухне сидел поселившийся у них

Женя из Симферополя — и он не мог плакать и молиться (чтобы вернулась).

Отчаянием называется место, где заблудилась любовь.

XII. Северин, Северин!

Захар вошел в квартиру и услышал:

— ...«Смит-Вессон» девятого калибра, сто патрон... — Женя по телефону торговал оружием.

Оксана еще не вернулась.

Вдвоем они пили ром, что купил Захар, последовательно повышая градус употребляемого алкоголя, и курили траву, что была у Жени. Ни то ни другое Захара не цепляло.

— Как там Крым?

Он не был там лет семь, все постсоветское время, и плохо его теперь чувствовал. А там, наверное, тоже много изменилось.

— Работы нет, курорты стоят и разрушаются, Южный берег опустел, — махнул рукой Женя.

Отцепившись и уплыв от России, Крым потерял всякий смысл. Да и раньше-то имел не много. Мало кто меньше огорчился потерей Крыма, чем Захар. Дачная захолустная снежная Россия была ему гораздо милее.

— Что же ты собираешься делать?

— Ну что, женюсь на хохлушке, заведу кобанчика, — засмеялся Женя.

Утром он как всегда куда-то ушел, а Захар стал устанавливать автомат для водонагревателя в общем распределительном щитке на лестничной площадке. (Оксана всегда жаловалась на неудобство жить летом без горячей воды.) Как обычно в таких случаях все случилось раньше, чем успел сообразить: сперва вспышка и дым, и запах чего-то паленого. А потом уже боль. Сжег отвертку, а заодно палец (чудом не обесчистив весь подъезд)...

Едва залепил палец — позвонила Даша. Ее контры с Артуром, ради которого были принесены такие жертвы, вроде разрыва венчанного брака, видимо, усугубились (эти контры — тема почти всех разговоров). Артур отвергал дашину Лизку, еще не понимая, что из муки вырастают самые бархатные цветы. Как после чахотки — легко дышать уже никогда не придется, зато всегда будешь ощущать *глубину* и реальность атмосферы.

Аромат цветов трагедии. Кстати об аромате: он спросил Дашу про ее духи, удивительно ей идущие и от нее неотделимые. У всего есть название. У этого — «Vanderbilt».

До вольности этого вопроса его довел их совместный трип под LSD. Захар давно предложил ей попробовать, памятуя о пользе кислоты на пике своих проблем. И вот она позвонила: не может ли он приехать — с кислотой? У него был НЗ в полторы дозы от доброго Лёши (при-

нять, если возникнет соблазн повеситься — и он уже месяц крепился и уговаривал себя, что до этого не дошло).

Он дал ей полную, себе пол, так что это был, по существу, ее трип. Он был наблюдающим и ассистентом, таким доктором Грофом. Она искренне испугалась, что умирает, и просила позвонить Артуру.

— Не бойся, я контролирую ситуацию.

— Ты уверен?

— Уверен...

— Тогда возьми меня за руку.

Он взял ее за руку, будто они шли по темному лесу, и заодно стал гладить по волосам, словно расстроившегося ребенка.

Волосы у нее были удивительной густоты и тяжести, можно кисти плести. Довольно много седых. Странно, он лежал и ничего не чувствовал. Ветер страсти не проходил через него, дыхание не перехватывало. Она немного успокоилась.

— Ты знаешь, что это такое, почему это так? — спросила она, глядя куда-то широко раскрытыми глазами.

Он стал объяснять эффект LSD по Хаксли: недостаточный приток кислорода в мозг вызывает галлюцинации, и что, с точки зрения некоторых врачей, у шизофреника вырабатывается в организме вещество, сходное с кислотой, и еще, что по некоторым теориям крещение в воде изначально практиковалось для провоцирования галлюцинаций в условиях кислородного голода...

Кайфа ни в одном глазу. На него сейчас вообще почти ничего не действовало: ни беда, ни женщина, ни LSD.

Его давно интересовало, как она поведет себя под кислотой. Стала проще и доступнее. Веселилась:

— Болит живот, а так я была бы счастлива.

Еще болело сердце, проблемы с дыханием...

— Нам бы кефир пить, а не наркотиками баловаться, — подытожил Захар.

Потом пили чай на кухне. Говорили о эволюции Гребенщикова и есаула Бичевской в сторону православия. Ей это, скорее, нравилось. Ему — нет.

— Муза искусства — тоже богиня, — сказал он, — и не терпит иных богов рядом с собой. Она мстит за измену. Поэтому так интересен ранний БГ и неинтересен поздний. Исписавшись, исчерпав пафос юности — он теперь увлекся православием. Но православие слишком большая вещь, чтобы быть средством. Оно может быть лишь целью. Целью жизни, состояния особой удовлетворенности и веселья, которому не нужно творчество.

Он замолчал. Она смотрела на него и вдруг спросила:

— Что, нежности кончились?

— Нежности?

— А, испугался, сразу в кусты? Ты со всеми девушками так поступаешь?

(Его слава ловеласа, оказывается, широко известна.)

— Я не испугался. Я *ничего* не боюсь.

Она молчала и смотрела на Захара.

— Знаешь, в последнее время я придумал для себя концепцию *очень хорошего солдата*, как из какого-то американского фильма...

— Что это значит?

— Значит, что я человек, который не имеет своих желаний, но делает то, что *нужно*. Нужно в каждой конкретной ситуации. И перестает делать, когда *не нужно*.

— Понятно. А теперь — не нужно?

— Да. Разве нет?

Он испугался, что обидел ее.

— У меня убиты все чувства... — извинился он.

— Я тебя понимаю... Мне тоже тяжело. Я даже не могу исповедоваться в храме. Впрочем, тебе, наверное, этого не понять.

— Почему это?

— Ты же не христианин.

— Ты заглядывала ко мне в метрику?

— Нет, я так думала. Ну, тем лучше. Приятно быть в компании единоверца...

Потом они рассматривали фотографии их героической молодости.

— Вот он... — произнесла Даша издевательски и протянула фотографию Артура. Он в своей любимой скучающей манере презрительно смотрит на мир. Еще волосат, лет десять назад.

— Хоро-ош! — засмеялся Захар.

— Вот на кого обрекла нас судьба, — продолжила она с невеселым смехом.

— Ты все еще его любишь?

— Не знаю. Но я бы не хотела делать ему вреда.

— Я понимаю. Я тоже...

— Я надеюсь на это.

Они произносили эти риторические клятвы, которые мог бы опровергнуть первый порыв страсти. Но его не было.

Вместо страсти между ними шла странная игра-поединок. Ее взгляды, недомолвки, непонятные слова. То, что она многое ему позволила («многое» — это малое. Впрочем, в этом не было нужды.). Может быть, так она ставила эксперимент. Или мстила. Сильный игрок. В чем-то она его переиграла. В чем-то — он ее. Пресловутые *игры господства*: они хотели владеть друг другом, не испытывая вины, не совершая предосудительных демаршей. Не произнося однозначных слов, не прибегая к

действиям. Каждый из них уже обжегся на чужих или своих действиях. И при этом ждал поступка от другого. Или неверного хода.

— Я иду спать, — наконец сказала она.

— Хорошо, тогда я поеду.

— Я хотела бы, чтобы ты остался...

Это не было приглашением в постель. Постель ему была постелена отдельно.

...Ночью, пока Даша спала, он говорил с Оксаной по телефону. Предупредил о своем невозвращении (она не ревновала, знала его...). Заодно узнал, что, оказывается, пока он ставил автоматы — чтобы у нее была горячая вода — она пыталась в стопятидесятый раз покончить с собой (потом он нашел шприц и синяк на руке). Рассказала для того, чтобы Захар знал, что не он один страдает. Для нее нет выхода: уйдет ли она к «нему» — будет страдать за Захара, уйдет ли Захар — опять. Переломается ли и останется с Захаром — не простит себе, что «изменила» ему.

Он лежал в дашиной постели в той самой комнате, что «как из дворца Снежной Королевы» — и думал: в чем его *сила*? В том, что он намертво сел на крошечный клочок земли, размером даже не с квартирой, а с кухней, где делал ремонт, и закрепился на якорь. С которого его можно вытолкнуть только в *умереть*. Поэтому лежал спокойно: он уже привык спать в чужих домах. Привык справляться с мощными эмоциональными нагрузками.

Он был крепок, как человек, который все про себя знает, который ничего больше не хочет и ни к чему не стремится. — Но был на свете человек, который мог убить его одним словом.

Его позиция «неуязвима», потому что чудовищно сосредоточена на одном. Он не позволял себе ни настроения, ни слабости, ни желаний. Когда он мог что-то облегчить себе — он утяжелял — чтобы не расслабиться, не отвыкнуть жить с перегрузками, когда любое *среднее* воздействие — не оставляет никакого следа. Требовал от себя все более тяжелых вещей — чтобы чувствовать, что *готов*. Что на этот раз он выдержит, какой бы ни был силы удар.

Он уже дистанцировал себя от нее. Он не рассказывал ей о дачных собраниях, о звонках и желаниях родителей, о прочих вещах, которые собирался выполнить в одиночку. Он должен был научиться жить один и из себя. Безо всякого ответного эха на свои мысли и поступки.

Он догадывался, что находится в аффекте. Сколько он еще сумеет продержаться? Больше ничего не-будет просто — поэтому теперь он пытался стать цельным и простым, чтобы и после потери напряжения — не разорваться, как глубоководная рыба.

Он перестал что-либо чувствовать, даже голод покинул его. Так пошел, что некогда теснейшие джинсы сидели совершенно свободно.

Он был уже почти спокоен, думая о том, что с ними случилось. Думал не в терминах «могу простить», а — «ну и что (чего не бывает)». Бред, малодушие, легкомыслие? Спасительное бесчувствие? В чем-то он ей даже был благодарен. На своем отчаянии он перепрыгнул вещи, отчасти трудные, отчасти опасные.

Попад на грань невозможного существования, он вдруг начал *жить*. Он отказался от постороннего и милого — от писания, чтения... Он стал все отдавать жизни. Он стал *до конца* играть в жизнь. Он стал думать о ней, хитрить, присматриваться, изворачиваться, уходить и наносить удары.

В этом отношении было интересно его приключение с Дашей и LSD. Теперь он думал, что это был один из самых фантастических вечеров в его жизни.

Ему казалось, ему удалась его «игра». Они словно поменялись ролями: Захар говорил и вел себя так, как обычно вела себя Даша. И очень многое узнал, испытал, почти «подглядел» — и в то же время не ушел непоправимо далеко. Кажется, он мог бы сделать больше, но не сделал. Он сохранил способность владеть собой. Он не испытывал страха — он теперь ничего не боялся. Скорее, он хотел, чтобы все так и осталось игрой, чтобы вся пьеса не была сыграна за одно действие. (Судя по последующей реакции Артура — он был тем более прав.) Он ничего не изменил в ситуации — и в то же время многого коснулся. Он мог победить — и отказался от победы (может быть, это была его иллюзия).

Две крайние фантастические точки того вечера (и утра): «мазохистский договор» и «предложение». На кухне, куда они ушли пить чай, Даша заговорила про свободу:

— Нам не дана другая свобода, кроме свободы выбора. В остальном мы совершенно несвободны.

— Мне это не понятно, — возразил Захар. — Я совершенно свободен. У меня *слишком* много этой свободы. Я не знаю, что с ней делать. Хоть бы кто-нибудь забрал ее у меня!

— Это только слова. На деле ты не готов ее отдать.

— Готов.

— А если я скажу: отдай ее мне?

— Возьми.

— И ты сделаешь все, что я скажу?

— Да.

— Может быть, ты мне напишешь бумагу и подпишешь?

— Хорошо.

— И что же ты сделаешь?

— Все, я же сказал.

— Все-все? Ладно...

Она встала, взяла бумагу, задумалась... Ему почему-то пришло в голову, что она пошлет его грабить ларек. Это было бы просто.

— Нет, я еще не готова принять это от тебя. Ты потом скажешь, что это была моя инициатива, и я должна за все отвечать... Давай, ты сам придумаешь, что ты сделаешь?

— Сам придумаю себе казнь? Нет, вот на это я не согласен.

— Почему, это же то же самое?

— Нет, я же говорил тебе: я теперь просто *очень хороший солдат*. Я не отдаю приказов, я их выполняю. Выполнить я могу все, я уверен. Моя *сила* в том, что я не отдаю приказов, что сам я — ничего не хочу.

— А, вот как.

На этом все и кончилось.

Утром, пока Даша была в ванной, зазвонил телефон. Захар снял трубку. На том конце помолчали и дали отбой.

...Женщина почти всегда эстетически оригинальна. Даже дома, в затрапезе она любит показаться тонко и неожиданно. Из ванной Даша появилась в полупрозрачной длинной юбке и каком-то облегающем джемперке. Ее вид был откровенен, сама же она — опять вооруженная до зубов крепость, в своей наилучшей too sophisticated манере. Отыгрывалась за вчерашний вечер? Правда, рассказала Захару странный сон — «про них». Все эти намеки, намеки — для чего: посмотреть на его реакцию? Все же он попытался продолжить вчерашнюю «откровенность». Пересказал ночной разговор с Оксаной, — Даша все равно у нее конфидентка.

— Только не говори, что раз не покончила с собой, то и не покончит. Сто раз не покончила, а сто первый — покончит.

— Я и не говорю... — ответила Даша. — Оксана мне тоже это говорила. Она считает: единственный выход, чтобы ты на ком-нибудь женился и был счастлив. Я с ней согласна.

Захар посмотрел на нее. Даша была самым близким и красивым этим «кем-нибудь». И, наверное, знала это. Ему было интересно, что же все-таки подразумевала ее вчерашняя игра, что могло произойти вчера и не произошло (даже в рамках мести или безумия). Связанный своим собственным обещанием не делать вреда Артуру, в том случае, конечно, что это — вред для него, он имел один способ выяснить это прямо сейчас.

Все же — как много бурлило в нем! Ему надоело быть мостиком в океане, с которого ныряют и к которому причаливают, — и который иногда гордо объявляет себя последней оконечностью суши (его семейный манфредизм, как называла это Оксана). Ему тоже есть, что обрушить на других, он тоже мог менять судьбы и вызывать катастрофы (он хотел в это верить). Покуда — ему было достаточно только знать это. Но он был готов отвечать за последствия. Его «предложение» Даше и было следствием недовольства своим поведением: он сделал несколько смелых шагов, не встретивших сопротивления, так что ре-

ально возникла необходимость каких-то слов или еще каких-то шагов. И он не сделал ни того, ни другого. Его поведение могло показаться нечестным: он даже посчитал нужным оправдаться:

— А как Артур может отнестись к нашему приключению? (Вот ведь: почувствовал себя на минуту в положении «друга»!)

— Думаю, нормально.

— Я бы не хотел, чтобы кто-то испытал то же, что я.

Она кивнула:

— Я понимаю. Я думаю, что у него нет оснований опасаться.

Во всем этом была какая-то недосказанность, даже неправда, поэтому в самом конце он раскрыл карты: он готов на то-то и то-то, если этого требует честность (к ней, к Артуру).

— А вот скажи мне, чисто теоретически, ты могла бы стать моей женой? — Уже зная, что броситься в омут или жениться на ней — одно и то же. Но он был готов и на это. Он вообще был удивительно свободный сейчас, ничего не боялся. И вообще — ни разу не сделать женщине предложения — недопустимое упущение в судьбе.

Она шагнула к буфету и стала машинально рыться там.

— Только не падай в обморок.

— Я не собираюсь падать... Теоретически все возможно.

— А что должно измениться, чтобы это стало возможно практически?

— Практически это более сложно.

Захар не стал настаивать. Примерно этого он и ждал.

— Ладно, пойдем погуляем.

Они вышли на теплую солнечную улицу (это были ее единственные достоинства) и больше об этом не говорили.

Вот до чего он дожил, вот в каком угаре он теперь находился! Было не страшно и интересно.

Он ничего не сказал про «любовь», он не высказал никакого своего желания. Он облегчил ей положение, если ситуация ее почему-либо не удовлетворяла, такую гордую, такую sophisticated, — чтобы из одного безумия прыгнуть в другое, окончательно сломать прошлое и свою жизнь — и испытать облегчение.

Вернулся — новая история: звонил отец. Очень сурово спросил Оксану, где Захар? У мамы осложнения после операции.

Он выпил кофе и посвятил Оксану в подробности вечера. Он не хотел ничего скрывать и не хотел ничего делать, что стоило бы скрывать. Лгут лишь слабые люди, не готовые отвечать за смелые свои эскапады.

Вот уж кто не ревновал, а скорее наоборот. (Она рассказала *свой* сегодняшний сон, где они *все* нашли свои пары и счастливы...) Лишь добавила:

— Это было бы забавно, если бы ты *теперь* меня бросил.

— Не бойся, не брошу.

— А что — и поделом.

Потом он опять сел за руль — и угодил в проливной дождь. А мама улыбалась, все не так страшно.

— Я так и знала! — разгневалась Оксана. — Зачем тогда было со мной так говорить, будто кто-то умирает!

— А если он переволновался?

— Конечно, всем можно волноваться, грубить, проявлять слабость, только не мне! Ты всем все прощаешь, для всех есть оправдания, только не для меня! Мне надо быть крепкой, как гранит. Хотя ты именно мои интересы должен защищать! Но маме, видите ли, плохо — и ты сразу к ней помчался. И еще меня же и ругают, что тебя нет!

После бессонной ночи и поездки у него не было сил спорить.

— А если б она действительно умирала?

— Хоть бы и умирала, — это не дает ему права разговаривать *таким тоном!*

— Это не порядочно так говорить!

— А ты всегда ведешь себе порядочно?!

— Что ты имеешь в виду?

— А ты помнишь, как ты *пожал руку?*

— Пожал руку?

— Да! Как ты смел это сделать, как ты смел сказать мне об этом — так *торжествующе?*!

Ничего не прощено и все перепутано.

Захар собрался уезжать — и опять не уехал.

XIII. Бессонница

...Жизнь помчалась, как сошедший с рельсов поезд. Все сошли с ума и, кажется, сами не понимали, что делают. Через полчаса позвонила Даша.

— Тебе не звонил Артур?

— Нет, зачем ему мне звонить?

— Я ему рассказала обо всем, и он пришел в такую ярость.

— Почему?

— Я не знаю. Я попыталась убедить, что ничего не было.

— Но ведь действительно, кажется, ничего не было...

— Вот именно. Но он, может быть, что-то воображает.

— А помнишь, я спрашивал тебя — как он отнесется?

— Я совершенно не ожидала такой реакции.

— Может быть, не стоило говорить?

— Но я уже сказала.

— А что, может, это к лучшему? Пусть поревнует. Отличное иногда средство.

— Я бы не хотела, чтобы он обрушил все мне на голову. Захотел бы со мной расквитаться. И по новому кругу.

— Ну, ты его лучше знаешь...

— Я действительно испугалась, что он может убить тебя или меня...

— Потрясающе! Как все интересно!.. — непонятно отчего веселился Захар. Но ему действительно это представилось забавным. Да и Артуру было приятно насолить. И оказаться «скомпрометированным» с ней вместе. Все же это было достижение. — Ты не волнуйся. Все это мы разрешим.

— Тебе легко говорить.

— Конечно.

Они договорились увидеться в ближайшее время.

Какие-то испанские страсти. Но это было только начало. День получился плотным, к тому же на фоне его малярных работ. Едва Захар повесил трубку — позвонил Тростников и в сильных словах произнес дифирамб его повести. Сам вызвался отнести в журнал.

Его оценка для Захара была важнее десятка положительных рецензий в газетах. Он был готов остаться безвестным — с одними подобными отзывами раз в полгода.

Подспудно ждал звонка Артура и продумывал модель поведения, машинально водя кистью по потолку. Артур не позвонил. Артур *пришел*. Оксана великодушно взяла первый удар на себя. Пили кофе и курили принесенную Артуром траву. Говорили о Достоевском. Захар пока приходил в себя. Артур был какой-то несчастный, рассуждал о нарастании сил зла — словно лёшина мама. Мало осталось от его вечной позы победителя и пресыщенного гурмана. Его было жалко. Ушел, так ни о чем и не поговорив. Да и о чем говорить? Захар сам ничего не мог понять. Разве он отбивал у Артура Дашу? Если бы даже и хотел — никогда бы не *так*. Артур давно ревновал к нему — почему? Почему не женился и не пожертвовал чем-нибудь? При чем тут Захар? Его отношение к Даше? Это никого не касалось. Во всяком случае, оно было сложно. У него не было иллюзий, да, в общем-то, и желаний. Он чувствовал, что опустошен. Ему бы где-нибудь на печи отлежаться. Пусть сами все выяснят между собой. Но ночью опять не мог заснуть.

Может быть, его жизнь ломалась? (То есть, она уже сломалась, а теперь как-то заново соберется?) Ничего не мог ни решить, ни понять. Пусть Господь распорядится его судьбой, как Он распоряжался до сих пор. У него была его малярная кисть, и время терпело.

Утром Оксана сказала ему:

— Я понимаю, почему ты говоришь мне такие ужасные вещи. Просто тебе очень плохо.

— Я не говорю, что мне очень хорошо. Но дело совсем не в этом. Я плачу очень много — и хочу, чтобы ты сверкала в полную силу. Только

это уравнивает «плату». Я не могу вынести, когда ты рассуждаешь неблагородно.

Все о ссоре из-за его родителей. Это она на пределе. Ему-то уже все равно в каком виде терпеть.

А сегодня она ушла в *таком* состоянии: лицо отчужденное и холодное, мысли где-то бродили (он стал очень тонко это чувствовать) — можно было ожидать *всего*. И пообещала прийти поздно (была «дежурная», хоть и не ее день. А сперва — запись для английского телевидения: по поводу возвращения Солженицына). Захар попытался настроить ее на «серьезный» лад — и только напряг. Словно она хотела сегодня бежать (последний школьный день, можно забрать Кирилла). Немного волновалась из-за интервью (что говорить? — да еще на языке).

— Я верю в тебя во *всех* отношениях, — сказал Захар на прощание.

Что ж, будем ждать и мазать. То-то будет.

«Ненавижу само слово *любовь*!»

Господи, зачем ей победа над таким слабым соперником? Это ничего не прибавит к ее лаврам...

Минутами сила, которую он черпал из своего подвижничества, от которого содрогались небеса, оставляла его: он ясно видел, что все усилия были напрасны и этот ремонт уже не нужен. Ему не придется жить в этой квартире.

Глядя на нее, казалось, что у нее вот-вот понесется по второму кругу (или уже понеслось). Вчера вернулась в одиннадцать: сдавала запись (кому?). Сегодня презентация у Климонтовича. Послезавтра пятница. Если останется на традиционный пятничный сабантуй — все станет ясно. Кажется, он ее наконец-то возненавидит.

Теперь у нее песни и восторг (от ее *личного* успеха на тусовке Климонтовича). Веселие, которое пугало Захара почти так же, как и отчаяние, которым веселие сменится — он уже наблюдал это не раз. Ее постоянно зашкаливало — в радости и печали. И уровень эмоций, и резкость переходов — не давали примериться и совпасть. Вся жизнь была из рецидивов — радости или отчаяния. Не было лишь просто жизни.

Да, наверное, это была самая умная, тонкая и образованная женщина (оттого и *успех* у мужиков). И все же он перестал эмоционально ее ощущать. Он вырастил между ними стену и растил все дальше. Ему казалось, что при всем своем уме и обаянии она плескалась на мелководье, не заглядывая и ненавидя *глубину*. Ощущение и соприсутствие глубины вызывало у нее страх и истерику. Может быть, поэтому она не любила стихи и философию (а ведь, когда познакомились, она была *единственной* женщиной, способной именно на философском поле сражаться с жизнью, с которой они боролись одними и теми же книга-

ми). Она была вся из *этой* жизни. Всякую философскую проблему она могла (теперь) понять только как личную — поэтому они переходили на личности и кончали ссорой.

У обоих было плохо со сном. В девять зазвонил телефон (ошибка). Короткая бредовая эвакуация в сон — и снова эта жизнь, которая воспринималась, как порода, которую надо перелопатить.

...Пятничный сабантуй был ни при чем (сегодня пятница). По всей видимости, она ничего не скрывала. А вот он был не в себе и повсюду видел заговоры.

Сегодня приезжает Солженицын. Еще недавно это вызвало бы какую-то вибрацию. Теперь ему было скучно.

Ему давно было не до того.

Его сила — была сила человека, более не цеплявшегося за жизнь, не собиравшегося делать в ней что-то еще, сохранить плацдарм, оставить чего-то на потом. Он выкладывался весь — в *эту* минуту, перед *этим* человеком. Он не боялся трудных задач, он был уверен, что может справиться с любой задачей — именно потому, что перестал жалеть себя и свое время. О, может быть, он еще и Оксану сможет завоевать!

...Бессонница. Еженощная спутница. Он сидел в своем курятнике и минутами страшно уважал себя. Мания величия нахохлившегося индюка. Чего он хочет? Вечно «играть», строить кухню, «побеждать», не платя долга победителя? Сколько он сможет продержаться, и что дальше? Или его сила как раз в том, что он не думает об этом «дальше», не боится его и не боится чужого мнения о себе? Он нечаянно оказался, может быть, лучше, чем он был на самом деле. Он был свободен от отчаяния и безрассудства. Он совершенно созрел для роли Гамлета. Он познал муку, и она отчасти воспитала его. Он перестал бояться жизни, потому что перестал ею дорожить. Она оказалась не тем, что он о ней думал. Теперь он мог рисковать, потому что был готов платить собой. Он не хотел говорить о *судьбе* и *счастье* — все это было из другой жизни. Теперь лишь игра на смерть. Он был жалостлив, жалел даже вещи. Он жалел себя. Он был сентиментален. Теперь он ничего не жалел. Он брел без дороги по лесу и с равной готовностью ждал любых приключений. Может быть, он созрел для дурдома тоже.

Исчезнувшего было Женю, оказывается, жутко избили на Цветном: сотрясение мозга, выбитые зубы, разбитый нос. Отобрали все деньги (90 тыс.) и паспорт. По этой причине завтра он отбывал на родину. Он зашел на один вечер — забрать вещи.

А днем зашла Марина, еще одна женщина с трудной судьбой, любовьями, изменами и разрывами. Рассказала про диагноз, поставленный ей, матери двоих детей, в женской консультации: «Бесплодие, которое улучшается с каждым родами».

— Я думала, у вас тут во дворе одни «мерседесы», — с застенчивостью окраинного жителя сказала Марина.

— Нет, некоторые предпочитают «вольво», — уточнил Захар.

— Неправда, — возразила Оксана. — Вон, с третьего этажа, занимается бизнесом. У него голубой «москвич».

— Это «жигули».

— Ну, «жигули».

— На них он ездит к гаражу, где у него стоит «мерс».

— Ладно тебе.

— Сушая правда.

Марина продолжала щебетать. Странно, что в этой маленькой, хрупкой, чуть-чуть даже простоватой и кроткой по виду женщине кипели такие страсти! Ее, дипломированного филолога, бил муж, попеременно пытающийся покончить с собой и убегающий с топором убивать очередного ее любовника.

Глупо? И немного завидно. Впрочем, теперь они играли в похожие игры. Весь бред человеческих взаимоотношений, который прежде пробуждал в нем только брезгливость, теперь вызывал мучительный интерес. Он начал слушать и перестал судить.

Он мог запросто увлечься женщиной. Ему нравилось играть в любовь, нравилось чувствовать, переживать. Но потом он бы желал, чтобы опустил занавес, и он мог вернуться в реальную жизнь (*what is it?*). Полюбить же по-настоящему, из самой глубины себя — он мог бы только *абсолютного альтруиста*. Кем он никогда не был сам, и кем, кажется, готов был «работать» теперь.

В том-то и дело, что в значительной степени он считал за такового Оксану. Невыносимо было бы узнать, что это не так.

Вечером звонок: приехал Ричард. Теперь и перед ним надо будет разыгрывать номер крепкой семейной пары, у которой все неизменно и по-американски *o'key*.

Целую неделю не было сил ничем заниматься. Оксана была у Даши. Вот еще один мастер интерпретации. Передала бывшее в *тот* вечер совсем в другом контексте и в других словах. Получалось, что расколола Захара на мах: мол Захар ее подписывал, а она стойко отказалась. Какая-то дремучая гордость и потребность самоутвердиться (а это слабость). Неужели женщина совсем не может быть объективной?

Вернувшись, Оксана устроила ему мозговой прессинг — немного не вовремя: он весь день перекладывал пол на кухне, сгнивший за сто предыдущих лет.

— Меня *все* убеждают, что ничего особенного не произошло, и это *всегда так бывает*. И я постепенно убеждаюсь...

Убеждена и в том, что то, что сделал-ей Захар, *вернувшись*, равно тому, что сделала она ему. И что у него нет никаких оснований изображать

из себя жертву. Захар вернулся, чтобы не умереть, и она спала с *ним*, чтобы не умереть. Вернувшись, Захар был в экзальтации, вызванной нанесенным ему ударом. Она тоже была в экзальтации, вызванной любовью.

— Зачем ты его *так* любила, почему не могла отказаться от любви? — спросил Захар.

— А почему *ты* не мог отказаться от любви ко мне?

— Я должен был отказаться от любви к своей жене?!

— Ты никогда не считал меня ею. Ты ненавидел само это слово!

— Да, я разобрался в этом за тот месяц у Лёши. И даже если я не называл тебя так, я тебя так ощущал. И помнишь — в сентябре — я не смог от тебя уехать, просидев час в «запорожке» со всеми вещами. Это был ужасный час, за который я многое понял: что мне некуда ехать, что у меня никого нет, кроме тебя. И ты это знала, и не могла не помнить, если бы хотела помнить!

Она долго молчала и вдруг спросила:

— Ты будешь счастлив, если я все порву и полностью доверюсь тебе? Обещаешь сделать мою жизнь счастливой, обещаешь посвятить свою жизнь только мне?

Опять обещания, более реальные и трудные, чем «мазохистские договоры», ибо — с продолжением, ибо первым пунктом стояла известная Захару *работа, как у всех*. Вторым, что ему прямо теперь надо было почувствовать ее *женой* и создать видимость тесного семейного счастья.

— Я буду делать, что надо, но без всякого пылания чувств — ибо долго работал на *вытеснение*, — сказал Захар.

Она разозлилась и вышла...

Последнее время у нее было очень нервное настроение. Внезапно проявляла себя резко и эгоистично. Постоянные фразы: «А что ты сделал для меня?.. Я думала, если человек обещает... Если человек ценит меня... Но не надо было обольщаться...» Вдруг заявила:

— Для тебя *это* не должно было быть ударом: я заранее тебе сказала (что любит другого: на самом деле — Захар из нее вытянул). У тебя было время (полторы недели) — чтобы уйти...

Она, оказывается, давала ему шанс все понять и уйти! И он сам виноват, что не воспользовался им.

— Не говорила же — щадя твою гордость. (Зато потом нанесла по ней разом такой сокрушительный удар.)

Все это было ложью. И в любом случае — неблагоприятно. Кажется, отчасти она поняла это в тот же вечер. Два дня была само сокрушение и вина. Захар же — словно окаменел.

Доделал кухню: плитку, стены, пол, раковину. В пятницу зашли Даша с Артуром. Артур весь вечер гнал телеги про мужчин-«кремней», которые никогда не женятся, храня «девственность паспорта».

— Ты так любишь свой советский паспорт? — спросил Захар.

Но этим Артура не сбить. Он уже стебался, что организует сотоварищи клуб и при нем газету *бобылей*...

Захар не мог понять, как Даша это терпит? Он представил, что сделала бы Оксана, произнеси он такое. Либо — это последний всплеск гордости и бравада перед тем, как сдаться (может быть, Захар подстегнул).

— Это рассуждение слабого человека, — возразил Захар. — Ах, как же — меня, такого замечательного — захомутиают, заставят пожертвовать кусочком моей бедной собственности! Эти люди думают, что жертвующие своей свободой — убоги и малодушны. На самом деле — они мужественны и мудры. Жертва — это драма: несение в себе конфликта между эгоизмом и отдачей себя другому, как все-таки самому ценному, что есть в жизни. Человека можно завоевать лишь максимальными жертвами. Но это и самая большая победа.

Но Артур носился с собой, словно с памятником, даже не понимая, как плоско и незрело все, что он говорил. Какой-то до сих пор юношеский страх и максимализм. Преувеличенная щепетильность к своей судьбе.

Даша сидела, как бедный родственник, странно было это видеть. Побитая собака: вот, посмотрите, каков мой избранник! Какова я, на такого согласная!

Повторила (естественно с иронией) слова Артура, что женщина ни на что не годится. Невиданное самоумаление! Она тоже сделала *выбор* и теперь терпит *все*?

Смешно, но отчасти это совпало с мыслями Захара последнего времени. Глядя на работающих мужчин — он порой испытывал восхищение. Мужчина может все, вот только детей рожать не может. Женщина же — говорящий приз. И еще — арбитр изящного для тех, кому это по глупости нужно.

XIV. Победа

Был первый теплый день этого холодного лета и весны. Он сидел у себя наверху на даче и стучал молотком. Странно — у всех были достоинства. И все заслуживали быть (насмерть) любимыми. Один он не заслуживал. Наверное, ему и так в чем-то везло — чтобы еще везло в любви. В конце концов, то, что у него кто-то был все эти годы, тоже что-то значит. Ах, если бы *она* не была столь истерична и неуравновешенна (вчера пыталась устроить скандал перед гостями, собравшимися повидаться с Ричардом — он, бедный, ничего не мог понять). Не любовь — а искалеченный инвалид. Конечно, можно было жить и так. Будут истерические всплески вины и ненависти — только любви и жизни не будет.

Здесь на даче он решил, что, все-таки, наверное, уйдет от нее. Отношения между людьми такая хрупкая вещь. Стало навсегда невозможно их тонкое чувствование и потребность друг в друге. Когда лишь *он и она* — и больше никого. Только на любви и необходимости другого — можно переплыть бездну человеческого несовершенства и слабости. Они, конечно, могли бы, как два солдата, хвастающихся, что, вот, всего две истерики, а так — очень даже хорошо выдерживаем атаки. Но зачем они их выдерживают? «Мы как две тени, в нас нет жизни, — думал Захар. — И одна забота — обойти еще одну возможную мину. Чтобы что?..» Она «доказала», что имеет право жить вне его. Да, она свободна — и это был ее конец в нем.

Он шел по лесу и думал, что все-таки, несмотря на весь инфантильный «протест» и требовательность — никогда бы не ушел от нее. Все-таки она была очень глубоко в нем. Он вспоминал романтику их загородных гуляний, когда она посвящала Захара в ботанику... Подобные воспоминания так умиляли его. Всего этого уже не будет. Она никогда не будет прежней для него, да и вся ботаника... Может ли быть ботаника после Освенцима? Ему должно хватить сил отпустить ее (даже если она уже этого не хочет) — если прежнее и неразломанное уже невозможно. Пропала чистота чувствования, пропала уверенность в исключительности тебя для другого.

Да, он мыслил о многих вещах совершенно по-идиотски. Последние события его отрезвили. Это не могло ей не нравиться. Но все это слишком поздно. Ни прошедшие почти уже три месяца не излечили ее, ни его «добродетели»... Более того, она была убеждена, что ни в чем не ошиблась, а ошиблась жизнь. Захар был «плохой», с которым можно *так*, теперь он «хороший», с которым *так* нельзя. Словно он вещь, посторонний малознакомый человек. Будто на этот случай есть своя математика — подсчитывать заслуги. Ему было уже не больно быть нелюбимым, быть «брошенным» — ему все равно было больно уйти, больно остаться один на один со своей жизнью, в которой не было никакого проку...

Ну, вот, он и «победил», как он теперь всегда побеждал. Он вторично завоевал эту женщину (что было посложнее, чем в первый раз), *убил* любовь. Отчего же он не рад? Почему уехал на дачу? (Вторая ночь порознь за три месяца.)

«Эхо Москвы» на даче — незаменимая вещь. Оно поставляло *человеческий голос*. Даже одиночество с ним сподручнее. Выключал радио — и становилось страшно. Не чего-то или кого-то — было страшно своей тоски. Опять думал об Оксане, опять хотел ее видеть. Вспомнил, как приезжал к ней с Кириллом ночью в прошлом году, думая, что им будет неуютно одним ночью в еще недостроенном доме, пожертвовав возможностью почитать, поработать, слетать в гости. Какого черта! Ничто ни-

чего не значит! Приговорен и отвергнут. Теперь он «отомстил». Там все разрушил и здесь — «ушел». Ему не нужно любви, не нужно никого — он боялся одиночества. Этого монстра его жизни.

Адамо Георгия Мasiшвили сменил Гудмен Бориса Алексеева. Захар активно сажал аккумулятор «Ослика» (родительских «жигулей», постепенно перекочевавших в его собственность).

«Каково ей сейчас там? А если режет вены?»

...Самое невыносимое на даче — ожидание. Ожидание того, кто вроде бы обещал приехать. Ожидание хоть кого-нибудь. С утра был ливень, поэтому Захар отогнал машину на плиты (иначе бы не выехать). Приехал и уехал отец, и теперь на весь день он был лишен человеческого голоса. «С кем она, как она, моя изменница-жена?»

Лишь ветер и звук его жующих челюстей. Естественно — соседские пилы и стук молотка. Каждые пять минут он смотрел в окно — не идет ли кто-нибудь. Никто не шел. Это он так приучал себя к одиночеству.

Ночью снились безумные сны: про летающие фиолетовые яйца с крылышками. Он пытался увидеть свою будущую жену. Почти увидел ее, но не любил. Просто торчал и восхищался. Грезил и безумствовал от усталости.

*Как жажду средь мрачных равнин
Измену забыть и любовь...*

Отчего-то он вдруг полюбил романсы, самый сентиментальный и нелепый жанр. Когда-то это представлялось утонченным и оригинальным, в контексте декадентской любви и откапываемых исторических корней. Теперь надрыв и непритязательность романса стали ему и вовсе по душе.

Измену забыть и любовь...

Он выработал в себе такие кислоты, что способны переварить и это. Но неизбежно разъеданию подвергался и податель боли. Теперь он — только собеседник.

Сосед за небольшим болотцем, отделяющим их вместо забора друг от друга, насвистывал что-то среднее между Есениным и Джо Дассеном. На поселок опустилась ночь, не пронизанная ни одним огоньком. Замолчал сосед, и стало так, словно Захар застыл на плоту посреди моря. Лишь звезды и слабый шум листвы. Он всегда любил ночь. Но здесь ночь была бесконечна и глуха, словно тюрьма.

...Захар победил всех своих врагов. И тут же силы оставили его. Непроходящая тоска и беспросветность.

Круг хорош тем, что возвращаясь назад — не повторяешь ни одного метра пути. (Опыт вечернего гулянья с собакой.)

В прошлый четверг она внезапно приехала на дачу и сказала: *давай жениться вновь*. В понедельник сказала, что, наверное, уходит с работы. И все же он вновь уехал на дачу, чтобы не видеть, как они по-разному думают и чувствуют. Иногда он не понимал — зачем он все это сделал?

Она больна, уныла... Наверное, ему надо было остаться. А он все равно уехал. Чтобы тосковать там и биться лбом о косяк. Ужасно, никакого счастья не запланировано даже в потенции. Даже просто минута невинного наслаждения.

На голую ногу сел комар, красивый, как «мессершмитт». Дачная лояльная действительность. Сделал по-древнеримски канализацию без электричества. Проводил Дашу с Артуром — и почувствовал облегчение.

...Они приехали днем, как и обещали, и все вместе пошли гулять. Артур мужественно залез в холодную мутную воду. Они не очень много выиграли от того, что не залезли: на обратном пути в поле их нагнала туча от горизонта до горизонта, черная, как неразбавленная тушь. От такой тучи стоило ждать чего-нибудь сверхъестественного.

— Кайтесь скорее! — сказала Оксана.

— Мне не в чем каяться, — заявил Артур.

И тут же удар грома немыслимой силы расколол небо, сделав всех на несколько секунд глухими. Из разверзшейся хляби хлынул не дождь, но град. Он шел сплошной белой стеной, как снегопад в глухой зимний день. Они добежали до леса и спрятались под огромное дерево — Захар с двумя женщинами, и Артур под какой-то елкой, откуда смотрел на них. Захар обнял их, тесно прижав к себе, мокрых, жалких и любимых. Как бы он хотел, чтобы этот град длился и длился...

Возвращаясь, они повсюду видели следы бури: еще не растаявшие градины на бетоне величиной с голубиное яйцо, побитые теплицы, плачущую бабушку, на которые рухнула поленница, под которую она спряталась, вопящего ребенка, наказанного за нежелание сидеть в перти в машине.

Они раскидали мокрую одежду по стульям, раскоцегарили печь. Гости оделись в одежду хозяев, и тем сделались еще ближе. Потом смастерили обед и стали пить водку: после мокроты и холода было в самый раз.

Артур изменился к лучшему: напомнил Захару себя лет восемь-девять назад. Разоткровенничался: он не эрудит, Даша знает гораздо больше его. Но он не комплексует: что он знает — то знает и уверен в себе, как в художнике.

Захар поддакивал: знание — фигня...

— Знаток — человек, который знает решительно все в своей области и ровно ничего во всех остальных, — процитировал он Бирса.

Вечер получился занятный, но Захар с Артуром страшно надрызгались, будто состязаясь, кто раньше падет. Артур, похоже, действительно хотел его упоить: он то и дело наливал:

— Ну, что сидим? Давай...

Любовь Артура к сему напитку была внезапна и необъяснима.

Как в драке Захар устоял на ногах, но наверх взойти уже не смог: так и остался в нижней комнате.

А чуть рассвело, в нее заглянула Даша. Сказала, что думала, что здесь никого нет. Он предложил остаться. Она отказалась. Вышел к ней на веранду, закутанный в плед. Она отрешенно смотрела в окно. Все сложилось, как специально: спящий дом, они вдвоем... Он сел на лавку и стал молчать.

— Я хочу пойти погулять, — сказала она.

— Не надо, смотри, какой холод и туман.

Потом снова долго молчали. Слишком долго, чтобы это можно было легко списать на рассвет.

— Пойду, — наконец сказала она, и ушла наверх.

Захар подумал, что все это было весьма нелепо: они стояли очень близко и бесконтрольно колебались в обоюдном молчании.

Утром с похмелья ее игра казалась ему невыносимой: в комедийном виде она представила обществу их утреннюю встречу. Он скрылся ото всех наверх. Даша пришла сама, и он натужно острил. Он никогда ничего ей не скажет. Но в это утро она была бесконечно чужда ему. Детски веселая, она казалась пустой и ненатуральной. Оксана выгодно отличалась от нее сосредоточенностью и чуткостью.

В Москве он набросился на Оксану. Господи, как он ошибался, как он мог не понимать, кто ему действительно нужен!

...Он был жаден. Он все время многого хотел: разных людей, разного опыта. И все же ему плохо удавалось наслаждаться простой жизнью. Он гулял по жаре по окаменевшему поселку, окруженный жужжащими комарами... Думать! — Что-то все время сбивало мысли на себя (и от нее). Особенно после водки. Хотелось разбить голову.

Ночью Захар поехал к Лёше, но не застал. Посмотрел в пустом доме «Семнадцать мгновений весны». Дал орущей кошке яйцо. (У него был ключ — с *тех самых* пор: как возможность возвращения, как символ того, что история не завершена. Как талисман. Как волшебный ключик от двери, через которую он сбежит из комнаты с веревкой.)

На следующий день он поехал в Москву: работать устал, а отдыхать было скучно. Притаившееся в кустах солнце ударило по глазам... «Что толкает этих леммингов к смерти?...» — пел магнитофон по-английски.

Он выбрал самое удобное время: начало сумерек. Мало машин, и никто не слепит в глаза... «Зачем я суечусь? — думал он. — Бог всегда наказывает меня за это...»

Самый популярный нынче вид смерти — в автокатастрофе.

Он сильно затвердел. Снаружи он как бетон. Кажется, не было вещи, которую он не мог бы выполнить или вынести. И все же был один пункт. И заглянув под этот бетон — он вздрагивал от созерцания непривураченного хаоса.

Оксана была мудра по-своему, но Захара все время удивляло в ней это неизбывное желание, чтобы все было не так, как есть. И если сама она не могла, в связи со сложившимися *обстоятельствами*, создать для себя желательную обстановку, то это за нее должны были сделать другие. Главным образом Захар. Отсюда неумеренные реакции на свою маму, на захарову, постоянные выпрашивания о планах, о будущей жизни, о будущих доходах (тема усугублялась ее намерением уйти с радио). Захар попытался объяснить, что то, что они называют «обстоятельствами» — глупый эвфемизм и ошибка мышления:

— Нет никаких *обстоятельств* — это сама жизнь. У нас она может быть, скорее всего, только такой. У других, вероятно, другой. Если ты можешь здесь что-то изменить — меняй. Но не прибегая к крайним и не очень тактичным средствам — истерике, угрозам самоубийства...

Он не отказывался ни от какого варианта. Ему не для чего было жалеть себя. У него было постоянное ощущение, что жизнь кончилась. Поэтому он мог относительно легко делать то, что *надо делать*, без оглядки — удобно ли ему это или нет. Более того, ему казалось, что (в этой жизни) он *не ошибается*. Потому что не выбирает целей — но лишь тактику. А тактика одна — уговаривать, что все хорошо, и стоять насмерть. И сразу ошибался, как только начинал делать то, что *ему удобно*.

Оксана наорала на директора магазина «Стройматериалы», обвинившего Захара в порче плит ДВП, которые он выбирал на складе, возмутилась, что Захар пошел помогать не очень щепетильным соседям чинить дорогу, и что его мама переложила вещи из сумки в шкаф. Не все можно было объяснить расстроенными в последние месяцы нервами. Их прежние ссоры тоже были из-за этого. Что жизнь не такая, как хочется, и никто не берет на себя подвиг сделать ее другой. Реально сделанное не замечалось. Это все равно было в контексте старой жизни, не менявшее ее кардинально.

Ему теперь было легко рассуждать (прежде он бы не стал так делать, переведя ситуацию немедленно в скандал). Теперь он мерил все в иных понятиях. Есть жизнь, она идет — и это хорошо. Все может быть гораздо хуже, он уже видел это. О, это такая хрупкая и непостоянная штука, — как можно упрекать жизнь за дурное однообразие?! Тонкая корка постоянства над бездной хаоса. Над смертью, лицом к лицу с которой очутиться так просто.

В эти же дни на даче он вычитал у Элисео Диего: «Там, где ступаешь ты сейчас, там — всё». Так он теперь и мыслил: никакого *завтра*.

Утром после сентиментальных ласк: «Я люблю Кису», услышал в ответ:

— Посмотрим...

Потом:

— О чем ты думаешь?

Захар не стал говорить. После признался, что удивила странность ответа.

— А чего же ты хочешь? Ты говоришь мне такие вещи (позавчера), называешь меня эгоисткой... Ты мне обещал некоторое время назад совсем другое. Я вижу — ничего не изменилось. Я привыкла верить словам людей...

Конечно, она имела в виду работу и так далее.

— Мне кажется, тебе не стоило бы выступать с требованиями, *таким* вот макаром распорядившись моей жизнью, убив все, что мне было дорого...

Она вернула ему:

— Ты сам все убил в моей жизни. Я даже потеряла веру в Бога!

И теперь он не мог дать ей последнего, чего бы она желала — своего дома. Опять рыдания. (*Этот* дом не ее, потому что его родители переставили тапки.) Она не желала ни с чем примиряться, и жизни без счастья не представляла. Полного и безоговорочного.

Захар напомнил, что она сама приехала на дачу и предложила «жениться вновь», что она знала, на чьи деньги он живет.

— Да, я утратил шепетильность в некоторых вещах: я принял машину, чтобы в любую минуту уехать к Лёше, в единственное место, где я могу не сдохнуть. Я наплевал на всякий быт и размышления о будущем. Я впал в летаргию — чтобы как-то перенести случившееся...

Посидев, покурив, она извинилась.

На следующий день, пока он лежал пластом, внезапно сломанный болезнью, она уединилась наверху — вся в рыданиях. Депрессия, отсутствие стимула жить. Может быть, оттого, что ощутила, что вновь вернулась к разбитому корыту, от которого так мужественно и безрассудно сбежала...

Такие неопределенно-приятные движения: зажег керосиновую лампу и отнес ее в кухню... («Сладко пахнет белый керосин...»)

А в Москве зашла Даша. Сделала прекрасную импровизацию на тему Тристана и Изольды. Вот что значит некоторым людям просто прочесть книгу: плод размышления может быть изящней самой причины! Все же она удивительно умная девушка. Изольда, узнавшая себя.

Не было никаких больше сил! После относительно спокойной недели, с приездом Мити, оксаниного родственника, осевшего в Америке, с разными встречами, гинекологическими сложностями (и это после

того, как он решил не иметь с ней близости...) — вновь, вновь и вновь... Он не смел говорить Кириллу «нет», он не смел менять ее решения (лишь высказывать свое мнение), он всю жизнь не давал ей быть с ним нежной, он всю жизнь говорил «нет». Он бил в ее больное место и делал то, что она никому не позволяла делать...

...Захар ездил в «Правду» и «Заветы» за газом, отвозил Митю в Пушкино на электричку. В машине Митя спросил его насчет социальных изменений в стране, как *они* видят будущее? — словно за два года не то поглупел, не то и вправду сделался американцем. Ему здесь было неуютно, он уже отвык. Многие вещи казались мрачными и странными: на улице жара, а в магазинах нет кондиционеров!

А вообще человек он был талантливый: сдал тойфуловский экзамен, послал в Штаты заявки — и ему пришли предложения об аспирантуре аж из трех университетов, так что он еще выбирал...

Вернувшись, стал делать шкаф. Оксана пришла из леса, а обед не готов.

— В конце концов, мы не договаривались об обеде, я мог бы выступить с встречным вопросом: почему ты так долго гуляешь по лесу?

И сказал «нет» Кириллу, который, провалявшись весь день на диване, пришел просить бутерброд — именно в тот момент, когда они выясняли отношения. Захар считал, что все надо заслужить, даже бутерброд. И если два человека, которые за день реально что-то сделали — не едят, значит и ему стоило бы потерпеть.

Он чудовищно разозлился и отвез их на станцию.

И сразу почувствовал себя плохо. Не то он ребенок, непереносивший одиночества, не то слишком переполнен психикой, требующей реализации, не то наркоман, привыкший слышать рядом живой голос.

Самые страшные для него сны и сюжеты: когда герои не понимают друг друга, не могут объясниться, когда их речи текут параллельно, никого не задевая, когда каждый герой словно единственный живой в театре марионеток, не в силах проникнуть в общий порядок вещей, что-нибудь понять и объясниться с другими. Коммуникативная беспомощность, как в кошмаре, когда ты бежишь куда-то — и не можешь сделать ни шагу.

День он выдержал, на следующий вернулся в Москву. В знак примирения они поехали в гости к Тамаре. Тамара рассказала о Даше некресивую историю: Даша пригласила в свою рязанскую деревню на день рождения друзей из Москвы и уехала в Рязань, вроде как наслаждаться архитектурой. Очаровательная и недобрая девушка, несентиментальная и несчастная. Кающаяся и неисправимая эгоистка. А ведь всего два дня назад она произносила у них на кухне свой сверхлирический спич, полный души и психологической тонкости.

Тамара, впрочем, тоже сказала странную вещь: как невыносимо много места умел занять в доме Валера (бывший муж) — сколько не займут и шестеро гостей. Захар возразил:

— Это не Валера занимал столько места — это потерянная любовь. Оскорбленный и разлюбленный человек, вытесняемый из сердца.

«Господи, как мы все несчастливы! — думал он. — А «американец» Митя ищет социальных изменений...» И все равно ничего нельзя было сделать. Никто не хотел смириться и перестать принимать за причину несчастья повседневные мелочи, случайные слова, мимолетные настроения. Одно все время выдавалось за другое: отсутствие работы, некорректное замечание и т.д. — подменяли ужас всей истории. Ужас странно забывался, способность обижаться была столь свежа, будто никогда не зашкаливало, обнажая настоящий кошмар. Оксана легко уставала и тонула в бездне дурного настроения, которое требовало разрядки. В этом состоянии она не контролировала себя и была способна наговорить чудовищные вещи. В такие минуты он ее почти ненавидел. И ему было отвратительно спорить и доказывать свою правоту. Он мог лишь гадливо отвернуться. Не понимая, как скверно ему будет через пять минут после ее ухода. Но за все надо платить. Иначе — все бесполезно.

Сидящие на дороге мухи поднимались из-под ног, словно капли из пушенного задом наперед фильма. Сперва был лес, потом эта дорога... Они опять порознь.

Оксана, наверное, самая гениальная женщина, встреченная им в жизни. Но какой характер! Нервы, слезы, всегдашняя взбудораженность и неуравновешенность чувств, отсутствие всякого представления об объективности. А на следующий день мигрень — и снова весь день борьба, теперь с болью, сметаемые пачками таблетки.

Он привыкал к одиночеству. Может быть, это все-таки было лучше для него. Он мог простить, но не мог забыть. Не мог забыть ее ответа. Даже через полгода его трясло. Тронув эту рану — он думал утишить разлуку. А вызвал такой всплеск отчаяния, что...

Все лето на них дул северный ветер. Даже их жара — это был все тот же северный ветер. Шумел в крыше и гнул к земле тоненький клен перед домом. Захар не жалел о проходящем лете. Лете этого страшного года. Его надо было дожить. Так же как и эту жизнь.

Он лежал на крутом берегу в специально выбранном месте, совершенно один. На другом берегу шумели дети и их жуткие родители. Он пытался приспособить выступы черепа к уступам ручных костей. И думал.

Наверное, он никогда по-настоящему не любил Оксану. Он ведь так долго сопротивлялся физической близости с ней, он не терял головы настолько, чтобы преодолеть свои комплексы или свои принципы, спокойно и счастливо расстаться с целомудрием. Он не стремился быть —

любой ценой — с ней, в ней, иметь от нее детей. Он был для себя всего важнее. И — главное — она сама была для себя всего важнее. Это была чуть ли не главная причина всех их ссор за двенадцать лет: она бесилась, если только видела какой-то ущерб ее гордости. Говорил ли он что-то ей, Кириллу, то есть тоже ей, ее порождению, вопреки ей, мимо нее, посягая на ее право безраздельного владения им.

Ничего не изменилось и теперь, хотя ошибочность его поведения сделалась очевидна. Ему следовало либо уйти, либо смириться. Он не сделал ни того, ни другого. Он стал спокойнее, он почти не выходил из себя. Но всего этого было мало. Он должен был раствориться, исчезнуть, превратиться в функцию. Должен был заслужить каждодневным подвигом принесенные ею жертвы.

А он сам считал себя оскорбленным. А он и от нее требовал смирения. А он хотел, чтобы она, наконец, стала любить его, такого, каков он есть. С недостатками и с тем, что он действительно делал. Себе Захар все время должен был предпочитать ее — вот ее вариант жизни, которого она добивалась *слишком* настойчиво, чтобы он так и поступал.

...Ему не сиделось дома, все валилось из рук. Он плюнул и поехал к своему ближайшему другу и соседу.

Он нашел Лёшу на заднем крыльце с неизменной сигаретой в руке, медитативно смотрящим в лес. Лето скоро кончится, а он ни разу еще не купался...

— Я был в Москве, — сказал Лёша, лежа на прибрежном песке Учинского водохранилища, — заходил к Оксане... Почему вы все время ссоритесь? Она такая замечательная женщина.

— Это точно, замечательная, — согласился Захар и поменял тему. Или надо было говорить все или ничего. «*Все время ссоритесь...*» — вот этого он не мог позволить даже Лёше: обсуждать их жизнь.

Женщины с развевающимися юбками и волосами: вдоль дорог, на мотоцикле, на пляже... Волновали в эти жаркие дни. Волновала реальность их бытия, их напряженная форма, их яркость, свежесть, легкость... Не видя — он не думал о них. Думая — ловил себя на том, что попал в обычную мужскую ловушку — отделяя «женщину» от «человека». А человек — это одновременно и «лучше» и «хуже». Это обыденность и духовная сложность. А скорее всего простота. Это и ужасно. Еще хуже, чем физическое пресыщение, наступающее за известным процессом.

В больнице Оксане сделали укол и сказали:

— Посидите пять минут. — И ушли смотреть сосиски. Одна врач другой:

— Если хорошие — тоже куплю. Мама с дачи приезжает.

Присоединилась нянечка:

— А я вчера язык купила.
— Сварила?
— Да нет, готовый, в банке.
— Ну да, буду я покупать такую дороговизну! — ужаснулась расточительности врачиха.

Одну из подруг позвали к телефону. Две другие ушли следом за компанией. Слухи о безболезненности в платной поликлинике оказались преувеличены: Оксана ничего не чувствовала — кроме боли обезбавляющего укола.

Странно, два или три месяца назад она называла Захара убийцей, уверяла, что сама бы никогда не сделала этого и не делает впредь. И так легко пошла на это теперь. «Испуганный в тиши своих путей, Я вспоминаю, что, ненужный атом, Я не имел от женщины детей...» — и, наверное, никогда не будет иметь.

Зачем они это сделали? Не было сил, оба были измотаны. К тому же — прогнозы врачей: *он* все равно не смог бы родиться — какие-то дефекты внутреннего устройства Оксаны. *Он* по существу уже был *мертв*.

Захар перечитал несколько своих старых вещей. Неожиданно понравилось — больше, чем когда их писал. И при этом он знал, что больше к этому не вернется.

Даша спросила: почему он перестал писать? Захар не смог не пожаловаться: итак обвинен в невыполнении обещаний. На самом деле — это было далеко не все.

Литература не помогла ему, когда было совсем плохо. Никто не вспомнил о нем, никто не поинтересовался, что случилось? Нет, лучше забивать гвозди, пилить и видеть, что что-то реально происходит, в пустом воздухе возникает дом. Выжечь из себя всю чушь: баб всех этих, писак, кривляющихся словами...

По редкости случая вез не он, а его. И, пронзая ночи тень, Захар следил печальные окрестности. Сгустившийся туман создавал иллюзию моря за ближайшим перелеском. Как было бы славно очутиться теперь на море. Шум волн, луна, трепет напоенного ладаном воздуха, экзотические клешни пальм... Он представил себя сидящим на теплой гальке у моря и мечтающего о... подмосковной дачке, жарком из грибов. Не дай Бог, очутившись в чужих изумительных краях, вспомнить об этом — и не мочь вернуться. Вспомнить об этом — или услышать песню «Воскресенья» конца 70-х. Боже, как повезло ему испытать несчастье той жизни! Волей обстоятельств, волей отсутствующей демократии они были вместе, красивые, смелые, бескорыстные, веселые... Как чудно они страдали! Не сравнить с битвой в говне за литературные помои.

Да, однако, хуже, чем сифилис... К тому же, здоровье так хреново, и не мешало б подлечить легкие. У теплых морей.

XV. Последнее танго в Париже

Они лежали в темной комнате, скрестив голые ноги, чистые, вымытые, благоухающие. На чистых простынях. И не двигались. Ничего не хотели. Они так устали. От этой жизни, от этого опыта, этих мыслей. От себя. «...Но у нас ничего не осталось чтобы умереть; иди ко мне моя радость давай поспим...»

Она была ласкова, она лгнула к нему. Ему казалось, она никогда его так не любила. Если это любовь. Он ничему не верил. Движения были нервны, мысли и настроения скакали, как блохи. Болели глаза. Вздвигенность, переходящая в отчаяние. Сверх меры и необъяснимо. Не дай мне Бог сойти с ума, в который раз думал Захар. Подозрительный интерес к огнестрельному оружию — еще со времен Жени.

...Скука, высокомерие, суперменство, самодовольный нарциссизм, наивная уверенность в себе, тщеславная убежденность в таланте... Надо что-то очень потерять, потерять навсегда, необратимо, чтобы научиться доверять, любить и смиряться перед существованием. Радоваться живому человеку, находящемуся рядом с тобой. Отвечать за него, а не за внесение твоего имени в скрижали истории.

Однако, если в мире много всего, то чего огорчаться потере одного человека? А если мир беден, то как ему радоваться? В нем много твоего чужого. И очень мало твоего твоего. Того, с кем можно жить год за годом и не исчерпать взаимного интереса. Кому можно верить.

...Даже теперь. Хотя никогда уже не назовет ее своей и не разобьет эту стену.

А она рассказывала свежайший анекдот из своей жизни. На радио пришел человек:

— Я поэт, моя фамилия Краско. Я написал уже пять книг.

— Как Моисей?

Старый быт просачивается в легкие запахом несуществующих кошек. Этот запах лежит на всем, словно лунная пыль. Вместе со старыми вещами он переезжает в новостройки, и Захар лежал теперь среди него в квартире оксаниной тетушки в Кунцево, к которой они приехали на день рождения, и не мог заснуть.

Не то, чтобы он напился. Хуже всего, что он почти и не пил: он ушел в соседнюю комнату и читал. За дверью пели песни под гитару, вспоминавшая не так давно ушедшую молодость. Странно, думал он оттуда, кажется, это все интеллигентные люди, но почему они поют такую дрянь — и радуются чему-то! И говорят о рыбалке и каких-то путешествиях. И только об им одним известных знакомых. Они уже давно забыли и тетушку, и Митю, ради которых собрались, и пользовались случаем показать, какие они рубахи-парни и свои в доску. Был среди них человек,

некоторое время назад это радио им подсуропивший, благодетель! Прирожденного меланхолика — Захар первый раз видел его веселящимся в этой жуткой компании.

Лишь после их ухода Захар вернулся к столу — не хотелось упустить случая выпить, а там и метро закрылось.

А днем звонок в дверь. Захар открыл. Там стояла та, о которой он так много думал. Как он к ней относится? Он сам не знал. Много думать еще не значит любить. Какой-то избыток чувственности толкал его интересоваться другими женщинами.

Он мог сказать начистоту. Он не верил в их близость, очень часто он совсем не понимал ее. Общего и разного между ними было примерно поровну. И все же он думал о ней, словно пытался постичь математическую задачу. Любить ее было невозможно и нечестно. Нелепо, особенно в его положении. Он совсем не стремился к симметрии, хотя Оксану устроило бы его небольшое приключение: их «вины» уравнились бы. Но он не порадует ее этим. Это может иметь необратимые последствия. Это может быть последним безумием, которое, наконец, сметет плотину здравого смысла. И дальше — Захар пациент Кашенко, либо рядовой гнус, героически ищущий несуществующие компромиссы.

А так — хорошо. Только немного скучно.

Обогатил ли его *этот* опыт? Он был не готов говорить об этом в абстрактных категориях и заниматься сим эксгибиционизмом. Старый спор Шаламова с Солженицыным: дает ли зона что-нибудь человеку или не дает ничего, кроме вечного ужаса? Достоевский считал, что страдания углубляют. Захар действительно узнал для себя много нового. Но какие-то стороны его души закрылись. Он стал взрослее, но и равнодушнее к жизни. К тому же самому искусству. Он очерствел — во всем, в чем не стал сентиментальнее. И он выбрал землю, а не эмпиреи. Лучше он останется с живыми людьми, чем с эйдосами.

И еще об опыте. Личный опыт заставил Оксану сделать великое открытие в достоевсковедении. Князь Мышкин — *отрицательный* герой. Он поступил, как негодяй, разбив жизнь двум женщинам. Он обманул их обеих, он кисель, а не мужчина, он не выполнил своего единственного долга — принять решение, сделать выбор, хотя бы *выбор Софи*... Лучше бы ему было покончить с собой!

Услышав это, Захар перестал спорить и замолчал. Он понял, о чем на самом деле шла речь. Выбор не сделал совсем другой человек. И удостоился в конце концов ненависти — когда выбор сделала женщина.

Его лишь заинтересовала хронология. До каких пор Оксана ожидала выбора? Очевидно, гораздо позже декларированного ее решения («отказа от счастья»). Гораздо позже официального выхода из игры *друга*, заверенного рукопожатием. Захар спросил ее, что было бы, если бы *его* выбор был «положительным»? Она сказала, что не знает. Знала, конеч-

но, шадил. Мешал ли он этому выбору? Или способствовал отказу от него? Потворствовал слабости? Да, ведь ответственность возросла. Хотя, скорее всего, с выбором были бы задержки и без Захара. Оксана с этим согласилась.

На самом деле, Захар был не готов судить *его* так строго. Он не знал, что сделал бы на его месте. Сказать женщине, которую ты соблазнил, отбил от мужа, испортил жизнь — извини, ничего не получилось, давай расстанемся друзьями... Он, возможно, считал это большей жестокостью, чем откровенность. Не так смотрит женщина. Для нее нет ничего ужаснее неопределенности. Она не может ждать долго. Ее или любят или нет, или берут или нет. И она либо любит, либо ненавидит. Слепота и абстрактный гуманизм мужчин.

А еще — Захар перестал думать о других женщинах. Жизнь — очень строгая вещь. И женщина — очень дорогая вещь. Все шаги нашей жизни предельно ответственны. *Не обещайте деве юной...* Донесите хотя бы то, что можете донести.

В интересе к той или иной женщине — тяга к экспансии, как у Британской империи. Кроме того — способ держать себя в форме, как спортсмен, подвергаясь оценке арбитра свободного и прекрасного, мастерицы создания облика, способного заколдовать и ранить насмерть.

Захар искал себе оправданий.

Он поехал к Даше — пополнить исчерпавшиеся видеозапасы. У метро он купил розу. Они пили кофе и рассуждали о высоких материях. Это было интересно, она его вдохновляла. На ней он опробовал свою новую точку зрения на мир. Она была способна понять Захара, она была готова следовать этому вычурному мыслепотоку. Более того, это была ее любимая стихия. В эти вечера она была доступна и сердечна. Вероятно, ей тоже нравилась его новая позиция. В ее жизни попадались лишь яркие эгоисты или тусклые альтруисты. Ни те ни другие ее не устраивали. А Захар еще не до конца растерял свой ум, но не говорил о своих планах, не вставал в гордую позу осуществляющегося гения. Он говорил о детях, любви и измене, о взаимоотношениях двух людей, что близко всякой женщине.

Между ними почти не осталось дистанции, и лишь боязнь банальности останавливала его. Когда-то славный боец, казалась ему не по зубам. Теперь была просто женщина. Они словно проскочили момент, когда могла быть *любовь*, породив доверчивость и откровенность, будто у них и правда что-то было.

Но через несколько дней, когда он возвращал кассеты, он застал в квартире Рустама и Лизку. Захар затеял с Рустамом какой-то искусствоведческий спор. Вдруг Даша, похвалив его эрудицию в кино (недавно приобретенную), вильнула спинкой:

— Ну, вы тут общайтесь, а я пойду отдохну.

Он из вежливости еще какое-то время беседовал с Рустамом, все ожидая, что она вернется. Он не мог понять ее: она же знала, что Захар приехал к ней? Зачем эта демонстрация: необъяснимый женский каприз, или желание видеть его было и вправду не слишком сильным? Ну, что ж, он ведь знал, что она *такая!* В совершенно ясном для него теперь мире она была — последний непросветленный пункт, в котором его поведение было непоследовательно и не до конца мужественно. Не то что он не понимал ее, он не понимал себя.

Дома Захар вспомнил другую Оксану. Оксану их первых лет (или месяцев), которую так безумно любил. По которой так тосковал. С длинными волосами, с вечным запахом детского белья, тоненькую, в рыжем свитерке. Бесконечно нежную... Их принимали тогда за брата и сестру. Наверное, это хороший признак в самом начале пути.

Что с ней случилось, когда она изменилась? Давным давно она была другая. Теперешняя (которую он тоже любил, может быть, не *как*, а *по* — по причине безумия). Он спускался на много лет вглубь. И находил год, последний год перед тем, как она повзрослела (а он нет).

Что у него осталось от той Оксаны? — Портрет, несколько рисунков и незаконченные романы... Господу было угодно наградить его за что-то. Пусть теперь все так скверно получилось.

Их прошлое было мифом, отброшенным последними событиями в бесконечную даль. Концы истории уже никогда не соединятся. Но Захар удивлялся, как сильна память.

У них всегда были страшные дни. Он лишь теперь стал понимать, что нужно женщине. Он лишь теперь перестал видеть в ней извечно-го врага, ловушку, орудие природы, предназначенное поймать его для выполнения родовой программы. Он стал любить и жалеть женщину. Он был неблагороден в своем упорном эскапизме. В своей подозрительности. Как очень слабый человек, он судорожно защищал свою свободу, не имея, как он считал, резервов — для расточения их на чужую судьбу. Он желал осуществить *свою* судьбу — без давления, вдали от плаксивых детей и навсегдашнего родительского долга. Он ненавидел возможных своих детей, считая их лазутчиками и диверсантами природы, останавливающими его бег к высям подлинного существования. Он не подозревал, что подлинное существование не бывает от книг и не живет среди галерей. Подлинное существование — это опасности, жертвы, бессонные ночи, создание вокруг себя мира и питание его. Того, что без тебя никогда бы не появилось. Того, чему ты помог быть.

А литература — как фиксация опыта, вынесенного из критических ситуаций. Где сами буквы — как морщины на лице. Писать надо ближе к старости. Может быть, уже мало огня, но нет пошлости и суеты вы-

думывания. Ты все можешь подтвердить собой. А лучше всего — прожить жизнь, будто написать ее. Такой человек не знает сожалений.

...Сегодня был ее *последний* день на радио.

Два умерших бомжа за два дня. Прямо под окнами. Одного не убили полдня, другого — сутки. Непонятная одинокая жизнь, бездомность, пьянство и, наконец, — смерть у помойки, долго служившей источником существования. Что может быть ужаснее такой судьбы!

Захар почему-то увидел в этом что-то символическое.

Утром он почувствовал, что очень устал. Слова умерли. Словно плохие друзья, они перестали посещать его. Стихов тоже не было. Он не мог заставить слова танцевать этот кордебалет. Захар поражался своему скорбному бесчувствию — вплоть до желания пролонгировать боль. Что-нибудь такое вспомнить из запретного арсенала памяти. К чему? Он оказался очень слаб. Может быть, с точки зрения своих интересов, он сделал все правильно. Он отвоевал руины. И он бездумно, почти в безумии сидел на них, убивая дни. Ему абсолютно ничего не хотелось делать. Все уже однажды было, и он оценил это как ложный путь. Ему действительно хотелось найти работу. Чтобы занять себя, резко изменить привычки жизни. Создать новое бытие, осознание которого снова будет возможно через искусство. Изголодаться, успокоиться, покрыться пленкой повседневности. Каким-то образом вновь научиться жить и видеть в этом смысл.

Он больше не мог быть легкомысленным и необязательным — и в этом была своя скорбь. Он не мог увлекаться, не мог ранить Оксану, не мог быть слабым. Именно теперь она держалась за него. Женщинам нужны лишь те, кто мог бы их спасти (от самих себя). Крепко взять и вывести из опасного места. Может быть, в этом весь смысл жизни. В этом что-то есть. Пока он не видел ничего другого.

А в это время соседи сверху, сменившие старушку, этакую палеевскую Аннушку, со стуком шагали по потолку, высоко поднимая ноги.

Вернувшись домой он лег на диван, но не с удовлетворением, как Обломов, а с чувством разочаровавшегося в себе Штольца.

Сделав все, что надо, добившись своего, он растратил все силы. И просто не имел мыслей — как жить дальше? Он боялся жить *прежней* жизнью, опасаясь рецидива, да и не желая вовсе — писать, того, чем он непрерывно, хоть и без внешнего успеха, занимался уже пятнадцать лет подряд. Он должен был зарабатывать деньги и, в общем, был готов к этому, но ничего не предпринимал. Ему уже было не больно. Даже боль не наполняла его. Там ничего не было. Скука, «философское» ожидание далекой смерти. Захар боялся, что бесстрашие сменится легкомыслием, мудрость и боль — незамысловатым весельем и легкой развлекаловкой.

Какой же результат? Что достигнуто? — Он был у края своей силы и созерцал его. Он знал все, что касалось того, что ему делать и как себя вести. У него почти не было сомнений. В том — как действовать. Лишь — зачем? Теперь он знал — *зачем*. Он и здесь, наверное, не ошибся. Если бы занять этой силы на карьере. Но это невозможно, так как сила дается тому, кто действует *бескорыстно*. То есть до предела эгоистично: жизнь — смерть.

Теперь главное было — не раскиснуть, не сделать ошибок прежней жизни. Когда вяло, без жертв, без оголтелого броска вперед, может быть, никуда...

Нельзя было рассчитывать лишь на ее «сознание вины», нельзя было злоупотреблять ее смирением и поддаваться на уговоры «писать». Какое-то время он был таким, о каком она мечтала. Таким он и должен остаться. Благо, ничего ценнее ее у него теперь не было.

Утром Оксана сказала:

— Мне приснился ужасный сон. Будто я под черную юбку надела мои черные джинсы, под джинсы колготки, а потом еще надела черные туфли на высоком каблуке. Представляешь, какой кошмар!

Так много черного: даже уходить из дома страшно.

Лицо Даши — напряженное и застывшее (из-за детей, которых они взяли с собой на корт: Лизку и ее подругу): почти некрасиво. Она встречалась с Захаром тайно от Артура. Это ему мало льстило. «Измена» родила мышь: они просто играли в теннис.

Из-за ее настроения Захар тоже скис. Солнце било в глаза, игра не клеилась. Сменили корт. На новом месте было сумрачно и гораздо больше осени и опавших листьев, среди которых скакал мячик. Захар ослабился, и игра стала лучше, хотя корт был непривычный, грунтовый.

Потом они гуляли по дорожкам заросшего, как парк, спорткомплекса.

— Я чувствую, что теряю форму, — вдруг сказала Даша со своей привычной грустной усмешкой.

«Теряла» она ее скупой. Но, может быть, отчасти была права, если «форма» — очаровывать на мах. Если форма — невозмутимо следовать прихотливому рисунку жизни.

— Да нет, кое-что осталось, — попытался утешить Захар. Он оценил несвойственную ей жалобу.

Да, она была слаба, как все женщины. Как все люди. Она дошла до того, что стала с ним обсуждать вечные, как смена времен года, проблемы с Артуром, этим жутким Артуром, который не хочет жениться, но и не отпускает ее.

Захар верил, что она страдает, но не совсем верил в то, из-за чего она страдает: не было пары, которой такое существование подходило бы больше: два свободных человека, живущие лишь ради себя и своего

дела. Очень красивая, очень современная, очень европейская пара. Никаких столкновений из-за детей, денег, потерянного телефонного счета, незакрытого тюбика с пастой. У каждого свой дом, своя жизнь, свои скверные привычки, не понуждаемые ни ради кого к мутации. Встреча с любимым, как праздник, возможность видется, лишь когда хочется любви, как пить, лишь когда наступает жажда. Носить зонтик лишь в дождь, а не круглые сутки, не все дни подряд. Что может быть лучше?

Потом они говорили о Лизке, о других людях, о любви вообще в том ключе, в котором каждый из них был способен ее понимать. Они никогда не говорили о *себе*. У них хватало совести и разумности ничего не вспоминать и ничего не выяснять.

Захар не спешил и подошел очень близко — откуда хорошо видны достоинства и недостатки. Ни одна женщина не выдержит пристального разглядывания. Он заглянул за пелену очаровательного тумана: духов, смеха, голоса... Наша беда — это недостаточность. Мы все одинаковы: хотим, но не можем дотянуть до идеала. Ее было жалко. Ему всех было жалко. Даже Артура. «Мне и так хорошо. Я патологически спокоен,» — убеждал он себя.

И еще он понял, глядя с Оксаной в тот же вечер фильм «Хиросима, любовь моя» Рэне, который взял в видеосалоне: женщина лишь на словах хочет, чтобы ее *спрашивали*. На самом деле *мужчина* должен брать женщину: без разговоров и разведок. Идти на риск и побеждать. Иначе она сама, может быть, никогда не решится (на любовь). Современные мужчины «ситуации постмодерна» не говорят о своей любви прямо, норовя заручиться гарантиями и дать меньше, чем взять. Они настолько не уверены в своих чувствах, что нерешительны, как овцы — и лишь томят женщину излишней осадой и вниманием, не приступая никак к последнему штурму. Так что женщина, наконец, говорит: «Хватит, убирайся, пока я тебя не убила в ожидании твоих поцелуев!» Или более манерно: «Я вас *слишком* долго любила, я к вам никогда не приду».

Женщина хочет *силы*, чтобы за нее отвечали, за нее решали жизнь. И, соответственно, *несли ответственность*. А мужчина думает, что подходит к свободному существу, как и он сам, которое дорожит *свободой*, от которого можно и уйти, если что-нибудь не срослось. Вот этого женщина никогда не простит. Она отдается вся, но и заберет всего. Вплоть до пробуждения желания иметь от нее детей, то есть сделать нечто навсегда и бесповоротно. Иначе она не согласна.

Все сказанное, естественно, не касается женщин «феминистической ситуации».

Кстати: о феминизме очень удачно сказал Рустам в гостях у Михи Долгопрудненского: «Феминизм — зеркало ничтожности мужчин».

Когда мужчины становятся женоподобны, то есть безвольны, боязливы, нежертвенны, а жизнь — все более безопасной, то есть распола-

гающей к одиночеству — естественно когда-нибудь услышать: «хам», пропуская женщину вперед.

...У Михи собрались на вернувшегося из Италии Витю. Италия вроде Грузии. Тепло и много вина. Бесконечные застолья и спагетти под открытым небом. Сиеста с утра и до ночи...

У Даши были расширенные зрачки. Она уговорила Захара поехать, хоть он не любил Миху (еще один вариант Артура). Даже заехала на машине вместе с Рустамом. Она опять просила его. Захар никогда ни о чем ее не просил. Даша была последним человеком, к которому он обратился бы за помощью.

Он не мог забыть, как вскоре после Батуми зашел к ней, может быть, наиболее важному для него тогда человеку, просто поговорить, выплеснуть отчаяние, услышать какое-нибудь формальное утешение, как он ходил тогда ко всем, кто был «посвящен» в ситуацию. И услышал:

— Если ты думаешь, что я буду тебя жалеть, то напрасно...

— Мне не надо жалости... — ответил Захар. — И все же: почему?

— Действительно, почему? — удивилась она и честно призналась: — Наверное, я не так выразилась.

Отчего она так сказала? Оттого ли, что была на стороне Оксаны (наобщавшись с ней в его *отсутствие* — на этом свете)? Считала ли искренне, что он сам виноват, подобно кому-то другому в ее жизни? Желала ли показать *силу*? Или хотела быть оригинальной: все жалеют — а я тебя дубьем по голове, как дзеновский учитель или ученик Ницше — подтолкну падающего? Захар не знал. Загадка.

Но это запомнилось.

Теперь она тесно прижилась к нему, словно хотела, чтобы он ее обнял. Но с другой стороны к нему прижалась Оксана. Он не мог у всех на глазах обнять обеих, как недавно под дождем в лесу. Они стояли под деревом, и он сам чувствовал себя деревом для этих двух женщин и любил их обеих.

Она выпила много джина и была не в себе — вплоть до короткого смахивания слез перед самым уходом. С ней что-то творилось. Не замечала всей заботы Рустама о ней. Беззвучно брала предложенный им чай. Как королева. Захару это не нравилось. Никто не вправе вести себя, как королева, если только он не в большом горе.

Даша умный человек. Она знала, что у королевы должен быть король, и она знала *каков* ее король. И каково ее королевство. «Все мы слабые, несчастные — чего нам изображать из себя!» — думал Захар. Кого может обмануть форма? В Даше ему всего интереснее был ее ум, ее неожиданные ответы. Чего стоила ее «царственность», не принесшая ей счастья? Да, она может заставить Артура или кого-то другого принять роковое для себя (и — рикошетом — для нее) решение. И какой в этом смысл? Слишком сильное оружие, которое, в конце кон-

цов, стреляет в нее саму, никому не принося радости. Она стала заложницей своей формы.

Она вела себя с Рустамом так же, как с нею вел себя Артур. Она отказывалась от того, что ей давали в избытке, требуя хоть немного того же самого от человека, который никогда ей этого не даст. Ее характер и ее ум оказывались слабее ее желания обольщаться, ее любви к изломанному, утонченному, эффектному. А «царственные» мужчины эгоистичны и слабы. Они не способны видеть и понимать другого человека, хоть чуть-чуть не похожего на них самих. Тем более женщину. Из-за великой любви к себе («Полюбите самих себя, и вы никогда не будете знать неразделенного чувства» — их девиз) — они никогда не жертвуют и не слишком ценят близких им людей. Захар не упрекал их, что они были не способны на компромисс. Он сам ненавидел компромиссы. Он имел в виду мудрость: способность видеть ситуацию со многих точек зрения, способность почувствовать по малейшим признакам состояние другого, желание вглядываться в него, как в картину Пикассо.

И Захар еще раз убедился, как рано уверил себя в невозмутимости. Эта женщина могла сделать с мужчиной все, что захочет. Он трепетал от мысли, что у нее есть это желание. Не факт, что ей удастся победить. Но сны были какие-то дурацкие.

Оксана заглянула в его дневник. Он был взбешен: все-таки дневник, даже такой абсурдный, как его, существует для записи слов, которые никто никогда не прочтет и не услышит. Но если в него заглядывают и делают выводы... Даже вспоминая его собственные изыскания в печке. Все же это было полгода назад и при несколько иных обстоятельствах, предполагавших несколько иную степень безумия. Он не мог понять, что послужило причиной таких странных действий?

Оксана как всегда блестяща:

— Мушка-дрозофила — лягушка генетиков, — как ни в чем ни было импровизировала она за обедом.

Но Захар не знал, что она думает о его отношении к Даше. Он сам не все здесь понимал. Например: чем оно так сильно отличалось от его отношения к Лёше, к любому близкому человеку вообще? И все же два дня спустя на даче с Витей и Надей они два часа спорили об этой женщине — не написавшей ни строчки, не настаивавшей ни на одном своем художественном даровании. Целиком выразившейся в красноречии, в жесте, в театре самой себя. Господи, как они ее ненавидели! Как можно ненавидеть лишь то, что когда-то очень любил.

С ними вообще нелегко было спорить (легко сбываясь на спор). Корневое православие, противоположное гуманизму (на словах, естественно), всегда было камнем преткновения для Захара. На словах столь же непримиримое и жестокое, как Торквемада. Которое может приве-

сти как *положительный* пример веры римскую христианку, согласную убить маленького сына — из боязни его *отречения*. Такая же дремучая доблесть, как в «Вересковом пиве» (ставшем у нас «мёдом») и в «Нибелунгах», по сути — совершенно языческая. Не прощают Соне Мармеладовой ее «греха». Мыслят не так, что: это произвело такие-то последствия, а потому плохо, а — это противоречит догмату, значит, плохо. Они уже заранее знают, что человек плох, ибо нарушил заповедь, и дальнейшие усилия тратятся не на оправдание человека, а на оправдание непреложности заповеди. О существовании предмета судят по соответствию заповедям. И ни шага дальше. Не объясняя, не стараясь понять, чем данная вещь плоха, и что можно было сделать в этом положении, и не перевесит ли жертва человека и его трагедия — его формальной вины перед законом?

Шел сентябрь. Утро было ясное и солнечное. Выпив на дорожку, они пошли в лес собирать опята, которых в этом году можно было хоть косою косить. Не помещаясь на пнях и стволах, они устилали землю сплошным ковром, блестя на солнце фальшивым золотом и убивая всякую радость охоты. Кончились корзины и пакеты, в ход пошли куртки и рубашки, и чуть ли не нижнее белье.

— Не интересно, — признался Витя, — будто в магазин сходил.

Потом до ночи разбирали спрессовавшиеся, осточертевшие грибы, сделали жаркое, достали водочку — и снова стали смеяться и спорить, как и подобает свободным эллинам. Они уже забыли свое бывшее осуждение Оксаны. Они простили ее, собственно, не сделавшую ничего особенно нового. В их кругу, несмотря на весь пуризм, это случалось сплошь и рядом. Поэтому они проклинали чужую свободу и сам поступок, человека же легко прощали, особенно если он проявлял очевидные признаки раскаяния.

Спустя три дня Захар выехал на дачу попасти бабушку. И тут не обошлось без скандала: Оксана была недовольна, как он трепетно относится к чужим желаниям, давая согласие, не посоветовавшись с ней. Ее, однако, не задевало, когда он выполнял желания *ее* родственников.

В полдевятого уже темно. Река под мелким дождем матовая, как пруд у Борисова-Мусатова. Он уходил на много километров. Собака жалась к ногам и не хотела идти дальше. Стояла такая тишина, что было слышно птицу в траве, плеск вливающегося в реку ручья, лай собаки из деревни столь далекой, что он никогда не доходил до нее.

Воздух изменился: вместо многокилометровой хрустальной осенней прозрачности — дождевые черви струй, теплые и чуть-чуть затхлые, как влажный сарай.

Вновь и вновь Захар думал, какие они все-таки разные. Оксана и он, мужчина и женщина.

Женщина может быть интересна мужчине тем, что он может ей дать, мерой воздействия на нее. Когда женщина — это немного дочь. Тут вообще можно обойтись без эротического интереса, особенно у существ больных и не употребляющих тяжелую пищу. Конечно, это суеда — хотеть быть кому-нибудь интересным, приобретать такой запредельно странный инструмент для особенно тонкого постижения себя. Конечно, это тщеславие. Рудимент тоски по славе. Страх одиночества и попытка с запасом от него застраховаться. Даже столь негодными средствами.

А Оксана в очередной раз «каялась»: из-за бабушки, из-за ее претензий к нему...

— Я представляю, как тебе трудно со мной жить!..

— Бог послал мне тебя, как необходимое в жизни несчастье, — среагировал он.

Утром они вновь помчались на дачу. Они уезжали сюда от воспоминаний, в место в наименьшей степени замутненное прошлым. После заката он уходил из дома и гулял по осенним пространствам, а-ля Есенин... Когда проводник только луна и фонарь — убредал туда, куда никогда не ходил и днем. Полная луна висела низко над лесом, словно глаз Люцифера-Полифема. В лесу горел чей-то костер.

Он удивлялся бестрепетности своей души. Будто был заговорен от несчастий и случайностей. И будто ему нечего больше делать, нет иного спасения.

Он попытался вспомнить, о чем думал год назад, также гуляя вечером по поселку. И ничего не вспомнил, будто и не думал тогда. Впрочем, он тогда гораздо больше работал и больше уставал.

Зато отлично помнил день за днем, о чем думал начиная с февраля.

Странно, Захар производил впечатление сильного человека. И лишь он сам знал, как он слаб. Поэтому его история с самого начала была обречена на этот финал. Он не переносил одиночества, он не мог один противостоять разнообразному злу жизни. Лишь дойдя до последнего отчаяния, поняв, как можно убить — себя или другого — наполнившись равнодушием на свой счет, готовый уйти в любой момент — он стал способен делать некоторые, ранее трудно дававшиеся вещи. Ему больше не для чего было себя беречь, и поэтому он был способен на все. Впрочем, про «все» говорить было рано. Не так много он пока сделал, чтобы доказать окончательно выбор души и ясность опыта. А ведь он действительно любил Оксану, — странно, что он не был счастлив, пусть и не имея работы, поприща и цели жизни, словно шестнадцатилетний пацан.

Первый раз в том кислотном мае он в разговоре с Дашей сослался на «Последнее танго в Париже» — для иллюстрации их с Оксаной отношений. Теперь сформулировал в разговоре с захавшим в гости Рустамом:

— Сперва фильм мне не понравился: плоскостной рисунок, почти отсутствует авторская рефлексия и отстранение, будто находишься в душном коридоре. Но что больше всего вызывает сомнение — избыток откровенного секса. А это и составляет суть... У человека ничего больше не осталось. Лишь секс, как простейшая эмоция и манипуляция, связывает его с жизнью. С людьми. Со смертью жены мир кончился для него. И он пытается по кусочкам собрать свое бытие. Для начала просто выжить, пользуясь сексом, как наркотиком. У него нет имени и прошлого. И он не интересуется, есть ли имя и прошлое у его подруги. Он не хочет сострадать и сочувствовать, он не хочет психологии. Того, что вернуло бы его к бытию. За стеной его квартиры нет мира. Реальность невыносима. Жить можно лишь здесь и так. И этой своей первобытной силой, абсолютным знанием того, что он хочет, он увлекает девушку, бессильную противостоять его домогательствам, все более переходящим в извращение. Но и на это он имеет право, и это она позволяет ему. Он непобедим своим абсолютным отчаянием... Но когда он «слабеет» и пытается войти в ее жизнь, сделать ее, может быть, своей женой, она «просыпается» и в ужасе убивает его. Собственно, она лишь выполняет его желание.

Рустам не понял ни его горячности, ни его выводов.

Это было лет семь назад: на какой-то рок-хипповой тусовке Захар увидел белокурую девушку с лицом, с которого рисуют ангелов. Ее звали, как почти всех девушек, Оля. (На той же тусовке присутствовал никому неизвестный тогда Емелин, приятель Матвея Флоренского, щедро использующий его безумные идеи.) Пару недель спустя Матвей пригласил ее в гости в качестве своей подруги, а потом жены. Оксана была у них на свадьбе, пока Захар торчал в Самаре, где снабжал петину выставку концептами и отдыхал от Москвы. Вскоре у них родилась дочь. Потом Оля ушла к Хинаянову (в студии которого актерствовала. Захар был на одной репетиции — выпендрёжная заумь в стиле Матвея. Похоже, он повлиял и на Хинаянова.) Матвей с горя метнулся на войну в Абхазию. Потом пришел к ним с Оксаной, взвинченный, раздавленный. Лишь яркие картинки войны отвлекали его. Захар тогда не нашел слов утешения: все это было неожиданно. Если бы ему сказали, что Оля похищает детей с целью продажи, он бы не больше удивился. Матвей звал негодяя не иначе как «гнилым пидором» и с мстительной радостью рассказывал, как наставлял Хинаянову рога — *с собственной женой*. Захару это показалось тогда нелепым и жалким. Потом он понял, как это бывает (жаль — поздно).

А тогда он высокомерно отверг это, как дурацкое и лишнее, не имеющее касательства к его жизни, довольный, что все это произошло не с ним...

А потом Матвей с первого взгляда влюбился в Ивонну Андерс. И (по его словам) она в него. Теперь у него было на миллион одних телефонных разговоров с Лос-Анжелесом.

Захар ее тоже «знал». Много лет назад он был на ее концерте в Курчатовском. Но, в общем, выбор был дик до странности.

Матфей заходил на днях. Такой же безумный, как раньше. Большая голова на шуплом теле. Писал арийско-азиатские сценарии для Ивонны, осетинской царевны. Емелин, его старый приятель, кажется, также целиком вышел из матвеева безумия, вооруженный манерой, как Афина. Когда-то они соавторствовали. И Захар удивился, найдя многие известные ему вещи в емелинской книжке — без упоминания Матвея. Зато Матвей превратился в героя емелинских рассказов. Матвей, кстати, рассказал о ярости Емелина на прошлогоднюю статью Захара о нем. Обещал вызвать Захара на дуэль на *астральных топорах* и убить. Может быть, удалось.

Захар всегда думал, что жить без тормозов — прерогатива гения. С этой точки зрения Петя был живым классиком. Он жил с тремя женщинами, от двух имел детей и ни с одной не мог расстаться. Он торговал, у него был огромный долг, который ему никогда не выплатить. И он продолжал писать картины — значит, не выплатит тем более. Тем не менее, он заслуживал уважения. У него было чувство долга перед своими женщинами. Во всяком случае, материального. Если бы его не было, ему было бы легче как художнику. И он брал деньги под хромающую, плохо организованную торговлю, и проживал их с богемной удалью.

Захару были знакомы порывы. Но у него не было душевных сил отвечать за их далекие последствия. У него не было охоты долго настаивать и внедрять свое бытие в чужой порядок вещей. «Я птица слабая, мне тяжело лететь...» — была в его молодости такая песня. Он мог лишь жить в своей норке и что-то там между прочим делать. Творчество стало формой проведения досуга. Досуг же у него был — вся жизнь, ибо обстоятельства позволяли не искать ненавистную работу. Даже журналистика казалась глупой и вздорной. Многие он мог преодолеть на необходимости. Собственной же душевной агрессии — ни грамма. Душа заболела от всякой слишком большой нагрузки. Он прямо чувствовал эту усталость души, как чувствует бегун растянутые связки. Любое нравственное столкновение с реальностью — и он уже не спал по ночам. Но он боялся пользоваться лекарствами, чтобы не породить новые костыли, без которых он не сможет далеко уйти.

И он запрещал себе предаваться тоске — как поведению бесполезному, слабому, взрывающему мир с окружающими. «Все хорошо», — убеждал себя Захар десятки раз на дню. «Взглянуть бы на свою жизнь

со стороны — может быть, это не так страшно? Или, напротив: понять всю ее несостоятельность и абсурдность.»

«Я как витязь на распутье, — записал Захар в дневник. — Все думаю, думаю — куда идти? Уже построил дом, обзавелся семьей, хозяйством. Конь мой богатырский стал клячей: мы с сыном пашем на нем. И каждое утро я хожу к камню и чешу в затылке.

Журналисты из ближайшего города приезжают и спрашивают: не проезжал ли здесь богатырь и куда направился? Мои отвечают: «Нет, судари, никого не видели». Журналисты идут к камню, фотографируют и возвращаются в гостиницу.»

Ослаб прежний интерес к чужой мысли. Захару казалось, что он узнал что-то такое важное, и теперь уже все другое виделось *фразой*. Пиетета к творчеству у Захара не осталось никакого. Но и обратного хода он не делал — влиял чужой пример.

Например, Фред, первый оксанин муж, был сильнее Захара как художник. Но он уже выпал из живописи, потому что слишком хотел разбогатеть. Сколько друзей ради благой цели — обеспечить семьи или заработать на последующую свободу — влезли в это болото, и если не погибли еще в нем, то должны были сделать это в ближайшее время. Шура Антисфенов, в тринадцать лет прочитавший Спинозу, год не читал книг вообще, хотя и аккуратно покупал их. Совпав с Фредом у них дома — дал представление о вечере с «новыми русскими». В то время, как Ричард со своим американским приятелем Марком и стихийно зашедший писатель Стаканский рассуждали о *душе* (за которой американцы сюда и приехали), их русские друзья обсуждали достоинства своих BMW, проценты, операции с шестизначными долларовыми суммами... Сохранили чувство юмора, что спасало ситуацию. Захару было грустно — и неприятно: кто дал ему право быть высокомерным? Сильно ли он поступает, не поступая никак (в материальном смысле)? Может быть, пойти работать к ним? Или открыть свое? На том уровне культуры, на котором он находился, было трудно удержаться. Как пианист — он должен был ежедневно тренировать пальцы. Другой вопрос — для чего? Он со всем и со всеми расплевался. Он существовал, как человек совершенно пустой, может быть, — для друзей, еще не совсем отплевывших в коммерцию. У него не было даже наглости сказать, как Стаканский: я поэт — и пошли все на х...! Для этого надо держаться за людей. И завидовать размаху их осуществления даже в чужой ему области. А какая его, и кто дал ему право выбирать?

— Ну, что ты думаешь? — спросила Оксана, когда пошли титры «Ночного портье» Лилианы Кавани, принесенного Захаром все из того же салона.

Они теперь смотрели много видеокино. Это была одна из немногих форм их совместности, интеллектуальная ванна для двоих. Особенно для Оксаны, недавно расставшейся с радио и испытывавшей сильнейшую душевную пустоту. Потом они долго эти фильмы обсуждали. С точки зрения их *нового опыта*.

— С точки зрения классического отношения к войне может показаться возмутительным: любовь бывшей заключенной к своему бывшему палачу. Лишь потом понимаешь, что всё в этом фильме безумно и все — безумны: героиня, герой, его уцелевшие нацистские друзья.

— Мне кажется фильм надуманным.

— Ничего подобного, все это весьма реалистично. Она (героиня) подростком попала под мощное физическое и психическое воздействие этого эсэсовца (Макса) — и героине удалось выжить и «не сойти с ума» лишь благодаря тому, что ее психика совершила *подмену*: стала видеть в величайшей муке — наслаждение. Садист создал мазохиста (возможность чего, кажется, отрицал Делез). Более того, они были намертво связаны друг с другом. И когда героиня видит Макса двадцать лет спустя — в ней снова срабатывает старая ролевая установка: она начинает играть ребенка в концлагере, влюбленного в своего «отца»-мучителя. И чем более жизнь для этих двоих приближается к условиям лагеря (благодаря стараниям «друзей», желающих уничтожить свидетеля), тем подлиннее и безумнее становится игра, уже совсем не напоминающая любовь. В конце концов, он одевает ее девочкой — в гольфы, юбочку, сам надевает нацистскую форму — и они выходят из дома. Они добираются до моста, где их убивают. Это не кошмарно и не пошло. Это может быть. Настоящее искусство никогда не врет и не спекулирует.

И еще ему понравилась режиссерская работа. Редко кто так точно показывал женщину. Подобно тому, как женщина даже в самой короткой юбке умеет скрыть нижнее белье, так и Лилиана Кавани удивительно обтекаемо показывала самые пикантные и двусмысленные сцены.

Захар «окреп» настолько, что снова мог читать философов и прочих болтунов. Ворочал глыбы духа и отяжелевал. Значит — все у него повторится. Он не знал, что еще должно произойти, чтобы он *понял*? Все выяснил о себе и своей жизни. Нашел силы на *шаг*. Умереть что ли кто-то должен? Умереть и передать часть своей силы ему? Своего опыта. Может быть, так получают гении — когда рано умершие родители «подселяются» в виде некоей энтелехии к своему чаду — и ведут его по жизни. Тогда в 15 лет первые зрелые стихи, в 16 — пьеса или роман, в 23 — шедевр мировой величины, в 27 — смерть.

На самом деле в культурном плане человек приблизился к своему потолку. Невозможно разбираться в хитросплетениях логики и онто-

логии — и тонко разбираться в литературе. Талантливые беллетристы как правило невежды во всех остальных областях. Талантливый артист ничего не знает, зато *чувствует* как паровоз. Любое большое знание, талант, осуществление — придавливает. Хочется свободы, хочется безболезненного проникновения во все области чувств. Этим он и занимался по жизни. Ласкал свою энтелехию — и поэтому остался совершенно пустым человеком.

Странно, но в культуре он любил то, что не делал сам: наезд, резкий безумный колорит, грубый откровенный обнаженный стиль пьяных, бескомпромиссных и бесстрашных поэтов-экспериментаторов, распутников и гомосексуалистов. Экспериментаторов прежде всего над собой. Захар же был почти академичен, почти Лосев или Тынянов (без новаторских заслуг последних и их трудолюбивого педантизма).

Наверное, все было от того, что у него была жизнь ума и не было жизни сердца. Довольно развитый ум разоблачал иллюзии и предупреждал об опасности. Слабое здоровье и расшатанные нервы препятствовали рисковать... На таком скудном пайке художник не живет. А ведь Матвей давно предсказал ему, что он эксперт, но — не творец искусства.

Утром позвонил Лёша. У него умерла мама. В субботу кремация и поминки.

Вот проблема и «разрешилась». Завернувшаяся на теософии, она совсем разрушила отношения с Лёшей. И вдруг умерла от опухоли в мозгу. Может быть, в этом была вся причина.

Выносом тела из морга руководил усатый мужик в синем халате. Он же был водителем и хозяином «ритуального» автобуса. Людей было немного, все они поместились в автобус. Захар повез лёшиного отца, давно жившего с его матерью в разводе. Потеряв автобус при выезде из морга — они чуть не опоздали на кремацию где-то в Ново-Косино, на другом конце города, за кольцевой дорогой.

Суббота, площадь забита автобусами и народом, освобождающимся от своих родственников. Очередь сократилась за сто тысяч. Внутри — конвейер. Музыки было не слышно из-за металлического лязга под полом. Уже пустая тележка нелепо торчала в углу, пока ее не перехватили чьи-то нетерпеливые руки. Женщина-администратор командовала процессом: делайте то, делайте это, как в ЗАГСе: встаньте на коврик, сойдите с коврика, обменяйтесь кольцами... «Кто желает, может попрощаться с покойной...» — словно она уже их собственность. «Мы выражаем соболезнование. Ритуал окончен», — скороговоркой, без точек. И уже ввозили нового покойного. Их же ушел в черную дыру в полу. Каково ему там?

Ужас, не дай Бог так же умереть! — думал Захар. Умереть вторично (в дыре — телом). А ведь все так и будет. Кладбище, конечно, гораздо человечнее. И никто не ограничивает тебя временем.

На поминках были пьяный мамин «ученик» Паша с женой и сестренкой Наденькой. Паша — работяга из Подмосковья с Апраксиными (по его уверениям) в крови. Отлично, по словам Лёши, пел, жил в деревне, рыл могилы, строил дома, дрался с женой. Лил слезы и говорил трогательные банальности о том, что для него значила лёшина мама, как она его духовно вела и спасала, мало ел, много пил. Какой-то прикол в нем все же имелся. Что-то от Бармалея, но без его богемной холености (Бармалей, сын академических родителей, страдальцев и лагерников, в прошлом году замерз пьяный на улице). Пашина жена — совершенная баба с лицом алкоголички. Два дня назад сестра ее Светка голая выбросилась с балкона. По виду не скажешь, что им тоже долго жить.

Захар тоже любил строить (строитель Сольнерс). Но здоровье не давало ему спиться. Он собирался трезвяком лелеять свою скорбь.

Теперь у Лёши будет квартира. В героически построенной даче упадет надобность. А жаль: это была маленькая эпоха в жизни Захара. Place to survive, место защиты.

Но пока Лёша еще жил там. Вместе они смотрели лёшино видеокино о захаровом дне рождения. Видеокино — удвоение бытия. Философская, а не эстетическая проблема (пока — за отсутствием умения). Жизнь совершенная и увиденная в процессе совершения. Наполнившаяся еще одним смыслом, как все увековеченное и удлиненное. Располагающая к ответственности, как приговоренная длиться.

— Кто это? — спросил Лёша, показывая на Дашу. — Я за ней наблюдал весь вечер. Странная девушка.

Захар не поинтересовался, почему странная, это и так было ясно.

Потом поехал на собственную дачу, совпав с долгожданным включением электричества. Сосед катил на велосипеде, обмотанный проводом, как электрик Петров.

В доме было тихо и пусто, и совершенно не по-жилому. Мышь каталась по полу, словно капля ртути.

Кончился ремонт, кончился дачный сезон и кончились оправдания его безделья. Захар воспринимал осень, как что-то мучительное, она надвигалась на него глобальными решениями и не предвещала ничего хорошего.

Вместо работы он вновь записался в теннис.

Зимний теннис — не летний, это совсем другой порядок цен. Захар оправдывал себя, что это его единственное отдохновение.

Действительно, очумело носясь по корту, отрабатывая и нанося удары, иногда побеждая соперников — он испытывал прилив сил, почти любовное возбуждение. Душащая депрессия проходила. В жизни так мало радостей, и отказаться от этой последней — было бы очень горько.

К тому же он виделся здесь с Дашей.

В этом была какая-то слегка будоражающая игра: придет — не придет, что скажет, что сделает, будто она могла сделать что-то удивительное или важное для Захара.

Слушая бескорыстно болтающую Дашу, Оксану, иных умных дам, Захар подумал, что женщины более предрасположены к литературе. Они приметливы, завоевание своего места под солнцем у них с детства основывалось на слове (сплетне, уколах самолюбия, отыскании слабых сторон чужого характера). Мужчина действует напролом. У него много ставится на физическую силу и самоуверенность. Мир не осваивается, а отторгается как враждебное, требующее переделки. Женщины конкретны, их мир состоит из хорошо понятых мелочей. Ошибка грозит смертью, как у сплывавшей бабочки.

Плести языком великолепные кружева, уничтожать языком — это оружие *женщин*. Мужчины никогда не культивировали именно этот способ борьбы. Замечательно остроумные и злословные женщины Шекспира. Словно советские истребители — мы не можем летать так высоко. Поэтому женщины-писатели гораздо злее писателей-мужчин. Женщина раскрывается в злословии, как мужчина в войне.

Его любимые женщины мастерски владели этим оружием. Поэтому он их боялся. Сколько раз его любимые мысли гибли под критическим действием их словесных кислот, под ударом их рационального и слишком конкретного ума. Но сейчас он был неуязвим.

И Даша, любимый труднопостижимый соперник-единоборец, перестала быть *terra incognita*. Много в их отношениях изменилось: при встрече-расставании Захар целовал ее в голову, гладил по волосам. Она принимала это смиренно и тихо. Это было очень братски-сестренски, просто от большой симпатии, не требующей никакой корысти.

Но иногда она сама была очень нежна к Захару: брала его под руку, гладила ушибленную мячом спину. И тогда он пугался и прятался в скорлупу. И ночью не спал от растрепанных чувств.

А во сне он все больше как-то умирал: не мог ходить, ничего не видел, как внезапно ослепший. Буквы прыгали, в теле корявая стариковская беспомощность. Думал, вот поедет в Испанию, заняв у родителей денег, и поправит если не здоровье, то хотя бы сновидения...

XVI. Юпитера нет

Есть края, где Захар чувствовал себя удивительно на месте, где все его устраивало, где бытие входило в него полноценно и надолго, так, что он и через много лет помнил улицы, по которым ходил, — чего никогда не было на родине, на холодной русской равнине. Здесь он ставил между собой и бытием стену, опоясывал чресла, стараясь не пропустить удар, здесь он *спал*, чтобы не видеть и не мучить себя. Здесь он знал, что его будут мучить, добиваясь неизвестно чего.

И все же это было лишь средне-удачное путешествие...

Он вспомнил, как проснулся в полседьмого в мадридской гостинице. Было еще темно. В ванной на него накатило невыносимое отвращение к себе, до тошноты. Не мог видеть себя в зеркале, не мог ощущать себя. Может быть, просто душевная усталость, избыток впечатлений. И, конечно, идиотская судьба. Не хотелось считать себя неудачником, бродягой, посредственностью. (Хоть любил само слово — бродяга. Иногда любишь то, что никогда сознательно не осуществил бы.)

Оксана рыдала в Прадо: охранник выбрал ее из толпы и потребовал сдать совсем небольшую сумку. Все ходили, смотрели картины, — ее, сидящую и рыдающую на топчане, видеть не хотели. Они вдвоем были будто в мертвой зоне своего индивидуального горя посреди всеобщей радости.

— С испанками он не посмел бы так себя вести! — кричала она сквозь слезы. Она теперь часто рыдала: тяжелая туристская жизнь.

Потом ругалась с администрацией гостиницы: те не хотели принимать деньги по кредитной карточке, не объясняя причин, вообще вдруг разучившись понимать по-английски. Захар еле удержал ее от скандала на всю гостиницу:

— Ненавижу испанцев, ненавижу испанцев! — кричала она, пока он увлакивал ее в лифт. Чтобы отвлечь, повел ее в ресторан. А он как назло закрывался: на скорую руку и не очень вкусно пели и выпили бутылку вина... Крепко держа за руку и закрывая видимость, Захар провел ее мимо рецепции. Боялся, что, как коршун, кинется на них. Ее приходилось постоянно сдерживать и успокаивать, отчего он извелся больше, чем от обстоятельств.

А утром они не дали им бесплатного завтрака, зато заставили заплатить (наличными) за те два, которые они уже съели (еще пятьдесят баксов с лишним), о которых вчера не было речи. В первую секунду Захар даже побоялся ей это сообщить. Ведь по камню разнесет всю гостиницу! А гостиница была не из бедных, на центральной Гранд Виа... Слава Богу, у него остался столтник: на это и на такси.

В самолете они летели с русскими туристами или челноками. Одни мужчины, толстые, огромные, с дурными лицами и голосами. Кто-то неизменно стоял в проходе, хлестал водку и трепался с приятелем. Вылетели с опозданием на полчаса, стали приходить в себя через час. До этого трясло, словно ехали по железной дороге.

А в Москве было минус 14. Самолет вздрогнул от удивления, будто второй раз коснулся земли.

Захар вспоминал это, чтобы объяснить себе состояние духа. Темный ледяной город с километровыми очередями за бензином. Впрочем, брат Владик привез куртки, а живущие у них дома и пасущие собаку Витя с Надей встретили отличным обедом.

На следующий день Захар перевозил с дачи Лёшины картины. Там была модельер Галя, сделавшая когда-то имидж Агузаровой и знавшая всю музыкальную тусовку. Теперь она соскакивала с черной, ей негде было жить, и она жила здесь с Седом, вернувшимся ради нее из Израиля. Он рассказывал про ловлю тунцов в Красном море и про акул, что откусывают ноги туристам. Впрочем, за это им полагалась страховка в миллион долларов. Еще был спивающийся писатель Лёшик, согласный добровольно отрезать себе ногу за миллион долларов.

— Слабо небось! — засмеялась Оксана.

— У тебя миллион долларов с собой? Неси пилу!

Захар узнал о смерти Вадима, с которым познакомился в гостях у музыкальных друзей Артиста в тот вечер, когда вмазывался *клипом*. Вадим где-то в Крыму тоже вмазался *клипом* и ушел в море без возврата. (У Артиста за год до этого погиб еще один друг, Ч., гитарист из «Алисы»: вышел в окно после кислоты. Скоро наступит черед и Артиста.)

«Господи, — думал Захар, — я же всех их с кислотой и *клипом* этим и познакомил, Артиста, Лёшу, а от этих понеслось!..» Впрочем, понеслось бы и без него.

Потом показывал им снятое в Испании.

По дороге в Москву сперва остановились на окружной из-за аварии: идущая по встречной полосе машина врезалась в «жигули», из нее выскочили мужики, избили хозяина «жигулей» и убежали, бросив раздолбанную машину и в ней спящего, вдрызг пьяного парня. Жена водителя «жигулей» попыталась кинуться Захару под колеса. У нее был шок: она была убеждена, что ее ребенку оторвало руку. Захар посмотрел: рука была цела, лишь чуть-чуть поцарапана. Но она не хотела смотреть и твердила что-то невразумительное:

— Я же говорила, говорила ему! Зачем он продал «волгу» и купил эти «жигули» — я знала, знала, что так будет! — рыдала она на плече у Лёши.

Подъехавшие менты из ГАИ лениво ходили мимо и ничего не предпринимали. И перевязка, и психотерапия осуществлялась сострадательными водителями. Похоже, они разучились делать все, кроме класть штрафы в карман.

Потом на Тверской у «Якоря», уже без Лёши, они угодили в драку с участием подоспевшего ОМОН'а. Захар осторожно вырулил из гущи дерущихся тел, под грохот сыпавшихся на машину ударов. От всего этого, плюс грязи на дорогах, езды вслепую с залепленными фарами и стеклом — нервы были на пределе. Чуть-чуть утешился ночью Годаром.

На следующий день он отвез домой на последнем бензине Витю с Надей.

Когда он глядел вперед, все представлялось столь темно и нерадостно, что он решил просто наслаждаться теперешней минутой, тем, что сидит, дышит, целуется. Больше ему не на чем было основать бытие.

Путешествие образовало зазор между жизнью до путешествия и жизнью после. Он никак не мог его залатать. Перепад климата лишь усугубил дело.

В Москве мела метель, весь город был завален снегом, который никто даже не пытался убирать.

Все началось, как очень часто, с Кирилла. Оксана разозлилась на его обман, его безделье, его грубость. Со слезами в голосе кричала: «...Как я воспитала такого негодяя?!..» Захар был и свидетелем, и утешителем. Лишь судьей не был. И что? Через два часа они помирились.

— Я хочу, чтобы через десять лет он жил со мной, — объяснила Оксана.

— Через десять лет ты, может быть, сама не захочешь с ним жить — благодаря такому воспитанию, — сказал Захар в досаде на полную непоследовательность.

— Не тешь себя надеждами! — воскликнула Оксана. — Я знаю твое отношение к Кириллу, и ты уже не всегда даешь себе труд скрывать его!

Захар повернулся и ушел из дому.

Он знал, что останется в истории детоненавистником (все зависит от того, как представить его поведение, например, сегодня). И все потому, что он не мог относиться просто к некоторым весьма обычным вещам.

Монополия на воспитание лежала целиком на Оксане, все время подменяемая любовью, которая ничего не видит и не хочет знать. Кирилл — это все, это комплекс, это рана, это весь свет и смысл, это не обсуждалось. Никто не имел права сюда соваться, иначе как с выражением восторга. При легкой утомляемости, неумении просыпаться, расшатанных нервах — политика такова, что — ничего не знаю, ни во что не вмешиваюсь, все хорошо, я сама была такая же и еще хуже, он замечательный, все его хвалят. Быть им недовольным — это величайшая ересь и бестактность по отношению к Оксане.

Захар решил зайти (или «уйти») к Даше. Дошел до ее дома и передумал. Пошел пешком через весь город, мосты, дворы и таким образом попал в некое знакомое ему место: Велозаводский рынок, Шарикоподшипниковская улица... Ничего за пять лет не изменилось. Всех усилый советской мафии не хватило, чтобы сделать из «Учколлектора» современный магазин или ресторан. Так и стоял он со своими убогими планшетами за стеклом — и не реклама, и не пойми что. И аптека как была, так и осталась аптекой. И книжный, и ателье на своем месте, и галантерея снова галантерея, уже один раз побывавшая кооперативом для ветеранов Афганистана. И булочная. И море телефонных автоматов с разбитыми стеклами. Скорее всего, это место ни одной душе было не нужно, так и стояло, словно оазис застоя. А они здесь жили, и тоже никому не были нужны...

Странно, он мог порвать с совком, с институтом, с друзьями. Он не мог порвать с *ней*. Он вернулся домой, как побитая собака.

— Ты считаешь себя обиженным? — встретила его Оксана. — А что я могла сказать тебе на твои слова? (Повторила свои в очень смягченной форме.)

Странно, что то же самое ей сегодня утром сказал Кирилл, обосновывая, что ничего, кроме «блин» он и не мог ей ответить. Тогда это ее очень разозлило (и выражение и обоснование).

Потом она рыдала. Теперь Захар знал, что она рыдает всегда лишь из-за ущемленной гордости. Он значил для нее не более, чем охранник в Прадо.

Так они проводили уйму вечеров. «Любопытно, — думал Захар, — на сколько нас хватит?»

Утром Оксана была совсем другая:

— Слушай, что я придумала: Юпитера нет, и все позволено быку, — мудрит она за кофе.

— Дул с пиру споро, — откликнулся Захар.

Подобным образом они развлекались, когда не ругались так, как описано выше.

Вечером он поехал на открытие лёшиной выставки в Беляево. Организовал Сергей Тененбаум — ради своих «метафизических» приколов. Он недавно тоже вернулся из Израиля и горел желанием чем-то заявить о себе на старой родине. Из искусства ему удалось сделать шоу из ряда случайных номеров, нанизанных на примитивную идейку шестого разряда: рождение — смерть, с закапыванием «гроба» в саду. Это было даже не языческое сжигание Купалы. Зато размах ужасал: танцы, песни, пантомима, нанятые артисты, телевидение. Картины из использованной женской ваты. Лёша здесь казался эрмитажным классиком. В конце Артист, Кабан, Паша и Тритон играли свою музыку. Около десяти их со скандалом отключили.

Между тем Захар выпил какую-то питерскую кислоту. Единственный запоздалый эффект был уже на обратном пути в метро. Захар вдруг понял: в мире нет никакой опоры, никто ни за что не отвечает и ни от чего не охраняет — ни мать, ни отец, ни друг, ни государство, ни даже Бог. Да, пожалуй, он лишился этого ощущения Бога, которое все-таки свойственно всему живущему: некоего покрова, надежности, уверенности в мире. Все может произойти из всего, как телята — из огуречных семян, жизнь уходит, и мир бледнеет и сворачивается на глазах, как небо у Иоанна. Наверное, так видят жизнь умирающие.

...Осень шла, а он все барахтался, все чего-то выбирал.

Надо иметь мужество утратить молодость и стать просто взрослым человеком. Вот и все.

— Ну, за Россию, страну невест! — предложила Оксана тост за их русско-американскую пару.

Два близлежащих вечера в ресторанах с Ричардом и Марком, и его красавицей-приятельницей, Сашей-Шарниром и прочими: на Арбате в итальянском «Сан-Марко» и в китайском «Золотом лотосе» в «Садко-аркаде». Повод — американцы наконец разрешили Ричарду вывести Надю в Штаты (получив все бумаги, свидетельствующие о ее лояльности, в том числе даже письмо от ее питерского участкового). В «Лотосе» они ели крокодилов, угрей и лягушек. Шура Антисфенов вел себя с размахом разгулявшегося купца: кило масла в жопу! Совершенно застегал официантку, темноволосую смазливую девочку в красном шелковом платье с разрезом до бедра под что-то китайское. Затеял спор на ящик шампанского: королевских они ели креветок или тигровых? И проиграл его. Зато счет подали на миллион.

Потом все пили у оксаниной тетки, где жил Ричард, а потом у Оксаны и Захара (Шура возил их по непролазной Москве на своем BMW). А работа стояла. За два дня они потратили больше, чем заработали за месяц гнусных переводов. Друзья, вернисажи, новая поездка к Лёше на дачу, опять друзья, годовщина свадьбы Шуры... Глухой напор после Испании.

В субботу втроем с Лёшей поехали в «Зеленку». Лёша в своей «Зеленке» сходил с ума от одиночества и безумно увеличивал дозу. Если бы Захар принял столько же, он бы наверняка окоchureлся. Лёша признался, что недавно и впрямь едва не вставил.

— С этим надо кончать... Пульс стал, как ниточка, приколись. Я жму и жду, когда он прервется.

По дороге у них случилась очередная ссора. Захар не захотел звонить Кириллу, чтобы он отнес в салон кассету Шаброля.

— Что изменится? Мы выиграем две с половиной тысячи.

— Утром ты устроил ему *допрос* из-за двух тысяч, — сказала Оксана с заднего сиденья.

...Утром Захар попросил его сходить за молоком. От пяти тысяч осталось тысяча четыреста. Захар спросил: сколько стоило молоко? Оксана зачем-то приняла участие, понятно на чьей стороне.

Вечером к Лёше завалился Кабан с приятелями-музыкантами. Все закурились и еще прошлись по кислоте. Лёша сидел тихо-невменяемый, остальные лежали вокруг телевизора. Оксана тихо злилась, а Захар первый раз не находил здесь себе места. И рано утром, захватив заблудившегося в дымной пелене Лёшу, рванул на дачу.

Он остановил машину наверху у леса, памятуя январь этого года. Мороз был десять градусов, снег и гололед.

— Ты становишься похож на своего отца, — заявила Оксана презрительно и с независимым видом ушла вперед.

Он догнал ее.

— Ты сердишься на меня?

— Не трогай меня! Ты считаешь, что ты один можешь все решать? Вчера ты решил с кассетой, сегодня с машиной. Мог бы хотя бы из вежливости что-нибудь оставить другим!

— Ты во всем хочешь симметрии?

— А ты асимметрии, и чем дальше, тем больше!

На склоне горы она поскользнулась и разбила яйца, которые несла в пакете. Так что заходное блюдо у них уже было. Скоро выяснилось, что от мороза лопнул унитаз. Захар порезал руку, изучая трещину, тающая вода растеклась по полу.

Вечером в Москве новое дело — Захар усомнился в точном количестве стертых Кириллом игр на переполненном компьютере.

— Я же тебе говорила, что он не поверит! Зачем ты делал один?! — кричала она Кириллу.

Через час он позвал посмотреть по ящику на одетую Юдашкиным девочку.

— Ты же не любишь детей, — заявила она, едва войдя.

— Некоторых люблю. Маленьких девочек.

— Все, с меня довольно, серьезно говорю! У меня, к сожалению, нет Лолиточки, которую ты мог бы любить. И я больше не желаю всего этого видеть!..

Захар не выдержал:

— Ты изучаешь психологию. Может быть, ты задашь себе вопрос, откуда у тебя этот комплекс в отношении Кирилла? Никто не может слова сказать, все страшно болезненно.

— А ты не хочешь задать себе вопрос, кто породил этот комплекс? В значительной мере...

— В вопросе содержится ответ...

Оксана считала, что Захар ведет на нее досье. Что ж, может быть, у него были для этого некоторые основания. Он не хотел забывать, как психология портила им жизнь. Все их ссоры — чистая психология, — впрочем, упирающаяся в черты характера и физическую немощь.

...От метро Захар позвонил Олегу — безуспешно. Начались его скитания по городу. Звонки из холодных, неработающих и глухих автоматов. Он даже хотел поехать к Даше, но передумал. Она никогда не помогала, когда нужно было ему.

В конце концов, он позвонил брату. Купил «Каберне» и поехал смотреть их «new baby». Ребенок уже ходил, а он впервые его видел. Вернулся в полпервого.

Снова пустое препирательство. Потом молчали. Захар было сильно не по себе. Он очень чувствовал эти вещи. В груди ворочалось что-то ужасное, стискивающее дыхание.

У него не хватало сил злиться. Только гордость мешала примирению.

«Я живу на краю бытия, на самом его краешке. И выбить из под меня табуретку ничего не стоит, — писал Захар в дневник. — Мне не надо нового, не надо подвигов. Все это просто. Трудно жить изо дня в день. С самим собой, без всякого отвлечения, с одной голой судьбой. Я очень много читаю (вот уже сутки). Никто не беспокоит меня. И кажется, что в гриппе. И никто не спросит: что с тобой? Полная анонимность. Незакрепленность ни в чем и ни в ком. Ни долговых обязательств, ни стимула: встать и что-то сделать (кроме — подмести пол, сходить в магазин, сварить макароны).

Искусство, книги утешают меня, но не дают настоящей опоры. Здесь нет человека. Живой человек раздражает меня. Мне хочется отвернуться. Мне ни с кем не хочется говорить, у меня нет серьезных тем для дискуссий, или я не вижу собеседника. Люди способные и любящие поговорить «об умном» — как правило профессиональные неудачники с грустными лицами, которым риторика заменяет жизнь. Их пафос смешон. Их вера в слова и в возможность постижения глубин с помощью психического усилия или последовательного нигилистического поведения — ребячлива. Я сам — первый из них. Зашедший так далеко, что, и поняв всю тщетность исключительно «духовной» жизни, уже не могу вернуться, не вижу себя в нормальной жизни, презираю ее еще больше «духовной». Я могу и люблю работать с вещами, но не хочу работать с людьми, с их бумажками, амбициями, сплетнями, завистями, деньгами. Я умираю «на боевом посту», совершенно не видя в этом смысла и заслуги. Мне бы в какой-нибудь атеистический монастырь...

На большую часть протекающей действительности у меня атрофировалась живая реакция. У меня лишь отработанные рефлексy: одеться, открыть дверь, выгулять собаку. Не потому что хочется, приятно или думаю о собаке. Потому что *нужно*. Ничего спонтанного, ясного, чистого, «наивного». Никакой радости, симпатии, любви. Никакого броска навстречу. Ах, лишь бы никто меня не трогал! Я уже в гробу, осталось лишь оформить. Слушаю музыку, гляжу изысканное кино, читаю Юнга, Честертона, Тынянова... И все уже заранее известно, сделано, выверено, обойдется и без меня и во мне не нуждается. Я только провожу дни. Я могу часами говорить на всякие темы (когда мне не совсем тухло), — но не могу заговорить с незнакомкой, поласкать ребенка, сделать что-то безумное или просто устроиться на работу.

Если я как-нибудь прыгну, то наверняка переверну какую-нибудь тумбочку. Оригинальным я могу быть только в мыслях. Да и то — будто бы?»

Реальная деятельность совсем не привлекала его. В любой момент он мог сослаться на кучу примеров. Самый яркий — тамарин муж Валера, бывший друг, бывший книжник, а ныне книжный коммерсант. Когда-то, на заре перестройки, они вместе затеяли некое дело, коммерческое и культурно-просветительское зараз. Тогда это казалось возможным: первое оправдывало второе материально, второе первое — идейно. Очень скоро стало ясно, что первое в оправдании не нуждается. Валера втянулся, а Захар — нет. Захар не изменил старому пути — и сидел в заднице. Валера осмелился на новый путь — и завяз в дерьме. Его путь был альтернативой тому, что делал до сих пор Захар. И он мог хладнокровно проанализировать результаты.

Постель, как белый сутроб, где укрылись спящие медведи.

...Перечитав свои ранние тетради и посмотрев «Птаху» Паркера, Захар вновь подумал, что *отказ* от секса ближе ему, чем согласие на него. Как отказ от действия рождает мысль, согласно Дьюи.

Впрочем, ныне он думал так по другим причинам. Это был не страх ответственности, не боязнь обременить себя, не детский страх неизвестности. Это — способность управлять судьбой, противостоя самому сильному человеческому желанию. Власть над собой, простирающаяся до *таких* пределов! При принципиальном согласии на секс. Но — чтобы в судьбу не входило ничего случайного, вышедшего из юнговского бессознательного, наобещавшее с три короба и немедленно предавшее.

Захар устал, очень устал, действительно очень устал (ничего не делая). До пяти утра он читал «Паскаля» Мережковского, когда-то его любимого философа (Паскаля то бишь). Вспомнил себя десять лет назад. Состояние зачитанности, страсти книг. Ничего ему больше не было нужно — ни любви, ни людей, ни веселья. Только бы не мешали читать.

Всегда с черными кругами под глазами. Ничего не видел вокруг. Ничего не хотел, кроме новых книг. Новых думаний о книгах. Какая там любовь! Сил на нее не было — читал до утра. К тому же последний не оберешься — могли помешать чтению. Примеры были перед глазами.

Все это было очень «духовно», целомудренно — безжалостно, бесчувственно.

Вот и теперь иногда нападало страшное бесчувствие (по другим причинам). Он ощущал себя стариком. Если физических сил было еще много, то с нервами труба. Разбуженный в полвосьмого будильником — он больше не засыпал.

Лежал, думал о тысяче вещей. Например, что его мысли об устроиться, что-нибудь кончить, осуществить себя как «взрослый человек» — это попытка *спасться*. Это всего лишь запоздалое бегство от юношеского

или «творческого» бесстрашия смерти, от пафоса и готовности мучиться, чтобы писать.

Но почему он мучает *их*? Если он не может стать другим, если он хочет остаться мальчиком? Зачем он тащит их за собой в могилу (даже метафорическую)? Ему жизнь нужна, чтобы, убивая себя, писать слова — им нет.

У него было время проверить себя: он не соблазнялся вещами, не тащился при виде палм в ноябре. Если он хотел работать, то для Оксаны с Кириллом — и еще потому, что считал: нельзя настаивать на жребии поэта, не будучи никем признанным и кому-нибудь нужным. Это тоже дурная инерция и ребячество.

Ты можешь играть в эти вещи, когда ты один, как Лёша. Захар пятнадцать лет изучал культуру, чтобы быть к ней готовым. Кажется, никто не сомневался в его квалификации. Только ему самому было тухло.

Стать «культурной фигурой» — это тоже мимо денег. Но тогда хоть какие-то жертвы могли бы восприниматься снисходительно: живем бедно, но не просто так. Не просто выдуманно и взято, что полечче (писательство в стол), но хоть что-то достигнуто, завоевано.

Все равно надо было достать денег, чтобы хотя бы купить комнату, уехать, оставив все им. Пусть ясно, что один он не проживет. Но умирать так умирать. Думал об этом порой совершенно спокойно, как шестидесятилетняя Грета в холодном зимнем Батуми.

9 утра. ...Может быть, он просто не заслужил сна? Компьютер, образ жизни — это такие вредители. И после трех часов чтения так приятно вновь улечься в постель. В полдень.

Ему был необычайно близок аскетический идеал. Но ему не доставало веры быть монахом. И не доставало таланта, а тем более наглости быть богемой, к чему он столько лет стремился. То есть и был ей, такой же неправильной и ущербной, каким «неправильным» он был когда-то хиппи. В хиппизме легко было *казаться*, легко было играть роль, играть в жизнь. В богеме игра в жизнь происходит на уровне мучительном. Можно быть либо гением, либо несчастным. Надо любить жизнь, женщин, легко наносить обиды и прощать их. Надо быть на глазах и играть единственную, ни на кого более не похожую роль. Это лицедейство и лицедейство страшное, губящее человека. Он был не готов приносить такие жертвы.

Прочие приятели, большинство, выбрали храм, «монастырь». Ах, как приятен монастырь! Какие спокойные у них лица, какие они благостные, уверенные, дружелюбные. Какие ровные, спокойные у них бороды. Они справились с соблазнами, каковые есть женщина и слава, во всяком случае по виду. О, он знал, как все это изнутри не так — как ругаются они и злословят, как противоречивы их воззрения и поступки. Но все-таки лепота и внешняя невозмутимость, законченность жизни.

Круг, приход, правила, распорядок. Проходя мимо церкви «Космы и Дамиана», он все время завидовал им. Но у него не было веры, не было смирения, не было такой бороды. Он был один изгой и «изверг» в своем «монашеском» кругу, среди людей, которых он любил. И он был чужой среди «богемы», которую он *не любил* и которую не понимал. Сейчас он тем более был далек от нее, у него долго не будет возможности и сил писать. Ну и черт с ней, не очень-то и хотелось. Кроме дряни и умного Тростникова, он не нашел в ней ничего. Все они какие-то убогие, перекрученные комплексами, с расстроенным воображением, с невозможными грезами о своей личности и таланте. Довольно темные, весьма ограниченные, не очень красивые и чудовищно душевно распушенные. Ну, да это все знают. И черт с ними.

Захар не был даже атеистом. И все же впервые за много лет идея Бога стала вновь его занимать. Он никогда не был здесь посторонним, его опыт *путешествий* лишь подтверждал догматы. Точнее, одну догму, зато наиглавнейшую: Его существование. Увы, здесь и лежал камень преткновения: к Богу, которого *знал* Захар, *нельзя* было обратиться с молитвой. У этого Бога не было образа и подобия Захара, у Него вообще не было образа и подобия. Это был зыбкий набросок снов и бреда, это было неуловимо и мучительно. Это, может быть, утешало в смерти, но не утешало в жизни.

И все же потребность в молитве сохранялась, а, значит, и потребность веры в *другого* Бога. В Бога, который *слышит* тебя. В Бога, в которого логический и рациональный Захар, так же как Захар трансцендентальный, не мог верить. Это противоречие он и хотел примирить.

Людам не известно самое главное, думал он. Всей их жизнью управляет какая-то непостижимая судьба. И ни государство, ни наука, ни их собственный разум ничем им не помогут. Мы умираем — вот несомненный факт. И бросаемся в бездну. Бездонна ли эта бездна? Или Господь ждет нас внизу и подставляет руки, чтобы прервать этот бессмысленный полет, положить предел беспредельному? Еще Сократ полагал, что если жизнь конечна, то и смерть конечна. Это все, естественно, не научно. Это только надежда человека, которому очень плохо. И ничего не может его утешить, пока он думает об этом. Поэтому не надо презирать: стоит об этом задуматься, и можно сойти с ума.

Начало декабря. Свирепая холодная луна. Полнолуние таит морозы. Желтый кошачий глаз, злой и остывший до белесости. Все эти ночи Луна слала со своих безжизненных пустынь ледяные ветры.

В доме опять беспокойно. Хрупкий мир то и дело нарушался от мелких происшествий или крупных неприятностей.

«Горе обидеть город, в котором есть поэты», — вспомнил Захар из древних. Правда: эти камня на камне не оставляют. Профессиональные

сплетники — они не знают никакой справедливости в изничтожении обидевшего их. Ему не прощается ничего, ни одного довода не может быть подано в его защиту. Вины стойко припоминаются, утрируются, вставляются в новый контекст. Что вчера было в нем хорошо, становится плохо. Это «поэты» по жизни, они могут и не писать ничего. Они реализуются среди друзей, изящно, вдрызг изничтожая отсутствующего.

Это преамбула. Захару, впрочем, все говорилось в глаза. Особенно когда болела голова, а он тут осмеливался недовольно лежать на диване, бурчать...

У их собаки нашли кисту и дворянскую болезнь фиброденому. Щадя нездоровую Оксану, Захар уже несколько дней вставал по утрам. Накануне операции он еще и не спал ночь. Отвез собаку в онкологический диспансер на Каширке, с опозданием попал на теннис, вернулся домой, взял Оксану, опять съездил за заштопанной собакой (кисты не нашли). На обратном пути ехал по замызганному шоссе на автопилоте. И еще эта израненная собака у Оксаны на коленях.

Попытался поспать, прерываемый процедурами с собакой, едой и т.д. Большую часть ночи опять не спал.

Утром проспали школу. Потом вдвоем лаконично лечили собаку. Опять не разговаривали.

Казалось, что все совсем развалилось, всем на все наплевать. В квартире страшная грязь. Захар стал мыть пол.

«Ненависть — это часто любовь, вывернутая, как носок, наизнанку», — думал он. Он уже не столько любил ее, сколько жалел.

А с жалостью может прекратиться любовь. Нельзя было этого допустить.

Часто не любишь человека, но жалеешь вещи, ему принадлежащие. А надо любить всего, вместе с вещами, которые, в общем, ничем не виноваты.

В жизни много несправедливостей. Вот и собака узнала это: хотела сделать хорошо — опекая жившего здесь витиноного котенка (даже молоко появилось: прямо святочная история), а в результате чуть не заработала рак. Теперь лежала в панталончиках, перебинтованная, со вспоротым животом. Как она скулила вчера в диспансере, посаженная после операции в клетку для кошек! Захар узнал ее, как вошел, словно ребенка по плачу.

Совершенно холодное сердце. Женщина вызывала нулевой уровень эмоций. Но Захар сомневался, что переключится на мальчиков, скорее станет импотентом.

Если в красоте есть истина, думал он, то в некоторых женщинах она воплощена в исключительной степени. Он был способен это оценить. Как способен был оценить красоту грузинской вазы, которую сегодня

купил — в подарок Оксане на Новый Год. Но не видел никакой возможности сюжета. Он, кажется, постиг женщин. Он был близок к лучшим из них. И он страшно разочарован. Его не устраивало *это*. Тем более его не устраивало то, что ниже этого. Секс так таковой его тоже не волновал (может, время года такое?). Поэтому не мог сойти с ума и начать видеть то, чего нет. Секс для него это долг, обещания, гарантии (потому что так это понимает женщина). Он, наверное, слишком чувствителен, чтобы перешагнуть через гарантии и вести себя нормально, то есть легкомысленно и непостоянно. Но у него было богатое воображение: он отлично видел, что он получит, почувствует и т.д. — ему даже не надо пробовать. Да и хлопот меньше. Все это туфта: ну, человеческое тело, ну, некоторая, достаточно бедная история жизни (если тут будет откровенность и умение рассказывать).

Он разочаровался в людях настолько, что уже мог о них писать. Больше не будет глупых предпочтений, многозначительных умолчаний, метафизических глубин души. Никакого романтизма и ожидания чуда. Тут он все понял, как столяр в дереве. И мог сколачивать героев и сюжеты, как табуретки, не заботясь ни о них, ни о прототипах. Все мы бедны, все мы кисель, и с каждым из нас можно сделать все что угодно.

Захар знал, что ему ничего не простится. Ничего не будет засчитано в плюс: ни то, что он печатал ее перевод, ни то, что поднимал Кирилла, ходил в магазины, готовил обед... Ему нельзя было уставать, нельзя было позволить себе негативную эмоцию. На него рушилась скала обвинений, припоминались все вины, начиная с Адама. Слова искажались и переиначивались. Захар или служил, или отбивался, или вел суперумные беседы. Во всяком случае, он видел ситуацию именно так. И еще он пытался читать или печатать на компьютере — испытывая чувство вины и за то, и за другое: ведь он жил в эти минуты «для себя». Он все больше был «политик», он даже уже умел немного притворяться.

За окном шел рождественский снег, но он был не рад этому. Все было плохо внутри дома, все было плохо снаружи.

Мне как автору уже нечего сказать. В жизни моего героя ничего не происходило. И я фиксирую уже не мысль его, а тень мысли. Не событие, а тоску по событию...

Вероятно, ему действительно хотелось расточать себя не в единственном месте, не передавать себя в единственные руки. Ему хотелось удивлять других, может быть, набирать очки, потерянные дома. Если его не могли оценить здесь, то, может быть, оценят в другом месте. Каждому хочется испытывать положительные эмоции. Можно ли его любить, или его можно лишь терпеть, когда настроение плохое, и ждать физической помощи и интеллектуальных разговоров, когда настрое-

ние хорошее? И видеть в нем объект для «воспитательных» программ, будто здесь некого больше воспитывать? Ему казалось, он стоил большего. Просто хотелось сильных чувств и не все время повторяющихся ситуаций. Тогда он сомневался в себе и в то же время хотел что-то доказать другим.

Теперь он не сомневался. И другие ему были не интересны. Он не хотел от них ничего узнать о себе, копаном-перекопанном. Может быть, он и плох был в чем-то, но он искренне стремился быть лучше. Захару было это тем легче, что сам он никуда не спешил и ни к чему не рвался. И вот в результате у него хорошие отношения со всеми. Кроме тех, кто жил рядом. Кому он давал больше всего, меньше всего это оценили.

Он размышлял об этом не для того, чтобы выдать себе какой-то карт-бланш. Ничего еще не кончилось, все будет продолжаться. Ему некуда было уйти, у них не хватит решимости дать ему отставку. Он все же не так плох. Да и гуманисты. Да и бояться пустоты.

Приближался Новый Год. Захар вернулся домой, увешанный сумками.

Оксана ходила вокруг и что-то говорила.

— Ты тоже, как партия, хочешь высоко парить над жизнью? — спросил Захар.

Он был раздражен. Раздражен выговорами, раздражен Кириллом, который валялся на диване и стучал в стену, раздражен разговорами о достоинствах Рустама, «сильного мужчины», во всем уступающего женщине, все для нее делающего (а Даша призналась Захару в мае, что если бы в свое время Рустам повел себя так же, сейчас у нее было бы меньше проблем. Как женщина недаленовидна! — в марте Захар был плох для Оксаны, потому что был деспотом: не давал женщине быть счастливой. После стал хорош, потому что дал женщине покой.). Вот ее идеал: муж-слуга, муж-нюфаундленд. Рикошетом выходило, что тут он никак не канал.

Напротив, Захар считал, что почти не было такой вещи, которую он не мог бы сделать за женщину. Даже быть нежным. (Детей, естественно, не рожал.) Зачем же нужны они ему в повседневном быту?

Yes, женщины стали его раздражать. Он им не умилялся, их маленьким слабостям, он им не верил. Может быть, он был слишком слаб, чтобы тащить на себе еще и женщин, с их характером, их настроением, их родственниками и предметами любви. Он снова бунтовал. Он снова хотел на свободу. И снова не выдержал бы при первом столкновении с ней.

И все же мысли о любви не оставляли его, словно акцент у давно сменившего родину эмигранта. Словно сны о кайфе у давно переломавшегося торчка. Это пришло ему в голову во время зыркания «Ностальгии» (ужасного фильма, сплошь из эмблем, знакомившего запад-

ного зрителя со всеми русскими «открытиями» Тарковского зараз):

Дольше всего помнишь неосуществленное, несостоявшееся, нереализовавшееся до конца: любовь, не дошедшую до последней точки, до постели. Движение осталось незавершенным, контур — незамкнутым, чувство — неуравновешенным удачей или победой, тайна осталась не раскрыта, не пройденное до конца не пройдено уже навсегда, покров не сорван, волшебная картинка не испорчена банальностью, энергетически ты не вернулся к нулю, получив что-то взамен. Ты ничего не получил. Эмоция жива, не умерев в удовлетворении.

Дружба — наверное, лучшая форма взаимоотношений. Частое повторение человека все портит, как частое повторение макарон. Человек не выдерживает слишком пристального разглядывания. Человеческое в нем оказывается не слишком человеческим. И секс, цельеобразующая эмоция, дойдя до самой себя, оказывается опустошенностью и кошмаром разрушенной иллюзии. Уж лучше жить с иллюзией, не доводя дело до постели, или без иллюзий совсем. Так он теперь и жил. Скучно, но спокойно.

Обещали новый год. Господи, зачем еще и этот? — думал Захар. — Что там еще нам готовят?!

Первые дни нового года. Война в Чечне, ожидание терактов, мафиозные разборки, заказные и прочие убийства... Захар никогда не чувствовал себя более спокойным на московских улицах. Стабильные были времена? Может быть, для кого-то. Он ощущал себя на улице, как на вражеской территории. Что-то контролировалось, что-то гарантировалось? Только не личная безопасность. По городу рассекали любера, в каждом дворе, в каждом районе была своя кодла, наезжала шпана из пригорода или Казани. Если ты не попался им, ты попался «стражу порядка», которому нечем было заняться, как только напрячь тебя: иллюзия дела и полная безнаказанность. Ему ли этого не знать?

Даже то, что умирали бомжи. Второй во дворе за полгода. Захар застал его еще живым и брезгливо прошел мимо. Бомж стоял, облокачившись на чью-то машину, судорожно тер руки. Потом упал. Этого Захар уже не видел. Увидел лежащим из окна, и уезжающих ментов. На улице уже наступила ночь. Захар вышел, положил под голову кепку (они даже этого не сделали). Открытые глаза. Залитый кровью подбородок.

Друзья Захара делились на «алкоголиков» и «наркоманов», и собрать их вместе, например на день рождения или Рождество, представляло проблему. Поэтому гости растягивались на несколько дней.

Итак, два дня сплошных гостей, даже больше, чем бывает всегда. Зато Рождество — тихо, немногочисленно. Никто безобразно не напился. Лишь Артур слегка повыпендривался.

Тоненькая элегантная Маша в великолепном платье. Увы, говорила только о собаках. Даша в невероятного, видно самодельного, покроя блузке и короткой юбке выглядела прелестно. Надя — ненавязчиво умна, очень мудро избегала всяких эффектов.

Даша была высокомерна, манерна, хотя это роль, которая ей шла, но Захара уже утомила. Она сильно менялась, когда выпивала: кокетничала, бросала многозначительные реплики, капризничала. Как женщина, которой это позволено.

Выходя из ванной, уронила пудреницу:

— Это ты виноват.

— Я? — удивился Захар.

— Да, это все из-за тебя.

— Я куплю тебе новую. (Диалог в стиле новых русских.)

— Забудешь.

— Если не забуду название.

Посмотрел на крышку: Estee Lauder. Не слышал о такой, что-то редкое, достойное обладательницы...

(И правда не купил. А на каком основании? В стиле героя бальзаковского «Сарразина»: увы, их отношения еще не позволяли ему проявлять к ней столько внимания.)

В комнате Надя, витина жена, тончайшая художница, завела разговор о собственном творчестве:

— Я никогда не бываю удовлетворена сделанным. Кажется, я достигла предела, и это меня огорчает.

Захар стал что-то бормотать об ужасном ощущении удачи. Удачи от сделанного, когда твое впечатление о совершенном вдруг, может быть, на полчаса совпадает с получившимся. И тогда ужас, что никогда больше не повторится, потому что сам не понимаешь, как это вышло. Что последний штрих — это случайность, это что-то или кто-то помимо тебя. Тоска победителя, недостойного своих побед.

Между тем кончилось вино. Захар с Шурой Антисфеновым собрались за добавкой. Артур в бесцеремонной манере попросил принести красненького (так он «заботился» о Даше). А они все же принесли белого (черт подери, белого калифорнийского — из ближайшего ресторана!). Даша посмотрела на них с упреком.

— Из «красного» были только ликеры, — стал оправдываться Шура.

— Ну, взял бы ликер, — бросил Артур развязно.

— Что, «Амаретто»?

— Ну, если тебе из ликеров известно только «Амаретто»...

— Совсем не только... Ладно, я куплю...

Захар поймал его в прихожей:

— Не мечи бисер перед свиньями!

— Знаешь, несколько дней назад я шел на скорости 150, и меня подрезали. И я встал *вот так!*.. И остался жив. И тогда я понял, что все

х...я — деньги и все прочее. И если я могу что-то кому-то сделать, мне это в кайф.

— У тебя жена и дети. Делай для них.

— Я делаю. У меня хватит бабок сделать и жене, и детям, и кому угодно — не волнуйся.

Он принес две бутылки какого-то дорогого ликера. В конце вечера Даша в знак благодарности наградила его возложением руки на плечо.

На следующий день Тростников под видом сбора материалов для нового литературного журнала привел целую толпу: питерскую поэтессу Терезу Р., друга и поэта Инкубова, писателя Чирайтова с новой женой (тоже поэтессой).

Захару показалось, что они заранее репетировали: Тростников сыпал остротами и анекдотами, и блестел с любого бока, как самовар. Одна Оксана способна была держать удар.

Обсуждали свежую тему: «смерть романа» в исполнении Сорокина. «Художественный текст сейчас невозможен, вот Сорокин его и убил», — сказал критик Лаперуз на еврейском радио «Алеф».

Это камуфляж для критиков и литературных проходимцев, подумал Захар. Убивают роман не так: белыми страницами — или режут книгу, как Сигей. Захар мог бы с ходу назвать десяток имен приличных писателей, но это не объективная вещь.

Всего этого он не сказал. Захар, в момент их прихода стиравший белье, еле раскрывал рот, извлекая скрипучие мысли. Бывают тяжелые дни.

Раздражал Инкубов — своей непосредственностью и желанием говорить лишь о себе и своей крутости. Стал хвастать: Сорокин пишет *о таком*, а он таким живет.

Чирайтов — когда-то симпатичный тип, тоже присоседился к стенограммистам, востребованным и пьяным, презиравшим всех, кто не такие, как они.

Тем временем Оксана рассказала, как беседовала с Лаперузом о Сорокине:

— Я говорю: Сорокин делает странную вещь: как если бы он хотел доказать, что искусство печь пироги умерло, — и в доказательство испек бы ужасный пирог. Это не говорит о смерти искусства печь пироги, но лишь, что Сорокин не умеет это делать. На что мне Лаперуз, как мне кажется, остроумно ответил: несколько дней назад ко мне в гости пришли американцы, и на стол были поставлены пироги, как я надеюсь, лучшего качества, чем у Сорокина, но гости отказались их есть, потому что в них столько калорий!

— Мне понравился ответ Сорокина по ящику, — сказал Захар. — Его спрашивают: «Вот некоторые считают, что вы графоман. Что бы вы на это ответили?» Я думаю, как он вывернется? «Да, я графоман,» — спокойно отвечает он.

— Я как-то еду в троллейбусе, — подхватил Тростников, — а сбоку на нас выворачивает грузовик. И деваться ему некуда, кроме как в нас. Я тоже думаю, как он вывернется? А он никак не вывернулся. Просто взял в нас и врезался.

Все смеются. Питерская поэтесса и прочие...

Захар страдал, как с похмелья. К тому же здесь собрались литературные профессионалы, завистливые и жадные до славы, привыкшие к самому высокому уровню абстрактного застольного трепы. Причем они были действительно талантливы. Впрочем, Захар уже перестал мучиться, что кто-то умнее его или ловчее базарит. Бога ради, думал Захар, мне дела нет до твоего ума. Нам обоим хватит места: тебе с твоим умом, и мне с моей глупостью. Он начертил для себя предел и порешил никуда не соваться, он доволен тем, что есть, он всем доволен! У него есть его жизнь, которую никто за него не проживет.

Захар вспомнил презентацию последнего романа Сорокина в «Доме ученых» — запредельную по обилию дорогой жратвы и количеству приглашенных. Вся московская богема пила и жрала, вся околелитературная шушера. Куча дорогих баб и их спутников — пилились на стены с живописью и признавались в равнодушии к искусству. Какой-то сильно выпивший молодой поэт, наверняка ироник и паскудник, стал жать руку Сергею Михалкову, уверяя, что до сих пор без ума от его детских стихов. Михалков сносил это с молчаливым страданием. Зачем он сюда явился — на посмеяние?

Не успели уйти первые гости — явился Артист с неким Андреем и коньяком. Они вмазались «винтом» и вообще не ушли. Так и сидели на кухне всю ночь, разговаривая о музыке, словно десять лет назад.

На следующий день они с Оксаной смотрели «Полеты во сне и наяву» — и чуть не поссорились. Оксана кричала в голос:

— Какой негодяй! Мучает хороших людей, эксплуатируя свое обаяние, и лжет...

А десять лет назад обиделась на приятеля своей мамы, замечательного Четвертинского, заявившего про того же героя: «Бегаёт какой-то хам по экрану...» Люди так меняются. Если бы нам рассказали, как страдает безвинный человек, пальцем никого не тронувший, мы бы назвали это *романтизмом*. Когда же нам показывают, как и за что страдают на самом деле — мы кричим: добить его!

Огромный куст отрицательных эмоций — лишь только выйдешь во двор: помойка со всеми своими составляющими, разбросанные батареи и диваны, неубранный снег, облупившиеся или дурно покрашенные стены, собачье дерьмо...

Вернувшись, он час рисовал розу — первый раз за год. Опять поссорились: казалось, Оксана ненавидела, когда он с карандашом, с руч-

кой, с молотком (а обед не готов). Вспомнила лето на даче, когда вернулась из леса, а он не сделал обед, как вернулась из диспансера, а обед все то же... Она написала две статьи для «Коммерсанта» и устала. Она делала дело, а он бездельничал. Не имея кухарки, он не всегда был готов ее заменить. Как бы он хотел, чтобы область чего-то, напоминающее творчество — была неприкосновенна (так он относился к ее творчеству). Чтобы другой не напрягался из-за несваренных макарон. Тот, первый, — вдесятеро оценит жертву. Но до этого не доходило: симметрия должна быть соблюдена любой ценой, никто не сделает на палец больше того, что было положено по роли, как он ее понимал...

Оксана жаловалась, что Захар пишет про нее одно дурное.

— Неправда, я записываю твои каламбуры.

— Ну, да, знаю, буду потом объяснять исследователям: то, что вы пишете, как «нрзб» означает «сволочь»...

Случайно он посмотрел комедию «День сурка», о которой некогда рассказала ему Даша. Из ее рассказа он понял лишь фабулу. А на самом деле фильм был о том, что для того, чтобы завоевать некоторые виды женщин, мужчине надо стать святым. Не подойдет просто внимательный и любящий, отдавающий желанья, читающий те же стихи. Он раз за разом будет получать пощечины, так и не доведя до конца задуманное. Он должен преодолеть свою корысть, стать мастером во всех человеческих профессиях и начать спасать людей. Тогда, даже не делая никаких авансов, он сам превращается в объект внимания женщины. Причем в фильме не показано, чтобы женщине требовалось делать что-либо подобное. У нее как бы все есть от рождения.

Другой, «вчитанный», момент фильма: что, когда вокруг ничего не меняется и все однообразно — человек становится художником: чтобы богатством своей внутренней жизни уравновесить нищету внешней. Мы же, видя, как меняются дни и положение предметов, думаем, что наша жизнь разнообразна, оставаясь сами на месте, продолжая быть *ничем*: просто зрителями в кинотеатре, глазеющими на движущиеся картинки.

Герою потребовалось самому сдвинуться, чтобы сдвинулся и изменился мир.

Он рассказал это Даше, пока они ехали в метро с тенниса. Она взяла его под руку, и до самого дома они шли, продолжая говорить, как ходят мужчина с женщиной, у которых все хорошо.

XVIII. Годовщина

Завтра будет год... Захар думал о «близких» ему сюжетах. Например, о рассказе Юзефовича «Колокольчик» из журнала «Знамя».

Понимает ли она, думал Захар, почему он говорит так уверенно?

Прошлый год вылетел, как ракета. Захар никак не мог понять, как он прошел. В каком-то смысле это был и конец литературы. Они разом опровергли все его теории, как грошовая рыбка опрокинула доводы оратора. Ему стало не о чем писать. У него вообще не было никаких желаний. Он ушел почти целиком в чистую психику, контактирующую лишь с другой психикой и равнодушную ко всему остальному.

Опять бессонница. Гомер... Он не знал, что с ней делать? Пробовал ликер, сигареты. Ощущал себя в полной заднице. Ничего не менялось, все застыло и медленно сыпалось. Без денег (две тысячи за лист перевода). Лишь на подбросках пряников.

А ведь было, было другое: работа, статьи, гонорары, радио, куда он ходил, как к себе домой. И Оксана работала. И все равно денег не было. И все равно им все были недовольны; все тот же вопрос: когда бросит писать (для себя) и займется делом?

Теперь и этого не было. Ни статей, ни радио. Уйти в открытый бизнес — было тошно: он ведь столько умел! Но тяжело было встать, смирить себя, самодовестись до требований. Общаться с людьми, удовлетворять их, как можно меньше спорить. Это была школа жизни, им до конца не пройденная. Даша предлагала масонскую ложу своего страхового общества, куда недавно пошла работать. Захар отказался. Он хотел делать реальное дело и иметь за это вознаграждение. В пределах дарования.

Надо что-то делать, надо что-то делать — каждую ночь он лежал с этой головной болью в постели. А «утром» вставал разбитый и несчастный. Абсолютно бессильный — в середине дня. И уже было поздно, и не хотелось. Все равно. Никаких мыслей ради чего жить. Лишь деревня вспоминалась с удовольствием.

Если бы он был один, он бы плюнул на все и писал (в той же деревне). Но он, к счастью, не один.

*Я со всеми чувствовал стену,
Лишь с тобою не было стены.
Но я опять пишу не о любви.*

«Что же делать, если любовь и есть то, когда подходишь к человеку, а он не запирает дверь. И тыходишь в нее. И нет тебя, нет его: вы — двое. Это и есть любовь. И это было лишь раз в моей жизни. Поэтому я так за тебя и уцепился. Любовь все равно — не наслаждение, а форма выживания. А другой любви нам не дано. Где берегут душу, где думают, что жизнь — это спорт. Душа это пуля, любовь — это цель. И пуля должна разбиться в любом случае, попала она или нет. И второго выстрела не будет. Это саморазрушающаяся вещь одноразового использования.

В этом, наверное, мучительный пафос жизни — жить с тем, с чем нельзя, жить вопреки опыту, вновь и вновь жить на руинах, все начинать с нуля и пытаться быть счастливым.»

Это был мучительный и необычайный год, значивший очень много. Год войны и огромной работы, которая больше не повторится. Поэтому он пытался запомнить основные вехи и открытия. Ему нужен был полный переворот, изменение всей личности, раз прежнюю постиг крах. Прежний человек умер. Должен был родиться новый человек — как герой «Северного отеля» Карне. Недостижимый, но дорогой идеал! Бывший преступник и убийца. Но объяснять это слишком долго. Так и оставим.

Эпилог

Что же было дальше?

Столько же можно было написать и дальше. Хотя это было бы не интересно. Обычно... Краткое содержание: герой все маялся, потом с горя и от безденежья пошел работать — вначале шустрил извозом, но это было слишком нервным делом. Потом ушел шофером в фирму...

Дальше... Он становился тогда «лучше» и «хуже». Каждый день выходил на работу и, будто восстанавливая отклонение от курса, мощно шибался ночью травой, портвейном или психоделиками, вылетая туда, где вообще нет никакой совместности и разумности, не говоря об ответственности... И утром шел работать. Он подчас и машину под кайфом водил. Это могло плохо кончиться. Зато он достиг состояния какой-то невероятной внутренней свободы, застопорил телегу жизни. Она долго стояла на холме, пока он решал, куда бы ее пустить. Ждал знака... И пустил куда придется. И живет теперь нормально. Немного поумнел, мне кажется. Но и поскучнел. А Артист умер.

Я говорил о нем с его бывшей женой Олей (мы встретились на похоронах). Теперь она думает, что это она виновата. Есть мужчины, которые нерасторжимо связаны со своими женщинами. Эти женщины их спасают, охраняют, воспитывают. И если они уходят, мужчина, оказавшись в пустоте, ломается. Он должен был сделать выбор: семья, работа, некая стабильность и минимальное благосостояние, либо творчество, наркотики, постоянная незащищенность. Проще говоря, это был выбор между Олей и одиночеством — в компании других оль и не оль, все более случайных и ненадежных. Он сделал неверный выбор и честно заплатил за это жизнью. Но это чуть-чуть другая история.

Вот и все.

Весь день я чувствую себя странно. Я погрузился в то время и тоже многое стал вспоминать, что, может быть, лучше забыть. Позади был изрядный кусок жизни, где по незнанию были нарублены кубометры дров. Конечно, во всех случившихся тогда делах было и что-то веселое,

что теперь и вообразить трудно. Я вспомнил, как в шестнадцать лет презирал своих родителей, говоривших с гостями о рыбалке и футболе. Как глупо они тратят время, которого у меня было много, а у них, казалось мне, мало! А теперь я сам говорю о рыбалке и футболе, и нахожу это очень содержательным. Жизнь стала проще и доступнее. Может быть, потому, что недоступное ушло из душевной потребности. В сердце покой, а на голове лысина. И все же масса плюсов, масса. Наверное, все это должно было случиться, чтобы теперь стало так, как есть. Потому что бывает гораздо хуже, это точно. А мы-то воображали себе Бог весть что. Достаточно снизить требования к жизни, и все станет хорошо. И окажется, что жизнь удалась, хотя в ней и нет ничего особенного. Вот и все, что я пока могу сказать.

Ночью я сяду в поезд и уеду с ребенком в Крым. «...А вокруг белым-бело, и снегом замело...»

КЛЮЧ НЕВЕРНЫЙ К ТАЙНИКАМ СОЗНАНИЯ...

* * *

Не важен выбор победов и тем
Для стихотворства, как и для камлания.
Поэзия — не смысл, понятный всем,
А ключ неверный к тайникам сознания.

Поэзия — не ароматный плод
И не приправа мысли вроде перца,
А пробуждающий словесный код
Для собственных ассоциаций сердца.

Игральные кости

Как сладко мается сознание,
В какой его ввергают зной
Главокружение, колебание
И зыбкость почвы под ногой!

И как отчаянно приятно
Беззвездный видеть небосклон,
Когда все равновероятно
И жребий не определен.

Осколки бивня легки весом,
Но метки граней — как смола.
Бросок — и скачет мелким бесом
Судьба по зелени стола...

**Сергей
ПАШИН**

родился в 1962 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ, затем аспирантуру. Кандидат юридических наук. Работал в судебных инстанциях Москвы, в аппаратах Президиума Верховного Совета РСФСР, Государственной Думы, Администрации Президента РФ. Стихи публикует с 1979 года, печатался в журнале «Юность», в альманахе «Апрель» и в ряде российских газет. Живет в Москве.

* * *

Неужто, ругая планиду
И парку, сучащую нить,
Как культу, лелеять обиду
И слухами душу травить?

Нет, прошлые горести канут,
И в сердце — свобода и хлад.
Довольно. Меня не обманут,
Не купят, не уговорят.

России

Твоей березовой крови,
Льду губ и камышовым векам
Не нужно ни мужской любви,
Ни состраданья, как калекам.

Тебе, властительница душ
В боярском меховом обличье,
Милы бессмысленность кликуш,
Юродивых косноязычье.

А я ошибся, ты права,
Как дверцею, предназначеньем
И надорвусь, как бечева,
Что не поладила с теченьем.

Крещение

Мы ждали — наступили холода.
Как бы в ответ молениям о чуде
Кристалльная крещенская вода,
Не замерзая, плещется в сосуде.

Под гуд и брызги звуков из церквей
Творя над целой речкой водосвятье,
Долгобородый важный иерей
Купает серебристое распятье.

Пар изо ртов поющих прихожан
Струится ввысь над мерным крестным ходом,
И в проруби горячий Иордан
Течет сладчайшим молоком и медом.

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ —

в зеркале прессы и с комментариями «Континента»

(Июль, август, сентябрь 2000 г.)

3 ИЮЛЯ широкий интерес продолжает вызывать недавнее заявление Бориса Березовского о решении передать государству свою долю собственности акций ОРТ (49%). Обсуждаются причины и подлинные мотивы этого решения известного олигарха: вынужденный шаг перед лицом непреодолимой силы или тонкий и хитрый ход к вящей его выгоде?

«Общественность уже привыкла, что г-н Березовский просто так ничего не говорит, — пишут **«Известия»**. — И тем более ничего просто так не отдает... Не решил ли хозяин ОРТ подыграть власти, которая в интересах информационной безопасности замыслила национализировать наиболее мощные СМИ?... В интервью радио «Свобода», где было сделано сенсационное заявление, Березовский перечислил свои основные мотивы. Во-первых, ОРТ — убыточный канал, который его разоряет. Во-вторых, ведущие на ОРТ самовыражаются, а в него, Березовского, за это летят все шишки, потому что все, а особенно администрация президента думают, что это он пишет им тексты. И, наконец, главное: ОРТ было нужно Березовскому в качестве инструмента для построения в стране светлого будущего, а поскольку теперь со светлым будущим все ясно (т.е. оно, по мнению Березовского, уж точно будет), то инструмент можно спокойно сдавать на базу... При ближайшем рассмотрении, — замечают однако **«Известия»**, — выясняется, что заявление олигарха не столь однозначно. Он отказывается не от собственности, не от акций, а от управления собственностью, от руления оной. Притом на условии, что если государство не будет справляться с задачей, то он заберет свою игрушку (ОРТ) назад.» Но и это не все. Газета обращает внимание еще и на то, что «у этой демонстрации угроз есть некоторая подоплека. За многочисленными атаками на НТВ и контратаками последнего, за острыми схватками с губернаторами как-то забылось, что положение ОРТ хуже губернаторского и энтэвэшного. По крайней мере, в финансовом отношении. Забылось, что ОРТ — банальная финансовая пирамида.»

В тот же день указом президента РФ «О государственной комиссии по содействию политическому урегулированию приднестровской проблемы» главой комиссии назначен Евгений Примаков, лидер ОВР — одной из оппозиционных президенту фракций в Госдуме. **«Известия»** считают этот факт примечательным — «С момента своей отставки выступающий в роли «свадебного генерала», политик-тяжеловес наконец-то получил фронт конкретной работы.»

4 ИЮЛЯ в Чечне, после недавних терактов, на всей территории был введен комендантский час и усилен режим на контрольно-пропускных пунктах.

Активизировалось передвижение федеральных войск, что дало основания говорить о начале нового этапа партизанской войны. «Чечне потребовалось четыре года, чтобы достичь адекватного уровня фанатизма. Самоубийцы на «Уралах», начиненных гексогеном — это новая война, — приводят **«Известия»** слова военных. — Новая тактика боевиков не так уж нова. Они расходятся практически по местам постоянного жительства, а собираются вместе по сигналу для проведения конкретной операции.»

Газеты отмечают ту легкость и беспрепятственность, с которой боевики со взрывчаткой проникают к объектам терактов через десятки блокпостов. «Но это — лишь одна сторона контртеррористической операции, логику которой уже не может объяснить никто. Раньше генералы говорили о первом, втором ее этапах, а нынешний, похоже, перешел в бесконечную фазу. Минобороновские и милицейские военачальники морочат миллионам россиян головы то «окончанием военного этапа», то «передачей функций руководства» друг другу. А не за горами уже годовщина войны на Северном Кавказе, а с нею и почти 2,5 тысячи убитых солдат. Сейчас создалась ситуация, при которой противостоящие стороны с переменным успехом колошматят друг друга, и если учитывать огромную поддержку, которую отряды боевиков получают от местного населения, то такое враждебное «сожительство» может длиться не один десяток лет», — анализирует развитие войны **«Комсомольская правда»**.

Высказывается мнение и об искусственном затягивании войны руководством всех враждующих сторон. «Напряжение в республике в последние дни растет. Создается впечатление, что все стороны, участвующие в чеченском конфликте, именно этого и желают. По крайней мере, действия их объективно этому способствуют, — пишет **«Независимая газета»**. — Между тем судьба рядовых граждан, которые сыты этой войной и беспределом, ни политиков, ни генералов, ни лидеров совсем не волнует. Но как долго может выдержать эти нечеловеческие нагрузки население, оказавшееся между несколькими огнями? Даже у интеллигенции, не говоря об обывателях, голова кругом идет от непонятных шагов, которые предпринимают и Москва, и Гудермес, и ичкерийское руководство.»

В тот же день полномочный представитель президента в Совете Федерации Вячеслав Хижняков заявил о готовности президента Путина рассмотреть вопрос о Конституционном Собрании и принять решение по этому вопросу. Это заявление было расценено **«Известиями»** как свидетельство того, что Путин готовит страну к принятию новой Конституции, считая, что легче принять новую, чем переписывать старую: «Конституционное Собрание — единственный орган, имеющий право разрабатывать и выносить на всенародный референдум новый Основной закон страны. А в том, что без принятия новой Конституции не обойтись, убеждает вся путинская политика по укреплению вертикали власти» — поскольку ельцинская Конституция пока что резко ограничивает Путину свободу действий как по отношению ко всему обществу, так и при дележе реальной власти в самых верхах государственного руководства. С этой точки зрения, недавняя инициатива Путина изменением законодательства фактически принизить значимость такого конституционного органа как

Совет Федерации, убрав из него губернаторов — глав исполнительной власти субъектов федерации, может рассматриваться как один из способов придать уже и старой ельцинской Конституции реальное новое путинское значение на практике. В связи с этим **«Аргументы и факты»** приводят такую информацию: «По нашим сведениям, ряд влиятельных членов Совета Федерации, недовольных реформой органов государственной власти, хотят поставить вопрос о самороспуске верхней палаты. Россия окажется в самом тяжелом политическом кризисе со времен октября 1993 г. Федеральная власть будет полностью парализована, не будут приняты новые законы. (...) Без правового статуса окажется деятельность Вооруженных сил за пределами России.»

Пресса продолжать писать и о том, что уже принятый Госдумой, но отклоненный Советом Федерации закон об изменении формирования Совета Федерации создает больше проблем, чем разрешает. Он не усиливает, а ослабляет парламент, а значит и все государство. «Хорошо, что это сейчас осознается и в Государственной Думе, о чем свидетельствует предложение депутатов продолжить совместную работу над законом, образовав для этого согласительную комиссию», — комментирует **«Независимая газета»**.

8 ИЮЛЯ президент Путин обратился к Госдуме и Совету Федерации с посланием, в котором особое внимание прессы привлекла президентская фраза: «Какое общество, какая власть — такая у нас и журналистика.» В послании также декларировалось моральное право власти требовать соблюдения установленных государством норм и завлялось о том, что политика, построенная на основе открытых и честных отношений государства с обществом, должна стать базовым условием нового «общественного договора». **«Известия»** сообщают: «Несколько раз за 50 минут речи Путин «заводился»: на Чечне — когда говорил о том, что «государство является не федеративным, а централизованным» что «дети министров могут обойтись без детского пособия, а жены банкиров — без пособия по безработице»; что «журналистская свобода превратилась в лакомый кусочек для политиков и крупных финансовых групп». Все слова президента правильные, но газета подводит итог: «Если все, что говорил в своем послании Владимир Путин состоится, мы будем жить уже в другой стране.»

«Аргументы и факты» заостряют внимание на некоторых подробностях послания, особо неприятных для нынешнего премьера Касьянова: «Интересно, что в подготовке послания впервые практически не участвовало правительство. Экономическая часть целиком разрабатывалась либералами во главе с Илларионовым, являющимися сторонниками «жесткого прорыва» в экономике — в противовес премьеру, предпочитающему эволюционный подход к реформам. Наверняка по спине Касьянова пробежал неприятный холодок, когда президент заговорил о реструктуризации внешнего долга, которая, по словам Путина, только увеличила этот долг. Как известно, переговоры о реструктуризации вел лично премьер.»

В тот же день «Российская газета» опубликовала стенограмму проходившей в московской студии «Радио «Свобода» беседы с министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации Михаилом Лесиним.

Беседа касалась самых широких областей деятельности российских СМИ — от обсуждения на Западе свободы слова в России до экономической и юридической сторон редакционной деятельности. По поводу сегодняшней озабоченности Запада положением у нас со свободой печати, являющейся гарантией всех российских демократических свобод, Лесин заявил, что не видит причин говорить сегодня о какой-либо угрозе в России свободе слова. «Ситуация нормальная. Я не считаю её ни тяжелой, ни удручающей или заставляющей нас что-то серьезно менять в собственных действиях, в законодательстве или в действиях министерства. Я думаю, что пройдет время и ситуация успокоится.» Но при этом министр высказал такой взгляд на историю последнего десятилетия: «В течении этих десяти лет у государства, у власти исполнительной и законодательной была два инструмента для формирования общественного мнения, два мощнейших рычага — бюджет и средства массовой информации. По адекватности воздействия и тот, и другой рычаги примерно были одинаково мощные: нажимаешь и формируешь. И доход большинства средств массовой информации состоял из политических бюджетов, из бюджетов лоббирования, из бюджетов выборов, а не реального бизнеса.» Особенностью положения последнего времени стало то, что «всё перевернулось», а между тем СМИ не успевают за этой ситуацией «и инструменты перестают работать так, как они раньше работали.» Чем правительство, декларирующее свободу слова, должно, надо полагать, озаботиться — дабы по-прежнему можно было «нажимать» и «формировать»

11 ИЮЛЯ налоговые и силовые службы в Москве нагрянули сразу в три экономических гиганта — «Газпром», «Лукойл» и «Медиа-Мост», что было расценено не просто как совпадение. Тем более, что за день до этого в Екатеринбурге был убит гендиректор одного из крупнейших предприятий в стране, «Уралмаша», Олег Белоненко. «Известия» анализируют ситуацию: «Природа последних громких инцидентов у всех разная. В одних случаях — неуклюжие попытки научить не кусать руку, с которой кормишься. В других — оговор, в третьих — циничное желание переделить собственность, воспользовавшись ситуацией. Но ключевой момент тут — общая ситуация. Бизнес эту ситуацию, кстати, во многом сам и создал. К 1996 году, переделав почти все, предприниматели вместо того, чтобы требовать тогда от государства формирования инфраструктурных общественных институтов, в которых они могли бы выяснять свои и с государством отношения (суды, арбитраж, профсоюзы, партии и т.д.), занялись внутренними разборками. Теперь «цепь великая» бьет по ним же: каждый борется со «своим следователем» в одиночку. Причем в условиях, когда сверху Кремль пытается задать некоторые новые правила, а старые приемы уже не действуют.»

Борьба предпринимателей между собой и государством началась у нас с началом бизнеса. Но каждое время имеет свои отличия, только ему присущие. «Ныне, например, переводение конфликта в публичную плоскость или на международный уровень вообще не пугает Власть. Перевести же конфликт в сугубо правовую плоскость пока не удается. Плоскость эта призрачна, а следователи с

прокурорами, увы, не выглядят неподкупными. А правовое поле у нас столь широко, что по нему можно зайти очень далеко», — отмечают **«Известия»**.

В тот же день в Думе начала работать согласительная комиссия по принятию закона «О принципах формирования Совета Федерации», который лишает глав исполнительной и законодательной власти субъектов РФ возможности быть членами Совета Федерации, вследствие чего сенаторы всеми силами противятся принятию закона. Не удивительно поэтому, что работа комиссии началась со скандала. **«Известия»** приводят подробности: «Сначала сенаторы на своем заседании наложили на закон вето и принципиально отказались создавать согласительную комиссию. На следующем заседании они почти также уверенно проголосовали за созданием комиссии, посчитав это предложение дружеским жестом Думы. После этого, вроде бы, согласившись на компромисс, Совет Федерации прислал думцам свои «возражения» к закону, которые сводят на нет необходимость работы комиссии как таковой.»

Пресса пишет про подковерную борьбу вокруг президентских законопроектов, внесенных в последнее время в Госдуму в связи с курсом Путина на укрепление вертикали власти. **«Аргументы и факты»** комментируют: «По нашим сведениям, несколько десятков губернаторов отдали распоряжения подконтрольным местным законодателям направить в Думу отрицательное заключение на документы Кремля. Большой проблемой для Кремля оказался и Е.С. Строев. Его называют одним из самых ярых противников переустройства Совета Федерации, поскольку в этом случае он теряет пост номер три в государстве. Неудивительно, что Егор Семенович так рвался на встречу с Путиным, чтобы донести до президента недовольство верхней палаты.» Газета также приводит данные о контрмерах Путину со стороны некоторых депутатских объединений в Думе: «Нам стало известно, что в недрах Госдумы на все это готовится «симметричный ответ». Так, фракция ОВР сочинила законопроект под названием «Об администрации Президента РФ». По мнению руководства фракции, сегодня кремлевский аппарат подменил собой и правительство, и парламент, и судебную власть. Поэтому в законе должны быть четко прописаны функции администрации — что ей можно и чего нельзя. В том же документе будет зафиксирован и статус главы администрации и его замов относительно статуса руководителей других ветвей власти.»

Газеты обращают внимание на то, что президентская линия на укрепление вертикали власти чревата негативными последствиями и еще большей децентрализацией государственного устройства. **«Независимая газета»** выражает опасение, что «в очередной раз в нашей истории мы пойдем методом дорогостоящих проб и труднопоправимых ошибок, что впопыхах проскочим грань, за которой кончается необходимая консолидация Федерации и начинается возврат к унитаризму, кончается усиление властной вертикали и дисциплины и начинается демонтаж парламентаризма и демократии.»

12 ИЮЛЯ продолжилась «облава» правоохранительных органов на крупнейшие российские компании. Директор Федеральной службы налоговой полиции Вячеслав Салтаганов заявил, что 7 июля налоговой полицией возбуж-

дено уголовное дело в отношении АО «АвтоВАЗ». Руководство крупнейшего автозавода подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах. Газеты отмечают, что подобные широкомасштабные операции правоохранительных органов пока еще приводили лишь к переделу сфер влияния между преступными группировками. В нашем демократическом обществе с первого взгляда все просто и понятно, но стоит копнуть поглубже — и начинают проявляться совсем непонятные вещи, трудно совместимые с демократией.

«Известия» предупреждают, что «богатырский замах» Генпрокуратуры в очередной раз может закончиться пшиком. Ведь помимо всего прочего попытка решить проблему криминализации «АвтоВАЗа» обязательно натолкнется на так называемое «крышевание» — проще говоря, коррупцию местной милиции, которая в той или иной форме поддерживает жизнеспособность выявленной налоговыми полическими схемы. Готова ли Генпрокуратура на открытый конфликт с МВД, и, в свою очередь, готово ли МВД к самоочищению и неизбежным потерям в репутации? По данным «Известий», силовые ведомства в данный момент уже согласовали с Кремлем глобальный план по замене бандитских «крыш» на силовые на ведущих российских предприятиях через различные фонды поддержки правоохранительных органов, который частично излагается в программе декриминализации экономики России, предложенной ГУБЭП МВД РФ.»

Газеты прямо говорят о том, что Кремль решил «подмять» крупных финансистов, начав против них войну. «Возбудив уголовное дело против «ЛУКОЙЛа» сотрудники Федеральной службы налоговой полиции пообещали не останавливаться на достигнутом. Более того, во вторник вечером в новостях 1-го государственного телеканала (!) прозвучал своеобразный анонс: мол, правоохранительные органы заявляют, что завтра будут трясти очередного олигарха, и вы его хорошо знаете. Остается лишь догадываться, как после этого спалось «трусоватым», как выразился первый замглавы президентской администрации В. Сурков, финансовым магнатам», — пишет **«Комсомольская правда»**, добавляя: «И власти не обманули население. Вчера, как и обещали, взяли за «АвтоВАЗ»»

В тот же день с космодрома «Байконур» стартовал в космос модуль под рабочим именем «Звезда», который был построен целиком на российские деньги и является так называемым служебным сегментом, превращающим комплекс, который создают на околоземной орбите 16 стран, в обитаемое для космонавтов жилище. **«Известия»** задаются вопросом: «Хватит у России сил на обслуживание и собственной станции «Мир», и станции международной? Директор Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев отвечает так: «К «Миру» относимся хорошо. К международной станции — еще лучше. Главная космическая ставка России — на международную станцию. После стыковки со «Звездой» партнеры договорятся и дадут ей имя.» Финансовая помощь России может быть оказана только со стороны других стран, участвующих в международном проекте.

В тот же день коллегия Министерства обороны РФ, обсудив вопрос о дальнейшей судьбе Ракетных войск стратегического назначения. Этот вопрос

связывают с попытками Генерального штаба в лице его начальника Анатолия Квашнина обречь РВСН на вымирание как вид войск в ходе внутриведомственной борьбы в Минобороны РФ с министром обороны маршалом Сергеевым — выходцем из ракетных войск и бывшим их главкомом. Ликвидация РВСН как самостоятельного вида Вооруженных Сил РФ отложена на неопределенный срок. «Освободившиеся в результате секвестра РВСН средства Генштаб предложил бросить на увядающие силы общего назначения (главным образом сухопутные войска)», — комментируют «Известия». Но все не так просто: «Выступивший на коллегии министр обороны маршал Игорь Сергеев сразу же дал понять, что позиция начальника Генштаба ему не близка. Маршал однозначно заявил, что «на данном этапе будет сохранена существующая структура видов Вооруженных Сил.»

13 ИЮЛЯ президент Путин дал пространное интервью газете «Известия», в котором заявил, что власть в России должна быть результативной, а значит сильной, иначе она не власть, а издевательство над народом. Но поскольку у сильной власти есть и обратная сторона и она своей силой может подавлять общество, то Путин высказался так: «Если я увижу, что органы правопорядка в силу профессиональных, кастовых или иных интересов добиваются положительного с их точки зрения результата, но результата, который наносит вред тем задачам, которые государство перед собой ставит в сфере экономике или развития институтов демократии, то я буду стараться всеми силами изменить ситуацию. Но повторяю — действовать я себя считаю вправе только в рамках конституционного поля.» Весь смысл интервью можно свести к заверению: «Россия не должна быть и не будет полицейским государством.»

Газета приводит слова Путина относительно одного из главных итогов последнего общественно-политического развития страны: «В результате того, что власть сама себя парализовала внутренними противоречиями, мы получили, наверное, самое свободное общество — к сожалению, свободное даже от закона, порядка и морали.» Особый интерес заслуживает отношение президента к средствам массовой информации: «Я считаю, что если государство хочет, чтобы СМИ были действительно независимым, демократическим инструментом развития общества, то оно должно дать определенные преференции этому сегменту рынка. Сегодня мы видим, что это не такой уж прибыльный бизнес.» Президент РФ не стал подробно вдаваться в объяснения, какой результат могут дать льготы и все прочие «преференции» средствам массовой информации в государстве, главой которого он является и в котором, по его словам, власть парализовала сама себя, полным ходом идет внутреннее разложение власти со всеми последствиями. При нынешнем государственном устройстве любой бизнес — от импорта нефти до издания газет и журналов — будет или честным, но нищим, или богатым, но нелегальным.

14 ИЮЛЯ во французском порту Брест российский парусник «Седов», который должен был участвовать в международном морском празднике, был арестован французскими властями в связи с иском к правительству России швей-

царской фирмы «Нога», утверждающей, что Москва ей должна 60 миллионов долларов. Появились сообщения, что по этому иску подверглись или могут подвергнуться аресту привезенные из России произведения искусства, экспонирующиеся во Франции. Газеты пишут, что российские власти, увлекшись войной с олигархами дома, проглядели серьезную международную проблему, которая может повлечь серьезные убытки казне, падение международного престижа России в глазах цивилизованных стран, да и неприятности простым российским гражданам, находящимся за рубежом. **«Известия»** высвечивают проблему: «Так или иначе, но трудно отделаться от досады на самих себя. Сначала российская власть в лице правительства заключает сомнительные контракты с частной фирмой, гарантируя оплату ее поставок собственностью Российской Федерации. Теперь другая власть — в лице все того же правительства, но уже в другом кадровом составе — не в состоянии защитить свою собственность от посягательств. Бороться во внесудебной форме политической компании против собственного бизнеса действительно легче.»

Пресса отмечает, что у этой скандальной сделки немало скрытых сторон, напрямую затрагивающих интересы российского государственного руководства. «Нас уже не удивляют ни банковские счета высших чиновников, ни квартиры прокуроров, ни регулярно меняющиеся очередные хозяева России. Странно другое. Почему скандал с «Ногой» на протяжении почти пяти лет не интересовал ни правительство, ни Генпрокуратуру, ни ФСБ: ведь там «зависли» сотни миллионов долларов, принадлежащих России, — ставит вопросы **«Новая газета»**. — А может быть потому, что к этой истории приложили руки весьма высокопоставленные чиновники? Причем все они сейчас находятся по разные стороны баррикад, и ворошить старое никому сейчас нет интереса. Вероятно, ведущие деятели правительства прошлых лет настолько завязли в этом деле всем дружным коллективом, что и сейчас никто даже и не пытается использовать данные об аванюре с «Ногой» в качестве предвыборного компромата. Слишком все перемешано и завязано в крепкие морские узлы.»

В тот же день президент Путин впервые высказал публично свое отношение к борьбе в Министерстве обороны РФ между министром маршалом Сергеевым и начальником Генштаба генералом Квашниным. Эту борьбу Путин назвал «разговором военных специалистов» и создал комиссию для того, чтобы во всем разобраться. Поводом послужило обращение к президенту генерала Квашнина с предложением о необходимости значительного сокращения РВСН. «Но уже сегодня очевидно, что инициатива Квашнина, через голову министра обороны обратившегося к главе государства, не только расколола руководство военного министерства, но и дала трещину всей армейской вертикали. «Разговор военных специалистов» зашел слишком далеко. И без третейского судьи в лице президента тут не разобраться», — комментируют **«Известия»**.

Быть или не быть РВСН как отдельному виду Вооруженных сил России — это вопрос не только подкованной борьбы за лидерство в Министерстве обороны между министром Сергеевым и одним из его заместителей начальником Генштаба Квашниным. Чиновники всегда враждуют между собой за кресла, власть и влияние. И даже не борьба тех очень широких групп в офицерском составе

армии, которые соответственно олицетворяют ракетчик Сергеев и танкист Квашнин. У этого конфликта имеются гораздо более глубинные социально-экономические, внутри- и внешнеполитические корни. Нищая Россия по чисто экономическим причинам уже не может одновременно содержать и ракетные, и сухопутные войска. Перед высшим военно-политическим руководством государства Российского вопрос стоит действительно гамлетовский. С Россией на международной арене пока еще считаются во многом благодаря ее ракетно-ядерной «дубине», урезание которой необходимо повлечет серьезные внешнеполитические последствия. С другой стороны, уже после первой чеченской войны всем стало ясно, что без сухопутных войск территориальную целостность единого государства не удержать — не наносить же ракетно-ядерные удары по отдельным субъектам Федерации, стремящимся от Кремля отделиться?! На органы и войска МВД в таком вопросе тоже надежда не очень большая.

Поэтому еще в начале первой чеченской войны Кремлем была произведена переориентация приоритетов в структуре силовых ведомств. О чем, в частности, свидетельствует создание в начале 95-го ФСБ взамен ФСК со значительным расширением полномочий, в том числе с приданием ФСБ следственных функций. У нас совершенно справедливо в военных кругах глубоко укоренилось мнение, что российские Воздушно-десантные войска от полного расформирования спасла война в Чечне 94-96 годов. Еще более это справедливо относительно морской пехоты ВМФ, которая в той войне показала, что она воевать умеет, хотя по некоторым данным вопрос о ее расформировании к началу войны был в принципе решен. Эта очень серьезная глубинная проблема власти и нашла свое внешнее проявление в делящейся уже не первый год вражде двух больших военных начальников в министерстве обороны. Будет ли единая Россия оттерта в международных отношениях на самый задний план, или распадется (фактически или юридически) на многочисленные отдельные государственные образования под руководством региональных элит — разница для Кремля не очень большая. Любой из этих вариантов в недалеком будущем грозит политическим крахом федеральному центру.

Но здесь есть еще одна проблема — армия, достаточно сильная для того, чтобы легко гарантировать территориальную целостность России, сама представляет смертельную опасность для Кремля и всего существующего политического режима. В армии ненавидят и нынешнюю власть, и всю систему органов и войск МВД, исключительно на которых эта власть держится. Это наглядно продемонстрировала первая чеченская война, когда под видом боевых действий против дудаевцев «под шумок» происходили вооруженные столкновения между подразделениями Минобороны и МВД — на войну можно списать многое. Сильная армия способна совершить военный переворот, и в этом найдет горячую поддержку со стороны широчайших слоев населения. Давно известный коммунистический лозунг «Народ и армия — едины» в современных условиях наполняется новым реальным содержанием. И тогда уже перед кремлевским руководством всерьез встанет проблема не авторитета России на международной арене и не ее территориальной целостности, а собственного физического выживания.

15 ИЮЛЯ президент Путин подписал Игорю Шабдурасулову заявление об отставке с поста первого заместителя главы президентской администрации. Отставку связывают с тем, что Шабдурасулов теперь намерен заниматься созданием медиа-холдинга из СМИ, подконтрольных Березовскому. Как пишут **«Известия»**: «По словам Шабдурасулова, после ухода с государственной службы он намерен заняться созданием нового крупного медиа-холдинга. Работа только начинается, сказал Шабдурасулов, и предполагается, что на первом этапе в переговорах о создании холдинга будут участвовать ОРТ, ТВ-6, «Независимая газета», «Коммерсант», «Новые известия», «Огонек» и «Наше радио». Шабдурасулов сообщил, что предложение провести эти переговоры и возглавить новую медиа-империю ему сделали «акционеры этих СМИ, в числе которых и известный предприниматель, депутат Госдумы Борис Березовский». Далее газета обращает внимание: «Медиа-империя Березовского существует уже пять лет и всегда была надежным орудием политических игр Бориса Абрамовича. Влияние главной жемчужины «СМИ Березовского» — единственного по настоящему общенационального телеканала ОРТ — не сравнимо ни с одним другим СМИ страны. ОРТ в одиночку способно переиграть чуть ли не все остальные российские СМИ, вместе взятые, не говоря уже о конкурирующей медиа-империи Гусинского (что и было прекрасно продемонстрировано на последних парламентских и президентских выборах)».

16 ИЮЛЯ война генералов в российском министерстве обороны из-за ракетных войск начинает приобретать все большее политическое значение. Президент вызвал на свою дачу в Сочи министра обороны Игоря Сергеева и начальника генштаба Анатолия Квашнина. «Ситуация вокруг ракетных войск беспрецедентна. Дело даже не в том, что впервые за всю историю Российского государства конфликт внутри генералитета стал достоянием мировой общественности. Речь ведь идет о самом страшном оружии, которое на данный момент есть у человечества, и о принципах ядерного сдерживания — основы глобального мироустройства (как бы ужасно это ни звучало), — пишут **«Известия»**. — Судьба Ракетных войск стратегического назначения — вопрос не сугубо внутриведомственный и узкопрофессиональный. Стратегические вооружения — больше политика, чем собственно армия. А следовательно, и заниматься этим должны политики.»

В тот же день Госдума одобрила новую, согласованную с губернаторами редакцию Федерального закона «О формировании Совета Федерации» и одновременно преодолела вето сенаторов на другой закон, касающийся отстранения от власти глав исполнительной и законодательной власти субъектов федерации. Свою главную роль в этом сыграл «административный ресурс». **«Известия»** описывают события так: «Многое во вчерашнем заседании палаты было предreshено. В корридорах Думы был замечен первый замглавы администрации президента Владислав Сурков. В прошлый раз его приезд в Думу пришелся akurat на время решающего заседания согласительной комиссии по закону. Полчаса консультаций с членами комиссии от Думы и Совета Федерации — и вопрос был решен. Вчера Сурков также был окружен членами

палаты. В итоге голосование по двум краеугольным в региональной реформе законам прошло гладко.»

Кроме закона о изменении состава Совета Федерации, рассматривался и второй закон из «регионального пакета» Путина, который прошел вместе с первым. По мнению **«Известий»**, именно вокруг него развернулась главная интрига: «Думцы прекрасно понимают, что именно так не понравилось в законе сенаторам. Речь идет даже не о самом факте возможного отзыва избранных представителей власти в регионах, а о процедуре отстранения. Имеется ввиду совершенно новая роль Генеральной прокуратуры России — ведь отстранение губернатора предполагается производить по запросу генпрокурора. Особенно много и горячо на эту тему говорил президент Чувашии Николай Федоров: «Очень опасна политика, когда в России с одобрения Государственной думы начинается подавление прав и свобод человека. Суд может вершиться только в суде а не в кабинете генпрокурора.» Принятием этих двух президентских законов положено законодательное начало президентской политике по укреплению вертикали власти, когда «региональные бароны», обладающие сравнительно большой самостоятельностью и независимостью от федерального центра, должны быть превращены в обыкновенных послушных чиновников, которых президент в любой момент может «уволить». Если они и избраны на выборах, то это в принципе многого не меняет — их можно снять с должности через суд по представлению прокуратуры.»

В тот же день Борис Березовский заявил о сложении с себя полномочий депутата Госдумы, мотивировав свой шаг тем, что «не хочет участвовать в установлении авторитарного режима и в развале России». Высказываются мнения, что Березовский решил сменить роль приближенного, имевшего когда-то почти неограниченный доступ «к телу», на роль непримиримого оппозиционера. Такой шаг Березовского многие расценили как отставку «серого кардинала» ельцинской эпохи. **«Известия»** приводят причины отставки со слов самого Березовского: «Их три. Первая (и главная) — он категорический противник реформы власти, начатой Владимиром Путиным. «Дума превратилась в юридический отдел Кремля, который послушно штампует его решения — сказал Березовский — я не могу быть марионеткой и ежедневно участвовать в спектакле, который мне не нравится. Ни по одному важному вопросу я до власти достучаться не могу.» В числе других причин названы бездеятельность власти по урегулированию положения в Карачаево-Черкессии (от которой Березовский избран депутатом) и идущую в стране кампанию по уничтожению крупного самостоятельного бизнеса.»

Но все опять не так просто. Поскольку Борис Абрамович хорошо известен как человек, блестяще умеющий маскировать подлинные мотивы своих действий, то к высказанным им публично причинам относятся очень критически. **«Известия»** вскрывают еще одну, более вероятную причину: «Березовский не хочет мириться с потерей влияния на Кремль и делает все для того, чтобы сплотить недовольных Путиным олигархов и региональных баронов.»

Пресса отмечает, что Березовский объявил о своем намерении уйти в публичную политику с одновременным сложением с себя полномочий депутата.

«По слухам, перед столь экстравагантным шагом Березовский консультировался с некоторыми олигархами и они благословили его на роль «публичного рупора антипутинской оппозиции». Похоже, идея понравилась и Егору Строеву. Он будто бы обещал Борису Абрамовичу всяческую поддержку в его предстоящих поездках по российским регионам, — пишут **«Аргументы и факты»**. — При всей пафосности аргументации Березовского о гибельности для России политики Путина, в первую очередь он думает о себе. Как всегда. Предчувствуя большой интерес органов к собственной персоне, Березовский «выстрелил» первым, провозгласив себя главным политическим критиком президента. Сейчас его гораздо труднее обвинить в экономических или уголовных преступлениях, если таковые имелись.»

17 ИЮЛЯ президент Путин в Пекине вел переговоры с председателем КНР Цзян Цземинем. В качестве основных тем переговоров были геополитика, военно-техническое сотрудничество, а также российско-китайские внешнеэкономические связи. «Взгляды России и КНР совпали в части развертывания американцами системы общенациональной противоракетной обороны. Обе страны — против, что было зафиксировано в подписанном совместном заявлении. И по отношению к Тайваню («никаких двух Китаев»). Китайцы отвечают пониманием наших действий в Чечне. Понимание подкрепляется контрактами на поставку в Китай российской военной техники, суммы которых ежегодно оцениваются почти в два миллиарда долларов — около четверти всего торгового оборота России и Китая, — описывают результаты переговоров **«Известия»**. — С позиций китайской философии суть отношений выразил Цзян Цземинь, заметив, что «близкий сосед лучше дальнего родственника.»

В тот же день в Чечне вылилась наружу грызня в новом чеченском руководстве, назначенном федеральным центром. Поводом к этому послужило увольнение главой администрации Чечни Ахмадом Кадыровым нескольких глав районных администраций. Все уволенные были людьми Беслана Гантемирова, занимающего должность первого заместителя Кадырова. «А чего, собственно говоря, ожидали? Этот конфликт был запрограммирован всеми последними действиями федеральной власти в Чечне. Гантемиров и Кадыров — естественные антагонисты, каждый из которых пытается по своему повлиять на позицию федеральных властей в республике. Каждый из них претендует на единоличную власть в Чечне. На контроль за бюджетными средствами и официальной чеченской милицией, за доступ в Кремль, в конце концов, — анализируют **«Известия»**. — Попытки найти искренних союзников в Чечне обречены на провал — эти люди сотрудничают с федеральными властями исключительно по своим собственным, порой сугубо личным причинам. Эффективное управление (а именно такую цель преследует создание администрации Чеченской Республики параллельно с военными властями) в такой ситуации просто невозможно.

19 ИЮЛЯ закончилась проходившая в Элиттсбурге близ Балтимора (США) восьмая сессия официального диалога между Православной и Римско-Католической Церквями. Встреча проходила в обстановке повышенной секретно-

сти, журналисты на нее допущены не были. После ее окончания в некоторых средствах массовой информации появились сенсационные сообщения о том, что диалог закончился едва ли не разрывом между двумя Церквями. Глава делегации РПЦ, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата игумен Иларион (Алфеев) ответил на вопросы корреспондента «Независимой газеты»: «Балтиморская встреча была первым пленарным заседанием комиссии после семилетнего перерыва. Предыдущие встречи состоялись в Фрайзинге в 1990 году и в Баламанде в 1993 году. Обе были посвящены теме унии — наиболее болезненной теме, которая встала с особенной остротой в конце восьмидесятых — начале девяностых годов в связи с возрождением униатских структур на Западной Украине, в Румынии, Польше и некоторых других регионах. Во Фрайзинге и Баламанде были подписаны совместные документы, в которых уния признавалась неприемлемой.»

В интервью подчеркивается, что расхождения в позициях по униатскому вопросу между церквями не уменьшается, а увеличивается. Но тем не менее это еще не означает отказа от диалога. Газете был дан и ответ на вопрос о перспективах встречи между Патриархом Московским и Папой Римским: «Такая встреча давно планируется, и от ее идеи никто не отказывается. Но мне вспоминается недавний визит кардинала Кассиди в Москву и его беседа со Святейшим Патриархом Алексием. Когда была затронута тема возможной встречи, Святейший сказал: «Давайте подождем, что решит Балтимор.» К сожалению, Балтимор ничего не решил. Но что бы ни происходило на межправославно-католическом уровне, мы будем продолжать наш двусторонний диалог, т.е. диалог между Русской и Римской Церквями. И как только будет достигнут прорыв в теме униатства или хотя бы будут найдены реальные рычаги воздействия на межконфессиональную ситуацию на Западной Украине, такая встреча может состояться. Это будет историческая встреча, и потому она должна быть хорошо подготовлена.»

21 ИЮЛЯ в Нальчике состоялась встреча полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, бывшего командующего объединенной группировкой российских войск на Северном Кавказе Виктора Казанцева с главой временной администрации Чечни Ахмадом Кадыровым и его первым заместителем Бесланом Гантемировым. Казанцев пытался разрешить конфликт между двумя чеченскими руководителями, обострившийся после увольнения Кадыровым нескольких людей Гантемирова с постов глав районных администраций. После встречи Виктор Казанцев заявил журналистам, что конфликт исчерпан, так как ему удалось найти веские аргументы и убедить Кадырова и Гантемирова продолжить совместную работу «во имя благополучия чеченского народа и мира в республике.» Что это за аргументы, журналистам пояснено не было, но мало у кого остались сомнения в том, что внутри-аппаратный конфликт в чеченском руководстве не разрешен и не закончен, а только загнан вглубь после недавнего открытого вооруженного противостояния сторонников двух враждующих руководителей, когда дело чуть не дошло до стрельбы.

«**Известия**» описывают сложность положения: «Тем не менее ситуация не стала проще и управляемее. Личный друг Гантемирова и мэр Грозного Сутьян Мохачев продолжает выражать недовольство кадровой политикой Ахмада Кадырова. Не раз находившийся на волосок от гибели Мохачев фактически обвиняет Кадырова в организации ползучего переворота, в ходе которого на руководящих постах оказываются масхадовцы. При этом, если вспомнить недавнее заявление Кадырова о том, что чеченскую милицию следует увеличить в четыре раза, можно говорить об определенном резоне в заявлениях и даже обвинениях грозненского мэра. Ведь не только в Чечне, но и далеко за ее пределами известно, что именно Ахмад-хаджи Кадыров объявил джихад России и практически всю «первую чеченскую» был в стане сепаратистов. И в случае, если обвинения Мохачева (и целого ряда не только районных руководителей, но и простых чеченцев) подтвердятся, придется признать, что конфликт Кадыров — Гантемиров был изначально запрограммирован кадровой политикой федерального центра.»

23 ИЮЛЯ на японском острове Окинава происходила встреча лидеров «большой восьмерки», на которой Россию представлял президент Владимир Путин. Пресса отмечает, что встреча была очень удачной для Путина не только из-за того, что его хвалили западные коллеги — это случалось и раньше. Главное отличие в том, что Путина хвалила и обычно недолюбливавшая его западная пресса. Потому, по общему мнению, российский президент на встрече выглядел как именинник. По сообщению «**Известий**»: «Одной из самых популярных тем на Окинаве было сравнение нового российского лидера с его предшественником Борисом Ельциным. На предыдущих саммитах «восьмерки» первый президент России был «колоритным, но болезненным и часто рассеянным...» В обсуждении большинства мировых проблем он почти не принимал участия — только слушал. Путин, по наблюдению западных журналистов, показал себя не в пример более активным, мало какая дискуссия обходилась без его реплик. «Прежде Россия на подобных форумах воспринималась как гость. Сегодня она стала полноценной участницей «восьмерки» — резюмировал председатель Еврокомиссии Романо Проди. Главной удачей Путина, по единодушному мнению, стал его отчет коллегам о визите в Пхеньян.»

В качестве благожелательного отзыва западной прессы о международной политике нынешнего российского руководства газета приводит также комментарий агентства «Рейтер»: «Россия готова взять на себя роль честного посредника между обедневшим тоталитарным государством и окружающим миром. При этом министр иностранных дел Игорь Иванов заявляет: «Москва не хочет монополизировать контакты восьмерки с Северной Кореей.» Тем самым он дает понять, что Россия сегодня — хороший командный игрок.»

25 ИЮЛЯ Беслан Гантемиров проводил демонстративную сдачу оружия чеченской милиции в Грозном. Это сразу расценили как попытку создать видимость своего примирения с главой администрации Чечни Ахмадом Кадыровым. Пресса отмечает, что такого примирения на самом деле не произошло

и не могло произойти, так как конфликт в первую очередь носит религиозно-клановый характер, в чем мало разбирались те руководящие работники федеральной власти, которые назначали Кадырова и Гантемирова на должности главы чеченской администрации и его первого заместителя.

«Изначально назначение Ахмад-хаджи Кадырова преследовало исключительно политические цели. Предполагалось, что бывший муфтий, ненавидящий ваххабитов, представляющих угрозу его личной власти, будет горой стоять за российскую поддержку. При этом Кадырову амнистировались его прежние грехи — и участие в первой чеченской войне, и объявление джихада России, и призывы убивать русских, где бы моджахед с ними не столкнулся... Все это оказалось в прошлом — внешне представительный и влиятельный в одном отдельно взятом (в прямом смысле этого слова) Гудермесе Кадыров удивительно успешно пролоббировал сам себя, в какой-то момент отрекшись даже от своих ближайших соратников — братьев Ямадаевых, — анализируют ситуацию **«Известия»**. — Гантемиров — совсем другая история. Его лоббировали совсем другие люди и совсем другие слои населения Чечни полагают его своим защитником и избавителем. И Кадыров, и Гантемиров далеко не первые лица во внутренней иерархии религиозно-клановых структур, к которым они принадлежат. Они представляют два враждующих между собой суфийских братства (ордена), доминирующих в Чечне со времен шейха Мансура и имама Шамиля.» По мнению газеты, конфликт между Кадыровым и Гантемировым не решаем теми методами, которыми федеральный центр пытается умиротворить все население Чечни, а никаких новых, свежих методов у федеральной власти нет.

28 ИЮЛЯ в Кремле состоялась встреча президента Путина с капитанами российского бизнеса. Газеты отмечают явную скованность финансовых магнатов. «Напряглись олигархи не зря, поскольку их жалобы и монологи в Кремле выслушивать никто не собирался. Президент сразу расставил акценты беседы, озадачив собравшихся жесткой повесткой заседания, — рассказывает **«Независимая газета»**. — Здесь президент снова напряг и без того удивленных визитеров, заявив собравшимся, что «это государство вы сами и формировали во многом, кстати, через подконтрольные вам структуры, поэтому меньше всего надо пенять на зеркало». А обсуждать нужно, что «делать, чтобы отношения были деловыми и демократическими». Для такого обсуждения каждому бизнесмену выделили по 7 минут.»

После встречи и у олигархов, и у многих других осталось много вопросов к президенту. **«Независимая газета»** комментирует: «И главным из них стало, пожалуй, практическое воплощение тезиса о равноудаленности. По крайней мере на вчерашний вечер власть отдала от себя Бориса Березовского, Романа Абрамовича, Анатолия Чубайса, который предпочел встрече в Кремле дела в Финляндии, и Владимира Гусинского, уехавшего отдыхать от этой власти в Испанию, на довольно-таки длинную дистанцию.»

31 ИЮЛЯ получил новое продолжение конфликт между министром обороны Игорем Сергеевым и начальником Генштаба Анатолием Квашниным. Пре-

зидентом Путиным уволены в отставку ряд генералов, занимавших высокие должности в руководстве Вооруженных Сил РФ. По информации из Кремлевских источников, увольнение десяти высших руководителей Министерства обороны представляет собой всего-навсего лишь плановую ротацию кадров, к тому же часть отставников ушла по возрасту. Тем не менее некоторые стороны кадровой перетряски вызвали пристальное внимание прессы. «Но та таинственность, в которой готовился президентский указ, и то, что до сих пор нет официального подтверждения самого факта его существования, наводит на мысль, что чистка имеет отношение к конфликту между начальником Генерального штаба генералом армии Анатолием Квашниным и министром обороны маршалом Игорем Сергеевым. Все уволенные генералы работали в министерстве обороны, а Генштаб не потерял ни одного человека», — подмечают «Известия», комментируя увольнения, которые по некоторым данным произошли из-за несогласия уволенных с Генштабом по вопросу реформирования вооруженных сил.

Анализируя кадровую перетряску в армейском руководстве, газета вскрывает ее причины: «Столь массовая чистка «людей Сергеева» подтверждает информацию о том, что в конфликте двух военных руководителей Владимир Путин сделал ставку на Анатолия Квашнина. Амбициозный начальник Генштаба, не сумевший дожать Игоря Сергеева через реформу-уничтожение Ракетных войск стратегического назначения (родных министру-маршалу), теперь пытается расчистить подход к министерскому креслу, убирая близких к министру людей. Анатолий Квашнин сейчас, наверное, уверен, что от министерского портфеля его отделяет полшага.»

«В числе неназванных пока, но уволенных уже генералов, говорят, есть и такие, которые сами ушли из армии из-за принципиальных разногласий с руководством МО и ГШ во взглядах на дальнейшее реформирование армии. По этой причине, замечают в кремлевской администрации, уже в ближайшее время ожидается появление новых указов президента об увольнении и назначении генералов Минобороны и Генштаба. Не исключено, что это коснется и «очень высоких персон», сдержанно прогнозирует «Комсомольская правда». — Сергееву, про которого когда-то говорили, что он может пролететь на ракете «Тополь — М» в игольное ушко власти, президент уже второй раз продлевает возрастной срок службы в армии. Но по кабинетам Минобороны давно ходит слух о том, что «папа спекся» и третьего срока может не быть.»

Впрочем, вывод о скорой и неизбежной отставке маршала Сергеева с поста министра обороны может быть несколько преждевременен по причине кремлевского механизма «сдержек и противовесов». Ещё неизвестно, отдаст ли президент всю военную власть в государстве танкисту Квашнину и его команде выходцев из сухопутных войск, нарушив тем самым баланс в военнополитическом руководстве. Что чревато для Кремля всякими неожиданностями — типа военного переворота.

Газеты отмечают, что война в верхах военного руководства обострилась во время настоящей войны в Чечне, и, само собой, от междоусобицы генералов солдату ждать хорошего вряд ли стоит. «В пылу кабинетных сражений забыва-

ют проблемы тех, кто в это время находится в войсках: просто на первое место выходят цели и задачи, имеющие мало общего с реальными армейскими проблемами. Даже такими простыми, как подвоз воды на позиции или обеспечение находящихся на передовой подразделений приборами ночного видения. Ту же самую «Черную акулу» бойцы в Чечне ждут с зимы. А эта хищница появляется только на авиасалонах и на экранах телевизоров», — пишут **«Известия»**. И задаются вопросом: «Может ли государство, ведущее контртеррористическую операцию (вообще-то войну), позволять себе ведомственные перестрелки в министерстве обороны?»

2 АВГУСТА на день десантника президент Путин прибыл в 76-ю Псковскую дивизию ВДВ, печально знаменитую тем, что недавно в Чечне почти в полном составе погибло одно из входящих в дивизию подразделений. Пресса отметила в этом визите один очень необычный момент.

«Под тягостно-траурные звуки марша президент, преклонив колено, возложил венок из красно-белых гвоздик к основанию будущего памятника героям-десантникам. 6-я парашютно-десантная рота 104-го сводного полка погибла в Аргунском ущелье — из 90 человек в живых осталось лишь четверо..., — напоминает **«Комсомольская правда»**. — А потом президент сказал то, чего мы никогда не слышали от вождей. Впервые за десять лет беспринципной и бестолковой политики на Северном Кавказе Путин открыто признал вину Кремля за грубые просчеты, которые приходится оплачивать жизнями русских солдат. И публично покаялся перед людьми. В том числе перед пришедшими на митинг родителями, детьми, женами павших. И хотя была негласная установка крепиться, слезы брызнули из женских глаз, не выдержали и некоторые отцы, крепкие русские мужики.» Впрочем, дальше все шло по обычному накатанному сценарию приезда высоких гостей. Публичное президентское покаяние вполне укладывается в теорию, согласно которой Путин готовится к резкому «укреплению вертикали власти» методами, предполагающими участие армии в разрешении внутривластных вопросов не только на Северном Кавказе.

В тот же день сообщение английской газеты «Файнешнл таймс» о том, что инвестиционные банки готовы оценить рыночную стоимость холдинга «Медиа-Мост», вызвало у наших СМИ живой интерес, **поскольку**, как известно, эта газета просто так ничего не пишет. Такую публикацию наша пресса связала с намерением сосредоточить в руках государства контроль над основными телеканалами — ОРТ, РТР и НТВ — и, следовательно, получить полный идеологический контроль над страной. «Медиа-Мост» если еще и не продан, то совершенно точно проходит предпродажную подготовку. «В любом случае сделка по продаже холдинга именно «Газпрому» технически проворачивается очень легко, — пишут **«Известия»**. — В любом случае купить ОРТ и НТВ за долги государству достаточно просто. Понятно также, что хотя государство обставляет процесс национализации телевидения как чисто экономический, он имеет очевидную политическую подоплеку. Тот же «Медиа-Мост» вполне могли бы перекупить западные инвесторы, чтобы не допустить попадания наиболее прозападной российской телекомпании в руки государства.»

Но здесь у государства могут возникнуть очень серьезные финансовые проблемы из-за того, что в наших российских условиях телеканалы, как и все остальные СМИ, убыточны, и их финансирование может лечь непосильным бременем на госбюджет. В связи с этим, по мнению газеты, чтобы получить полный идеологический контроль над страной, нужно слишком много денег: «ОРТ стало «телеканалом Березовского» только потому, что государство, имея контрольный пакет акций, не финансировало свой канал.»

3 АВГУСТА в пригороде Вашингтона при закрытых дверях прошло первое заседание российско-американской рабочей группы по противодействию террористическим угрозам. Российскую делегацию возглавил бывший директор Службы внешней разведки, ныне первый заместитель министра иностранных дел Вячеслав Трубников. Стороны обсуждали различные проекты противодействия угрозе террористических актов на региональном и международном уровнях. Хотя на подобных встречах дипломаты обычно воздерживаются от пространных комментариев, тем не менее «Известия» приводят некоторые высказывания участников: «Впервые Россия и США осудили терроризм, угроза которого исходит с территории Афганистана, и подтвердили свою решимость в борьбе с ним. При этом никакой напряженности или конкуренции не ощущалось.» По сообщению газеты, в ходе встречи чеченская проблема широко не обсуждалась. Возможно, потому встреча и прошла очень гладко, что ситуацию с Чечней обе стороны обошли, не придавая ей большого внимания. Известно, что Запад категорически не приемлет методы российского руководства по проведению контртеррористической операции в Чечне, от которой больше всех страдает мирное население. И именно из-за этого Россию лишили права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

6 АВГУСТА Борис Березовский начал совершать свою поездку по Российской Федерации, планируя посетить многие регионы. Это связывают с его намерением создать «конструктивную оппозицию» федеральной власти. Газеты в связи с этим отмечают, что несмотря на обилие всевозможных оппозиционных партий, оппозиции, в общепринятом на Западе смысле этого слова, у нас нет. «Известия» излагают свое видение причины этого: «Одна из особенностей новой российской власти состоит в том, что претензии к ней еще не сформулированы до такой степени, чтобы создать идеологические основы оппозиции. У Кремля оппозиции нет. Это медицинский факт, и об этом говорят не только опросы общественного мнения. Коммунисты — и как партия, и как общественная сила — окончательно перестали быть оппонентом действующей власти: большинство их сторонников обеими руками поддерживают политику Путина. Часть демократов недовольна Путиным, но другая часть органично входит в состав нынешней власти. В принципе, отсутствие оппозиции Кремлю совершенно естественно — идет первый год его правления, и народ еще ждет от президента чуда или по крайней мере наведения порядка в «извечном нашем бардаке.»

Газеты не говорят, в чем выражалась оппозиция Ельцину в те времена, когда общество на себе полностью прочувствовало результаты его правления, и ка-

кое отношение такая оппозиция имела к общепринятому пониманию этого слова в цивилизованных западных странах, но «**Известия**» подмечают: «У власти если и есть оппозиция, то скрытая, латентная — правящие элиты. В первую очередь — финансово-политическая (олигархи) и региональная. Затеянный президентом слом всей системы управления страной не может нравиться тем, кто правил Россией. Эта оппозиция прекрасно понимает, что путинские реформы, если они будут успешными, не оставят ей и десятой доли нынешней власти. В борьбе за эту власть она готова использовать все — и спекуляции на свободе слова, так популярные среди идеологически оппозиционной Путину интеллигенции, и западное общественное мнение, и сепаратистские лозунги. Ставя знак равенства между своей властью и демократией, «элитная оппозиция» выдвигает лозунг: «Путин — потенциальный тиран, который уничтожит демократию в России.» При этом как-то забывается, что та форма «демократии», которую эти самые элиты построили в России, категорически не устраивает большинство наших сограждан.»

7 АВГУСТА исполнился год с того дня, как вооруженные отряды ваххабитов с территории Чечни вторглись в Дагестан, что и послужило началом второй чеченской войны, или, как ее официально называют, «контртеррористической операции». Стоит вспомнить, что и первую чеченскую войну 94-96 годов официально именовали «восстановлением конституционного порядка в Чечне». «**Известия**» так откликнулись на эту годовщину: « Само вторжение было неожиданностью лишь для тех, кто не был знаком с истинным положением дел в Дагестане. То есть практически для всей России. Тезис о том, что спецслужбы не знали о происходящем, представляется, мягко говоря, сомнительным. Вероятнее всего, знали, но либо вовремя не сумели прекратить деятельность экстремистов, либо — как это у нас часто бывает — не получили команды на выполнение конкретных действий.»

«Действительно, альтернативы применению силы не было. В Чечне мы столкнулись не с национально-освободительным движением и не с «исламской революцией», а с режимом глобальной преступности. Но сила должна была привести к порядку, а не к беспределу и дополнению режима преступности новыми составляющими. Другими словами, взялись «мочить террористов» — надо было мочить, а не придумывать сказки про «последние оплоты бандитов», которые еще недавно были любимой темой выступлений генералов. А сколько устанавливалось сроков окончания операции? Это можно было понять в период предвыборной компании, но не сейчас, — пишет «**Независимая газета**». — Сейчас ситуация на Северном Кавказе такая же, как и год назад. Как и тогда, военные ежедневно готовятся к отражению нападения боевиков на Дагестан. Добавились лишь опасения захвата Грозного.»

«Действительно, альтернативы применению силы не было. В Чечне мы столкнулись не с национально-освободительным движением и не с «исламской революцией», а с режимом глобальной преступности. Но сила должна была привести к порядку, а не к беспределу и дополнению режима преступности новыми составляющими. Другими словами, взялись «мочить террористов» —

надо было мочить, а не придумывать сказки про «последние оплоты бандитов», которые еще недавно были любимой темой выступлений генералов. А сколько устанавливалось сроков окончания операции? Это можно было понять в период предвыборной компании, но не сейчас, — пишет **«Независимая газета»**. — Сейчас ситуация на Северном Кавказе такая же, как и год назад. Как и тогда, военные ежедневно готовятся к отражению нападения боевиков на Дагестан. Добавились лишь опасения захвата Грозного.»

В тот же день резонанс российской прессы вызвало сообщение английской газеты «Таймс» о том, что Владимир Гусинский получил вид на жительство в британском владении Гибралтар. Хотя вид на жительство получен Гусинским несколько лет назад, но газеты обратили внимание, что за сообщением «Таймс» могут скрываться серьезные последствия. **«Известия»** анализируют: «Скорее всего имя Владимира Гусинского в газете «Таймс» всплыло не случайно. На этот счет в «Медиа-Мосте» говорят, что подобные «сливы» в иностранную прессу практикуются довольно часто — и всегда в момент какого-нибудь острого конфликта. А сейчас как раз такой момент: переговоры между «Медиа-Мостом» и «Газпром-Медиа» об урегулировании долгов медиа-холдинга в обмен на акции не только не закончились, но и обросли массой скандалов. Правда, кому выгодно вновь поднимать шум вокруг Владимира Гусинского, да еще в газете «Таймс» — в «Медиа-Мосте» предположить затруднились. В холдинге продолжают настаивать на том, что все разговоры о его передаче «Газпрому» за долги не соответствуют действительности.»

В тот же день в Москве на 71-м году жизни скончался известный поэт и писатель Анатолий Жигулин. **«Известия»** о нем пишут: «Еще школьником стал одним из создателей молодежной революционной организации «Коммунистическая партия Молодежи» (КПМ), а в 1949 году был арестован по печально знаменитой 58-й статье и пробыл в лагерях до 1954 года. В начале перестройки была опубликована его повесть «Черные камни», которая принесла ему широкую известность. В ней писатель рассказал о том, что ему пришлось пережить в ГУЛАГе.» К сказанному прессой следует добавить, что Анатолий Жигулин в перестроечные времена запомнился одной чертой, выгодно отличавшей его от других прорабов перестройки. В 90-м году он сложил с себя полномочия народного депутата СССР, поняв, что в ходе перестройки власть все равно делает то, что считает нужным, а первый Съезд народных депутатов СССР фактически служит лишь демократической ширмой, все это прикрывающей. Его поступок был вызван невозможностью реально повлиять на политический ход событий в стране и нежеланием быть фактическим участником большого обмана. Видно лагерный опыт, полученный в молодости, не прошел для него бесследно. В основе зековской морали лежит положение, что за все — что делал и не делал — надо нести ответственность.

8 АВГУСТА в Москве на Пушкинской площади в 17.55 прогремел взрыв, который сразу заставил вспомнить теракты осени прошлого года, произошедшие как в Москве, так и в других российских городах. На этот раз взрыв произошел в подземном переходе. На месте погибли 8 человек, более 50 получили

ранения различной степени тяжести. «На Пушкинской площади лишь отдельные милиционеры пытались оказать помощь пострадавшим, но в большинстве своем (а вскоре их собралось весьма много) они были безучастны к происшедшему. Лишь гоняли журналистов, которые, когда за дело взялись спасатели, стали выполнять свой профессиональный долг — делать свою работу. Как ни трудно нажимать в такой момент на кнопки камер и диктофонов, снимать столь страшные кадры, это необходимо делать, чтобы мир мог узнать и увидеть все ужасы терроризма, — описывают **«Аргументы и факты»** произошедшее словами своего корреспондента, оказавшегося на месте событий с самого начала. — Люди, выбравшиеся и выползшие из перехода, — обгоревшие и израненные, с поврежденными барабанными перепонками, но способные ходить, бродили в состоянии шока — и от самого взрыва, и от того, что остались без своих сумок с документами, деньгами, ключами от квартиры — у всех всё вырывало из рук взрывной волной. Только один офицер милиции хоть как-то пробовал успокоить этих людей.»

«По мнению специалистов по взрывчатым веществам Главного инженерного управления Минобороны РФ, для взрыва на Пушкинской площади специалисты подготовили тротил (к такому же выводу склоняются и специалисты ФСБ в ходе проведения химической экспертизы), — приводит **«Комсомольская правда»** мнение специалистов. — Огромное число осколков, поражавших людей, — это части витринных стекол, предметов, находившихся в торговых точках, алюминиевых и железных уголков. А ограниченное пространство подземного перехода создало эффект «двусторонне направленного взрыва», что еще больше повысило поражающую способность.»

«Это война. Террор. Неустановленное взрывное устройство. Политики комментируют. Префект Музыкантский: мы же говорили, что Москву надо закрыть от ненадежных приезжих. Мэр Лужков: не исключен чеченский след. Президент выразил соболезнование пострадавшим. Все то же самое. Как год назад. И раньше. В Москве, Волгодонске, Буйнакске. Мы давно находимся в состоянии войны. За год успели «полностью победить» и сейчас только «зачищаем» Чечню, — так отозвались на взрыв **«Известия»**. — В подвалах домов успели сорвать повешенные год назад замки. Теперь начнут вешать снова. Судорожно очистят подземные переходы, попытаются реанимировать прописку, «зачистят» рынки... И снова: «План «Перехват» не дал результатов...» Москва, Пушкинская площадь, подземный переход, 17.55. Где завтра?»

9 АВГУСТА газеты опубликовали «Обращение к общественности» — открытое письмо, подписанное Василием Аксеновым, Борисом Березовским, Станиславом Говорухиным, Отто Лацисом, Юрием Любимовым, Олегом Меньшиковым, Игорем Шабдурасуловым и Александром Яковлевым. Обращение расценивается как общенационально значимое событие, как новая попытка сконструировать настоящую оппозицию власти. В предисловии к публикации **«Известия»** (в этом же номере опубликовано и интервью с одним из столпов западной советологии профессором Ричардом Пайпсом) саркастически очерчивают проблему: «Как бороться с Левиафаном власти? Над этой темой веками

бились лучшие умы человечества. Вековая история России не знала ни оппозиции, ни гражданского общества. СССР развалился «сверху» без особого народного возмущения и оппозиции. Сегодня многие политики говорят, что оппозиция власти нужна. Зачем? И кому? Открытое письмо (с которым «Известия», раз уж сделана заявка на дело общенациональной значимости, знакомит читателя), среди авторов которого выделяется имя Березовского, — о строительстве гражданского общества. Как и интервью историка Ричарда Пайпса. Американец Пайпс разочарован и не дает советов. Олигарх и другие подписанты тоже разочарованы, но призывают сконструировать оппозицию. Тезис «был бы свободный рынок — демократия приложится» признан неправильным, надо больше уделять внимания «нравственной идеологии.»

Обращение начинается с обычной констатации: «На рубеже XXI века российское общество стоит перед очередным выбором — жить в авторитарном или демократическом государстве.» Авторы обращения вполне понимают естественное желание президента укрепить вертикаль власти и остановить процесс распада государственной власти на власть многочисленных региональных элит, но предупреждают: «Под угрозой оказываются главные достижения последнего десятилетия: свободная пресса, свободное предпринимательство и самое главное — свободное мышление, «дух нравственности». Говоря вполне правильные слова о нынешнем положении России, авторы излагают свои причины этого: «Причины такого положения дел кроются в том, что в реформах последних десяти лет основное внимание уделялось экономике, в то время как приоритеты нравственной идеологии и политической философии отошли на второй план.» Именно в нравственной солидарности подписанты видят выход, для чего и необходимо создать новое общественно-политическое движение. В качестве основы движения в обращении приводится обычный набор демократических ценностей, который от всех остальных наших демократических движений не отличить. «Построение подлинно конституционного народовластия и обеспечение социальной справедливости — главное направление продолжения реформ в России», — таким тезисом венчают авторы свое обращение.

Разные люди, подписавшие обращение, по-разному к нему относятся. Станислав Говорухин говорит, что он целиком и полностью разделяет озабоченность своих соавторов по письму угрозой авторитаризма в России, но входить в новое движение не намерен, поскольку он уже входит в «Отечество», а, по его мнению, два этих движения вряд ли пересекутся когда-либо. «Это не те люди, которые будут заниматься двурушничеством, — цитируют «Известия» слова другого подписанта, Игоря Шабдурасулова. — «Обращение к обществу» продиктовано только их намерением предложить здоровой части общества полный центр кристаллизации.»

«Аксенов считает, что появились опасные симптомы, позволяющие усомниться в том, что президент собирается исполнять Конституцию. Ситуация странным образом напоминает 20-е годы, НЭП, когда власть пыталась оживить рынок на фоне отсутствия гражданских свобод, — приводит «Независимая газета» мнение одного из главных подписантов. — Василий Аксенов сообщил,

что людей, пожелавших высказаться на эту тему, было так много, что авторы «Обращения к обществу» вынуждены были «лимитировать число подписантов», а теперь к разговору о сущности нынешней власти и о создании конструктивной оппозиции приглашаются все или почти все, поскольку речь прежде всего идет об интеллигенции. Движение, которое хотят создать авторы «Обращения», станет организацией конституционного народовластия, в связи с чем, по словам Аксенова, подписанты «Обращения к обществу» намерены серьезно изучить опыт российских кадетов.»

С точки зрения очень важного для многих вопроса о понимании Западом всей нашей истории, несомненный интерес заслуживает интервью Ричарда Пайпса, у которого, в отличие от подписантов, иной взгляд на события в России. Главный вывод интервью: «1917 год ничего в русском общественном мироустройстве не изменил. И цивилизационные проблемы России куда глубже, чем проблемы русских политических режимов. Можно ли их решать вершущими реформами? А создать правовое государство при помощи вершущей оппозиции, декларирующей статусные демократические догматы — про свободу слова, про сдержки и противовесы и контроль над властью?» По мнению Пайпса, частная собственность первична, и пока уважение к собственности не вытеснит в сознании обывателя «частнособственнические инстинкты», разговоры про свободу духа останутся уделом интеллигенции. «В авторитарном обществе интеллигенция говорит за народ, а в демократическом — народ говорит сам за себя», — замечает известный советолог.

Интересно мнение Пайпса о наличии в России правового государства: «Государство, где до сих пор не найдены убийцы Галины Старовойтовой и десятков других представителей элиты, где арестовывают «плохих» олигархов, не трогая «хороших», не может называться правовым.» К словам известного американского историка и политолога необходимо добавить, что подавляющее большинство нашего общества ненавидит нынешний политический режим не из-за «наездов» власти на олигархов и других представителей экономической и общественно-политической элиты, а из-за массового произвола и беззакония властей по отношению к широчайшим народным слоям. Но об этом и один из виднейших западных специалистов по России, и именитые российские подписанты как-то умалчивают.

Характерен присущий и подписантам, и западному политологу подход к анализу наших реалий, при котором обычно оставляют без внимания правовые вопросы — как нынешнее государство соблюдает свои собственные законы, гарантирующие права и свободы граждан. Именно широких слоев граждан, а не только известных общественно-политических деятелей, олигархов, журналистов, писателей и прочих именитых людей. Массовые произвол и беззаконие власти были всегда неотделимы от советской жизни, но тогда всё это сваливали на коммунистический режим. После его официально провозглашенного (и общепризнанного) краха в августе 91-го, положение с юридическими гарантиями прав широчайших слоев населения ещё более ухудшилось и всё дальше ухудшается, но особого внимания на это обращать не любят. Такое отношение к правовым вопросам с самого начала «демократии» у нас оправ-

дывали тезисом «был бы свободный рынок — демократия приложится». Теперь подписантами этот тезис признан неправильным, а на его место выдвинут новый тезис «нравственной идеологии». Как такой тезис будет сочетаться с царящим у нас массовым юридическим издевательством государства над своими гражданами и законами будет ясно из дальнейшего развития событий. Уместно заметить, что в ельцинские времена ни наша, ни западная элита публично не ставила под сомнение окончательный крах прежнего режима в августе 91-го, ознаменовавший коренной перелом в развитии «русского общественного мироустройства». Начало массового «прозрения» российской и западной элиты относится к августу 98-го, когда наш экономический кризис больно ударил по западным деловым кругам, и к последующему президентству Путина, резко ужесточившего отношение Кремля к олигархам и подконтрольным им СМИ.

10 АВГУСТА Председатель Госсовета Чечни, президент известного в деловых кругах концерна «Милан» Малик Сайдулаев слезал заявление относительно недавнего взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади — о том, что чеченская диаспора в Москве начинает собственное расследование. Он не считает взрыв террористическим актом, каковым его сразу сочли власти в своих официальных заявлениях. Собственное расследование ведут выходцы из Чечни — а это не только чеченцы, но и русские, и армяне, и греки. Чеченская диаспора связана очень сильными тейповыми взаимоотношениями. «Известия», со слов Сайдулаева, приводят предварительный, но однозначный вывод начального расследования: «Взрыв на Пушкинской площади не является террористическим актом. В случае, если бы в переходе взорвали то количество взрывчатки, о котором говорят официальные структуры, — от 600 г. до 1,5 кг. в тротиловом эквиваленте — участок Тверской просто рухнул бы в переход. Жертв было бы гораздо больше.» Но независимая следственная группа все-таки окончательно не отвергает возможность теракта с участием чеченцев. Малик Сайдулаев заявил: «У диаспоры в силу крепких связей есть возможность фактически «пропустить через мелкое сито» всех находящихся за пределами исторической родины чеченских граждан и выявить преступника». По мнению Сайдулаева, найти преступника, если таковой существует, удастся гораздо быстрее, чем милиции и спецслужбам, а затем его имя будет предано огласке в Чечне. В заявлении было также обращено внимание на возможность античеченских действий в связи с обвинениями выходцев из Чечни в проведении теракта. Газеты цитируют Сайдулаева, заявившего о готовности чеченской диаспоры «вывести на улицы Москвы 100 тысяч чеченцев, если власть или граждане предпримут против проживающих за пределами республики чеченцев противоправные действия. Но это не означает бунта или акта гражданского неповиновения. Мы просто будем требовать справедливости.» Сайдулаев не стал комментировать, как и федеральные власти, и власти города Москвы отнесутся к такому требованию справедливости со стороны чеченцев.

12 АВГУСТА в Баренцевом море погибла российская атомная подводная лодка «Курск» с находившимися на борту 116 членами экипажа. Трагедия с подводной лодкой вызвала широкий резонанс и в российском обществе, и на Западе, поскольку она обнажила многие глубинные проблемы, касающиеся политических, правовых, экономических и моральных сторон жизни нашего общества и государства. Первые сообщения об аварии с подлодкой появились в СМИ только через несколько дней после трагедии, когда еще не было точно известно, что же произошло, и у прессы не было подробностей или подробности носили предположительный характер. Спасатели, прибывшие в точку координат атомохода, установили, что лодка лежит на грунте на глубине 107 метров с заглушенным реактором. Учения, в которых участвовала подлодка, уже завершились, когда «Курск (бортовой номер К-141) не вышел на очередной сеанс связи, а к вечеру следующего дня стало ясно, что субмарина попала в беду. «Практически весь понедельник главкомат ВМФ и Министерство обороны выдавали строго дозированную информацию, из которой было ясно одно: ядерных зарядов на борту нет, опасность ядерного заражения отсутствует, спасатели принимают меры. Ближе к вечеру главком ВМФ адмирал флота Владимир Куроедов заявил, что на подлодке имеются признаки крупного и серьезного столкновения, обстановка тяжелая, и шансы на благополучный исход не очень высоки», — пишут **«Известия»**.

Оперативный дежурный штаба Северного флота сообщил журналистам, что с лодкой удалось установить гидроакустический контакт «методом перестукивания», и стало ясно, что штатные средства связи не работают. Это сочли доказательством очень серьезной аварии. **«Известия»** делают вывод: «После того, как оба реактора были заглушены (по инструкции командир был это сделать обязан в случае угрозы затопления реакторного отсека), энергетику корабля должны были обеспечивать аккумуляторные батареи. Однако, судя по отсутствию радиосвязи и радиобуя, аккумуляторные батареи либо повреждены, либо сели. Наконец, лодка могла выйти на трехдневные учения без аккумуляторных батарей. Они из-за нехватки средств стали настоящим дефицитом на флоте. Если на борту К-141 действительно отсутствуют (или не работают) аккумуляторные батареи, то ситуация более чем драматическая. В этом случае «мертва» и система регенерации воздуха, отсеки не вентилируются». Позднее из главного штаба ВМФ пришло сообщение, что из десяти отсеков подлодки «Курск» водой затоплено четыре. Определенности не было и в самом главном вопросе: жив экипаж и можно ли его спасти.

13 АВГУСТА в Москве начал свою работу Архиерейский собор Русской православной церкви. Всем епископам Московской патриархии в храме Христа Спасителя, где проходил Собор, предстояло решить ряд важнейших для церкви вопросов: подвести итоги тысячелетия и определить церковную политику на будущие годы. Также планировалось принять новый Устав и обсудить отношения с христианами других конфессий. Подлежал обсуждению и еще один очень важный для РПЦ вопрос — о прославлении новых святых, и в первую очередь — последнего российского императора Николая II. Вопрос о

канонизации Николая II ставился на предыдущем соборе четыре года назад, но решен не был. При канонизации встает также вопрос о людях, добровольно оставшихся с царской семьей до конца, хотя они понимали, что идут на верную смерть. «Кстати, именно поэтому в 1982 году Русская православная церковь за рубежом канонизировала не только царственных мучеников, но также погибших с ними слуг и врача», — комментируют проблему **«Известия»**.

По поводу большого внимания к столь важному для церкви и всего общества вопросу о канонизации Николая II, газета поясняет: «Народ склонен верить в чудо. И часть этого народа, вероятно, даже склонна верить в то, что канонизация церковью Николая Александровича Романова выведет нашу страну из кризиса. Появятся рабочие места, повысят зарплату, а на пенсию можно будет жить не неделю, как сейчас, а хотя бы месяц. Независимо от возраста, национальности, образования и места регистрации россияне готовы верить в сказки.» Пресса обращает внимание на явную несуразность действий церкви в их сопряжении с реальными общественными проблемами. Россия за последнее столетие прошла страшные, трагические времена, да и до сих пор из них не вышла. Многие проблемы сейчас только обострились. Но нет ни особого желания разобраться в подлинных причинах всего, ни в покаянии общества за свои грехи, да и стремления что-то исправить не наблюдается. «Так и будем жить. С канонизированным царем и лежащей в Мазолее мумией его палача», — пишут **«Известия»**, акцентируя внимание на недопустимости забвения обществом своей недавней истории.

У русской эмиграции несколько иные взгляды на проблемы нашего общества. Князь Николай Романович Романов, председатель Объединения членов дома Романовых, считает канонизацию Николая II для всей России делом большой важности, которое не следует откладывать на отдаленные времена. В интервью **«Известиям»** он также выражает свое отношение к Русской православной церкви: «Как известно, большинstro русских эмигрантов принадлежит к зарубежной православной церкви. Она уже канонизировала царскую семью в 1982 году. Я был в Нью-Йорке на этой церемонии. Меня это радует, поскольку пропасть между двумя ветвями православия сужается. Я надеюсь, что помимо всего, этот акт приведет их к еще большему сближению. Я сам, как и многие русские люди, оказавшиеся вне родины, с рождения принадлежу к зарубежной церкви, что, впрочем не мешает мне с почтением относиться к патриарху Алексию Второму и иерархам. В конце концов это чисто административное деление. Для меня наша церковь одна.» Про то обстоятельство, что кроме административного деления две церкви совершенно по разному проявили свое отношение к большевистскому режиму, Н.Р. Романов не сказал, но выразил газете свои надежды по поводу канонизации: «Я надеюсь, что она станет символом окончания страшной эпохи, которая началась более 80 лет назад и привела к страшной смерти десятков миллионов россиян. Надеюсь, народ осознает, что случилось со всеми нами, с Россией и что такое никогда-больше не должно произойти.»

15 АВГУСТА свою помощь в спасении команды «Курска» предложили США и Англия. Но российское руководство пока не дало никакого ответа на эти

предложения. Газеты отмечают, что хорошо финансируемые военно-морские флоты западных стран имеют необходимое современное оборудование и хорошо подготовленных специалистов для таких спасательных работ. «Несмотря на экстренную ситуацию, командование Северного флота решило не прибегать к иностранной помощи. По мнению командования ВМФ России, «надежда на спасение экипажа пока еще остается». Иностранная помощь не нужна: скопление большого количества судов на месте аварии только затруднит проведение спасательных работ»; — описывают ситуацию «Известия». В нашем обществе такое промедление Кремля на иностранные предложения помощи в спасении людей многие связали с настойчивым желанием власти «сохранить лицо», продемонстрировать свою независимость от западной помощи. Но пока это было только на уровне предположений.

«Судя по всему, у военных нет водолазов-глубоководников. Иначе экипаж вытащили бы в первый же день, — приводит «Комсомольская правда» мнение профессиональных гражданских водолазов с многолетним стажем. — Нам чинично и подло лгут, заявляя о невозможности работать на такой глубине.»

В тот же день Русская православная церковь на Архиерейском соборе приняла свою социальную доктрину. Этот документ уникален уже тем, что подобной официально провозглашенной доктрины нет ни у одной из 15 православных церквей мира. «Примечательно, что сразу после первого раздела «Основные богословские положения» следуют разделы «Церковь и нация», «Церковь и государство». Означает ли это, что РПЦ, что было бы в духе ее богатой державной истории, считает нужным прежде определить отношения с властью, а потом уже с человеком? — спрашивают «Известия», подчеркивая уникальность принятого документа, и обращают внимание еще на некоторые его особенности — на революционные даже для РПЦ, столетиями являвшейся государственной церковью, тезисы. «Взять хотя бы заявленное право «отказать государству в повиновении», если власть начнет принуждать верующих к «греховным деяниям». И это РПЦ, отцы которой еще во времена Петра Великого обязывались доносить на прихожан в случае получения от них на исповеди сведений антигосударственного характера.»

Скандалный привкус получила история с канонизацией РПЦ Николая II и царской семьи после заявления князя Николая Романова о том, что он не приедет на канонизацию. Причина в том, что РПЦ не канонизировала расстрелянных вместе с царской семьей слуг, в то время как Николай II, его семья и расстрелянные слуги были канонизированы Русской православной церковью за рубежом 1 ноября 1982 г. и князь Николай Романов присутствовал на той церемонии канонизации, проходившей в Нью-Йорке. Со стороны князя Николая вызывает возражение и то, что Николая II будут прославлять не как царя, а как раба Божьего, то есть в том его статусе, в каком он был после отречения от престола. В связи с этим «Известия» комментируют: «Заявление князя Николая грозит сорвать образцово-показательную церемонию. Слишком много разногласий существует между двумя церквями. Хотя, как удалось узнать «Известиям», скорее всего РПЦ3 поприветствует решение Московской патриархии. Вопрос о повторной канонизации будет обсуждаться зарубежной

церковью в октябре этого года. Руководитель отдела по связям с общественностью РПЦЗ Николай Охотин заявил «Известиям», что «один камень преткновения по воссоединению РПЦ и РПЦЗ — признание святости царских мучеников — может быть снят.»

«Но это противоречие — далеко не единственное, — продолжают тему **«Известия»**. — Сколько бы в Москве ни старались не обращать внимания на зарубежную церковь, проблема раскола не решается. А в Нью-Йорке многие по-прежнему считают, что в РПЦ засели «обновленцы» и кагэбэшники, Московская патриархия утратила идентичность в 1927 и 1943 г.г. и не имеет права выступать от имени Матери — Русской православной церкви.»

В тот же день правоохранительные органы Швейцарии произвели выемку документов в двух банках, подозреваемых в том, что через них проходили деньги Международного валютного фонда, выделенные России в 1998 году и впоследствии расхищенные. Скандал о нецелевом использовании Россией предоставленных МВФ кредитов начался весной прошлого года публикацией в «Нью-Йорк таймс» статьи, в которой со ссылкой на мнение бывшего министра финансов США Роберта Рубина говорилось, что выделенный России заем в размере 4.8 миллиарда долларов был использован неподобающим образом. После чего МВФ отложил все переговоры о возобновлении кредитования России до окончания расследования этого дела. В прошлом году швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело о нецелевом расходовании Россией кредитов МВФ и проводит проверку банков, через которые могли проходить выделенные России деньги, впоследствии, возможно, оказавшиеся в американском «Bank of New-Work». **«Известия»** приводят мнение женевского судьи Каспара Ансреме, по чьему распоряжению производилась выемка: «По словам судьи, на прошлой неделе он направил в эти банки запрос относительно операций с деньгами МВФ для России и отдал распоряжение заблокировать все средства на счетах подобного рода. Однако сообщить, о каких конкретно банках идет речь и что за документы изъяты во время выемки, он отказался.»

В связи с этими действиями швейцарских правоохранительных органов, разыскивающих средства МВФ, и грозными заявлениями самого МВФ сложилась комичная ситуация. «Самое интересное, что неделю назад глава Фонда Хорст Келлер объявил, что все обвинения против России в нецелевом использовании кредитов сняты и препятствий для кредитования Фондом экономики нашей страны больше нет», — саркастически замечают **«Известия»** по поводу категоричного заявления МВФ о невозможности даже ведения переговоров с Россией о предоставлении финансовой помощи до окончания расследования.

«Аргументы и факты» про Швейцарию с юмором пишут, что она хуже Бермудского треугольника: «Во-первых, там бесследно, не успев подать сигнал SOS, исчезают деньги. Во-вторых, эта аномальная зона порождает лавины компромата страшной разрушительной силы. В-третьих, люди, соприкоснувшиеся с этим загадочным местом, начинают вести себя странно и непредсказуемо: бегают по девочкам или увольняются из Генпрокуратуры.»

21 АВГУСТА командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что все отсеки подводной лодки «Курск» затоплены, а значит и все члены экипажа погибли. Это заявление вызвало сильный резонанс в обществе, которое долгое время, со дня аварии «Курска», власти в своих официальных заявлениях уверяли, что на подлодке люди живы и делается все возможное для их спасения, что у России для этого вполне достаточно и своих сил, а западная помощь не нужна и может только помешать. В который раз события обнажили и продемонстрировали лживость российской власти на примере ее отношения к собственным военным морякам. **«Известия»** кратко очерчивают суть общественно-политической ситуации: «Вчера утром норвежские водолазы вскрыли сначала внешний люк «Курска», потом внутренний. Нам говорили, что люки деформированы, не вскрываются, что там сильные подводные течения. На первую операцию у норвежцев ушло минут 25, на вторую чуть больше. Про течения они не подтвердили. Мы не удивились. Видеокамера проникла в 9-й отсек. Мутная взвесь ила. Говорили, в 9-м могли быть люди. Нет, вся лодка затоплена водой, живых нет. Норвежцев просят помочь извлечь трупы. Зато лодку будут поднимать всем миром: к подготовке проекта допущены иностранцы. К развязке нас тоже готовили, неделю. Если выяснится, что о трагедии все все знали изначально, это не станет сюрпризом. Время вопросов. Если бы нам не врили. Если бы пригласили иностранцев не спустя пять суток? Если бы у нас была техника? Поздно. Те, кто все эти дни и ночи нырял в морскую воду на том, что было под рукой, сделали все, что могли. Тем, кто играл в великодержавие, не оправдаться.»

Пресса отмечает, что норвежцам удалось войти в кормовой отсек «Курска» менее чем за сутки, и задаются вопросом, что было бы, если их позвали неделю назад, а сразу не отвергали предложенную западными странами помощь в спасении подлодки. Срвзу возникли ассоциации с гибелью в 1989 году подлодки «Комсомолец». Тогда советское руководство отказалось от помощи Запада, хотя вертолеты стран НАТО в считанные часы могли оказаться в районе бедствия и спасти людей из ледяной воды. Тогда только в результате переохлаждения погибли десятки людей. И тогда виновных среди руководства государства не нашлось. Правда, то были времена коммунистического Советского Союза. Но явно прослеживается много сходных черт бывшего Союза с нынешней Россией, объявившей себя демократической страной. «Союза нет, а Россия по-прежнему стоит военным лагерем. И все на этом поле брани может быть правдой. Даже самое страшное, подлое, нелепое. В «Известия» позвонил офицер из Североморска и сказал, что «Курск» попал под удар ракетно-бомбовых установок надводных кораблей на последнем этапе учений. Эта версия отвечает на многие вопросы: откуда столь мощное повреждение корпуса, почему так повели себя адмиралы, почему столько вранья? И только один вопрос при всех версиях остается без ответа — почему сегодня, на рубеже третьего тысячелетия, Россия, объявившая себя цивилизованной страной, продолжает так презирать человеческую жизнь. Презирать своих граждан, — пишут **«Известия»**. — К-141 заплатила высокую цену, чтобы избавить нас от иллюзий. «Курск» ушел в свой последний поход в той же стране, что и «Комсомолец».

Газеты заостряют внимание на том, что гибель подлодки вызвала множество вопросов, на которые нет официальных ответов. Существуют различные версии причин катастрофы, ответ на которые, по официальным заявлениям военно-политического руководства, может быть дан только после подъема «Курска» и тщательного обследования его на стапелях в заводских условиях. Обсуждается вопрос: знают ли военные всю правду, только сказать не решаются? «Вспомним, что сумбур и нагромождение лжи со стороны военных по поводу «ненужности» иностранной помощи закончились лишь после того, как президентом было принято политическое решение: помочь — принять! Оно и понятно — генералы таких решений не принимают по определению. Затянувшаяся неспособность определить причину гибели «Курска», которого сами подводники называли «непотопляемой лодкой», упорное желание повесить этот грех на «чужих» наводят на мысль, что и здесь военные исчерпали свой «ресурс» и опять требуется решение политиков: правду — сказать! Потому что эта правда по своим последствиям катастрофична для чего-то чрезвычайно важного — безопасности страны, её военной доктрины, судеб не просто генералов, а кого-то поважнее, — комментирует **«Комсомольская правда»**. — Лодку нечаянно погубили свои? Кто-то приказал экипажу пойти на неоправданный риск? «Курск» стал жертвой какой-то дьявольской военно-политической игры? Мы будем метаться в силках этих вопросов, пока военные и политики отводят глаза. Хорошо бы только оттого, что им сейчас действительно нечего сказать.»

В связи с трагедией «Курска» пресса дает характеристику и нынешнему кремлевскому руководству. Особое внимание уделено тому факту, что во время аварии подлодки и попыток спасения людей президент Путин отдыхал в Сочи и прервал отдых только после того, как сначала западные, а потом и российские СМИ подняли вокруг этого шум. «Отсутствие инстинкта власти у Путина сыграло с ним злую шутку, он упустил момент, и, по замерам общественного мнения, его рейтинг уже упал до 30%. Если говорить о Мурманской области, то многие её жители были даже против его поездки туда. Особенно после того, как норвежцы за несколько часов проникли в «Курск» — сколько времени было упущено, — комментируют **«Аргументы и факты»** некоторые высеченные трагедией черты политического характера Путина. — Но сегодня, пережив трагедию на сочинском пляже, наш президент напомнил нам о своем большом недостатке — он всюду опаздывает.»

Газеты поднимают и проблему границ терпеливости российского общества, замечая, что в связи с последними катастрофами терпение может иссякнуть. «Критическая масса общественного долготерпения достигнута. Катастрофа «Курска» проецирует течь всего российского государственного корабля. Не случайна реакция на нее нашего общества, как будто уже смирившегося с тем, что человеческая жизнь ничего не стоит и не защищена государством. Думаю, что достигли предела возможности сограждан переносить свои и чужие страдания», — приводит **«Независимая газета»** слова экс-министра обороны и нынешнего депутата Госдумы генерала армии Игоря Родионова, считающего необходимым установить действенный парламентский контроль за вооружен-

ными силами и создать парламентскую комиссию для расследования катастрофы и действий военных властей с самого ее начала.

24 АВГУСТА Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту гибели подлодки «Курск» по статье 236 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта»). Решение о возбуждении уголовного дела принял генпрокурор Владимир Устинов, который находился в Североморске вместе с директором ФСБ Николаем Патрушевым для выяснения всех обстоятельств дела. «Известия» пишут: «Понятно, главной головной болью следственной группы, которая будет создана, станут отнюдь не вопросы свободы слова и проч. Кто виноват в катастрофе — вот вопрос вопросов. Возможно, это цепочка больших и малых должностных преступлений. Нельзя исключать и такую ситуацию, что с точки зрения закона привлекает к уголовной ответственности окажется некого. Кого и по какой статье надо привлекать; например, за развал спасательных служб флота, финансировавшихся последние десять лет по остаточному принципу, как и весь военно-морской флот? Только один этот вопрос выводит дело о гибели «Курска» из уголовной в политическую плоскость. Но можно не сомневаться, что следствие ограничится сугубо уголовными рамками».

Но кроме политики, здесь могут быть высвечены и финансовые интересы различных внутриаппаратных группировок. Хотя это тоже не просто. «Впрочем, если вспомнить, что президент хотя несколько абстрактно, но обозначил лица на «Лазурном берегу», которые «все эти годы разваливали армию», то теоретически может быть востребована помимо «хищений в крупных размерах» и «махинаций» даже такая замшелая статья, как 275 («государственная измена»). Словом, как сказал Владимир Устинов, по мере расследования «будет сделана постейная переквалификация уголовного», — подводят итог «Известия».

27 АВГУСТА в воскресенье в Останктнской телебашне начался сильный пожар, который стал еще одним звеном в цепи катастроф, постигших Россию в последнее время. Основным очагом возгорания стали шахты высоковольтных кабелей, и работу пожарных сильно осложняло то, что они имели дело не с открытым огнем, а с плавящейся проводкой кабелей и высоким задымлением. Для тушения такого пожара были необходимы особая техника и особые методы тушения. Главное общественно-политическое последствие пожара заключалось в том, что в Москве прекратили работу все телеканалы, выходящие в эфир с Останкинской телебашни. В Москве осталось только кабельное телевидение, которое не получило широкого распространения. На проведение работ по восстановлению телецентра в прежнем состоянии, позволяющем вести телетрансляцию, необходимы долгие месяцы и большие финансовые средства.

«Как всегда в таких случаях было много суматохи, высокого начальства, милиционеров в оцеплении (чего-чего, а оцеплять у нас умеют) и противоречивой информации. Самое горькое, что вновь не обошлось без жертв. В результате пожара погибли заместитель начальника Управления государственной пожарной службы Северо-Восточного округа столицы подполковник Владимир Арсюков, лифтер Светлана Лосева и сантехник Александр Шепилин.

Они оказались замурованными в лифте, который рухнул вниз с 200-метровой высоты, — описывает подробности **«Комсомольская правда»**. — Московский мэр Лужков наотрез отказался выделять из столичной казны деньги на ремонт: мол, это прерогатива федерального центра. Министр печати Михаил Лесин назвал слова Лужкова необдуманными, и на пепелище Останкинской телебашни тут же вспыхнул новый конфликт между столичными чиновниками и «федералами». «Однако московское население не сможет долго прожить без телевизионного наркотика, поэтому вопрос о сроках возобновления вещания является самым главным. И для населения, и для властей», — очерчивают проблему **«Известия»**.

По мнению специалистов, полностью восстановить вещание не удастся долго — пожар нанес серьезный ущерб передающей аппаратуре. Сравнивают нынешний пожар с октябрём 1993 года, когда во время осады телецентра вещание прервалось, но было быстро восстановлено через резервные передатчики. Сейчас повторить это невозможно по очень простой и чисто российской причине. Председатель подкомитета Госдумы по связи и информатизации Леонид Маевский заявил **«Известиям»**: «Трагедия началась не в воскресенье, а 8 мая 1998 года, когда все областные радиотелевизионные передающие центры и вместе с ними Останкинская телебашня были переданы ВГТРК, которая является коммерческой организацией. Думая о своей выгоде, реководители компании продали на металлолом все резервные передатчики, расположенные, например, на Шаболовке. Поэтому вопрос о невозможности телерадиовещания нужно задать министру печати Лесину.»

«Комсомольская правда» высказывает аналогичное мнение: «Два года назад, 8 мая 1998 года, указом Бориса Ельцина все областные телерадиопередающие центры (ОТРПЦ) были выделены из состава Министерства связи и переданы в состав ВГТРК. А между прочим, параграф первый Устава ВГТРК гласит, что это коммерческая организация, цель которой — извлечение прибыли. То есть фактически функции государства переданы в коммерческую организацию. Сейчас новые хозяева всё оборудование Шаболовской башни сдали на металлолом — в нем было много цветных металлов. Хотя оборудование было работоспособно.»

Пожар ярко осветил некоторые наши проблемы. **«Известия»** пишут: «Катастрофа показала, что по критерию развития телевидения Москву трудно причислить к европейским столицам. Во всем мире большинство телевизионных каналов являются именно кабельными. Однако наличие высокой Останкинской башни сдерживало развитие кабельных сетей. Москва будет это ощущать еще долго.»

Еще одна сторона пожара заключается в том, что Останкинский телецентр имел не только гражданское назначение. Его также в качестве составной части своих систем связи использовали силовые структуры, в том числе Министерство обороны. Специалисты по связи в частных разговорах утверждают, что башня имеет стратегическое значение. После пожара в силовых ведомствах официально заявили, что решающей роли в системах коммуникаций обороны и национальной безопасности Останкинская башня не играла. «В конце июня

Совбез РФ обсуждал доктрину информационной безопасности. Как всякий концептуальный труд, этот документ содержал в себе немало мудреных вещей. И, казалось, предусматривал самую продуманную и надежную защиту наших систем информации как от внешних врагов, так и от внутренних. В воскресенье, 27 августа, стране стало ясно, что вся информационная безопасность державы оказалась бессильной перед обыкновенным коротким замыканием.» — иронизируют «Известия».

Пожар и его последствия ярко высветили и рейтинг российских телеканалов. «После пожара на Останкинской телебашни канал НТВ, и так весьма популярный, понадобился всем. Поэтому телезрители (а это и наши читатели) живо заинтересовались, что нового мы увидим в первую очередь на НТВ. Ну и на других каналах. — отмечают **«Аргументы и факты»** — Как гордо сообщила «АиФ» сотрудник пресс-службы «НТВ плюс» Марина Левашова, количество заявок на установку тарелок по сравнению с допожарным возросло в 20 раз, а количество ежедневных заходов на сайт «НТВ плюс» в Интернете подскочило с 1,5 до 70 тысяч. «НТВ плюс» — часть холдинга «Медиа-Мост», так что его продажная стоимость подросла с меньшей стоимостью. Это плюсы.»

Последние трагедии еще больше подчеркнули давно уже стоящие вопросы о физическом износе российской техники и человеческом факторе. **«Комсомольская правда»** приводит слова тележурналиста РТР Аркадия Мамонтова, съемочной группе которого власти единственной разрешили телесъемку хода спасательной операции в Баренцевом море: «Раньше мы говорили — дойдем до черты. Мне кажется, что сейчас мы эту черту перешагнули. То, что случилось с лодкой, с Останкинской телебашней, будет периодически повторяться. Наступил износ техники в глобальном масштабе. Взять тот же «Петр Великий» — много ракет, пушек, а кают-компания — нищая... Чем питается флотский офицер? Хлеб, масло, каша, суп из перловки и макароны с тушенкой. На ужин — рыба. Как они живут в Ведяеве — это просто полный улет... А еще виновато человеческое равнодушие.»

Газета привела субъективное мнение журналиста. Но, по некоторым сведениям, специалисты давно уже рассчитали критическое время выработки ресурса основных технических средств и сделали вывод, что к 2003-2005 г.г. нас ждет начало серии самых серьезных техногенных катастроф. В военной области, транспорте и связи, в других сферах технической основы существования современного российского государства к середине первого десятилетия XXI века технический ресурс окончательно выработается. Да плюс к этому еще нынешний бардак государственного управления и технического надзора. В некоторых СМИ промелькнула информация, что короткое замыкание в Останкино привело к катастрофе только из-за того, что сработало лишь два из четырех автоматических огнетушителей, совместное срабатывание которых гарантировало локализацию последствий замыкания на небольшом пространстве, ... и телебашня выгорела до тла. Не считая политических, правовых, социально-экономических и других факторов, кризис государства и общества может наступить уже только по одним техническим причинам. Когда из-за непрерывной череды техногенных катастроф в этой стране жить будет физически не-

возможно. Массовые бунты возможны уже по одной этой причине. Даже без бунтов по одной такой причине у широких народных слоев не будет и малейшего доверия к государственному руководству.

4 СЕНТЯБРЯ Борис Березовский вновь привлек к себе внимание, написав открытое письмо президенту Путину. Березовский готов передать свой пакет акций в ОРТ группе журналистов и творческой интеллигенции. Ранее он уже заявлял о своей готовности передать тот же пакет акций в управление государству, но никакой реакции на это со стороны государства не последовало. Тогда Березовский привлек к себе внимание попыткой основать «конструктивную оппозицию» из известных людей с самим собой во главе. По словам Березовского нынешний его шаг вызван тем, что со стороны Кремля ему был поставлен жесткий ультиматум, а сама свобода слова в России поставлена под угрозу. «Ставием достоянием гласности фразы Путина о лицемерии медиа-олигархов, видимии, не на шутку смутили Березовского, и он дал предупредительный залп из бронепоезда «Доренко» (субботний выпуск его программы на ОРТ был необычайно критичен по отношению к Кремлю). Возможно, в ответ на это и последовал «ультиматум», как выразился сам Березовский, со стороны неназванного члена президентской команды (по сведениям из источников, близких к администрации президента, то был ее непосредственный руководитель Александр Волошин). В нем, по свидетельству медиа-магната, ему был предложен выбор: либо отдать ОРТ, либо последовать в Бутырку а-ля Гусинский. — приводят «Известия» самые различные возможные причины событий — Впрочем, возможна тут и другая версия: нарочито антипутинский залп Доренко был на самом деле «потешным», или притворным, в результате чего Борис Абрамович имеет теперь полную возможность сохранить лицо и всем говорить, что он-де отдает заветный пакет в руки надежных, то есть вполне независимых творческих интеллигентов (в том числе лично Доренко).»

В тот же день газеты сообщили о том, что в Москве вокруг приватизации столичного имущества начинает разгораться скандал. Бригада Генеральной прокуратуры РФ проводит проверку использования столичными властями государственного имущества, находящегося в ведении города Москвы. Внимание проверяющих из Генпрокуратуры привлекли прежде всего предприятия и уникальные исторические здания, имевшие когда-то статус федеральной собственности, но затем по разным причинам переданным в городскую собственность Москвы. В самой по себе такой передаче ничего противозаконного нет. По российскому законодательству вся государственная собственность делится на федеральную собственность и собственность субъектов федерации, одним из которых является город Москва. Федерация и её субъекты вправе передавать госсобственность в ведение друг друга. Но вот использование собственности Москвой и вызвало многочисленные нарекания прокуроров. Так были обнаружены нарушения закона при приватизации особняка, переданного Зурабу Церетели под Музей современного искусства по заниженной цене. Кроме того, по утверждению прокуроров при передаче не проводилось обязательного

конкурса или аукциона. Газеты обращают внимание, что такая масштабная проверка приватизации собственности в столице прокуратурой проводится впервые и связывают это с политическим противостоянием Лужкова и Путина. **«Известия»** вскрывают подоплеку такой заботы федерального центра о госимуществе: «Тем не менее столичные власти отвергли обвинения Генпрокуратуры. Вице-премьер правительства Москвы Олег Толкачев назвал их «частью политической компании, направленной против города Москвы», сообщив, что около 150 объектов столица уже вернула Российскому фонду федерального имущества.»

4 СЕНТЯБРЯ

«Независимая газета» полностью приводит текст письма Березовского Путину, озаглавленного «О свободе слова и акциях ОРТ». Олигарх пишет: «Уважаемый Владимир Владимирович! На прошлой неделе высокий чин Вашей администрации предъявил мне ультиматум: отдать в течении двух недель в управление государству контролируемый мной пакет акций на ОРТ, или отправится вслед за Гусинским — по всей видимости, речь шла о Бутырской тюрьме. Причина такого предложения — Ваше недовольство тем, как ОРТ освещало события, связанные с аварией подлодки «Курск». «Президент сам хочет управлять ОРТ» — заявил мне Ваш представитель. После фактической высылки Гусинского из страны и перехода НТВ под контроль «Газпрома» (читай — «государства») ОРТ является единственным, не полностью зависимым от власти, национальным каналом. Если я приму ультиматум, в России прекратится телеинформация, ее заменит телепропаганда, контролируемая Вашими советниками.»

Далее Березовский пишет о многих проблемах нашего общества, связывая их причины с отсутствием свободного информационного обмена в нашей стране, и, в частности, с жестким давлением властей на «действительно свободные и независимые» СМИ. «Развивая идею строительства гражданского общества, я решил передать контролируемый мною пакет акций ОРТ в управление журналистам и другим представителям творческой интеллигенции.» — этим тезисом завершает олигарх свое письмо президенту.

* * *

«Дело в том, что на днях Генпрокуратура обратилась в Министерство имущественных отношений с предложением прекратить практику делегирования субъектам Федерации, нарушающим законодательство, полномочий по управлению федеральной собственностью. — пишет **«Независимая газета»** об усиления московской политической элиты «сплотить ряды» перед явно усиливавшимся нажимом со стороны силовых структур — Причем поводом для протеста Генпрокуратуры и возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 174 УК РФ послужили нарушения, допущенные органами московского правительства по управлению имуществом города в отношении объектов федеральной собственности.»

5 СЕНТЯБРЯ был положен конец долгим дискуссиям прессы о том, каким будет Госсовет, его функции, статус и полномочия его членов. **«Российская газета»** официально опубликовала полный текст Указа Президента РФ «О Государственном совете Российской Федерации» и утвержденное этим Указом Положение о Госсовете. Согласно Положению Госсовет будет совещательным органом, не имеющим властных полномочий, а в случае необходимости придания его решениям властной юридической силы, они будут оформляться указами, распоряжениями или поручениями Президента РФ. Без таких президентских актов все решения Госсовета имеют только чисто рекомендательный характер. Членами Госсовета по должности будут являться главы исполнительной власти субъектов РФ, которые не обладают какими-либо иными статусом и властными полномочиями, кроме тех, которые они уже имеют как губернаторы. Положение не предусматривает депутатскую неприкосновенность, которой губернаторы обладали, будучи членами Совета Федерации.

6 СЕНТЯБРЯ внимание прессы привлекли события в Афганистане. Противники талибов потерпели серьезное поражение в тяжелых боях, продолжавшихся с 1 августа. Талибы захватили город Талкукан, являющийся центром пограничной с Таджикистаном провинции Тахар. Это событие вызывает у многих аналитиков серьезные опасения, поскольку исламские фанатики вплотную приблизились к тому, чтобы выиграть войну и закрепиться на рубежах СНГ. Ранее талибов с Таджикистаном в качестве буфера разделял на севере Афганистана Северный альянс, состоящий из противников талибов, но после поражения он может прекратить свое существование в самое ближайшее время. Талкукан защищали войска Ахмад Шаха Масуда — самого известного полевого командира еще со времен войны моджахедов с «ограниченным советским контингентом». «Ситуация в чем-то напоминает 1991 год, когда армия Наджибуллы, оставшись без советской военной помощи, ожесточенно и в целом успешно отбивалась от наседавших со всех сторон войск моджахедов. Отбивалась до начала апреля, когда правительственные войска потеряли ключевой город Хост. После этого армия Наджибуллы посыпалась на глазах, под контроль оппозиции переходили все новые и новые города, и падение Кабула стало лишь вопросом времени — столицу взяли на следующий год. — проводят **«Известия»** исторические параллели — Не станет ли Талкукан для Масуда таким же смертельным ударом, каким оказался Хост для Наджибуллы? Многое сейчас будет зависеть от внешних факторов — насколько эффективную и своевременную помощь сумеют оказать Северному альянсу его союзники, в первую очередь Россия, Узбекистан и Иран.»

Газеты заостряют внимание, что после этого талибы могут войти в каждый российский дом — воинствующий ислам неудержимо наступает на постсоветское пространство. **«Известия»** предупреждают: «Если советский режим в Таджикистане падет (а до этого, слава богу, еще далеко), экспансия талибов, ваххабитов и их единомышленников будет распространяться дальше на север. На очереди Казахстан и поволжские республики Российской Федерации с их мусульманским населением.»

«По мнению российских военных, в случае, если афганские талибы начнут дестабилизировать ситуацию в этих республиках, нам придется срочно перебрасывать туда до 50 тысяч военнослужащих. С техникой и авиацией. В противном случае исламский экстремизм быстро «переварит» Среднюю Азию и через Казахстан придет в российское Поволжье. — дают **«Аргументы и факты»** военно-политический прогноз — Вовлечение нас в войну в Средней Азии будет означать открытие второго фронта, да еще в условиях враждебно настроенного местного населения. И можно быть уверенным, что демократический Запад и НАТО пальцем о палец не ударят, чтобы помочь нам в этом нелегком противостоянии с исламским фундаментализмом.»

7 СЕНТЯБРЯ Борис Березовский объявил список тех, кому он передает свои акции на ОРТ. На пресс-конференции по этому поводу он заявил, что сначала хотел предложить акции только пятерым или семерым, но побоялся, что его неправильно поймут, и список разросся до пятнадцати. Девять из них думаю над предложением, а отказались только двое. Березовский говорил также, что все его действия — не борьба с президентом, как преподносят некоторые «журналисты-провокаторы», он поддерживает Путина, хотя тот выбрал вектор возвращения к тоталитарному режиму.

«Решение Б. Березовского передать свой пакет акций ОРТ журналистам и представителям творческой интеллигенции свидетельствует не только о том, что он не относит журналистов к творческой интеллигенции (видимо, скорее к сфере обслуживания), но и о том, что он хитроумно пробует убить сразу двух зайцев. А может быть, и трех. — высказывает мнение **«Комсомольская правда»** — Только простаки могут поверить в то, что БАБ пытается бодаться с Путиным. Передача акций — часть общего сценария. БАБ симулирует конфронтацию с Путиным, с Кремлем. Это хорошо и для ВВП, ведь ему, «единственному законному наследнику и преемнику», не нужны «семейные» скелеты. Негоже честному чекисту, а теперь и президенту, быть хоть как-то связанным с Березовским.»

7 СЕНТЯБРЯ

«Данное событие стало новостью номер один в политической жизни России, поскольку списочный состав будущих акционеров ведущего телеканала дает повод как для развенчания многих скандальных мифов, связанных с именем олигарха, так и для серьезных размышлений. — пишет **«Независимая газета»** — Следуя заранее сделанному заявлению, Борис Березовский действительно предложил свои акции двадцати пяти «журналистам и другим представителям творческой интеллигенции» с тем, чтобы они на три или четыре года могли реально управлять телекомпанией с равным представительством (у каждого акционера по одному голосу). Несомненно, и поступок Бориса Березовского, и согласие известных журналистов стать акционерами ОРТ можно без натяжки назвать сенсацией дня. Сам Борис Абрамович продемонстрировал, что, пусть и под угрозой потери ОРТ, интересы общества для него не менее важны, чем корпоративные, что, несмотря на все обвинения в корысти и политическом

интриганстве, он предпринял шаги к тому, чтобы ОРТ стало действительно общественным телевидением.»

8 СЕНТЯБРЯ в Нью-Йорке закончилась последняя в этом тысячелетии сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которую пресса назвала «Саммит тысячелетия», а наиболее злые на язык журналисты за помпезность прозвали «парадом королей и президентов». Тем не менее на встрече решались очень серьезные вопросы. В Совместном заявлении глав стран — членов Совета Безопасности ООН было подтверждено положение о том, что только Совбез имеет исключительное право от имени международного сообщества давать санкцию на применение военной силы в кризисных ситуациях. Что было особенно актуально после недавних натовских бомбардировок Югославии. Россию представлял президент Путин, у которого были все основания быть полностью удовлетворенным как Совместным заявлением, так и всей общественно-политической стороной своей поездки в Америку.

«Первые крупные международные смотрины Владимира Путина, которые состоялись в рамках прошедшего в Нью-Йорке «Саммита тысячелетия», явно удались. Подобно тому, как Запад впервые открыл для себя в свое время «феномен Горбачева», так и теперь многие мировые лидеры, общавшиеся здесь с президентом, в один голос говорят о «динамизме и обаянии» Путина, дипломатично давая понять, что этот стиль выгодно отличается от «медвежьих манер» Бориса Ельцина. — комментирует «Комсомольская правда» — В последний день форума российский лидер успешно прошел своеобразный ОТК владения пиаровским искусством, выдержав часовой марафон общения с одним из самых популярных ведущих телекомпании CNN — Ларри Кингом. В Америке Кинга называют «Моххамедом Али телеинтервью», потому что его шоу по своему накалу нередко напоминают поединки знаменитого американского боксера. Он мастер сделать из собеседника «отбивную», загоняя его в угол острыми и каверзными вопросами. Но с Путиным «игры в одни ворота» не получилось.»

9 СЕНТЯБРЯ исполнилось десять лет со дня убийства православного священника о. Александра Меня. По мнению прессы это убийство положило начало целой серии громких убийств, которые вряд ли когда будут раскрыты, во всяком случае, при существующем политическом режиме. За день до этого Генеральная прокуратура РФ официально заявила, что следствие по делу об убийстве о. Александра Меня приостановлено. Газеты отмечают схожесть картины: и убийцы и заказчики не найдены, и чем больше проходит времени, тем больше вопросов возникает у общества к следствию. Пресса вспоминает, как один за другим менялись следователи, как исчезали вещественные доказательства, как многие невинные сначала сознавались в убийстве, а потом отказывались от своих признаний. До сих пор спецслужбы, проводящие оперативные разработки по делу, отказываются придать гласности результаты своей работы, только пытаются свалить всю ответственность друг на друга.

О том, как в этом деле действовали силовые структуры еще бывшего СССР, **«Известиям»** поведал неназванный бывший сотрудник МВД, вышедший недавно в отставку. Подразделение, в котором он служил, занималось слежкой, скрытой видеосъемкой и другой секретной работой. По его рассказу, МВД СССР еще в 1988 году некоторое время проводило слежку за о.Александром, и приказ об этом был отдан на очень высоком уровне. Он полагает, что постоянную слежку осуществляли органы КГБ по политическим мотивам. Подразделение МВД, в котором он тогда служил, принимало непосредственное участие в расследовании убийства о.Александра, в том числе производили скрытую видеосъемку его похорон, рассчитывая, что убийца там может появиться. На вопрос о личности убийцы, отставной сотрудник МВД ответил: «Профессионал. Это абсолютно точно. Здесь не может быть никаких сомнений. (...) Только человек, который хорошо знал его окружение, мог замаскироваться под местного жителя и быть убийцей. Он должен был долго наблюдать за священником. Вообще это должен быть профессионал, который хорошо знает методы работы спецслужб. Ведь мы так и не вычленили подозрительных людей на пленке. Он так и не появился на похоронах.»

В тот же день «Известия» опубликовали материалы организованной газетой прямой линии, где гендиректор НТВ Евгений Киселев отвечал на вопросы читателей по телефону. Вопросы касались самого широкого круга проблем. В связи с вопросами о финансовых трудностях «Медиа-Моста», и о том, что под финансовым давлением НТВ может изменить направленность своих редакционных материалов, Киселев ответил так: «На самом деле происходит следующее: есть проблема задолженности «Медиа-Моста» перед «Газпромом» в размере 211 миллионов долларов. Она возникла из-за того, что сделка между двумя компаниями была разрушена, не доведена до конца под прямым политическим нажимом Кремля. Ведутся переговоры об урегулировании этой задолженности. По договоренности сторон мы эти консультации не комментируем. А вообще НТВ изменит свою редакционную политику или будет кому-то продан, разрушен только под дулом пистолета.»

*В тот же день, в субботу, не вышла в эфир очередная программа Сергея Доренко на ОРТ. Пресса сразу связала это снятие с эфира Доренко (имеющего неоднозначную репутацию) с продолжающимися «закручиванием гаек» и давлением на свободу слова со стороны Кремля. Сам Доренко заявил, что руководство телекомпании уже давно давало ему понять, что он навлекает громы и молнии на ОРТ. «То, что столоничальники из администрации президента в истории с Доренко в очередной раз лопухнулись сами (а без их окрика вряд ли обошлось!) и подставили верховную власть, сомнений не вызывает. Здесь всё ещё никак не избавятся от «кагэбэшно-большевистских» замашек — то есть от попыток удерживать «отвязывающихся журналистов» на коротком кремлевском поводке. Ежели кто отвязался — тут же попадает в разряд «неадекватных», здесь с опальным Доренко не поспоришь. — комментирует **«Комсомольская правда»** — Но это не самое печальное. Московские «опальные» не пропадут. Закрывают им вход на ОРТ — они идут на НТВ, в Интернет, в Интерфакс, в «Комсомолку»... А куда деваться их многочисленным собратям из про-*

винциальных ТВ-каналов и газет, по которым новые кремлевские методы по «дрессировке журналистов», взятые на вооружение местными князьками, бьют на самом деле без промаха?»

9 СЕНТЯБРЯ

По словам Доренко, в сентябре прошлого года состоялся его первый «диалог с властью» — разговор с Путиным в президентском кабинете. «Затем, 15 сентября, президент поблагодарил телеведущего за оказанную помощь и назвал его членом своей команды. На что Доренко заметил, что «не считает себя членом какой-либо команды». По словам телеведущего этот диалог, хотя и в разных контекстах, повторялся еще несколько раз и в конце августа закончился призывом президента «подумать еще». Теперь же, по логике власти, Сергею Доренко предстоит думать преимущественно за кадром. — описывает события **«Независимая газета»** — В частности, источники газеты подтверждают, что в ближайшее время Доренко в эфир ОРТ не вернется. Об общественном резонансе в связи с этим в Кремле не очень-то беспокоятся, поскольку не связывают происходящие события с угрозой свободе слова.»

11 СЕНТЯБРЯ поздно вечером на окраине Гудермеса боевиками был обстрелян автомобиль, в котором находился заместитель командующего Приволжским округом внутренних войск генерал-майор Анатолий Мих и двое других военнослужащих МВД. Все трое остались живы, но получили тяжелые ранения. Если бы в этой истории не присутствовал генерал, то для сегодняшней Чечни эта история была бы вполне обыденным явлением. Именно на такую обыденность и обратили внимание **«Известия»**, комментируя произошедшее: «То, что автомобиль заместителя командующего Приволжски округом ВВ попал в засаду боевиков, в принципе не вызывает удивления. Война в Чечне продолжается и надо быть готовым ко всему. Так, по крайней мере, утверждают сами военные. И сами же нарушают элементарные нормы безопасности. Ведь нападение на «уазик» генерала произошло не в горной местности, а на окраине Гудермеса, являющегося второй столицей. (...) Нападения на армейские колонны давно уже стали бичом объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе. В засады попадают колонны ОМОНа и отдельные машины, на установленных боевиками фугасах подрываются мирные жители и промосковски настроенные чиновники временной администрации Чечни. То есть в республике идет минная война. При этом противодействовать минерам очень трудно, днем они — простые и вполне мирные граждане, а с наступлением темноты берут в руки оружие и устраивают нападения на блокпосты и комендатуры, минируют дороги и здания, отстреливают лояльно настроенных по отношению к федеральной власти чеченцев.»

14 СЕНТЯБРЯ глава временной администрации Чечни Ахмад Кадыров в ходе совещания, проходившего в станице Знаменская, заявил, что из некоторых районов уже можно вывести федеральные войска. По его мнению, навести порядок в республике и бороться с боевиками уже можем местная чеченская

милиция, если её хорошо вооружить и укрепить материальную базу. Газеты с недоверием отнеслись к искренности такого заявления, сравнив его с реальной ситуацией в республике, где не прекращаются нападения боевиков. Пресса пишет, что даже в день проведения совещания, на котором Кадыров выступил с заявлением, в гудермесской школе № 3 — где первоначально и планировалось провести совещание, — было обнаружено взрывное устройство. Вероятно, боевики решили одновременно уничтожить всё назначенное Москвой новое руководство Чечни. Именно по этой причине совещание было перенесено в станицу Знаменская. Подоплёку заявления Кадырова понять можно, если принять во внимание грызню за власть в верху чеченского руководства.

«Не исключено, что заявление Кадырова преследует иную цель. Противоречия между ним и его первым заместителем, «куратором» силовых структур Чечни Бесланом Гантемировым зашли настолько далеко, что «Бес» и его сторонники (среди которых и обвиняющий Кадырова в ползучем перевороте мэра Грозного Супьян Мохачев) готовы применить вооруженную силу против бывшего чеченского муфтия. И в этом контексте выдвинутый Кадыровым тезис о вооружении чеченской милиции означает не только передачу в её распоряжение некоторого количества оружия и лёгкой бронетехники, но и в первую очередь создание новых штатных единиц в силовых структурах Чечни. Без всякого сомнения, новые посты будут заняты сторонниками Кадырова. И в этом случае противостоящие друг другу силы могут оказаться в равном положении. — анализируют «Известия» заявление Кадырова и его скрытую подоплёку — Неожиданное заявление главы временной администрации Чечни в значительной степени подтверждает выдвигаемое Гантемировым со товарищи обвинение в его адрес. В условиях непрекращающейся минной войны и постоянных терактов руководитель субъекта федерации, предлагающий вывести войска из зоны проведения операции, либо не владеет ситуацией, либо, как это ни прискорбно, относится к категории «засланных казачков».

18 СЕНТЯБРЯ информационные агентства распространили заявление руководства «Газпрома» о том, что фактически принадлежащий Владимиру Гусинскому холдинг «Медиа-Мост» в одностороннем порядке отказался от условий сделки, заключённой ещё 20 июля. «Газпром» в связи с этим намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить факты вывоза за границу активов компаний, входящих в ЗАО «Медиа-Мост» и целевого использования заемных средств по прямому назначению. Пресса обсуждает и саму сделку, и причины её одностороннего расторжения, и последствия, к которым может привести этот скандал.

«Известия» на основании имеющихся в распоряжении редакции документов дают подробный обзор ситуации: «20 июля 2000 года, когда меди-олигарх Гусинского уже выпустили из «Бутырок», но ещё не сняли с уголовного крючка (действовала подписка о невыезде), была заключена сделка между ЗАО «Газпром-Медиа» и гр. Гусинским В.А. По этому соглашению «Газпрому» полностью отходил холдинг «Медиа-Мост», включая практически все дочерние компании. Соглашение состояло из 7 документов: само Соглашение о переус-

тупке и шесть приложений к нему, включая перечень организаций и дочерних компаний, подлежащих продаже, сведения о задолженности предприятий В.А. Гусинского различным кредиторам, и, самое интересное, два секретных приложения (№ 6 и 7). Причем документы были составлены таким образом, что любой грамотный юрист мог впоследствии доказать их юридическую ничтожность. (так, «гр. Гусинский» не имел права подписывать их без письменного согласования с другими акционерами.)»

«Приложение № 6, как сообщил в интервью «Известиям» один из руководителей холдинга Игорь Малащенко, было завизировано министром печати и информации РФ Михаилом Лесиным в его рабочем кабинете поздно вечером 20 июля. Оно носит характер откровенного политического торга.» — пишут **«Известия»** и далее приводят обильные цитаты из документа, неопровержимо доказывающие, что стороны согласились о «прекращении уголовного преследования Гусинского и переводе его в статус свидетеля», а также о предоставлении ему и руководителям организаций гарантий безопасности, «защиты прав и свобод, включая право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свободно выезжать из Российской Федерации и свободно возвращаться». Гусинский 9 сентября отказался выполнять подписанное соглашение, мотивируя это тем, что при подписании на него было отказано моральное давление. Для доказательства законности и обоснованности такой своей позиции Гусинский, по его телефонному сообщению «Известиям», ещё за два дня до подписания соглашения, в присутствии двух американских адвокатов сделал заявление об оказании на него давления, и потому его подпись под соглашением следует считать недействительной, как сделанной вынужденно под давлением.

Согласно статье 179 Гражданского кодекса РФ любая сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Надо только такие обстоятельства доказать в суде установленными законом средствами доказывания. Но здесь особо интересно то обстоятельство, что в соглашении, заключенном Гусинским с коммерческим акционерным обществом, речь идет о тех гарантиях гражданских прав, которые и так гарантированы действующей Конституцией РФ в главе 2 («Права и свободы человека и гражданина»), которая имеет высшую юридическую силу и прямое действие, независимо от каких-либо соглашений государственных органов, коммерческих организаций и частных лиц. По этому поводу **«Известия»** с иронией замечают: «Одно из двух: или Конституцию РФ отменили, а нам о том не сказали, или к ней имеется секретный протокол, согласно которому основные права и свободы начинают действовать только после подписания специального соглашения между гражданином и акционерным обществом, причём соглашение должно быть завизировано действующим министром.»

«Аргументы и факты» прогнозируют: «Одним словом, мы вновь на пороге войны компроматов, так как противоположная сторона имеет в свою очередь доказательства причастности одной из структур «Моста» к незаконному ви-

деобизнесу, несовместимому с нормами морали. Если это правда, общество будет шокировано, в том числе члены Всемирного еврейского конгресса, где г-н Гусинский — человек авторитетный. Так что министру печати М.Лесину не позавидуешь.»

18 СЕНТЯБРЯ

«Независимая газета» приводит свою точку зрения: «И хотя сам факт появления подобного рода соглашений, судя по визе на нем господствующего, госчиновников, видимо, удивлять не должен, чем закончится опыт применения откровенного рэкэта со стороны государства, посредниками в котором выступили не самые неопытные люди, как Кох или Лесин, показали вчерашние события. Гусинский фактически обвел вокруг пальца и Газпром, и государство, которое хоть и отнекивается, но, очевидно, стоит за неудачной сделкой с «Медиа-Мостом».

21 СЕНТЯБРЯ интервью с одним из известнейших американских политологов Збигневом Бжезинским опубликовали «Известия». У нас он широко известен с конца 70-х годов по ругани официальной советской пропаганды в адрес администрации президента США Джеймса Картера, при котором Бжезинский занимал должность советника по национальной безопасности. Картер первый среди руководителей западных государств поставил вопрос о правах человека в основу межгосударственных отношений с Советским Союзом, за что он и его администрация удостоивались от советской пропаганды большой травли. Кстати сказать, и критикующие Картера западные СМИ тогда не безрезговы приводить эту идеологическую ругань в качестве доказательства деструктивности политики прав человека, угрожающей крахом всему процессу разрядки. Ныне советник вашингтонского Центра стратегических исследований 72-х летний Збигнев Бжезинский обладает очень большим влиянием в высших внешнеполитических кругах США и является одним из самых резких критиков политики России. Он категорически отказывается признавать, что в бывшей империи появились ростки демократии и свободного рынка. В интервью затронуты основополагающие вопросы как внутриполитического положения России, так и её двусторонних отношений с США.

Интересен ответ Бжезинского на вопрос о ностальгии команды Путина по советскому прошлому: «Такие настроения явно проглядывают, хотя от прошлого у России остался лишь обветшалый военный арсенал. В России масса социальных проблем — огромное количество нищих, больных людей, которые голодают и потребляют зараженную воду. А в это время их лидеры мечтают о том, чтобы страна стала мировой державой, прекрасно зная степень запущенности социальных проблем. Россия даже не входит в десятку развитых государств, её экономика вдвое меньше индийской — о каких амбициях можно говорить?» Один из столпов западной советологии только забыл упомянуть, что среди обветшалых остатков прошлого России достался ракетно-ядерный потенциал, способный несколько раз уничтожить всю современную цивилизацию. И именно из-за этого Россия на международной арене занимает поло-

жение, которому она явно не соответствует по всем остальным критериям — экономическим, правовым, общественно-политическим, моральным.

Свое мнение о характере команды Путина в свете её способности к дальнейшей демократизации России политолог выразил так: «Я считаю, что Путин и его группа представляют собой типичный осколок советской эпохи. Может быть это последние люди советского поколения, которые пришли к власти. Путин не в состоянии открыть перед Россией какой-то новый путь. Мы здесь, в Америке, убедились в этом примере на трагедии в Баренцевом море. Когда простые люди в России так близко к сердцу восприняли всё происшедшее, когда они настаивали на немедленном спасении моряков, когда призывали обратиться за помощью к Западу, политическая элита была озабочена лишь двумя вещами — спасти престиж государства и государственную тайну.»

Касаясь проблемы российско-американских отношений, их сегодняшнего осмысления, Бжезинский прокомментировал существующее в политических кругах США мнение, что политика Клинтона была «политикой упущенных возможностей» применительно к России: «Я не думаю, что эти годы можно рисовать лишь в черном или лишь в белом цвете. Америка, конечно, допустила несколько принципиальных ошибок в своей политике по отношению к России. Мы слишком снисходительно относились сначала к Ельцину, а теперь относимся к Путину. Мы игнорировали коррупцию, которая приняла массовый характер, и, вместо того чтобы предупредить об этой опасности российский народ, делали вид, что всё идет замечательно. Мы были слишком пассивны в отношении войны в Чечне. Сначала первой, а затем второй. Таким образом мы подбрасывали русским пилюлю, в которой содержался яд. Кромк того, у Америки было впечатление о России как о стране с действующей демократией. В вашей стране есть лишь ограниченный набор некоторых свобод, включая определенную свободу некоторых смелых средств массовой информации. (...) Но это не означает, что в России заложены конституционные основы демократии. Просто в старом глиняном сосуде образовалась трещина, и свобода, подобно воде, стала вытекать из него. Вы наслаждались этим. Сейчас ваши власти пытаются замазать эту трещину в сосуде.»

Как бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента Картера, уделявшим очень большое внимание правам человека, Бжезинский не мог обойти стороной эту тему и применительно к сегодняшней России: «Мы видим, что есть определенные улучшения в некоторых сферах. Освобождение эксперта-подводника капитана Никитина — яркое тому свидетельство. Но в целом ситуация остается тяжелой. В первую очередь это, конечно, невероятная трагедия Чечни, осуществляемые с ведома и попустительства российских властей военные преступления, мародерство, издевательство над гражданским населением.»

Видный советолог привел два своих главных тезиса, которые по его мнению должны лежать в основе российско-американских отношений: «Во-первых, в России — это принципиально важно — глубочайшая пропасть между политической элитой и всем обществом. Та трансформация, которая произош-

ла в самом обществе, показывает, что в конечном итоге Россия пойдет по пути демократического европейского государства. И поэтому мы, американцы, должны оказывать помощь этому гражданскому обществу, неправительственным организациям, поддерживать плюрализм в России, но ни в коем случае не подпитывать элиту. И второе. Россию окружают 300 миллионов мусульман, которые из-за её политики в отношении Чечни становятся всё более и более озлобленными. Одновременно на восточных её рубежах распростерся гигантский Китай с населением почти в полтора миллиарда человек и экономикой, которая в четыре раза превосходит российскую. Если Россия хочет выжить как государство, она должна сделать всё своё пространство — от Калининграда до Владивостока — европейским. А если она не установит близких связей с Европой, я не исключаю, что в 2050 году Владивосток перестанет быть российским. Но стать европейской страной Россия может лишь тогда, когда умиротворит свои имперские амбиции. Воспрепятствовать этому мы можем только одним — всемирной помощью независимым государствам на постсоветском пространстве.»

В чем заключается «европейскость пространства», к которой Россия должна стремиться уже исключительно в целях выживания, и что понимать под «имперскими амбициями», в интервью не пояснено. Непонятно также, что считать «близкими связями с Европой», которые необходимо установить во избежание государственного распада. Если считать такими связями обильную экономическую помощь и международное признание страной демократической, то после принятия в Совет Европы, связи России с европейскими странами стали такими, что ближе уже некуда. И кратковременная мягкая критика России из-за второй чеченской войны здесь в принципе ничего не меняет. Если Бжезинский считает «европейскостью» соблюдение российским государством хотя бы своих собственных законов, а «имперскими амбициями» царящие у нас произвол и беззакония государства, то неплохо было бы об этом так и сказать, назвав вещи своими именами. Конечно, газетное интервью, пусть даже пространное, — это не научная аналитическая разработка, но тем не менее для ясности следовало хотя бы кратко, но четко выразить свою мысль и определиться с основными используемыми понятиями. А то из-за расплывчатости и неопределенности формулировок получается непонятный смысл используемых терминов. Так международное попрошайничество России можно принять и за «близкие связи с Европой» и за «имперские амбиции».

Интервью Збигнева Бжезинского своим подходом к нашим реалиям вообще характерно для сложившихся в горбачевские и ельцинские времена методов исследований западных специалистов по Советскому Союзу и России. Наиболее типичным для их основных методов анализа является уход от пристального внимания к вопросам права. Обычно это приводит к серьёзным изъятиям в выводах исследований. Так, в интервью даже не упомянуты царящие у нас произвол и беззаконие, крутым маневром обойден вопрос о том, как нынешняя Россия соблюдает свои собственные законы. Если бы не ракетно-ядерный потенциал, то, например, по правовому критерию — по соблюдению государством собственных законов — входила бы в число стран «большой восьмерки»

больше оснований имеет Эфиопия. Из интервью становится совсем непонятно, где у нас Бжезинский (и другие политологи) разглядел гражданское общество, или хотя бы его зачатки, если наше общество ни в коммунистические времена, ни сейчас не способно заставить государство соблюдать его давно уже официально действующие законы, гарантирующие права граждан. Неясно, по какому критерию определить, когда Россия начнет движение по демократическому пути развития, и в чём политолог видит такой путь применительно к нам. Если такими критериями служат только внешние демократические формы и атрибуты, то у нас их уже давно хватает с избытком, а дела с юридическими гарантиями прав и свобод человека и гражданина — с соблюдением государством собственных законов — на практике обстоит ещё хуже, чем в застойные времена.

В связи с интервью встаёт и ещё один важный вопрос — о подлинных мотивах западной политики, когда в конце 70-х годов в основу межгосударственных отношений с соцлагерем был поставлен вопрос о правах человека. Тогда главный леймотив советской контрпропаганды заключался в обвинении Запада в использовании такого вопроса в чисто меркантильных политических целях, в том, что Запад просто непомерно раздувает эту «больную» для Советского Союза тему для достижения каких-то совсем других своих чисто практических целей в международных отношениях. Понятно, что такие обвинения использовались Кремлем по большей части только во внешнеполитической пропаганде. Для идеологической работы внутреннего пользования были присущи совсем иные штампы — это на Западе трудящиеся лишены всех прав и свобод, это там есть политзаключенные, а у нас только уголовные преступники, да люди с большой психикой. В общем, «это у вас в Америке негров бьют». Можно было бы не обращать особого внимания, если это было бы только советским пропагандистским приёмом, но дело гораздо сложнее. К началу западной государственной политики прав человека приложили немалые усилия наши диссиденты-политзеки, своим примером постоянно доказывавшие Западу, что с советским режимом бороться можно и бороться нужно. После распада Союза и окончания холодной войны, некоторые из них с саркастической усмешкой говорили, что в той войне Запад приравнял их к мирному населению, случайно пострадавшему от боевых действий. То есть, в основу политики прав человека Запад ставил не совсем те мотивы и цели, о которых объявлял публично. Интервью бывшего помощника президента Картера, обошедшего вопрос о соблюдении российским государством собственных правовых норм, это еще раз подтвердило.

21 СЕНТЯБРЯ руководитель «Газпром-Медиа» Альфред Кох заявил, что акции группы «Мост» — холдинга «Медиа-Мост» и входящих в него компаний, среди которых НТВ, «НТВ плюс», ТНТ, — арестованы. А Генпрокуратура РФ приступила к проверке заявления «Газпрома» об уводе активов из «Медиа-Моста» за границу в офшорные зоны. Альфред Кох сообщил журналистам, что сейчас к «Медиа-Мосту» предъявлены в суд два иска — о взыскании 211 миллионов долларов долга, и о понуждении главы холдинга Владимира

Гусинского к выполнению соглашения о купле — продаже холдинга. До начала судебных заседаний по искам суд уже наложил арест на имущество ответчиков в целях обеспечения иска, и теперь судебные приставы обязаны описать и арестовать все активы холдинга. «Мы выходим на новый уровень отношений с «Медиа-Мостом» и больше не будем играть с ним в игрушки.» — заявил журналистам глава «Газпром-Медиа».

«Известия» так прокомментировали позицию холдинга в этом новом повороте скандала вокруг Гусинского и его фирм: «В «Медиа-Мосте» такого поворота событий явно не ожидали. Не знал об этом и корпоративный адвокат «Медиа-Моста» Павел Астахов. Он заявил журналистам, что вообще впервые слышит об исках «Газпром-Медиа» к «Медиа-Мосту» и о том, что суд уже успел наложить арест. «Если это так, то мы будем обжаловать арест в кассационном порядке,» — заявил он.»

«Консомольская правда» приводит мнение Эллы Памфиловой о дальнейшем развитии событий: «Если Кремлю не удастся укротить вездесущие СМИ, усилится влияние внутренней оппозиции в лице финансовой и политической элиты. Они могут начать атаку по резкому снижению рейтинга президента. развернется открытая информационная война — похлеще войн ельцинской эпохи. Но Путин окажется сильнее. Последствия этой виктории для свободы слова я прогнозировать не берусь.»

«Похоже, мы, к сожалению, прощаемся с НТВ. Политическая элита России еще не готова строить разумные отношения с СМИ. — считают **«Аргументы и факты»** — Англия готова. Германия готова. Когда в немецких «Куклах» Ельцин назвал Колю дураком, настоящий Коля потребовал от руководителей канала извинений. Но так их и не дождался. При этом он не стал душить неугодных, видимо, понимая, что лучше перетерпеть, как умел когда-то терпеть и Б.Ельцин.»

21 СЕНТЯБРЯ

Но дело не только и даже не столько в НТВ и Гусинском. Дело в том, что сегодняшнюю новую власть уже не устраивают сложившиеся в ельцинские времена отношения с олигархами и средствами массовой информации. Новое кремлевское руководство вводит новые правила игры с крупным бизнесом, медиа-магнатами и СМИ. В этом отношении характерно приведенное «**Независимой газетой**» высказывание известного политолога, президента Фонда эффективной политики Глеба Павловского: «Поскольку новая власть России появилась в результате определенного революционного процесса, где орудием разрушения были СМИ, то власть рассматривала их как часть своей собственной системы. Теперь, я думаю, возникает необходимость в осознанной информационной политике. Нельзя забывать, что и Березовский, и Гусинский были элементом ельцинской революционной власти. Теперь политическая реальность другая.»

Следует отметить, что Глеб Павловский считается неофициальным советником Путина по политическим вопросам и в этом качестве точно знает, о чем говорит. Изменение «политической реальности» заключается в стремлении Кремля ввести новые правила игры во всей общественно-политической сис-

теме, включая изменение реальных полномочий внутри самой государственной власти. Последнее ярко выражается в «укреплении вертикали власти» — в стремлении президента уменьшить реальные полномочия чиновников всех рангов — по сравнению с тем, какими они были в ельцинские времена. Громкие «разборки» Кремля с медиа-магнатами и СМИ, а также блокирование губернаторам возможности быть членами Совета Федерации служат лишь внешними проявлениями происходящих в государстве внутренних глубинных процессов при стремлении команды Путина произвести передел реальной власти. Отсюда берут начало новые политические линии на «деприватизацию власти» и «равноудаленность олигархов». Многие олигархи, политики, журналисты и другие пламенные демократы необходимы были ельцинской власти для придания режиму видимости демократического. Они свою задачу выполнили и стали «отработанным материалом», только мешающимся под ногами. С изменением «политической реальности» времена наступают другие, и с этой публикой уже можно особо не церемониться. Они свое дело сделали — больше не нужны и могут удалиться. Новое кремлевское руководство решило сменить свою экономическую и общественно-политическую «обслугу», указав ей место. Ситуация, для нашего государства, более чем типичная.

У знающих историю советского государства встает вопрос и о возможности смены властью своего юридического обеспечения. Ельцинский режим держался на МВД — на чисто ментовских методах произвола и беззакония. Уже в этом одном очень серьезная причина для ненависти к власти со стороны широчайших слоев населения. Если Путин решит проводить политику ограничения произвола власти, то для этого необходимо массовое привлечение должностных лиц МВД к уголовной ответственности за должностные преступления. А это может привести к краху всего политического режима, который без произвола не может существовать. Следует отметить, что Путин — черный ящик, которому все приписывают те политические черты, которые им хотелось бы в нем видеть.

29 СЕНТЯБРЯ состоялось первое заседание президиума Государственного совета при президенте РФ — новой структуры в вертикали российской власти, созданной для губернаторов в виде «компенсации» за утрату мест в Совете Федерации. Президиум Госсовета составляют семь назначенных президентом губернаторов — «губернаторская семерка», как прозвали его некоторые газеты. По сообщениям прессы «губернаторская семерка» в ходе заседания проговорила с президентом чуть ли не обо всем — от государственной символики до соблюдения законности на местах. В своей вступительной речи президент Путин отверг все разговоры о «компенсационности» нового органа, заявив, что Госсовет вправе заниматься теми вопросами, которыми сочтет нужными. Газеты отмечают, что первое заседание проходило в условиях повышенной комфортности и при очень демократичном отношении президента ко всем участникам. Но все не так просто.

«Несмотря на «комфортность» и «демократичность» заседания, вчера «губернаторская семерка» удержалась в пределах политкорректности и не стала

на первом же заседании поднимать вопрос о придании Госсовету конституционного статуса. — дает комментарий **«Независимая газета»** — Впрочем, «демократизм» президента, так порадовавший губернаторов, весьма относителен. И это Путин уже не раз давал понять, сначала внимательно выслушивая предложения региональных лидеров, а затем, с их же согласия, принимая крайне неприятные для губернаторов решения.»

Но, что бы не писали газеты и не говорил президент, вопрос о конституционном статусе Госсовета будет обязательно поднят еще не раз. Вряд ли губернаторы смирятся с тем, что, в отличие от Совета Федерации, статус и полномочия Госсовета установлены не Конституцией, и даже не федеральным законом, а президентским указом, являющимся подзаконным актом, издаваемым в рамках закона. А сам Госсовет является исключительно совещательным органом, не имеющим каких-либо самостоятельных властных полномочий, и все решения которого носят чисто рекомендательный характер.

«У МЕНЯ НЕТ СЕГОДНЯ ОСОБЫХ СТРАХОВ ПО ПОВОДУ БУДУЩЕГО РОССИИ В XXI веке...»

В предыдущем номере, открывая новую рубрику «Беседы в редакции», «Континент» напечатал первую часть интервью члена редколлегии «Континента», известного современного лингвиста, литературоведа и культуролога, лауреата Государственной премии России академика Вячеслава Вс. Иванова, который живет и преподает сейчас в Лос-Анджелесе, главному редактору журнала Игорю Виноградову.

Беседа состоялась в сентябре 2000 года, когда Вяч. Вс. Иванов был в Москве. Нам было особенно интересно услышать его ответы на наши вопросы о том, какие глобальные проблемы актуальны сейчас для человечества на рубеже веков не только потому, что обширная энциклопедическая образованность, выдающийся ум и немалый опыт общественной деятельности этого человека (он был, в частности, депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва и членом знаменитой «межрегиональной группы») позволяют ему видеть картину современной мировой жизни в очень широком и масштабном охвате, но еще и потому, что этот истинный россиянин и патриот, оказавшийся вынужденным по не зависящим от него и не подвластным ему обстоятельствам жить в Америке, получил тем самым возможность длительное время наблюдать эту картину не из России, а из самой, можно сказать, Мексики современной западной цивилизации.

Беседа длилась долго и разделилась, в общем, на две большие части — о сегодняшнем мире в целом и о сегодняшней России, ищущей себя в этом мире. При всей связанности этих тем, они все же оказались достаточно самостоятельными, и поэтому в прошлом номере мы напечатали лишь первую ее часть, а собственно «российскую» пообещали дать в одном из следующих.

Сегодня мы выполняем это обещание.

Иг.В.: Итак, Вячеслав Всеволодович, перейдем теперь, как и условились, к нашим, российским, проблемам. Какими видятся они Вам сегодня на фоне тех мировых тенденций, в частности — в развитии информационных технологий, о которых Вы говорили?

Вяч.И.: Мне кажется, мы не ошибемся, если скажем, что сегодня тенденция все в обществе основывать на информации глобальна. Постепенно она охватывает весь мир, и, в первую очередь, передовые страны, к которым технически относится, конечно, и Россия. Ситуация в России в этом смысле совершенно неплохая. По компьютерному обеспечению мы, в сущности, очень мало отстаем от Америки. У нас гораздо меньше компьютеров на душу населения, но зато очень высок уровень людей, которые эти компьютеры используют. Недаром наша молодежь,

которая занимается программированием, чрезвычайно высоко котируется в мире. В Германии, например, даже разработана сейчас большая программа, как переманить из России побольше таких специалистов — причем речь идет буквально о десятках тысяч. Конечно, с одной стороны, для России это означает некоторый ущерб. Но поскольку у нас много таких людей, то, в сущности, мы должны скорее радоваться, что при всей многолетней глупости наших властей задурить нашу молодежь все-таки не удалось и она очень во многом преуспела...

Иг.В.: И чем Вы объясняете столь высокий уровень компьютерной подкованности нашей молодежи? Что — мы умнее других?

Вяч.И.: Нет, дело просто в том, что у нас в течение многих лет — еще до реформ — были довольно плохие компьютеры, но они были, и их было немало. Молодежь знала, что они плохие, и, стараясь это обойти, пользовалась всякими программными и другими ухищрениями. То есть именно благодаря нашей технической отсталости уровень обращения с техникой был у нас — и все еще и остается — намного выше американского. Один человек, который давно отсюда эмигрировал, известный специалист по компьютерам на Уолл-Стрит, говорил мне: «В России я знал пятнадцать языков программирования. Здесь, на Уолл-Стрит, пользуются только одним — причем далеко не самым лучшим. Поскольку меня это устраивает, я забыл те четырнадцать языков, которые были нужны в России при нашей бедности».

И это не случайность. Это то, что более или менее характерно. Не особенно пытаясь оценить, кто лучше, а кто хуже, я все-таки думаю, что в этом конкретном вопросе (в смысле количества и качества молодых людей, работающих с компьютерами) Германия, например, ниже нашего уровня. Причем ниже существенно. Я не берусь судить о других европейских странах, но думаю, что и там ситуация примерно такая же. То есть по потенциальному уровню очень большой части молодежи мы, на самом деле, одна из наиболее передовых стран. А в компьютерной области все решает именно молодежь, потому что это та технология, которая меняется с каждым годом. Здесь даже человеческий возраст измеряется по-другому. И мы в России отчасти тоже с этим сталкиваемся: сейчас ведь, как известно, и в России условия приема на работу во многих случаях имеют ограничения очень молодым возрастом. То есть в этом смысле в мире все тоже очень меняется.

Я с компьютерами имею дело уже сорок лет. Когда-то, когда меня за дружбу с Пастернаком и Романом Якобсоном выгнали из профессуры Университета и я не мог устроиться ни в один гуманитарный институт, я два с половиной года проработал в институте, где стояла первая советская вычислительная машина. Она была на радиолампах и целиком занимала первый этаж довольно внушительного здания. И когда сейчас я смотрю на последние компьютеры — а они вообще уже как спичечный коробок и, видимо, скоро станут еще меньше, причем память, быстродействие и т.д. у них намного больше, чем у прежних гигантов, — я поражаюсь тому, что это все случилось в пределах моей жизни. За сорок лет сменилось пять поколений компьютеров! Конечно, это темпы развития, которых никогда в истории человечества не было.

И, конечно, в связи с этим возникает проблема человеческих мозгов, которые сплошь и рядом не успевают за развитием техники. Я думаю, что это вообще

одна из глобальных проблем XXI века для всего мира. Но опять-таки у меня здесь довольно-таки положительный на сегодня прогноз для России, потому что потенциально наши возможности в этом отношении просто гигантские (я сейчас не говорю о всяческих очень больших трудностях, которые мы переживаем, да еще сколько-то лет — надеюсь, не очень долго — будем переживать). Вот несколько дней назад я был в РГГУ — в Российском государственном гуманитарном университете. И мне там показывали, что за два года было там сделано в смысле внедрения компьютеров в экспериментальные формы обучения. Это действительно фантастика. Причем я должен сказать, что, безусловно, в этом отношении они намного впереди почти всех американских университетов. По очень простой причине: РГГУ создавался сегодня — это новый университет, который благодаря энергии ректора Афанасьева и по многим другим причинам получил большую техническую помощь (больше, чем финансовую). Часто Университету помощь оказывали, просто посылая компьютеры и т. п. Так, благотворительные программы фонда Сороса, например, всегда давали очень много компьютеров, и Афанасьев вначале и получал их от Сороса, а потом стал получать и из других источников. Словом, строить заново в нынешних условиях гораздо легче, чем модернизировать уже существующее. Поэтому, я думаю, и тот новый частный университет, о создании которого в Подмоскowie многие недавно начали мечтать, нужно было бы построить именно заново, учитывая всю эту грандиозную новую технику. Ведь она преобразует образование полностью — студенты получают возможность видеть видеофильмы, где лекции читают лучшие профессора мира. То есть совершенно не обязательно приглашать их для этого сюда — так дешевле и проще, а вопросы им вполне можно посылать по компьютерной связи и т. д. Конечно, для этого нужно овладеть какими-то языками, чтобы такие лекции слушать, задавать вопросы и т. п. Но студент, который выучил, скажем, английский язык, может познакомиться с самым высоким уровнем науки во всем мире.

Вы знаете, даже чисто технические вещи меня поражают. Вот вы читаете лекцию, ходите по аудитории, сейчас вы где-то в задних рядах, но вы держите в руках нечто и это нечто пишет на доске, которую все видят. Кстати, я познакомился с этой техникой здесь, в Москве. То есть возможности настолько безграничны, что даже трудно себе представить, чего не в состоянии предложить современная технология образования, которая, я думаю, в ближайшие годы еще больше изменится. И я надеюсь, что Россия из-за этого нашего парадокса, что у нас и сейчас еще недостаточно техники, а потому очень изобретательные люди придумывают разного рода замечательные вещи, опять-таки может оказаться совсем не в проигрыше. А поскольку будущее принадлежит, несомненно, прежде всего информационной технологии, постольку и мой прогноз на XXI век для России самый оптимистический. И я всегда говорю людям, которые в Америке меня о России спрашивают: «Про Россию я знаю, что там все будет хорошо, а вот про Америку я не знаю ничего». Я совершенно не хочу встраиваться в неприятную мне кампанию против прессы и телевидения, но, на мой взгляд, умонастроения текущей печати в России и наших электронных СМИ все-таки немного страдают близорукостью...

Иг.В.: Как бы хотелось, чтобы Ваш оптимизм оказался не иллюзорным! Но что-то пока не видно, чтобы наша власть хотя бы отдаленно приблизилась к пониманию тех проблем, о которых Вы говорите...

Вяч.И.: Вот я и готов поэтому опять и опять призывать: давайте все-таки подумаем — и очень серьезно подумаем — об огромности наших возможностей. В самом деле — попробуйте немножко пофантазировать. Предположим, у нас совершается чудо, и кто-то из современных замечательных молодых людей попадает в руководство страны... Да почему бы, действительно, и не попасть — тем более в демократической стране? Это же совершенно естественно! Если есть десять тысяч очень талантливых людей, которых хотят от нас переманить, то почему бы одного из них не поставить, чтобы он начал у нас работу хотя бы в этой области? Ведь если, например, прекратить изготавливать то оружие, которое нужно не нам, а для продажи Саддаму Хусейну и разным другим малоприятным людям, то на одни только эти деньги можно было бы переоборудовать все университеты страны. И мы уже через пять лет получили бы выпускников, равных которым нигде в мире просто нет. И, посылая этих людей на стажировки и т. п., мы могли бы выручить гораздо больше денег, чем мы выручаем продажей оружия, к тому же не всегда качественного. То есть даже чисто экономически, я думаю, вкладывание денег в новые технологии, технологии информации — это самый разумный путь для очень быстрого подъема экономики страны. Не только потому, что, как я уже говорил¹, интернет позволит потом организовать психологию рынка, стимулирующую развитие экономики и т.п. Это вторичные вещи. А первично то, что если бы мы сейчас разумно использовали возможности такого вот гигантского информационного подъема страны, результаты сказались бы очень быстро. Бывают такие инвестиции, которые способны приносить плоды разве лишь когда-нибудь через сто лет. И все равно они считаются выгодными. А здесь речь идет о молодых людях, которых нужно просто обучить, чтобы отдача началась уже сразу. И есть люди, которые их могут обучить, есть огромная техника, которая способна это сделать, и есть даже и примеры того, как это делается!

Почему (вернемся все-таки к этому загадочному для меня вопросу) компьютерное развитие в университетах по всей провинции России — это дело рук только Сороса? Все-таки в этом есть какой-то странный и неприятный парадокс. Причем я говорю это вовсе не с каких-то ультра-патриотических позиций. Я и сам был в Совете у Сороса, много с ним имел дела и думаю, что его со временем обязательно поблагодарят за то, что он сделал для русской науки и образования. Но ведь все-таки Россия и сама тоже что-то могла!.. Сорос, кстати, именно так и предлагал — что он будет давать на русскую науку половину, а другую половину должно будет дать русское правительство. Но русское правительство этого не сделало. А сейчас в Думе уже говорят, что в новом бюджете России ассигнований на науку вообще ноль. И это не сегодня началось. В течение всех десяти последних «реформенных» лет науку просто разваливают! И разваливают как раз в тех самых условиях, когда, вообще говоря, в мире просто не существует уже другого такого мощного стимула для серьез-

¹ См. первую часть интервью Вяч.Вс.Иванова в «Континенте» № 105

ного экономического развития, как современная наука! То есть мы делаем прямо противоположное тому, что разумно делать в условиях экономического спада.

Вы знаете, я вот с огромным вниманием изучаю в последние годы произведения Николая Дмитриевича Кондратьева, погубленного ужасным образом. Сталин ведь сам принимал участие в организации его, скажем так, пыток. Это сейчас, кстати, все уже напечатано. Вышли два тома, в которых много материальных следственного дела. Там есть и письма Сталина к заместителям Ягоды — к тем, кто организовывал следствие. Сталин следит буквально за каждым шагом Кондратьева, он каждый раз указывает, что тот же Агранов должен с ним сделать. Они его разрушили физически совершенно. Он потом был в изоляторе, несколько лет продолжал заниматься наукой, но превратился уже совершенно в инвалида. Вы знаете, он ведь отказался эмигрировать. Его друг, с которым он вместе учился, соратник по эсеровской партии Питирим Сорокин эмигрировал и стал знаменитым социологом. Сорокин пригласил Кондратьева в Америку, и для него там было место. А он отказался, вернулся в Россию в 1924 году, вернулся из длительной поездки и организовал то, что называлось «пятилеткой Кондратьева». Это был план поднятия русской деревни, и это была единственная пятилетка, которая была выполнена в 1929 году. Русская деревня, которую потом начал грабить Сталин, была восстановлена по плану Кондратьева за очень короткий срок. И в награду он был арестован...

Но я заговорил о нем сейчас не для того, чтобы напомнить, что есть великие русские люди и что если кому-то и ставить памятники, так это таким, как он. Я потому его вспомнил, что он создал теорию того, что западные ученые сейчас называют «волнами Кондратьева». И это очень популярное понятие — потому что все мировое экономическое развитие до конца века происходило в точном соответствии с его расчетами. Какие-то разделы этой теории он дорабатывал, кстати сказать, в тюрьме. И — удивительный человек! — сумел часть написанного передать при свидании жене. Как это удалось в тогдашних условиях — вообще говоря, просто чудо...

Так вот, — когда еще никаких электронно-вычислительных машин не было, а был у него лишь маленький экономический институт и помогало ему всего несколько сотрудников, он рассчитал математически точные законы экономических подъемов и спадов, начиная с XVII века, для стран классического капитализма — Голландия, Англия, Франция, Германия. Россию, правда, вопреки Ленину, он не признавал страной капитализма, он был народником и считал, что вообще наше развитие должно идти по другому пути. Но как бы то ни было, а та часть его теории, которая относится к периодам спада, существенна сегодня и для России, осваивающей сейчас тот капитализм раннего типа, для которого характерно гангстерское развитие (в Америке это тоже было, так что мы вовсе не одиноки в этом смысле). И у нас сейчас очевидный спад. А основной принцип, который Кондратьев четко сформулировал в своей теории спадов, состоит в следующем. По его расчетам, в течение всей истории, с XVII века и до начала XX, в моменты экономических спадов во всех странах происходит наибольшая концентрация открытий — и общенаучных, и конкретно технических. Если они тут же внедряются, то их внедрение обеспечивает

быстрый выход из спада. И так и происходит в более или менее нормальных условиях. Но, к сожалению, периоды спада — это гораздо чаще периоды войн и революций, поскольку население или правительство не выдерживают кризисных экономических ситуаций. Вот и мы сейчас находимся в таком периоде — экономика в очень плохом состоянии, идет война в Чечне, возникают и назревают другие конфликты, грозят большие социальные потрясения. А между тем вот любопытнейший факт: Президент Российской Академии (он математик и никогда не занимался Кондратьевым) в частной беседе сказал мне: «Время очень тяжелое, но ведь открытия в эти годы сделаны у нас потрясающие». Очень интересно, не правда ли? И это вполне соответствует Кондратьеву...

Иг.В.: Увы, на это опять приходится сказать: а как с внедрением?..

Вяч.И.: Да, конечно — чтобы открытие спасло, нужно, чтобы оно не претерпело обычную, увы, судьбу русского открытия. Мы ведь, начиная с Ломоносова, действительно наоткрывали больше, чем любая другая страна мира. Это не преувеличение. Большой народ, талантливый — что говорить! Но из этих открытий очень мало пошло на пользу России. Возьмите, скажем, того же Сикорского, изобретателя вертолетов — уехал со своими вертолетами в Америку, и лишь потом, много лет спустя, эти вертолеты к нам вернулись...

Иг.В.: А Королев?

Вяч.И.: А Королев — это случай совершенно уникальный. Королев — один из немногих, кто сумел и свои крупные изобретения, а отчасти даже и то, что еще Циолковский придумал (он очень серьезно относился к Циолковскому), гигантской своей волей в очень трудных условиях реализовать... Но об этом особый разговор. Он и сам считал, что ему Господь помог. Он был очень верующий человек и считал, что Бог его спас и в заключении. Он это говорил одному из первых космонавтов, объясняя значение полетов. Так что, пожалуй, других убедительных исключений из того, что русские открытия мало что дали России, я даже и не знаю. Вообще же, раз уж вспомнили Королева, нужно сказать, что его прорыв очень много России принес. И не просто потому, что это был спутник и потом завоевание космоса, которое, я думаю, тоже будет одной из главных забот человечества в XXI веке; королевские открытия все-таки очень способствовали авторитету России и русской науки и в целом (кстати — и внутри страны: в те годы никто и не подумал бы, что науку не надо субсидировать). А раз уж мы заговорили о космосе, то я должен сказать, что это все-таки очень важно, что все эти годы продолжалась работа по созданию совместной русско-американской станции. Я знаю многих людей, занятых этим в Америке, и могу засвидетельствовать, что американцы были в совершеннейшем восторге, когда они познакомились с нашими специалистами. При этом их удивляло — а почему среди русских специалистов так много людей, уже близких к среднему или пожилому возрасту? Да потому, что время, когда они пришли в науку, — это как раз время Королева. После смерти Королева его дело попало в руки (я имею в виду административную часть) к специалистам уже далеко не всегда самой высокой профессиональной квалификации и человеческого уровня. Келдыш ведь покончил с собой отчасти именно в связи с тяжелым положением, которое сложилось после смерти Королева и с которым он не сумел уже справиться. Вот те

два человека, которые действительно очень многое поначалу сделали и для расцвета нашей космонавтики, и для развития нашей науки в целом. Но потом один умер, другой покончил с собой — и все начало если и не совсем разваливаться, то все же встретилось со множеством трудностей. И если тем не менее удалось все-таки сделать русскую часть этой станции, значит импульс, данный прорывом Королева, все еще действует и способен давать результаты такого колоссального масштаба. Ведь это, в конце концов, начало новой эпохи в истории человечества — то, что будет постоянная станция в космосе! Королев считал (собственно, это идея Циолковского), что должна быть серия таких станций — ну, видимо, на пути к Луне. Луна и сама со временем может стать одной из таких станций, поскольку, по-видимому, завоевание Солнечной системы — это вполне реальная уже для достаточно близкого нашего будущего задача.

Иг.В.: А зачем это нужно?

Вяч.И.: Что вы — экономически это необычайно важно! Взять хотя бы минералы на Луне. Но тут существует вот такая опасность: XXI век может оказаться эпохой великих открытий со всеми несчастьями таких эпох. Представьте себе пиратство в космосе — это же страшная вещь! А человечество между тем совсем не готово к этому. Пока ведь это все больше предмет для научно-фантастических фильмов, да еще, как правило, при непрременном участии каких-нибудь инопланетян, но я про них ничего не знаю, есть они или нет, а вот то, что люди на Земле пока что очень мало приспособлены к тому, чтобы совместно осуществлять такие грандиозные проекты, — это я точно знаю. Тем более важно, что русские и американцы (к тому же там и другие участвовали) так, в общем, дружно работали...

Иг.В.: Опять, значит, без так называемой «гуманитарной составляющей» никакая, пусть даже самая фантастическая техника нас не спасет?..

Вяч.И.: Конечно! Это и давно уже, а сегодня, на нынешнем уровне развития науки, и тем более одна из самых важных и сложных проблем человечества, — я уже говорил об этом. Возьмите хоть то же клонирование. Ведь близнеца, неотличимого от нас с вами, можно сделать уже сейчас. Да, существует масса запретов, правда — в разных странах. Но сделать маленького ребенка-близнеца любого человека — уже можно. Однако ведь дальше, если мы хотим, чтобы он, скажем, тоже совершил какие-то гениальные открытия, как и его «исходный образец», ему нужно обеспечить и биографию, более или менее аналогичную той биографии, которая создала «исходного» ценного персонажа. И вот — помимо первого и главного вопроса: а надо ли вообще клонировать? — сразу возникает и такой вопрос: как такую биографию обеспечить и можно ли в принципе это сделать? Уже одно это доказывает, что гуманитарная наука становится весьма важной, потому что всякая ценная личность создается не только своим генетическим кодом, но и теми приобретенными свойствами, которые формируются историей, временем, реальным жизненным опытом и т.д. И все эти свойства, чтобы попытаться как-то поспособствовать их возникновению и в личности-«клоне», живущей уже в совсем других условиях, нужно, по крайней мере, научиться как-то понимать и описывать в их сложнейших взаимосвязях с окружающим миром. А этого-то мы до сих пор как раз и не умеем. Я не говорю

уж о том, что нужно еще очень и очень серьезно обдумать, насколько человечеству и вообще нужно повторять опыт, пройденный уже жившими людьми...

Вы знаете, я столкнулся сейчас с этой же проблемой и с совершенно другой стороны. В Лос-Анджелесе один из гуманитарных фондов, используя уже существующие возможности создания так называемой «виртуальной реальности», разрабатывает сейчас любопытный план, в котором участвуют и некоторые мои коллеги — историки и филологи-классики. Речь идет о воссоздании той или иной исторической виртуальной реальности — ну, скажем, Древнего Рима. На вас надевают какой-то скафандр, руки — в каких-то перчатках, на глазах — очки. И вы попадаете в Рим. Вы воспринимаете не Лос-Анджелес, а Древний Рим. Вы слышите латинскую речь, вас буквально окунают в это далекое от нас время... Началось все это, кстати, с тренировок космонавтов, для которых моделировали поверхность Марса или Луны. А потом решили, что нужно использовать этот метод и для коммерции. Вам не нужно, например, ехать в Африку, чтобы побывать там — вам просто помогут перенестись туда, не сходя, что называется, с места, и создадут полную видимость того, что вот вы сейчас в Африке, на охоте, например, и даже убиваете слона. Правда, слон будет виртуальный... И опять мы оказываемся перед проблемами прежде всего гуманитарного характера. Мы сталкиваемся с тем, что современная технология способна дать нам возможность ощутить себя и до полной иллюзии «реально» пожить в любом фантастическом мире, который она для нас может создать. Жить или не жить в нем — это, конечно, дело уже нашего свободного выбора. Но ведь здесь-то и таится очень большая опасность для многих людей: это может оказаться хуже наркомании, потому что вам могут предложить такой приятный мир, из которого вам уже просто не захочется и возвращаться в реальность...

Иг.В.: Ну, насколько я понимаю, нам, русским, пока это еще не грозит — есть, я думаю, проблемы поактуальнее. Поэтому из возможного виртуального будущего вернемся в сегодняшнюю реальную Россию — нашим читателям, я полагаю, было бы очень интересно услышать от Вас, какие ее проблемы, помимо уже названных Вами, представляются Вам наиболее важными и острыми.

Вяч.И.: На мой взгляд, одна из самых больших сегодняшних проблем для нас всех — судьба России как единого целого. Я, во всяком случае, очень мучительно пережил распад Советского Союза. В то время я был депутатом, и на нас это свалилось как некое решение, против которого нам не только не дали возможности возразить, но даже и обсудить его. Потому что, в сущности, это было спущено с больших верхов совершенно насильственным образом, так что, пожалуй, за все протекшие с тех пор десять с лишним лет именно это решение было одним из самых недемократических. И чем больше я размышляю сегодня на эту тему, тем меньше вижу смысла в том, что было тогда сделано с разделением страны. Ее ведь буквально растащили на куски. Я надеюсь, правда, что дальше это не пойдет, и у меня нет в этом смысле особых страхов по поводу будущего России, хотя сегодня многие и говорят — может быть, не совсем всерьез — о том, что дальше начнут отделяться башкиры, якуты и даже некоторые губернии. Мне это не кажется реальным по той простой причине, что это противоречит самим принципам, самой природе организации такого колоссального целого, как современный

мир. Мир ведь устроен так, что он, скорее всего, велит объединяться, а не разделяться на части. То есть отдельные там баски или валлийцы в Англии могут, конечно, волноваться по поводу своего языка, и я как языковед все это вполне понимаю. Но вместе с тем я понимаю и то, что недаром от недавних шести тысяч языков в ближайшем поколении останется только 600. А это — уменьшение уже качественное. И дальше, наверное, такое уменьшение тоже будет происходить. В мире центробежные силы гораздо слабее центростремительных, и, возвращаясь к России, важно отдавать себе отчет в том, что не случайно, видимо, история тысячу лет все-таки соединяла, а не разъединяла на этом большом пространстве людей и отдельные этнические группы. И так просто разделить их по случайным границам? Вы же знаете, что многие сегодняшние границы СНГ почти так же случайны, как в Африке. Почему, скажем, одна из бывших республик СССР, ныне независимое государство, называется Казахстаном? Мой отец родом из Северного Казахстана, поэтому я хорошо знаю, что это такое. Казахстан — это конгломерат, где в последние десятилетия существовало около сорока разных национальностей и языков и где казахов было меньше половины. Так что решение о выделении и этой общности, и многих других, подобных, в некие отдельные национальные государства было, конечно, просто нелепым. Ведь, по существу, мы навязали всем народам, которые обитали в России на момент ее искусственного разделения, те совершенно условные границы, которые наметил и провел когда-то в качестве наркомнаца Сталин, не придававший им, разумеется, ни малейшего реального значения, поскольку никакого реального права на самоопределение и отделение никто союзным республикам предоставлять не собирался. И это и стало источником огромного количества бед и страданий в дальнейшем, так что сегодняшняя Чечня — это, помимо всего прочего, постоянное напоминание и о том, что в свое время все было сделано не так, как нужно. И я думаю, что здесь, увы, приходится говорить опять о невежестве — как и в случае с экономикой. Но здесь невежество было, пожалуй, еще более предосудительно, потому что все эти последствия вполне можно было предвидеть — для этого не нужно было делать какие-то специальные изыскания, как, скажем, в области современных экономических процессов, достаточно было бы просто прочитать хороший учебник истории. И, конечно, это все тоже сулит впереди массу трудностей...

Иг.В.: И видите ли Вы из этой ситуации какой-то выход?

Вяч.И.: Выход, я думаю, в необходимости как можно более быстрого исправления нашей экономики и технологии. Я думаю, что нас спасти может совершенно не война, не применение полиции, силы или там наем каких-то случайных людей, которые якобы могут быть местным правительством, — это все пустяки. Это все несерьезно. Но если подъем русской экономики и развитие той информационной технологии на высшем мировом уровне, о которой я говорил, действительно будут осуществлены, то...

Иг.В.: ...никаких войн, в том числе и за Крым, не понадобится?

Вяч.И.: Вот именно. Причем это все осуществимо, как я уже говорил, в течение нескольких лет. Мы видим, как долго идут войны и сколько они пожирают денег, а поднятие технологий и экономический подъем России — это совершенно достижимые вещи. Я вам скажу и такую странную вещь: я даже не думаю, что

самая первоочередная задача — это война с ворами, потому что, увы, им и разворовывать сейчас не так уж много чего осталось. Конечно, они еще могут продолжать воровать то, что у нас в недрах, а это желательно было бы сохранить, но...

Иг.В.: ...Но ведь проблема еще и в том, что на гангстерском, как Вы сами сказали, этапе нашего «раннего капитализма» постоянно возникают ситуации новых — и очень масштабных — переделов собственности, а это чревато для страны не менее опасными последствиями, чем продолжающееся разворовывание недр...

Вяч.И.: Конечно, я совершенно с Вами согласен. Современному любителю популярной кинопродукции на понятном для него языке ситуацию в России можно было бы описать так: «Мы все время живем как будто бы в ковбойском фильме. Но с одним большим отличием: в конце вестерна появляется обычно шериф, который наводит порядок. А у нас или вестерн без шерифа, или шериф — и, к сожалению, чем дальше, тем больше — сам превращается в бандита». Гангстеризация шерифов — это страшная проблема современной России, то, что может нам очень испортить будущее. Так что нечего говорить — конечно, бандитизм страшен и плох. Но он опять-таки может быть изжит, я думаю, соревнованием со здоровой частью экономики. То есть, иначе говоря, если бы мы смогли все же наладить какую-то систему хотя бы информационных производств на европейском уровне, то, я думаю, многое начало бы на глазах меняться. Причем я имею в виду не только разного рода компьютерные вещи, автоматизированные производства с использованием роботов и т.п. новые технологии, но даже и такую простую вещь, как разумное использование хотя бы тех информационных технологий, которыми мы располагаем и которыми пока что злоупотребляем, — тем же телевидением, например. Телевидение — это ведь тоже гигантская сила. А мы сейчас пользуемся ею так, как дети, играющие с огнестрельным оружием, то есть опасно задураем голову основной массе населения. То мы начинаем славословить Ельцина, когда он уже беспомощен и стоило бы просто его пожалеть как немощного человека, а его зачем-то телевидение представляет реальным историческим деятелем, все еще якобы способным на что-то. То мы выдвигаем еще какого-то человека, о котором вообще никто ничего не знает, и дальше сами же и начинаем расхлебывать эти собственные наши телевизионные игры. А еще меньше я понимаю государственных чиновников, когда они пытаются начать управлять телевидением на свой лад: потом все равно им неизбежно придется отступить. На эту тему — гигантской исторической значимости и принципиальной независимости телевидения — есть даже теорема, попавшаяся мне на глаза еще лет тридцать с лишним назад в журнале по математическим проблемам биофизики. Я потом часто об этом вспоминал, когда чешское телевидение себя героически проявило после вторжения советской армии...

Телевидение — ведь это действительно очень мощный инструмент объединения общества, образования, распространения знаний, зачем же использовать его в качестве палки, чтобы бить по головам своих соплеменников?.. Вот и получается, что мы действительно ведем себя как дети, играющие с опасным оружием, — и тогда, когда речь действительно идет об оружии, и когда дело касается просто современной техники, которую мы не умеем ни понять, ни относиться к ней с должным уважением, ни разумно освоить.

И все-таки из всего, что я сказал, мне кажется, следует, что все наши проблемы разрешимы. И это очень важно. Я бы на первых страницах газет печатал своего рода заклинания, а именно — постоянно напоминал бы обществу, что мы — страна, которая обладает наиболее высоким интеллектуальным потенциалом, что мы должны реализовать это в течение ближайших лет. Я считаю, что магия таких заклинаний просто необходима. И уж если для чего телевидение и должно прежде всего использоваться, так это для того, чтобы заворожить страну реальными возможностями, перед нею открывающимися...

Иг.В.: То есть нам надо научиться, так сказать, *по-хорошему* манипулировать обществом?..

Вяч.И.: Это нужно, хотя манипулированием это можно назвать разве лишь условно. Ведь это же не вранье, а правда. И правда вдохновляющая, а народ не может жить без вдохновения. И русский народ особенно. Он запивает, начинает убивать друг друга. Вообще ведь разложение же идет сейчас по стране страшное. К сожалению, я боюсь, что и церковь в том состоянии, в каком мы получили ее от советского государства, не может эту необходимую для сегодняшней России функцию выполнить.

Иг.В.: Наоборот, мне кажется, что она выполняет сегодня функцию как раз обратную, поддерживая и вдохновляя совсем иных манипуляторов. Разумеется, я говорю прежде всего об официальной церкви, об иерархически-институциональной ее ипостаси...

Вяч.И.: А между тем, человек — повторяю это еще и еще раз! — не может жить, не веря во что-то. Мы же отняли у него все. Ну, что, действительно, осталось? Осталось просто убивать друг друга. И люди этим занимаются...

Иг.В. В том-то все и дело. Я совершенно согласен с вами, конечно: без какой-то общей веры российского народа в возможность и реальность экономического подъема страны вряд ли в России удастся что-то сделать. И такую веру надо, конечно, воспитывать. Но на кого мы можем здесь надеяться? Да и не только в этом — это лишь часть более общей и, может быть, самой острой сейчас для России проблемы. Вот Вы очень хорошо говорили о наших возможностях, о нашем богатом интеллектуальном потенциале, который может вывести нас вперед в развитии современных информационных технологий, о том, что даже и бандитско-воровской наш капитализм может быть вылечен соревнованием со здоровой экономикой, а экономический подъем страны способен преодолеть даже и отрицательные последствия распада СССР, избавить нас от войн, подобных чеченской, и т.п. Все это прекрасно, все это, наверное, так, но вот центральный вопрос: на какие механизмы реализации всех этих потенциалов мы можем рассчитывать? Какие силы способны эти потенциалы задействовать и заставить их превращаться в действительность? Понятно, что российские «шерифы», оказывающиеся сплошь и рядом такими же бандитами, с которыми они призваны бороться, вряд ли будут заботиться о том, чтобы обеспечить существование «здоровой» экономике и помочь ей одолеть гангстерскую. Скорее они дадут своим подопечным полную возможность оседлать и перевести в ту же бандитскую собственность и те новые информационные технологии, на здоровое развитие которых так хотелось бы рассчитывать. И кто может этому помешать?

Президент, правительство, дума? Но ведь это, условно, говоря, те же самые «шери-фы» — и недаром они что-то так и не проявили до сих пор ни малейшего понимания того, что действительно требуется стране, так что нашей науке по-прежнему рассчитывать на какую-то серьезную поддержку не приходится. И что же — это они, что ли, заинтересованы в том, чтобы превратить телевидение из средства идеологического манипулирования обществом в мощное орудие его просвещения, образования и действительно духовного возрождения?

С другой стороны, и на то, что можно назвать движением снизу, рассчитывать тоже пока вроде бы не приходится. Ведь наша драма, если и прямо-таки не трагедия, состоит в том, что у нас нет гражданского общества и основная масса населения страны даже и не представляет себе, что это такое. История — и давняя, и тем более недавняя — хорошо позаботилась о том, чтобы россиянам не привилось никаких навыков гражданского поведения, чтобы у них не было никакого или почти никакого опыта демократии. Потому-то и современный наш россиянин — в массе своей — скорее запьет, скорее ляжет на рельсы, нежели попытается принять участие в каком-то организованном демократическом движении, проявить какую-то гражданскую инициативу. Поэтому и настоящих партий у нас нет — за исключением разве лишь чисто протестной КПРФ, не способной ни к какому позитивному действию...

Вяч.И.: Да, это так, хотя почти со всем, что те же коммунисты говорят о наших бедах и проблемах, можно согласиться. Только это никуда не ведет и вести не может. Во-первых, потому, что все, что происходит сейчас, — это прямой результат того, что они своими же руками когда-то и сделали, так что никакой реальной программы преодоления сегодняшнего кризиса у них нет и быть не может. А во-вторых, именно поэтому у них нет и никакого морального права на то, чтобы вести за собою куда-то страну — они способны только на то, чтобы в своих карьерно-политических целях эксплуатировать отчаяние обнищавших слоев населения страны...

Иг.В.: Так на кого же остается надеяться? На нашу элиту?..

Вяч.И.: Да, на элиту, на формирование национально ответственной элиты, которая должна стать ядром нашего гражданского общества. И здесь начинаются мои очень серьезные претензии к нынешней нашей элите, очень еще далекой от этого...

Иг.В.: Я тоже думаю, что рассчитывать в сегодняшней России следует только на национально ориентированную и национально ответственную элиту, потому что действительно только с нее может в нынешних наших условиях начаться формирование жизнедеятельного гражданского общества, способного взять в свои руки судьбу страны. Но где взять такую элиту?

Вяч.И.: Раз она нам нужна, нужно ее сделать. У нас ведь такая большая страна!.. И в русской провинции все совсем не так уж безнадежно. Так ведь и раньше было. Помните? — тех же Минина и Пожарского, спасителей России, тоже ведь провинция дала. Так что если кликнуть клич — я серьезно это говорю — то, будем надеяться, Россия не промолчит. Там ведь есть очень много людей, которые помогли бы всей стране, если бы поняли, что это возможно. Но у нас, увы, к отсутствию гражданских навыков имеет самое прямое отно-

шение и та привычка, что все идет из центра, что обязательно должен быть «звонок» откуда-то, и вот тогда уж...

Иг.В.: Ну, да — вот выберем хорошего царя, и все будет хорошо. Все пойдет по его команде...

Вяч.И.: Да, именно так. Последние президентские выборы как раз это и показали. Но тем самым они показали и то, что страна настроена позитивным образом. Иначе бы Путина не выбрали. Его выбирали отчасти и потому, что хотели покончить со старым и что-то сделать.

Иг.В.: Ну, к Путину мы не будем пока обращаться, это особая тема. Тем более что пока что тот «клич», о котором Вы говорите, мы от него не услышали...

Вяч.И.: Разумеется, сейчас мы не будем заниматься Путиным. Просто это интересный пример, который показывает, каких перемен страна хочет. И я думаю, что если бы, грубо говоря, был объявлен некий национальный конкурс на тех людей, которые действительно способны что-то сделать в плане именно нравственной мобилизации страны, внушить ей веру в свои силы и свои возможности, раскрыть перед нею эти возможности, это встретило бы у людей повсеместную поддержку и понимание...

Иг.В.: Опять-таки готов полностью согласиться с Вами, но вот только ни такого «конкурса» никто не объявляет, ни «клича» нужного ни от кого не слышно... Так, может быть, не стоит и ждать в таком случае подобных инициатив от наших царей? Тем более, что и подбираются они пока что своими предшественниками и притом самым тщательным образом? Мне кажется, что в этой ситуации и наши ожидания, и наши претензии нужно обратить, как Вы это, в сущности, уже и сказали, опять-таки прежде всего к самой нашей элите. Вернее — к той ее части, а еще вернее — к той части нашего общества (потому что это круги хотя и пересекающиеся, но не совпадающие), которую называют интеллигенцией. Правда, в ходе нынешних ожесточенных дискуссий о ее роли в современном обществе то и дело можно слышать, что интеллигенция при демократии теряет свою былую роль, что она не нужна, что претензии тех, кто причисляет себя к интеллигенции, на какое-то особое место в сегодняшней России совершенно беспочвенны. И что не случайно поэтому интеллигенция как некое неформальное общественное объединение, наделенное в глазах общества неким особым общественным призванием, никак себя сегодня и не проявляет. Ну, и слава Богу, что ее не видно, говорят те, кто готов ее похоронить, — времена межрегиональной группы или «Московской трибуны» уже, де, прошли, сейчас есть уже и парламентская демократия, и многопартийная система. Вот пусть те образованные люди, которые числят себя в интеллигентах, и примыкают к партиям, программы которых им близки, пусть используют эти имеющиеся теперь в их распоряжении нормальные демократические инструменты, чтобы высказывать и отстаивать свои гражданские позиции, а не тешат себя иллюзией о принадлежности к какой-то особой общественной группе, призванной играть в обществе такую роль, какую не могут играть никакие партии...

Это, повторяю, можно услышать сегодня на каждом шагу. Я же, напротив, уверен, что в любые времена, а особенно во времена крупных исторических сдвигов, любой народ не может не быть заинтересован — хотя бы на подсознательном

уровне — в том, чтобы в нем существовал некий пласт духовно и нравственно авторитетных людей, способных подняться над частно-партийными и классовыми интересами любых составляющих его общественных слоев и образовать своего рода духовное ядро всей нации в целом, стать реальными носителями и выразителями ее общенационального исторического разума и совести. Реальная функция и призвание такого слоя, такой общественной группы — или, если угодно, пусть даже и некоего *малого народа* внутри всякого большого народа — только в одном: совместными солидарными усилиями вырабатывать, превращать в фактор общественного сознания, раскрывать смысл, отстаивать и защищать высшие духовно-нравственные ориентиры и критерии исторического бытия своей нации. И только с этих позиций оценивать любой факт или событие ее текущего бытия, именно этим прежде всего и пытаюсь влиять на ее реальные исторические судьбы. Я думаю, что потребность в таком «малом народе» с такой функцией (а это и есть главная функция интеллигенции) всегда, повторяю, существовала — в любые времена и у любого народа. Я, например, всегда говорю, коль скоро приходится вступать в какие-то дискуссии по поводу судеб интеллигенции, что, на мой взгляд, первый (и до сих пор высший) исторический пример появления интеллигенции в человечестве христианской эпохи — это апостолы Христа, которых он послал проповедовать и своему народу, и всей земле истину Евангелия — высшую истину исторического бытия человечества. «Вы соль земли, вы свет мира», — сказал он им, объясняя, что их роль — этой солью, этим светом и быть. И эта роль никогда не менялась, просто в разные исторические эпохи она обретала разное историческое воплощение, определяя собою и историческую форму существования интеллигенции в эту эпоху. Но существовала и не могла не существовать интеллигенция всегда — будь это гуманисты Генриха IV, гении эпохи «Бури и натиска», русские разночинцы 60-х гг. XIX века, когда впервые и появилось само это имя — «интеллигенция», или, наконец, даже и та мизерная часть так называемой «советской интеллигенции», которая и в сталинские, и в оттепельные, и в застойные времена как раз и оставалась действительно *интеллигенцией*. Вот и сейчас, если говорить о сегодняшней России, только что вышедшей из тоталитаризма, когда в обществе царит такой духовный хаос и разброд, — разве стала менее актуальной сегодня потребность в том, чтобы среди всего этого многоголосого шума зазвучал, наконец, и тот внятный голос ответственного национального разума и совести, который всегда был обязанностью интеллигенции? Я думаю, что напротив — потребность эта стала еще острее. Недаром к какой проблеме сегодняшней России ни подойдешь — ну вот хоть, как мы с Вами сейчас, к проблеме формирования национально ответственной элиты, — все упирается в конце концов именно в эту точку — в отсутствие в нашем сегодняшнем обществе каких-либо внятных признаков существования и сколько-нибудь значимых, на всю страну, акций того солидарного духовного ядра нации, которое еще вчера как будто бы не давало усомниться в своем наличии. Не принимать же всерьез все эти «конгрессы интеллигенции», которые до сих пор, кажется, только ту роль и играли, что были своего рода фиговым листком, призванным прикрыть бесстыдство власти. Так на кого же нам остается рассчитывать, на кого надеяться?

Вяч.И.: Я тоже думаю, что именно сегодня как раз роль интеллигенции очень велика. Но для того, чтобы она — то есть все мы, привыкшие считать себя интеллигентами, — смогла ее выполнить, нам очень многое нужно в себе преодолеть. Вот, скажем, такая опасность, с которой прямо связана сегодняшняя очень большая раздробленность в обществе. Все-таки недавний пресс наш общего коммунистического врага нас сильно сплачивал. В то время (до перестройки) интеллигенция была гораздо более едина, чем сейчас. Да и во время перестройки с нашим недавним общим врагом вовсе не было еще покончено — потому и могла сложиться «Межрегиональная группа», и «Московская трибуна» продолжала функционировать. Но с тех пор мы так и не научились искать единения, солидарности, взаимоподдержки не перед лицом какого-то очевидного общего врага, а перед лицом общих проблем. Хотя они поистине исторического, общенационального масштаба. Конечно, в прошлое вернуться нельзя, да и не нужно. Но все же какие-то целенаправленные усилия, в большой степени ориентированные на молодежь, которая далеко не вся подвержена распаду и раздробленности, предпринять, я думаю, можно. И необходимо. Опираясь при этом прежде всего опять-таки на так называемые провинциальные центры. Знаете, меня даже в связи с некоторыми чисто специальными как будто бы вопросами, которыми я занимаюсь, просто поражает, как много у нас делается в так называемой провинции. Вот на Южном Урале в районе Магнитогорска и Челябинска за последние годы нашли около двадцати городов, существовавших в эпоху, отделенную от нас четырьмя тысячами лет. Это металлургическая культура — то есть это города, где выплавляли медь из уральских руд. И у них была какая-то очень интересная религия — какие-то черты напоминают веды и «Авесту», религию зороастрийцев (хотя неизвестно — может быть, это и кто-то другой был, не обязательно индо-иранцы). Но, во всяком случае, это была очень высокая культура, и она вся открыта нашими археологами, которым платили буквально копейки. Сейчас во всем мире к этим открытиям проявляется огромный интерес — вероятно, со временем там будет создан какой-то большой археологический заповедник, куда будут приезжать туристы и т.д. И вот все это сделано и делается без какой бы то ни было поддержки из Москвы и без каких бы то ни было субсидий. То есть наши российские ученые, наши интеллигенты в состоянии, как видим, делать мировые открытия, просто имея в руках лопату — и больше ничего. Это поражает. И это обнадеживает — в том числе и применительно к проблеме воссоздания нашей интеллигенции.

Конечно, просто «создать» ее, как-то искусственно синтезировать — невозможно. Это не лабораторная вещь. Интеллигенция рождается скорее как плод на дереве. И это вещь очень хрупкая, с другой стороны. Все-таки для интеллигента характерна особая форма душевной организации, не слишком приспособленная к участию в каких-либо объединениях, даже неформальных. Но тем не менее и чувство национальной ответственности, и способность к солидарным действиям — все это в нас, интеллигентах, есть. И все это может пробудиться и дать нужные плоды — особенно, если кто-то сумеет нас за собою повести. Это ведь и нам, русским интеллигентам, как и всему русскому народу, свойственная черта — чтобы кто-то извне проявил инициативу. Вы не видели

книжку, которая вышла совсем недавно, — «Русская интеллигенция»? Там есть моя статья, которая называется несколько, может быть, громко, но по смыслу точно — «Интеллигенция как проводник в ноосферу» («ноосфера» в смысле Вернадского). То есть я думаю, что если мы и можем войти в сферу разума, то нам для этого нужны поводыри. Нам — обществу — нужно, чтобы кто-то все-таки показывал, как это делается.

Но и многие интеллигенты в этом отношении — тоже не исключение. Им тоже нужно, чтобы нашлись какие-то другие интеллигенты, которые покажут им, как должны действовать интеллигенты. А таких всегда очень немного. Размышляя над этим, я вот часто вспоминаю, как было создано американское общество и на чем оно было основано. Началось ведь все не только с бандитизма. Да, часто это были преступники, высланные из Европы в Америку. И они действительно совершали преступления. И соответствующая наследственность была не слишком, значит, у их детей хорошая. И у них не было законов. Но тем не менее несколько весьма интеллигентных, но при том и замечательных людей — таких, как Франклин и Джефферсон, — написали законы. Почти как Моисей, они дали народу эдакие скрижали, и Америка до сих пор живет и существует только потому, что есть эти скрижали. Но как им удалось навязать (а они, в сущности, действительно просто навязали) эти законы согражданам?! То, что сделал потом Линкольн — я имею в виду освобождение негров — даже менее поражает, потому что это был сделан уже вывод из вот этих основных принципов.

Иг.В.: Что ж, возвращаемся к народникам? Герой и толпа?..

Вяч.И.: Безусловно, необходимо именно это. Нужны люди, которые способны повести за собою... Ну почему вот мы так оплакивали Сахарова? Я думаю, потому, что он единственный из всех был такого типа человек. Да, он уже был в очень плохом состоянии — и физически, и психологически, его просто замучили... Но все-таки он был таким, какими должны были бы быть ну еще хотя бы пять-шесть человек. И тогда было бы можно что-то сделать еще и при жизни Сахарова. Но этот момент был пропущен...

Иг.В.: Я всегда считал (и в какой-то, достаточно деликатной, конечно, форме говорил это и лично Александру Исаевичу), что крупнейшая ошибка Солженицына по его возвращении в Россию состоит в том, что он даже и не попытался поднять знамя Сахарова, собрать и сплотить вокруг себя людей, действительно болеющих Россией, встать во главе широкого общенационального демократического движения, а предпочел по-прежнему оставаться этаким волком-одиночкой. А ведь по своему нравственному авторитету он вполне мог бы стать преемником Сахарова, настоящим национальным лидером...

Вяч.И.: Увы, не хватило жертвенности. Обычной, в прямом смысле.

Иг.В.: Ну что ж делать — на нет и суда нет... Значит, наверное, нам всем вместе надо думать о своем интеллигентском долге перед страной, не уповая на появление нового Сахарова...

Вяч.И.: Согласен с Вами. Конечно, было бы замечательно, если бы такой человек, как Сахаров, появился, но раз этого пока нет, действительно нужно пытаться что-то делать и самим.

Иг.В.: Но для этого нужно прежде всего очень хорошо представлять себе свою страну. Я имею в виду даже не экономику, не социальную или правовую сферу, хотя все это очень важно, а в первую очередь сам наш народ, само население страны в его чисто человеческом — духовном, нравственном, психологическом и т.п. — измерении. И с этим и связан мой последний Вам вопрос, поскольку Вы лучше, я думаю, знаете положение в наших социологических кругах. Известны ли Вам какие-нибудь серьезные социологические исследования, которые давали бы представление о том, как строится наше общество, из каких слоев оно состоит, какие ценности, нормы поведения, привычки и т.п. характерны, скажем, для молодежи разных возрастных групп, а также в зависимости от образования или от того, где человек живет — в крупном городе, в поселке, на селе, и т.п.? Словом, исследования, которые давали бы своего рода количественную и качественную картину духовно-психологического строения и состояния нашего общества, позволяли бы реально представлять себе, чем живут и дышат, что исповедуют, что ценят и что отрицают те или другие слои наших сограждан. Проводятся ли такие исследования?

Вяч.И.: Боюсь, что таких исследований нет. И то, что я знаю о наших социологах, не внушает мне оптимизма. То есть они все время выполняют какие-то специальные заказы, а действительным и целостным развитием социологии как важнейшей для общества науки они что-то не очень занимаются...

Иг.В.: При этом меня не покидает ощущение, что в этих отчетах, опросах и т.д. все время происходит какая-то подтасовка фактов — в зависимости от характера заказа...

Вяч.И.: Да. И это ужасно грустно. В среде социологов есть, несомненно, способные люди, но многие из них очень деградировали. Я кое-кого из них знаю.

Иг.В.: Но ведь это одна из самых серьезных наших проблем — понять, в каком мире мы живем! Мы ведь и в самом деле живем, *под собою не чуя страны*... А как общество, которое не знает самое себя, можно в чем-то убедить, какие-то *скрижали* ему предлагать, куда-то звать?..

Вяч.И.: Тут я с вами абсолютно согласен. Увы, все это плохо. Мы собираемся даже какой-то группой людей осуществить в этом направлении некоторые исходные теоретические разработки, пообсуждать некоторые методы таких исследований и что именно нужно было бы здесь сделать. Я думаю, что это очень нужно.

Иг.В.: Несомненно. И потому с нетерпением будем ждать результатов. И, зная Вас, уверен, что не напрасно.

На оптимистической ноте этой надежды — все-таки одной из очень немногих, вынесенных мною из нашей очень содержательной беседы, за которую я, уверен, Вам будут искренне благодарны наши читатели, — можно, наверное, ее и закончить. А вернее — просто прервать на какое-то время, до следующего Вашего приезда в Россию, когда нам, может быть, снова удастся встретиться, чтобы продолжить обсуждение и уже затронутых, и новых фундаментальных тем, связанных с перспективами как нашего российского, так и общемирового развития в XXI веке.

Галина МАНЕВИЧ

ОДИН ВНЕ ДВОРА ПОСРЕДИ НЕБА

К 70-летию Владимира Максимова

Мне хотелось что-то написать о Владимире Максимове, ибо в нем я всегда, вне зависимости от разницы в наших убеждениях, слышала голос страдающей совести. Он был, наверное, одним из тех последних, в ком, как и в ныне уже покойном Евгении Шиффере, еще горел пламень идей, поджигателем которых был Федор Михайлович Достоевский. Мне кажется, что Достоевский помог мне полюбить Володю с первого дня нашего знакомства, почувствовать трагический и одновременно жертвенный пафос личности, ощущаемый в его взгляде, родственном древним спискам. Особенности его внешности не могла скрыть даже сановничья атрибутика, которой он был достаточно привержен: добротный костюм, галстук, жилет, крахмальный воротничок, портфель. Такой традиционный чиновничий антураж и органическая квадратность сложения и были тем футляром, долгие годы соотносившим одинокую скорбную душу с официальным титулом, обозначавшим его место в социальных структурах, начиная с члена редколлегии советского журнала «Октябрь» до главного редактора анти-советского журнала «Континент», а также главы антитоталитарной организации «Интернационал сопротивления».

Правда, наше очное знакомство с Володией состоялось в ту пору, когда он был лишен своей должности в журнале «Октябрь», позднее исключен из Союза писателей и постоянно находился под угрозой возможной посадки в психушку. В Париже мы увидели Максимова тоже уже в отставке, списанного в тираж посткоммунистической эпохой. Словом, опять не у штурвала. То есть судьба нас сводила с Володией в житейски печальные периоды его жизни. По словам некоторых общих знакомых, нам очень повезло, что мы не увидели Максимова в роли редактора «Континента» — диктатора третьей парижской эмиграции. Оставляю эти слова на совести говоривших. И если есть в них крупница истинности, то благодарю Бога за этот подарок.

Личностное живое и одновременное культурно-историческое соучастие в преображении того географического пространства, которое именуется Россией, и тот непосредственный интерес к каждому страждущему, взывающему к нему о помощи, — вот в чем мне видится равновеликая ипостасность феноме-

**Галина
МАНЕВИЧ**

— родилась в 1939 году в Москве. Окончила киноведческий факультет ВГИКа. Кандидат искусствоведения. Печаталась как литературный критик и кинокритик в центральных московских журналах, газетах и художественных изданиях. Живет вместе с мужем, известным художником Э.Штейнбергом, в Париже.

на Владимира Максимова. Символическое название его ранней повести «Двор посреди неба», впоследствии вошедшей в круг глав его первого романа «Семь дней творения», и ознаменует траекторию его жизни, исполненной судьбы: Пространственно-временной континуум, воспринимаемый писателем по законам мистерии, превратит его в конечном итоге в персонаж этой мистерии. Новая форма поругания личности в его отечестве обернется для него безысходным отчаянием и станет причиной его скоротечной болезни и смерти.

Имя Вл. Максимова вошло в мою жизнь вместе с нашумевшим в конце 50-х годов сборником «Тарусские страницы». Позднее я осознаю, что многое, что в моей юношеской биографии было связано с Тарусой, тесно переплелось с тем, что я называю для себя лучшим составом моего «я».

В начале 60-х от одного из сотрудников журнала «Сельская молодежь» я услышала о Вл. Максимове как авторе повести с совершенно удивительным названием «Двор посреди неба», но которую, как мне сообщили, невозможно будет напечатать даже в таком либеральном журнале, как «Новый мир», тем более что Максимов в ту пору являлся членом редколлегии оппонировавшего «Новому миру» «Октября».

Для меня тогда чисто интуитивно (теперь же глубоко осознанно) ценность человека, к тому же творческого, не определялась принадлежностью к той или иной партийной или социальной группировке, а мерилась религиозно-нравственной экзистенцией и природной одаренностью. Следовательно, желание познакомиться с повестью и ее автором, выламывающимся из прокрустова ложа бытующего литературного процесса, еще долгое время не оставляло меня.

В лето 1966 года мне запомнился рассказ моего мужа о совместном однодневном путешествии его с Вл. Максимовым и другим Владимиром — Стеценко — в город Владимир. Моего мужа — художника Эдика Штейнберга, в ту пору крайне озлобленного своей деклассированностью (он был дважды судим за тунеядство), до восторга поразили гневные слова Вл. Максимова, адресованные кондуктору городского автобуса города Владимира, унизительно оскорбившего нищего безбилетного инвалида. Рыцарем и защитником достоинства обездоленных — таким вошел в мою память, еще до персональной встречи с ним, Владимир Максимов, таким он и остался для меня после его смерти.

Володя появился в нашей однокомнатной квартире в районе метро «Аэропорт» где-то году в 70-м, когда роман «Семь дней творения» был уже им написан, а нами прочитан в машинописном виде. Возобновление отношений Эдика с автором романа и мое знакомство с ним состоялось через Евгения Шифферса, ленинградского опального режиссера, в ту пору истово обратившегося в христианство. Ярко метафизически мыслящий, распираемый решениями последних вопросов, Евгений Шифферс порастил воображение Вл. Максимова и явился одним из прототипов его интеллектуальных героев-богоискателей.

Проведя в компании Максимова целый вечер, мы смогли объяснить писателю, что находимся под большим впечатлением от некоторых глаз его романа и в особенности от той авторской интонации любви и сострадательного отношения к человеку, пронизывающей весь роман, — словом, той ситуации «двора посреди неба», в которой для нас просматривалась связь с мирозерцанием

Достоевского. Виделось нам здесь возвращение русской литературы, знак ее христианизации — и не путем доктринерства, а органической потребности дарования.

Может быть, расположение к роману, может быть, некий неофитский пафос, свойственный Эдику в ту пору, или взаимный дух изгойства на творческом поприще нас сблизил с Володией. Он принес нам в подарок свою единственную книгу «Мы обживаем землю», изданную в «Советском писателе», с трогательной надписью: «Эдику — Гале, за неимением лучшего в знак моей нежной к ним любви. В. Максимов, 7.7.71 года». Очень скоро он стал в нашем доме родным человеком. В связи с отсутствием у нас телефона, Володя без предварительного уведомления заходил к нам на огонек как домой. Иногда его визиты происходили в дневные часы, иногда вечерами. Зависело от его настроения или же дел, которые связывали его с нашим районом, поликлиникой Литфонда и к тому времени уже достаточно многочисленным кругом писателей. На нашей крошечной кухне кто-то пил чай, кто-то спиртное, а в основном велись долгие, не имевшие окончания разговоры о судьбах русской культуры, о ненавистой «Софье Власьевне», об атеизме и конформизме советской интеллигенции, особенно творческой, которая нам была особенно близка и потому до болезненности нетерпима. Говорили о семейных конфликтах в среде наших друзей, об идейных и нравственных расхождениях с некоторыми из них. Начались первые ростки будущего конфликта в семье Светова, назревал разрыв в семье его старых друзей Левитанских, пробежали первые кошки в отношениях с Булатом. В Володе все ныло как незаживающая рана. У него — одинокого, окутанного пеленой скорби — искали защиты, поддержки, совета многие обиженные друзья, отчаявшиеся жены друзей и просто посторонние люди. Никто не оставался без ответа, без моральной поддержки, а часто и без реальной помощи — от Марины Левитанской до Володи Буковского, в ту пору уже известного диссидента, которого Владимир Максимов зачислил к себе в литературные секретари.

Окончив свою диссертацию, на протяжении многих лет не допускавшуюся к защите Институтом истории искусств, точнее — сектором кино, я решила начать работать в стол. Под сильным впечатлением от рукописи Максимова мне захотелось написать серьезное исследование о его романе, в духе по меньшей мере Михаила Бахтина. Однако замысел мой был столько утопичен, что не только горы, но и мыши не получилось. Мною было сделано несколько попыток начала, законспектировано многое, что казалось особенно важным для понимания конструкции романа и выявления авторского пафоса, но, к сожалению, этот первый опыт бесцензурной критики оказался погребенным под тогдашним неумением говорить свободно и просто о том, что тебя действительно волнует.

Впечатления от романа, от личности Вл. Максимова распирали меня. Я поделилась ими с приятелем Эдика — поэтом Е. Т., почти ежевечерне, на протяжении многих лет, бывавшим у нас. Он, прочитав роман, заявил мне, что ровным счетом со мной не согласен. Никаких положительных влияний Достоевского он не проглядывает в этом скверно написанном сочинении, разве что порой прочитывает реминисценции непочитаемого им Максима Горького. Одна-

ко, повстречав Вл. Максимова в один из вечеров у нас на кухне, Е. Т. стал достаточно частым посетителем самого Володи. Про свои гневные ироничные высказывания в адрес романа он забыл, а когда роман был опубликован на Западе, он даже счел для себя возможным написать о нем в журнале Никиты Струве почти панегирическую рецензию. Вспоминаю здесь не столь лестно о Е. Т. лишь с той целью, чтобы напомнить, что именно Владимир Максимов помог ему, как и многим другим, не только обосноваться в Париже, но и получить работу. К счастью, я думаю, что Володя никогда не узнал действительного мнения о своем романе первого бескомпромиссного рецензента, таким странным образом готовившего себе путь в эмиграцию. Разумеется, Е. Т. был на подобном поприще не первым, еще, кажется, Генрих 1У говорил, что Париж стоит бедни.

Среди нас же в то время не все стремились в Париж. И не каждому нужно было лукавить, тем более что автор изданного на Западе романа еще и не предполагал, что очутится в Париже, что будет редактором толстого русскоязычного журнала, что станет одним из культурных лидеров антикоммунистического движения европейского континента.

Я помню радостного и гордого Вл. Максимова, когда он принес единственный экземпляр только что вышедшей книги. Мы все радовались вместе с ним, разглядывая и передавая ее из рук в руки. А нас тогда было много, это была осень 71-го года. Эдик и Феликс Светов решили зимовать на даче Феликса, что находится на станции Отдых по Казанской железной дороге. Мы с Зоей Крахмальниковой с пятницы на выходные дни приезжали навещать наших мужей, Эдик как заведенный писал картины, Феликс заканчивал последнюю дополнительную главу своей «Автобиографии», а в субботние или воскресные дни мы обычно ждали гостей. Этот же памятный день был днем рождения Феликса, а следующий за ним — днем рождения Максимова. Незирая на дождь, холод и слякоть, гостей приехала тьма. Непомнящие, Золотухины, Нёма Мельников, Таня Ольшевская, Игорь Хохлушкин, родственники Феликса и Зои — всех не припомню. И, наконец, Евгений Шифферс. Он, наделенный даром предвидения, разглядывая книгу Володи, высказался, как всегда, лаконично: «Жизнь кончается, начинается житие».

«Странная штука жизнь», — любит часто повторять слова Поля Сезанна мой муж Эдик. Мне думается, что еще более странными оказываются пути жития. Оно всякий раз начинает обязывать на него вступившего. После публикации романа за границей на Володю, зарабатывавшего на жизнь «починкой» скверных сценариев, теперь наваливались проблемы и события одно за другим. Очередность их я затрудняюсь воспроизвести, — и уже упомянутое мною секретарство Буковского, и отъезд в Израиль единственных близких — русских по национальности тетки и сестры со своими детьми, и какие-то собеседования в Союзе писателей, и, наконец, самое опасное — вызов на переосвидетельствование в районный психдиспансер. Это было время, когда в психушку уже не прятались от армии, тунеядства, гнева партийных властей, как это сделал однажды он и его друзья, некоторые прототипы его тамиздатской книги. Теперь за эту книгу автор мог быть погребен туда КГБ на долгие годы.

Помню, был очень морозный, но яркий солнечный день. Мы с Эдиком ранним утром провожали Володю по безлюдной дороге полем в психдиспан-

сер, расположенный где-то вблизи роскошного Тимирязевского парка. К нашей общей радости визит был непродолжительным — вызов был предупредительный. Но предупредительность предвещала опасность. Так небо над «двором» Володи становилось все мрачнее и мрачнее. Мрачнел и он. По-рыцарски много времени державшийся, он впал в свой болезненный недуг. Помню, изо дня в день кто-то из близких навещал или дежурил возле него: Хохлушкин, Эдик, Феликс, Лариса Шифферс. Каждый день после работы приезжал к нему Юлик Крелин, опасаясь за жизнь Володи, точнее, за его сердце. Я пришла с Эдиком навестить Володю, когда с недугом было уже покончено. Володя возвращался к жизни. В его маленькой убогой квартире (благотельство Союза писателей) было серо и мрачно. Интонационно из этого колорита выпадал только фотографический портрет Фолкнера, одного из любимых писателей Володи, — в нем угадывался некий знак надежды.

В тот вечер Володя переживал комплекс вины, поэтому нашей обычной непринужденной беседы не получалось. Мы заговорили о Василии Васильевиче Розанове. Володя находился под впечатлением воспоминаний о последних днях жизни Розанова. Кажется, это были воспоминания одной из дочерей писателя. Известно, что Василий Васильевич перед смертью как бы в забытии потребовал сметанки. «Это же было в ситуации общего голода, когда у его дочерей не было и краюхи хлеба», — говорил Володя. «Мне претит розановский индивидуализм», — повторял он.

Детский сон умирающего Розанова в ситуации апокалипсиса казался невозможным для Вл. Максимова, который почти подвижнически пытался преодолевать свой собственный индивидуализм.

Володя в пору всех этих достаточно напряженных событий начал писать свой второй роман «Карантин». Находясь в состоянии ожидания обыска, он куски отредактированной рукописи хранил у своих друзей. Один из четырех или пяти экземпляров он держал у нас. Прочитывая роман частями, достаточно трудно было составить о книге целостное представление. Очевидным было одно: что интонация надежды, свойственная «Семи дням», оставляла автора. Он становился все более закрытым и довольно напряженным. Торопился завершить свою книгу и ждал реакции на прочитанное и, видимо, не всегда получал то, что хотел услышать. Мне думается, что на этой почве произошли у Володи разногласия с Шифферсом. В период наших встреч, окрашенных угнетенным состоянием Володи, мне запомнилось его глубокое и экзистенциально ответственное высказывание о том, что эсхатология, ожидание Апокалипсиса, разумеется, требует большого религиозного опыта, но наибольшего мужества и духовных сил требует ситуация, когда ты апокалипсис ощущаешь сиюминутно, вокруг и внутри себя. Позднее я прочту о близких этому состоянию переживаниях в автобиографии отца Сергея Булгакова, одного из моих самых почитаемых русских богословов. Человеку великой веры выпало вдруг на долю пережить свою богооставленность и богооставленность мира. Вот где начало трагедии. Обретение второго рождения и выход из смерти — подвиг духовный. Поэтому для Владимира Максимова «сметанка» и «Апокалипсис» были невозможны в составе одной личности. В этом контексте мне запомнилась и мысль Володи, высказанная им в связи с присуждением А.И.Солженицыну Нобелев-

ской премии. Привожу ее, как и все прочие, в собственном переложении, ибо, к моему огорчению, ничего за ним в ту пору не записывала. «Сильной личности испытание нужды и лишений выдержать легче, чем испытание славы и денег». Позднее близкие Солженицыну испытания выпадут и на плечи самого Максимова. Все, что всерьез проговаривалось Максимовым, было не потоком словесной болтовни, а экзистенциально выношенным свидетельским опытом. Часто многие его слова были нелицеприятны, иногда казались слишком субъективными, то есть примеренными только на себя, но они никогда не были индифферентными, взятыми с чужого голоса, в них всегда сквозила собственная боль, и за многое он готов был платить не только репутацией, но и жизнью.

Кажется, это была весна 1972-го года. Эдик собирался в деревню на летние каникулы. Незадолго до его отъезда в Москву из Праги прибыл наш друг Индрик Холупецкий — известный чешский искусствовед, а по сути философ-экзистенциалист. После 68-го года его не публиковали на родине, однако разрешили выехать в страну Советов по частному приглашению. Мы с Эдиком в честь приезда Индрика устроили ужин и пригласили наших близких друзей: Световых, Володю, Нею Зоркую, Илью Кабакова, Витю Пивоварова, других не помню. Индрик в период чешской весны много раз бывал на Западе. Он был куратором выставки Дюшана в Праге и имел с ним личную переписку. Он был в курсе культурной жизни Европы и приехал в Москву, чтобы познакомиться узкий круг друзей московского андеграунда с проблемами западного авангарда. Приехав с миссией европейского просветителя, он выступал под девизом, что русскому художнику, равно как и чешскому, эмиграция противопоказана. Эмиграция, по Холупецкому, сулит большие потери и творческую немоту. Печальные судьбы чешских художников-эмигрантов были ему хорошо известны. Поэтому он говорил Эдику и его друзьям, что они еще молоды, а советская власть не вечная и что они доживут до того времени, когда смогут перемещаться по миру без творческих и нравственных потерь. В Володе же зрел дух отъезда. Свое новое рождение он мыслил начать в эмиграции. В России его ждала либо тюрьма, либо смерть. Он это отчетливо себе представлял. И он весь свой гнев направил против нашего гостя — с призывом к Эдику и Свету последовать за ним, ибо, по его словам, их в России ожидает либо то же, что его, либо в лучшем случае нищета. Он хлопнул дверью и вышел вон. Я, опомнившись, бросилась за ним бежать по улице, опасаясь за его жизнь. Ибо во всей полноте ощущала ту силу отчаяния, которая захлестнула Володю и которую он в своем одиночестве, может быть, и не сможет пережить. Думается, это был последний раз, когда Володя был у нас в гостях. Мы прожили лето в деревне, а в Володиной биографии наступили перемены. Он встретил Таню и вместе с ней начал готовиться к отъезду.

В нашей жизни, хотя и менее значительные, но тоже начались изменения. Эдик получил маленькую комнату в жуткой коммуналке в районе Останкина, и мы занялись обменом. Мне показалось, что после подробно описанного мною вечера в наших отношениях с Володией образовалась трещина. А этот вечер о выборе пути, видимо, был очень важным как для нас — в решении Эдика не уезжать, — так и для Володи. Во время последнего разговора по телефону уже

в Париже в 95-м году (он позвонил за несколько месяцев до смерти, перед очередной нашей поездкой в Москву) Володя сказал мне много теплых слов о моих книгах, которые я осмелилась ему подарить, но с горечью в голосе упрекнул меня за мои пристрастия к Вячеславу Иванову, а также и к нашему чешскому другу Холупецкому. Видимо, этот, начатый у нас дома семнадцать лет назад спор с ним, а точнее, с самим собой, он вел до конца дней своих, так и не найдя ему однозначного решения.

Перед отъездом Володи в Париж мы пару раз видели Володю с Таней у Светова. Затем были на их скромной и тихой свадьбе. Присутствовали на свадьбе только близкие: Шифферсы, Световы, потом Владимовы, Галичи и Каретниковы. В моей душе появился прочный покой за Володю.

А затем последовали проводы, теперь было много народа уже в тесной Володиной квартире. Он мне тогда напоминал Кутузова перед битвой на знаменитой картине «Совет в Филях». Эти последние встречи разворачивались в каком-то стремительном ритме, без запоминания деталей и слов. Аэропорт я уже совсем не помню, всплывает в сознании только груда каких-то вещей из квартиры Володи, которые мы упаковываем в картонные ящики для отправки в нашу нищую деревню Погорелку, что находится за 700 километров от Москвы на реке Ветлуге. Подушки, ветхие одеяла, алюминиевые кастрюли и сковородки, даже бывшие в употреблении брюки, рубашки и пиджаки для раздачи нашим деревенским соседям, да и некоторым московским друзьям. И, наконец, уже однажды мною упомянутый фотографический портрет Уильяма Фолкнера, который ранее висел в мастерской Эдика в Москве, а теперь украшает его ателье в Тарусе, постоянно напоминая нам Володю и его присутствие среди нас.

Володя уехал, но его однокомнатная квартира на протяжении двух лет продолжала числиться за ним. Ее передавали один другому готовящиеся к отъезду. Вначале это был Е.Терновский, чьи многолюдные проводы проходили в нашем доме, а затем Витя Соколов и, наконец, полюбившийся нам к тому времени бездомный студент Литературного института хабаровский житель Володя Гоголев, высланный жэковской администрацией из квартиры Максимова. Последний, к великому сожалению, не собирался никуда уезжать, и спустя пятнадцать лет, оказался зверски убитым в пригороде Москвы, подобно Александру Меню. Словно слова Владимира Максимова, некогда брошенные его друзьям, или, точнее, отождествленные им с собственной биографией, оказались обращенными к его соименнику, поэту Володе Гоголеву, волею судьбы оказавшемуся последним обитателем московского гнезда писателя. Владимир Гоголев являл собою живое воплощение идеального образа странника, философа генеалогии Достоевского, духовно близкого творческому воображению Вл.Максимова. И похоронной пеленой погибшему явился не отправленный нами в деревню пиджак эмигрировавшего Максимова. Володя Гоголев, как и все предшествовавшие жильцы квартиры Владимира Максимова, видимо, по традиции ее хозяина, часто тоже навещал нас, только теперь по новому адресу: Пушкинская семнадцать. Он тоже, как и все они, ходил со старомодным портфелем, и почти всегда в этом портфеле оказывалась та или иная тамиздатская книга или очередной номер журнала «Континент», редактором которого к тому времени стал патрон его квартиры.

В ту пору я была далека от проблем журнала «Континент», зачитываясь Павлом Флоренским, Сергеем Булгаковым, Львом Карсавиным. Эдик же внимательно, периодически и часто с интересом прочитывал многие его номера, особенно поначалу. Журнал набирал силу, и популярность его достаточно быстро росла в кругах московской околολитературной интеллигенции. Правда, одни из страха боялись держать книги «Континента» в руках, другие изучали и перечитывали их как Библию. В среде литераторов зарождались и потенциальные авторы. Правда, не все они оказались востребованными журналом. Некоторые из них видели в Максимове слишком субъективного и достаточно своеобразного редактора, который личные пристрастия в литературе, политике и культуре выдает за свободные голоса неофициальной России.

Мне думается, что эта писательская неудовлетворенность в свою очередь явилась позитивным толчком для зарождения ряда питерских самиздатских журналов и религиозного журнала «Надежда», сети оппонирующих или информационно дополняющих эмигрантских изданий — от «Синтаксиса» Андрея Сиянского до «Беседы» Татьяны Горячевой.

Но при всей ценности каждого из них видишь особую историческую миссию, которую, благодаря воле и уму редактора, выполнял на протяжении почти двух десятилетий «Континент», прочно укорененный в традициях русской журналистики.

Эдик оказался одним из первых русских художников-нонконформистов, с начала перестройки получившим с немалыми трудностями возможность выехать на собственную персональную выставку в Париж по приглашению галереи Клода Бернара в мае 1988 года.

В Париже, на родине первой русской эмиграции, книгами которой мы зачитывались, и третьей, состоящей из круга наших близких друзей, с кем пятнадцать лет назад расставались навсегда, мы теперь чувствовали себя как в запрограммированном сне. Очутившись в гостиничном номере на рю Жакоб, мы начали обзванивать всех, от Владимира Максимова до Евгения Терновского. Отозвались все. Не отвечал только телефон Максимова. Устремившись на второй день нашего приезда на кладбище Женевиев-де-Буа в сопровождении В.Марамзина, мы узнали, что Максимова нет в Париже. Он с Татьяной находился тогда в Бельгии, но к концу нашего пребывания, видимо, должен был вернуться.

Гинзбурги, Рабины, Стацинский, Воробьев, ужины и обеды с Клодом и Купером, встречи со всеми русскими художниками на квартире у Эдика Зеленина, музеи, прогулки по городу, такому знакомому по картинам Утрилло и Марке, — всё крутилось как в калейдоскопе. В общем, к финалу нашего путешествия по столице Франции стало очевидно, что времени повидаться с Володией, если он и приедет, у нас уже не остается, каждый час уже расписан наперед, как у известных политических лидеров или кинозвезд. А Володя приехал и, наверно, уже прослышав о нашем визите, нас ждал. Но не хватило мужества после стольких лет не встреч снять трубку и сказать: «Здравствуй, но у нас нет ни минуты для свидания». Этот абсурд чуткому человеку мог показаться пошлостью. Когда мы вернулись в Москву, до нас уже докатились слухи о мягком недоумении, а может быть и об обиде Володи. Позднее, а это мы узнали от него, он подумал, что кто-то, скорее Гинзбурги, настроили нас против него.

Но дело не в Гинзбургах, которые нас к тому же и не настраивали ни против Володи, ни против кого-либо другого, тем более, что такого рода настрой мог иметь противоположный результат. В нашем случае с Эдиком и случилось бы все именно так. А здесь просто была не судьба. Наше свидание с Максимовым в Париже состоялось лишь в 90-м году, когда мы, проживая в Австрийских Альпах у коллекционера Ленуа-Шёнберга, выехали в Париж на несколько дней для переговоров с Клодом Бернаром о дальнейшем сотрудничестве. Круг русских встреч мы теперь себе заведомо ограничили, и в первую очередь нам хотелось повидать Володю.

Приехав на такси на улицу Лористон, мы долго стояли у парадного подъезда, не зная, как в него войти, поэтому довольно-таки запаздывали, поглядывая на часы. Парижскими кодами и домофонами мы пользоваться в ту пору еще не умели. Можно сказать, только с Божьей помощью мы появились на пороге. Нас встретили приветливая Таня и настороженный Володя.

Престижный 16-й район. Где-то неподалеку живет наш легендарный Клод Бернар, здесь же традиционный кабинет тоже совсем небезызвестного русско-го писателя — книги, картины, мягкая мебель, но аура здесь хранилась прежняя и всё прежнее, как это было в день свадьбы. Таниного изумительного посола красная рыба, бараньи котлеты и сыр бри неожиданно нас перенесли в прошлое. Эдик вспоминал микояновские котлеты, поедавшиеся им с Володей в Бескудниково, и Володя светился улыбкой. Мы с Эдиком много пили, обменивались повествованиями о наших родственниках и друзьях. Напряженность в наших с Володей отношениях была, мне думается, снята раз и навсегда, хотя за наши парижские зимы мы с ним виделись крайне редко. Эдику приходилось работать практически на две галереи — для Клода в Париже и для его филиала в Нью-Йорке, а в мае мы стремились уехать в нашу Тарусу, чтобы возвратиться снова в октябре в Париж.

Володя же, в свою очередь, поначалу зачастил в Москву. Поэтому между нами происходила своеобразная нестыковка. Помню только, что в одну из наших первых встреч Володя достаточно определенно заявил, что собирается с Таней вернуться в Россию, а «девочки, разумеется, останутся в Париже», — добавил он. «Они хотят учиться только здесь, и родители не вправе навязывать им свою волю».

Находясь в Тарусе, мы в один из вечеров по какой-то из телевизионных программ увидели Володю на экране. Он давал интервью С.Ямшикову из своей парижской квартиры. В другой раз он выступал в прямом эфире в группе российских культурных и политических деятелей. Нас с Эдиком каждый раз поражала удивительная последовательность и честность Володи, который не приспособливался к обстоятельствам, не умел лукавить, и дома с друзьями, и на телевизионном экране он оставался самим собой и говорил только о том, что болело у него в душе. Он думал, что ему, 17 лет прожившему в эмиграции, виднее многое, чем московской интеллигенции, ослепленной великими переменами и опьяненной демократическими свободами. «Вот приехал В. Максимов и задумал нас учить», — раздавалось со всех сторон. Даже близкие друзья по ремеслу отказались его слушать. Почти история с «перепиской» Николая Васильевича Гоголя. Только не знаю, было ли написано ему письмо нового Белинского, однако, и без этого письма, но события 1993 года, то есть стрельба

по Белому дому, решили для него все. Он ощутил себя вне России. Написав письмо о поругании демократии вместе с Андреем Синявским, бывшим его многолетним оппонентом, Максимов оказался в катастрофическом одиночестве. Болезненно продолжая переживать все события, происходящие в России, он, видимо, как герой Вулфа, одного из его любимых американских писателей, сказал себе: «Домой возврата нет».

В это время наши редкие с ним общения были очень теплыми и доверительными. Помню, как они с Таней были у нас. Володе очень понравилась наша чисто художественная ниша обитания. Он посетил с Таней вернисаж выставки Эдика в галерее Клода и очень хвалил работы Эдика, а потом достаточно робко признался, что недавно для итальянского издательства написал книгу: «От Андрея Рублева до Казимира Малевича». Дал почитать нам рукопись и просил честного отзыва на книгу. Брали мы эту рукопись без большой охоты, так как думали, что вряд ли Володя, столь далекий от проблем изобразительного искусства, может написать что-нибудь путное и по существу. Но, вопреки нашей логике, мало образованный в вопросах визуальной эстетики и достаточно консервативный Володя, видимо, много размышлявший о проблемах русской культуры и о ее своеобразии, уловил глубинные, традиционные корни в авангардизме Малевича и сделал целый ряд совсем неожиданных наблюдений. Нам было приятно снять трубку и сообщить ему об этом.

Обычно все встречи с Володей, кроме ужина в нашем ателье в компании В.Марамзина, происходили без посторонних. А тут — кажется, это был конец ноября — Таня позвонила и пригласила нас в гости, предупредив, что, кроме нас, у них будет еще одна милая пара, хорошо говорящая по-русски. По дороге к Володе я стала вспоминать дату его рождения. И вспомнила о том дне, когда, наверное, двадцать лет назад, день рождения Володи был ознаменован выходом его книги «Семь дней творения». Как я уже писала, тогда нас было много, а теперь в Париже, где Володя на протяжении долгих лет был центром русской эмиграции, всего четверо. Мы и А.Блок, один из руководителей международного ПЕН-клуба со своей милой французской женой художницей. Позднее А.Блок окажется нашим возницей по дороге на кладбище Женеви́ев-де-Буа, где будут хоронить Володю. А в этот юбилейный вечер, казалось тогда, философски принявший свое одиночество, Володя готовился к расставанию с улицей Лористон, с которой его связывали 62 номера «Континента». С тоской он предвкушал переезд на собственную квартиру, тоже неподалеку, только по другую сторону пляс Этюаль. Единомоментно Володя оказывался перед пересмотром и своей частной жизни, и общественно-культурной миссии, и собственных взглядов на путь и судьбу России. Способность нравственного проникновения Максимова в историю меня поражала своей пронизательностью и почти откровенным предвещанием. Так человек трагического потенциала начал переворачивать камни души своей. Памятуя судьбы русских писателей, в тот же вечер надо было предвидеть, что наша встреча может стать последней. Тем более, что именно тогда итоги наших сугубо личных с ним взаимоотношений были окончательно подведены. Всегда будучи неуверенной в качестве своих литературно-критических опусов, я решила принести в подарок мои книги, писанные мною в Москве в стол, без надежды на публикацию, он же и

Таня, в свою очередь, объяснили Эдику, почему в их квартире не висит картина, подаренная Эдиком на их свадьбу.

Так же, как обычно, мы трогательно распрощались, затем несколько раз перезванивались, потом снова уехали в Москву, где нас ожидал тоже переезд на новую квартиру, затем внезапная болезнь Эдика, его операция и так далее... Уставшие, мы вернулись в Париж и не торопились с визитами и звонками. Затем узнали, что Володя болеет, что у него проблема с рукой, что он тоже готовится к переезду. И мы, не желая вносить излишнюю суету, по-прежнему не торопились повидаться. В декабре летим в Москву на похороны моей мамы. Смерть мамы заставляет меня о многом серьезно задуматься. Я начинаю понимать, что болезнь Володи может не предвещать положительного исхода.

По возвращении из Москвы начинаю звонить Татьяне о возможности встречи с Володией. Таня обещала сообщить, но звонка не последовало. Безывестность беспокоила все больше, и я начинала бесцеремонно дозваниваться. Девочки отвечали, что мама в больнице, что они передадут, что мы звонили. И вот раздался, наконец, звонок Тани. По глухоте ее голоса и паузе, последовавшей за ее приветствием, я поняла, что через мгновение услышу от нее сообщение о смерти Володи. Это ожидание смерти я ощутила тогда в последний день нашей встречи, когда круг замыкался и на месте ростков новой жизни проросла стремительно болезнь. Но тогда я не хотела доверять своей интуиции. «Володя умер, — сказала Таня, — панихида на рю Дарю». И добавила: «Ты знаешь, Володя к тебе и к Эдику относился с какой-то необыкновенной нежностью». Я сквозь слезы могла ей только сказать, что действительно жизнь устраивается так, что между теми, кого очень любишь, всегда остается что-то недосказанное и недоговоренное.

Эдик написал на смерть Володи замечательный триптих. Меня же на протяжении трех лет после его смерти мучила эта моя недоговоренность. Может быть, теперь он меня услышит. Хотелось бы. Вечная память рабу Твоему Владимиру.

Париж.

Александра ИСТОГИНА

«И СМЕРТЬ, И ЖИЗНЬ, И ПРАВДА БЕЗ ПОКРОВА...»

**О некоторых философских проблемах
в поздней лирике Евгения Баратынского**

«Читай, чтоб полюбить меня...»

(Ш. Бодлер)

Судьба и творчество каждого крупного поэта неразрывны. Единство их не всегда легко обнаружить, но стремиться к этому должно. Вот почему статья, посвященная поздней философской лирике Баратынского, начинается биографическим очерком с элементами психологической характеристики его личности. Баратынский осознавал собственное творчество как концентрированное, пусть преображенное, но достоверное отображение своей жизни:

Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие;
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношение,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

/1828/¹

Таким образом, поэт, которого принято считать образцом объективности и предельных для лирики абстрагированных обобщений, сам прямо говорит о соотносительности своей судьбы и своей поэзии. С этим нельзя не считаться, и

**Александра
ИСТОГИНА**

— родилась в 1947 г. в селе Ястребовка Курской области. Окончила филологический факультет Московского университета. Печататься как литературный критик начала в 1975 г.. Автор двух поэтических сборников, нескольких литературоведческих книг и многих критических и литературоведческих статей о русской классической и современной литературе, печатавшихся в журналах «Знамя», «Континент», «Литературное обозрение», «Север», «Подъем», «Волга» и в других изданиях. Живет в Москве.

¹ Стихи Е. Баратынского цитируются по изданию: **Евгений Баратынский**. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта», Л., 1957. Почти все стихи датированы приблизительно, то есть написаны не позднее указанного года.

поэтому стих Баратынского, вынесенный в заголовок статьи, не только формулирует творческое кредо поэта, но и служит своеобразным камертоном изложения. Вместе с тем, учитывая специфику поздней лирики Баратынского, целесообразно внешне разделить повествование о жизни и анализ стихов.

* * *

Евгений Баратынский родился и провел детские годы в имении отца селе Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Он был на год моложе Пушкина и, стало быть, принадлежал к поколению, пережившему расцвет и разгром декабризма. Но еще задолго до того «судьба взяла его в свои руки»,² как писал он Н.В. Пютате. В 1808 г. Баратынские переехали в Москву, но через два года умер отец, и семья возвратилась в Мару. «С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив», жалуется Баратынский в том же письме.

Семья была хоть и родовита, но не слишком богата. Евгения, старшего среди детей, отправили в Петербург, где в частном пансионе он готовился к поступлению в Пажеский корпус. В декабре 1812 года он стал воспитанником этого привилегированного заведения, атмосфера которого, видимо, резко отличалась от той, в какую попал Пушкин в Лицей. В письме Жуковскому Баратынский подробно рассказал о пребывании в корпусе: о друзьях («резвые мальчишки») и недругах («начальники»), об «обществе мстителей», возникшем под влиянием «Разбойников» Шиллера («Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу...») и о прискорбном завершении мстительных забав — участии в краже денег, за которым последовало исключение из корпуса (1816 г.) Личный приказ Александра Первого запрещал провинившимся служить где-либо, кроме как рядовыми в армии.

Нетрудно представить смятенное состояние юноши — чувствительного, пылкого, нравственно щепетильного. Встреча с матерью потрясла Баратынского, особенно «бездной нежности», тем более неожиданной. Сердце его «сильно вострепело при живом к нему воззванию; свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение, — пишет он Жуковскому. — ... я... ужаснулся как моего поступка, так и его последствий...»

Еще в отроческом письме матери Баратынский проявляет редкую для этого возраста склонность к самоанализу, придирчивой самооценке. Но в «повести беспутной моей жизни», предложенной Жуковскому, он, психологически мотивируя свои «шалости», ищет и находит себе оправдание («природно-беспокойный и предприимчивый», невежество наставников и т. п.) Очевидно, только наедине с собой строго и всерьез судит он «негоднейший» свой поступок, и только в этом самоосуждении — путь к настоящему раскаянию, болезненная, но плодотворная работа души.

Воспоминание о провинности сидит в Баратынском, как гигантская заноза, и не дает покоя его совести и самолюбию. Так и не дождавшись прощения

² Письма и статьи Е. Баратынского цитируются по изданию: **Евгений Баратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма.** М., 1951. Для непрерывности изложения — без указания страниц.

государя, едет он в Петербург, где в начале 1819 г. вступает рядовым в лейб-гвардии Егерский полк.

Интерес к литературному труду появился у Баратынского еще в Пажеском корпусе, и в Петербурге он, через корпусного приятеля Креницына, знакомится с Дельвигом, который стал ему особенно близок, с Кюхельбекером, Ф. Глинкой, Пушкиным. Он посещает их дружеские вечера (позже описанные в поэме «Пирь»), а также салон С.Д. Пономаревой, литературные «среды» Плетнева, «субботы» Жуковского — словом, ведет жизнь достаточно «рассеянную», но насыщенную интеллектуальными и художественными событиями. Вскоре на страницах журналов стали появляться его стихи.

Однако 4 января 1820 г. Баратынского производят в унтер-офицеры с переводом в Нейшлотский полк, стоявший в Финляндии. Это было воспринято и им, и его друзьями как своего рода ссылка. Так сама судьба «провоцировала» образ «финляндского изгнанника» в его ранней лирике.

Но Баратынский живет на правах близкого человека в доме командира полка А.Г. Лутковского, дружит с командиром роты Н.М. Коншиным, пишущим стихи, часто и надолго ездит в Петербург. Казалось бы, не столь уж тяжкая доля, весьма далекая от обычной солдатчины?..

«Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет,— пишет он Жуковскому, — меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии ... перемены судьбы своей... Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своеволие...»

О снятии наказания хлопочут А.И. Тургенев, П.А. Вяземский, В.А. Жуковский, пространное письмо к которому и написано в связи с этими хлопотами и представляет собой исповедь «задумчивого проказника», как однажды назвал Баратынского Пушкин, принимавший страстное участие в его судьбе. Сам находясь в Михайловской ссылке, Пушкин пишет брату в начале 1825 г.: «Что Баратынский?.. И скоро ль, долго ль?.. как узнать?.. Где вестник искупления? Бедный Баратынский, как подумаешь о нем, так по-неволе постыдишься унывать...»

Не только по бесконечной доброте своей писал так Пушкин, но и потому, вероятно, что глубоко прочувствовал драматизм самоощущения благородного и самолюбивого человека, попавшего в столь двусмысленное положение. «Уведомь о Баратынском, — пишет он брату через некоторое время, — свечку поставлю за Закревского¹, если он его выручит...»

В апреле 1825 года Баратынский вместе с офицерским чином получает, наконец, возможность сбросить «судьбой наложенные цепи». Уехав осенью в отпуск, он уже не вернулся в Финляндию. 31 января 1826 г., выйдя в отставку, Баратынский поселился в Москве у матери.

Добровольно принятое на себя испытание — служба в армии — безусловно свидетельствует о сильном и совестливом характере Баратынского, но томительная и упорная борьба с «судьбой ожесточенной» надорвала его душу,

¹ Закревский А.А. — генерал-губернатор Финляндии.

отняла много жизненных сил, лишила инициативы и вкуса к сопротивлению, склонила к камерности его музу, а разгром декабристов довершил пессимистический колорит его мировосприятия, коего не могли поколебать ни счастливая семейная жизнь, ни признание как поэта.

Выйдя в отставку, Баратынский не слишком повеселел. Он не был активным противником режима, но безусловно симпатизировал оппозиционерам. Предекабрьское воодушевление проникло и в его лирику (см., например, стихотворение 1824 г. «Буря»); и он был тяжело, если не смертельно ранен расправой над декабристами, страшной гибелью пятерых, среди которых был близкий его приятель К.Ф. Рылеев. В письмах Баратынского нет намеков на 14 декабря, в стихах — слабый отзвук («Стансы», 1827 г.), но друг и родственник его Н.В. Путята был свидетелем казни на рассвете 13 июля 1826 года, и наверняка рассказ его потряс поэта.

Невозможность открытого сочувствия осужденным тяготила сознанием собственного бессилия, невольной робости перед карателями, и чувство это было беспросветно унижительным.

Пушкин, имевший случай прямо ответить Николаю Первому, что «стал бы в ряды мятежников», был внутренне свободнее и счастливее.

Баратынский глубоко упрятал свою скорбь и ни разу не позволил себе «выразить чувство» хотя бы в стихах, то есть «разрешить его», «овладеть им». Исторически объяснимое поражение практической программы декабризма представилось ему крахом вольнолюбивых идеалов вообще и лучших устремлений его поколения в частности. Бесчинства правительственного самовластия он принял за проявление «самовластного рока»...

Крушение надежд и — досадные тяготы освоения светской жизни... «Сердце мое требует дружбы, а не учтивостей, — пишет он Путяте в январе 1826 г., — и кривлянье благорасположенья рождает во мне тяжелое чувство... Москва для меня новое изгнание». Необходимость погружаться «в мелочи обыкновенной жизни» угнетала Баратынского. «Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, — пишет он Путяте через два года, — но... Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем мог бы потолковать нараспашку...»

Письмо Плетневу (1839 г.) подводит некоторые итоги: «Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения... Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной»...

А в эти десять лет вместились, помимо семейных забот и праздников, встречи с Пушкиным и Вяземским, знакомство с Чаадаевым и Мицкевичем, сближение и разногласия с любомудрами, смерть Пушкина, слава и смерть Лермонтова (о котором Баратынский не обмолвился ни словом), повести Гоголя (которые он приветствовал) и, наконец, дружба с Иваном Васильевичем Киреевским, талантливый критиком, издателем журнала «Европеец», глубоким человеком.

Это ему писал Баратынский в 1831 году: «Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто не внушал мне такой доверенности к душе своей и характеру»... Это ему он

писал: «Мы с тобой товарищи умственной службы». Вместе с Киреевским Баратынский тяжело переживал запрещение журнала, как мог, ободрял издателя: «Будем мыслить в молчании... Заклучимся в своем кругу, как первые братья христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать не печатая. Может быть, придет благопоспешное время...»

Но вскоре неясные обстоятельства помешали дружбе и дали Баратынскому повод бросить резкий упрек «новым племенам» (стихотворение «На посев леса», 1843 г.).

Будучи человеком с душой «нежной и мстительной» (его собственные слова о Руссо), Баратынский мог видеть «сокрытый ров» коварства там, где его не было вовсе или была литературная борьба, увы, не всегда корректная. Растравленное самолюбие вредило и ему самому, нередко лишая его отзывы о литературной работе современников, даже друзей, доброжелательства и справедливости. Отношение к Пушкину было напряженным. Эпиграммы же Баратынского отличает едкость и насмешливость, граничащая с публичным оскорблением. Не потому ли и в других подозревал он нечто подобное по отношению к себе?.. Виртуозный рассудок его даже в посмертной похвале Белинского Пушкину отыскал намерение задеть его, Баратынского (см. стихотворение «Когда твой голос, о поэт...», 1843 г.).

Нелегкий, «разборчивый», взыскательный характер вкупе с некоторыми творческими задачами, о которых речь впереди, поставили Баратынского в особое, обособленное положение и в жизни, и в литературе: «стал для всех чужим и никому не близким» (Гоголь). Жена, которую он очень любил, была человеком интересным и преданным ему, но не могла, понятно, заменить утраченные надежды и дружбы. Отказ от «общих вопросов» в пользу «исключительного существования» вел к неизбежному внутреннему одиночеству и творческой изоляции. Только высокая одаренность и замечательное стремление к самообладанию помогли Баратынскому достойно ответить на вызов, брошенный ему «судьбой непримиримой». В 1825 г. он написал:

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел...

/«Стансы»/

Будучи натурой чрезвычайно чувствительной, легкоранимой, «женственной», как и положено поэту, Баратынский страстно воспитывал себя, даже муштровал. Он вырабатывал в себе такие «мужские» качества, как трезвость оценок, бесстрашие перед «крутыми истинами», строгость и сосредоточенность философского мышления, стремление к четкой завершенности, даже окончательности слова и жеста.

«Того не приобрести, что сердцем не дано», — утверждал он, но борьба с собой и возвращение к себе, сменяющие друг друга бунт и смирение обеспечивают подспудный драматизм зрелой лирики Баратынского.

«Дарование есть поручение», считал Баратынский и исполнял «поручение» с завидной непреклонностью. Творческий путь его, при внешней плавности, не был прост. Он приятельствовал с А.А. Бестужевым и К.Ф. Рылевым, печатался в их альманахе «Полярная Звезда», но поэтов-декабристов не вполне удовлетворяло его творчество, ибо в нем отсутствовали гражданские мотивы и чувствовалось влияние классицизма («холод и суеверие французское»). Вместе с тем его самобытность сомнений не вызывала. Рано проявившаяся склонность к изощренному анализу душевной жизни доставила Баратынскому славу «диалектика», тонкого и пронизательного. Пушкин назвал его элегию «Признание» — «совершенством», и это не кулуарный комплимент или учтивая похвала, а искренняя щедрая оценка литературного собрата. «В нем, кроме дарования, и основа плотная и прекрасная», утверждал Вяземский.

Но с выходом поэмы «Эда» (начало 1826 г.), предлагавшей новое, отличное от пушкинского решение романтического характера и не понятной ни критикой, ни читателями, популярность Баратынского пошла на убыль. «Любовь камен с враждой Фортуны — Одно...» — напишет он много лет спустя. Ничто, однако, не поколебало его решимости «идти новою собственною дорогою», то есть прежде всего, считал он, вырваться из-под всеобъемлющего (мировоззренческого, тематического, стиливого) влияния Пушкина, открыть свою тему и дать оригинальное поэтическое решение ее.

Русская поэзия 20-30-х годов прошлого века искала синтеза гражданственности и лирической силы, социальной значимости и свободы самовыражения творческой личности. «Любомудры» выдвинули программу «поэзии мысли». Баратынский же, по видимости не участвуя в этих поисках, тоже решал значимые задачи создания русской философской лирики. Он по-своему ответил на упреки Веневитинова, что «у нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования».

Разбирая «Тавриду» А. Муравьева («Московский телеграф», 1827 г.), Баратынский высказывает соображения, звучащие как собственный творческий принцип: «Истинные поэты потому именно так редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, то надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать?...»

Истинные поэты поняты как поэты **истины**. Взыскуется поэтическая **мысль**, **точно** выраженная и обращенная **к читателю**, хотя бы и «в потопстве». Ничего слишком мизантропического, высокомерного. И, как уже приходилось отмечать, Баратынский не был одинок в своих поисках. «Русская общественная жизнь, особенно после событий декабря 1825 г. и наступившей вслед за тем реакции, проявляла сильные тенденции к философскому осмыслению современной действительности, жизни вообще, человека. Русский мыслитель независимого и прогрессивного толка, лишенный надежд на скорое осуществление своих общественных идеалов, стремился компенсировать этот трагический недостаток глубиной и полнотой знания, внутренним, духовным постижением истины.

И в этом он не мог и не хотел ограничиваться малым. Ему нужна была непременно вся истина: только мирообъемлющая истина и мирообъемлющая философия могли его удовлетворить».⁴

Такой «мирообъемлющей философией» стала на время философия Шеллинга, и даже Баратынский, вопреки рационалистическому складу ума, попал под ее обаяние. «Поэтическая и антидогматическая основа философии Шеллинга позволяла и любомудрам, и другим русским поклонникам немецкого философа идти за ним свободно, нисколько не жертвуя оригинальностью собственной мысли и собственного взгляда на вещи».⁵ Творчество Баратынского вполне это подтверждает, но пока отметим лишь, что потребность в мысли и в «поэзии мысли» носилась, как говорится, в воздухе, так что лирика Баратынского с ее «лица необщим выраженьем» и упорным интересом к сверхличному была совершенно в духе времени.

Тематически поздняя лирика Баратынского не слишком разнообразна. Ей свойственна собранность, подчас даже пригвожденность внимания к какой-либо проблеме.

Одним из важнейших был вопрос об истине. Принципиальность его в том, что понимание поэтом сущности и назначения истины дает верный ориентир отношения к мыслям, высказанным им самим.

Поначалу отшатнувшийся от разрушительной, мертвящей истины (а именно эти качества отметил он прежде всего), Баратынский скоро склонился к противоположной точке зрения, отдавая предпочтение честным и холодным свидетельствам разума. «Гордость ума и права сердца в борьбе беспрестанной...» — признавался он в 1828 г.

Интересно, что тремя годами раньше Пушкин, готовя ответ на заметку о своем «Демоне», подчеркнул, что в необходимости сохранить «надежды и лучшие поэтические предрассудки души» видит он «цель нравственную».

«Что истинно, то нравственно», заявляет Баратынский, словно полемизируя с Пушкиным (оставившим свой ответ неопубликованным). Нет низких, мрачных, неприглядных истин, особенно в искусстве.

Две области — сияния и тьмы —
Исследовать равно стремимся мы...

/«Благословен святое возвестивший...», 1839/

«Преступное» и «прекрасное» заслуживает равного внимания художника, равного беспристрастия при рассмотрении, равных прав в литературе.

С отношением к истине связан целый узел проблем, человеческих и творческих.

Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Все тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.

⁴ Е.А. Маймин. Русская философская поэзия. М., 1976, стр. 21.

⁵ Там же, стр. 19.

Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная!

/1840/

Мыслить — **мучительная** обязанность поэта, ибо мысль, по Баратынскому, «нагой меч» и «острый луч» одновременно, то есть нечто острое, колющее, губительное. Живая, «пестрая» жизнь бледнеет от страха перед мыслью — «мечом»,⁶ ее безжалостным приговором, и в то же время разоблачающий свет мысли — «луча» являет всю бледность, немошность земного бытия.

«Музыку я разъял, как труп» — говорит самонадеянный Сальери. «Жрец» мысли идет дальше, ибо для него «труп» — вся жизнь, годная лишь на то, чтобы «разъять» ее, «ощупать» и оттолкнуть как «заблужденье чувств».

Торжество обезнадеживающего холода духа над обманчивым жаром жизни, но торжество трагическое, и восклицания поэта отдают не восторгом, а отчаянием.

Мысль есть истина. Мысль есть смерть. Стало быть, истина есть смерть. Разумеется, «художник бедный слова» произносит эту истину без упоения, без «хмеля». Он пленник долга, и драматизм его положения — в добровольной неволе. Мысль как инструмент анализа вынуждена «анатомировать», то есть работать с неживым уже объектом, по пути к истине теряя самую возможность ее обретения.

«Мысль и з р е ч е н н а я⁷ есть ложь», пронизательно заметил Тютчев, но для Баратынского мысль и з р е ч е н н а я есть сама истина, пусть «утрюмая», неблагоприятная, «роковая», лишь бы объективная.

Однако носитель ее — человек, поэт — неизбежно субъективен. Баратынский стремится к невозможному, и максимализм его притязаний предопределяет заведомый исход — недовольство неполноценностью мысли. И все-таки, вопреки явной напряженности интеллектуальной ситуации, он видит свой долг и заслугу в правдивых свидетельствах охлажденного разума, отмечая бескорыстие как «высокую моральность мышления».

Творчество для Баратынского и творчество его собственное есть мысль, выражающая истину, причем чаще всего бесспорную и, увы, безотрадную с привычной точки зрения. Радужные истины его не волновали, и в этом — острое своеобразие его творчества, воплощавшего дисгармонию как равноправную «ипостась» бытия.

«Чем более вижусь с Баратынским, — писал Вяземский А.И. Тургеневу, — тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, **раздробительный**».

Аналитический, расчленяющий характер таланта Баратынского был отмечен еще на материале элегий. Но он проследил не просто традиционные про-

⁶ Небезынтересно отметить, что мистики и некоторые католические святые часто употребляют образ меча или копья, пронзающего сердце во время мистического экстаза. Ср. также у Блока описание «цветных миров»: «лучезарный меч», «золотой меч»...

⁷ В цитатах разрядка моя, кроме особо оговоренных случаев. — А.И.

тивостояния, но **вытеснение**, замещение: чувства — мыслью, жизни — смертью, мечты — опытом.

И с ч е з н у л и при свете просвещения
Поэзии ребяческие сны...

/«Последний поэт», 1835/

Парадокс и поразительный, и безрадостный — при всей его «объективности»!.. Напряженно исследует он «стыки» явлений, «смежные» состояния, которые тоже оказываются противопоставленными, дружба-вражда мысли и истины, например. Столь же сложны взаимоотношения мысли и вымысла (воображения), истины и правды⁸, судьбы и жизни.

Еще в стихотворении «Дельвигу» (1821 г.) Баратынский писал:

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущениям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет...

Достаточно прислушаться к эпитетам, чтобы понять, что человеку враждебна не смерть, а жизнь, точнее — судьба, этот «условный дар скупого неба». Человек — раб, а владеющее им стремление ввысь, этот робкий платонизм («нам памятно небо родное»), только добавляет ему безысходного томления и тревоги. Из грандиозной державинской формулы «Я царь — я раб — я червь — я бог» Баратынский берет лишь ущербные доли антитезы.

Простор жизни и тиски судьбы столь остро ощущаются поэтом, что и в природе он ищет закон безропотного подчинения. Собственное «разумное» рабство необходимо вписать во **всеобщую** закономерность.

«К чему невольнику мечтания свободы?..» — так начинается он замечательное стихотворение 1833 года. Противоречия человеческого «удела» повергают его в глубокую глухую скорбь:

... О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

На восклицание нет сил, нет голоса. Стихотворение само звучит «могучею волною» мысли, «втесненной» в «узкие грани» версификации.

И, как это ни парадоксально, только набирает от этого мощи, властности. То же, может быть, и с человеком? Нет, Баратынского такой ход мысли не увлекает. Он скорее склонен, подобно стоикам, выбрать безнадежность, отказ от надежды вообще.⁹ Но в этом выборе ощутима принужденность. Кроме того,

⁸ Ср. пословицу «Истина от земли, а правда от небес».

⁹ Ср. утверждение Гекатона: «Ты перестанешь бояться, если и надеяться перестанешь».

странным образом упускается из виду, что отречение от надежды есть уже следствие страха, а человек, бросивший отважный вызов, стоит в сильной позиции. Современник Баратынского Тютчев увлекательно дал это почувствовать:

Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец,
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из руж их победный венец.

/«Два голоса»/

Свобода человека, самоотверженность его рождает чувство радости.

Тютчев подчеркивает непреклонность сердец, Баратынский — непреклонность судьбы. Тютчев хотя бы не отказывается от возвышенной иллюзии, Баратынский же саму иллюзию объявляет иллюзорной. Тютчев избегает, сколь можно, обнажать бездны с их «страхами и мглами», предпочитает «ткань благодатную покрова». ¹⁰ Баратынскому желанна только «правда без покрова». Тютчев жаждет самозабвения, Баратынский же слишком горд, чтобы позволить себе эту слабость. Он готов к исключительно безблагодатным откровениям, вплоть до «откровений преисподней». В этом тоже проявлена свобода незаурядной личности, но вызывает она чувство мучительное.

Будучи по-своему последовательным, Баратынский не просто приемлет, но берется **оправдать** самые традиционно негативные аспекты бытия. К этому стремился, например, Монтень, предлагавший пересмотреть отношение к смерти, нищете, страданию: «ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму», то есть наделить «горьким и отвратительным привкусом» или «сделать этот привкус приятным».

Баратынский менее свободен в обращении с жизнью, но в русской, а, возможно, и мировой лирике до него мало кто пытался со столь близкого расстояния созерцать смерть.

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепную мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косою.

О дочь верховного эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твоё хранение всемогущий
Его устройство поручил.

¹⁰ Хотя тоже иногда идет до конца, безоглядно отчеканивая: «И нет в творении Творца, И смысла нет в мольбе»...

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия
И в нем прохладным дуновеньем
Смирняя буйство бытия...

А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье,
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

/«Смерть», 1828/

Стихотворение Баратынского часто представляет собой лирический **образ идеи**, подобно тому, как герой Достоевского — это в существенной степени **персонификация идеи**. Но у Достоевского всегда есть идея-оппонент, у Баратынского — почти никогда. Он исключает «антитезис», а вместе с ним и «синтез». Стихотворение «Смерть» написано экстатичным атеистом и дышит поистине инфернальным вдохновением. Смерть сама предстает здесь неким «синтезом», но не слишком ли зловещим?..

Или, может быть, эта судорожно чеканная хвала есть своего рода заклинание, заговор? Страшное, непостижимое надо попытаться представить обыкновенным, даже полезным, «приручить» и «обезвредить»...

«Размышляй о смерти!» — Кто говорит так, тот велит нам размышлять о свободе. Кто научился смерти, тот разучился быть рабом», утверждает Сенека. Мысль «свергнуть с себя всякое принуждение» восхищала Баратынского не только в юности.

Но чтобы оценить оригинальность этой «апологии смерти» как литературного явления, необходимо вспомнить, **как** писали о том же другие поэты — до и после.

Державин восклицал: «Смерть, трепет естества и страх!..», но в оде «Бог» вдохновенно воспел величие и благо Промысла.

У Батюшкова — пронзительный лиризм, «гармонический проливень слез»:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем,
На крыльях радости летим к своим друзьям —
И что ж?.. их урны обнимаем...

/«К другу»/

Молодой Пушкин писал:

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...

/1823/

Позже дума его о «смерти неизбежной» стала смиреннее и светлее, но никогда не сосредоточена на самом феномене смерти. Он не стремится «изведать тайны гроба», ибо чтит распорядок бытия и доверяет его негласному закону. Печаль его поистине человеческа: жить для Пушкина — «неизъяснимое наслаждение». Между тем им написано немало стихов о смерти, различных по глубине и смелости, — от «Утопленника» до «Заклинания» и «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Но так называемое «некрофильство» Пушкина идет скорее от Монтеня, ибо он тоже старался постоянно думать и *говорить* о смерти, но без пиетета или страха, «разнообразно», как о любопытной обыденности, — или целомудренно отводил взор...

В стихах символистов смерть условна. Поэтому, может быть, так поражает образ, найденный Блоком:

Тихо вышел карлик маленький
И часы остановил...

/«В голубой далекой спальне...»/

А вот Тарковский:

Тлетворна смерть, но жизнь еще тлетворней,
И необуздан жизни произвол...

/«После войны»/

Сказано как бы «вослед» Баратынскому, но для жизнелюбивой музыки Тарковского характерно иное:

Спасибо, что губ не свела мне улыбка
Над солью и желчью земной.
Ну что же, прощай, олимпийская скрипка,
Не смейся, не пой надо мной.

/«Земное»/

Заболоцкий создает теорию «метаморфоз», согласно которой ничто не умирает: жива мысль, как жива природа. Вслед за Циолковским он жаждет ощутить себя «государством атомов», продолжающих после смерти *жить* в иной «ассоциации», иной форме. «Бессмертна и все более блаженна материя — тот единственный материал, который мы никак не можем уловить в его окончательном и простейшем виде», писал он, пытаясь «настроиться» на безболезненную деструкцию, деиндивидуализацию. И иногда это удавалось, особенно в стихах:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листьях я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой из тьмы они повисли
И ты причастен был к сознанию моему...

/«Завещание»/

«Необозримый мир туманных превращений» не выходит за пределы жизни. Фантазии Заболоцкого артистичны, изобретательны, стихи его — как сны, как сказки, хотя поклонялся он прежде всего разуму, ясности конструкции. Только в предсмертную лирику допущены горькие сомнения, ропот:

... Боже правый,
Зачем ты создал мир, и милый, и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!..

/«Во многом знании — немалая печаль...»/

Можно вспомнить Фета и Сологуба, Анненского и Ахматову, Мандельштама и Ходасевича, Гумилева и Кузмина, Цветаеву и Есенина, вплоть до современных поэтов: Жигулина, Самойлова, Вал. Соколова и других — никто не избежал **особого** волнения, **особой** даже интонации, прикасаясь к этой «теме».

Баратынский сохраняет ледяное спокойствие и, будто наперекор пословице «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь!», не отводит взора и даже не щурит глаз. Поразительное самообладание, но суть его противоречива, если не трагична. Стихотворение «Смерть» — шедевр **абсолютизации** некой мысли или догадки, абсолютизации, к которой так склонен решительный ум Баратынского. Он берет отрицательные аспекты жизни («буйство бытия», разгул страстей, социальные несовершенства) и «смиряет» их бесстрастным отрицателем, будто не принимая всерьез «всех наслаждений жизнью» и всех страданий, связанных со смертью.

Но к беспрецедентному «жизнехуленью» ведет не столько гордыня, сколько горестное сомнение в ценности той «случайной жизни», которой человек подчинен от рождения.

Баратынский — поэт единственности, неповторимости:

... в п о л н е упоевает
Нас только п е р в а я любовь.

/«Признание», 1823, 1834/

Он не терпит возврата: возможная полнота исчерпана сразу и навсегда, и в повторении мерещится ему подлог, иллюзия, измена **первоначальному**.

«Сфокусированность» его натуры, склонной к максимализму и категоричности, очень резко и безоглядно выражена в стихотворении «На что вы, дни!..» /1840/: Мир статичен, человек скован, душа и тело разительно «несовместны», отчуждены. Но все — пленники друг друга. Жизнь скудна, человеческие воз-

мощности ничтожны, да и те «без нужды», миропорядок бессмыслен и бесплоден — к такому выводу приходит Баратынский, и едва ли есть в мировой поэзии более беспросветное стихотворение. К концу его тьма стучится в неодолимый мрак. Чувство это усиливается и абсолютизируется за счет отсутствия «возражений», «антитезиса». Распад зафиксирован с убедительной достоверностью; на возрождение, преображение нет и намека. «Кольцо существования тесно...» — скажет потом Блок. Но сколько боли в другом его признании:

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим...

Но «немало есть таких, кому жизнь кажется не горькой, а ненужной», писал Сенека почти двадцать веков назад.

И словно настаивая на этой непростительной ненужности, Баратынский пишет реквием по притязаниям человеческого духа.

Я связь миров повсюду сущих...

/Державин/

Я человек, я посредине мира...

/Тарковский/

Как мне быть? я мал и плох...

/Баратынский/

Детски жалобная, щемящая интонация «Недоноска» (1835) выдает всю непомерность скорби его автора. «Крылатый вздох», наделенный большим диапазоном физических проявлений, поразительно эфемерен, и ущербность его передана с трепетом и прямо-таки ласковым сочувствием.

Подобно стихотворению Тютчева «Безумие», «Недоносок» не поддается примитивной рациональной трактовке, но можно, очевидно, рассматривать его как вариацию духовной угнетенности, метафизической несвободы, вариацию той самой жизни, стесненной судьбою. Простор жизни, как и «бессмысленная вечность», — в тягость этому странному существу:

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И едва до облаков
Возлетев, паду слабя.
Как мне быть? я мал и плох...

Беззащитность неслыханная, покой недоступен, утешенья нет.

... Мы в небе скоро устает,—
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем —

/«Проблеск», <1825 >/

так Тютчев передал грустную ограниченность человеческой природы.

Баратынский переносит акценты:

... Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.
... Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
...Вопль унылый я подыблю...¹¹

Вопиющая немощь духа или жалкая посмертная участь души — равно «горе и отвратителен» привкус жизненных «бращен»...

От послания «Дельвигу» до трагических стихотворений «Осень» (1836-1837) и «На что вы, дни!...» простирается убеждение Баратынского в бессмысленности человеческого существования. «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее» — это формула Ивана Карамазова, подсказанная «схимником» Алешей, глубоко чужда творческому да и человеческому сознанию Баратынского. Размышляя о «жатве» с «жизненного поля», он не прельщается ничем, ничему не шлет привета и благословения:

Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен...

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
Все образы години бывшей
Сравниются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей, —
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей-жатвы нет!

В «Осени» — все принципиальные темы и решения лирики Баратынского: разочарование, тщета человеческих усилий, мизантропические мотивы и жалоба на отсутствие «отзыва», смешная пылкость сердца и холод опыта, оппозиция «бессмертным иллюзиям духа», вопрошание гроба и неверие в «грядущую жатву». Стихотворение, как дерево, «ветвится» строфами, самозначными, но

¹¹ Ср. у Достоевского слова Великого Инквизитора о людях: «малосильные бунтовщики», «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку»...

скрепленными воедино «стволом» смысла. Образы тяготеют к символичности, то есть заведомому обобщению, грандиозность их тшится поглотить целый мир с его мнимостями и самообманами. Интонация горестная и вместе с тем едкая. Пульсирующие ямбы, отягченные архаизмами, создают впечатление мрачной и не просто торжественной, но торжествующей непреложности.

Интересно между тем, что размышление Баратынского «убеждает» скорее эмоционально, нежели интеллектуально. Но еще в 1828 году Пушкин заметил: «Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах».

И в самом деле всей лирике его свойственно высокое изящество, благородная сдержанность самовыражения.

Острое своеобразие Баратынского — и в безрадостном стремлении идти до конца в «избиении» надежды, отнимать даже надежду на надежду.

Лишь иногда гордый ум его поникает перед «благовестящими снами» сердца, — так поэт побеждает «нешадного» мыслителя. В той же «Осени» возникает противовес всеразрушающей коррозии опыта — «цветущий брег за мглою черной».

Пред Промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем...

Это — как тютчевский «ветр», «теплый и сырой», который даже в самое глухое ненастье «душу нам обдаст как бы весною»...

Но не таков Баратынский. Он немедленно переходит к сомнению в благодати, потому что, он уверен, «не найдет отзýва тот глагол, Что страстное земное перешел». Духовные обретения индивидуальны, непередаваемы, и это вызывает неисцелимую скорбь в человеке, казалось бы, склонном к мизантропии, предпочитающем «одинокое упоенье».

То же — в стихотворении «Рифма», по-своему отрицающем художническое затворничество:

Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форума,
Меж нас не ведает поэт
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума.
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль вýсший дар?
Реши вопрос неразрешимый!..

/1840/

Но если в «Рифме» есть некий намек на благовест уже потому, что «болящий дух врачует песнопенье», то в «Осени», несмотря на порывы в область «сияния», Баратынский отвергает возможность какой бы то ни было гармонии.

В том числе гармонии природы и человека.

Издавна поэзия чутко откликалась на взаимосвязи человека и «естества». Знаменитое «Брожу ли я...», где природа неожиданно и вроде бы неверно названа «равнодушной», дает основание для следующей трактовки: Пушкин воспринимает природу вечно живой и безразличной к человеку **после** его смерти, поскольку непосредственная связь между ними утрачена. Человек остается в духе, принадлежит иным сферам. Мертвый человек и природа **после** его смерти **взаимноравнодушны**, краса ее сияет живым, а человек от природы отпадает.¹²

Но Пушкин, не слишком склонный к метафизике, особенно в поэзии, может быть, не имел ничего этого в виду. Во всяком случае, человеку в его стихах природа мила, желанна, связи просты и глубоки. У «пантеиста» Тютчева природа предстает «в полном блеске проявлений». Он предан стихии, вслушивается в нее, и, может, оттого «есть хмель ему на празднике мирском». Тютчев утверждает:

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем...

/«Певучесть есть в морских волнах...»/

Заболоцкий отверг «строй» и «созвучье», даже назвал природу «вековой давящей», но всю жизнь влюбленно думал о ней, считал человека «зыбким» ее умом и восклицал, обращаясь к природе:

... как сладко понимать
Твои бессвязные и смутные уроки!..

/«Засуха»/

Баратынский редко «забвенье мысли пьет», так что и природу он редко переживает непосредственно, без рефлексии. Он отмечает надвигающийся разлад ее с человеком, подступившим к ней без любви, но с «горнилом, весами и мерой». **Вся** вина возложена на человека:

... чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прощаний.

/«Приметы», 1839/

Это звучит в духе шеллингианских концепций, как и стихотворение «На смерть Гете» (1833), где природа и поэт дышат «одною жизнью». Сам Баратынский уже не мог так дышать, хотя и пытался. Первые строфы «Осени» исполнены желания вчувствоваться в состояние увядающей природы, и прощание с ее красой окрашено неутолимой печалью. Но и здесь медитация одолевает живое общение, и чувство вытесняется размышлением, хотя бы и эмоциональным.

В 1827 году Баратынский опубликовал стихотворение «Последняя смерть», где подробно описал пригрезившуюся ему «последнюю судьбу всего живого».

¹² Подобное «равнодушие» отмечено между живым и умершим в стихотворении «Под небом голубым страны своей родной...». Наблюдение И.М. Семенко.

Картины грядущего далеки от экспрессии апокалиптических видений, в них — изнеможение, безволие, медленное угасание обессилившего человечества. И прекрасная торжественная природа, «тишина глубокая» на земле **без людей** вызывает щемящее чувство утраты. И чем меньше в картине ужаса, чем она умиротворенней, тем это чувство острее. Некому видеть эту красоту, некому любить, некому славить...

Как ни парадоксально, «Последняя смерть» есть проповедь гармонии. «Несбалансированность» земного бытия ведет к гибели человечества. Умственная элита обречена на физическое вымирание, и шеллингянство, ориентировавшее человека только на фантазии и рафинированную духовность **взамен** практической деятельности, несостоятельно.

Эта мысль Баратынского, судя по реакции критики, не была понята, хотя опасения поэта и до сего дня не утратили актуальности...

В воззрении на природу автор «Примет» был наиболее «неоригинален», но, может быть, и наиболее далек от напоминающих догмы утверждений. Сложным было отношение Баратынского к религии. Все античные божества и обращения к ним носят условный, литературный характер. Иное дело — монотеистической религии. Русские шеллингянцы, как известно, полупрезирали христианское учение как «народное», ставили Спинозу выше Евангелия.

Склонный обычно к «ересям» Баратынский сдержаннее и традиционнее. Но Творец, **неизменно** присутствующий в его вселенной, необычен: устройство мира Он поручил смерти, человека бросает без помощи и надежды, бьется насмешлив и едва ли не «ревниво злобен», подобно древнему Року...

Баратынский не скрыл сомнений во всемогуществе «Незримого» и даже в Его благой мудрости, потому-то промысел должен быть **оправдан** и справедливость его оценена страдающим человеком.

Только однажды речь его звучит почти смиренно и смысл ее человечески значителен:

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгой Твой рай
Силы сердцу подай.

/1842 или 1843/

Баратынский сомневался во всем, но в плодах собственных размышлений не сомневался никогда. Оттого, может быть, чужд ему мотив покаяния, «змеи сердечной угрызенья». Истины свои он словно вырубал в камне и делал это с изумляющей непререкаемостью, тем самым как бы утверждая их незыблемость. Вероятно, руководило им то, что Толстой называл «энергией заблуждения», необходимая писателю для парадоксальной уверенности в своей правоте.

Но став поэтом **разуверенья**, Баратынский принял на свою душу безмерно тяжкий груз не только собственной тоски, но и чужие, почти гипнотически им внушенные или поддержанные разочарования. Он сознавал драматизм своего положения:

Вотще! Я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла...

/«Когда исчезнет омрачение...», 1834/

Иногда кажется, что тотальный скепсис Баратынского — не эквивалент его мировосприятия, а только «рабочая гипотеза», инструмент интеллектуальной деятельности, тот самый «нагой меч» изошренной, бестрепетной мысли.

Если бы не «сухая скорбь», с которой он изрекает свои разрушительные и с т и н ы!.. Есть в ней, между прочим, тончайшее сходство со скорбью Великого Инквизитора, вынужденного, напротив, л г а т ь ради мнимого блага презираемых им людей. Оба не доверяют Промыслу, не верят в человека с его жалким, «текущим», а не «абсолютным» умом, не признают, хотя и по-разному, свободы выбора, не терпят альтернатив. И в то же время Баратынский, убежденно сказавший: «Я правды красоту даю стихам моим...», — резко противопоставляет персонажу Достоевского, потому что правда — нравственна, ложь — аморальна. Сойдясь, крайности вновь радикально расходятся.

Единственное, на что не покушается желчная рефлексия Баратынского, — это память о детстве, о местах, «где волею небес узнал он бытие». С неизменной нежностью вспоминает он «хранительный кров» отчего дома в Маре:

...Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей...

/«Запустение», 1834/

Последнее стихотворение Баратынского «Дядьке-итальянцу» (1844) тоже связано с тамбовской «вотчиной»: посвящено воспитателю поэта Жьячинто Боргезе. Память невольно летит в родные края, где итальянец «мирный кров обрел, а позже гроб спокойный»:

Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем...

* * *

Поздняя лирика Баратынского, вопреки суровому ее колориту, производит сильное и неоднозначное впечатление. При всей «сумеречности», она чело-вечна. Это отметил даже Белинский, который имел много претензий к поэту, но после его смерти писал: «... мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них челове-ка»¹³ — предмет вечно интересный для человека.

¹³ Подчеркнуто Белинским. — А.И.

Тотальный скепсис Баратынского — это «известковый слой в крови больного сына», тот самый «слой», о котором писал Мандельштам в стихотворении «1 января 1924 года». Время жизни Баратынского совпало с гнетущей эпохой постдекабризма. И дело не в «идейном бессилии» перед ненавистной ему социальной действительностью, о чем пишет Е.Н. Купреянова (см. вступительную статью к цитируемому изданию, стр. 36). Где и когда тиран был **идейно** сильнее оппозиционеров? Кроме цензуры и каторги, кроме запугивания и разслабления подданных, никаких «идей» у «самовластных злодеев» никогда не было. Принадлежность к обезглавленному, подрубленному поколению трагически совпала с индивидуальными качествами личности Баратынского, предрасположенного к меланхолии, жесткому анализу и «ересям». Он сам отмечал как губительный недостаток «просвещенного фанатизма», «сердечных убеждений».

У Баратынского практически отсутствует тема памяти, что лишало его мысль простора и перспективы, сплющивало ее. Об этой утрате исторической и духовной почвы Блок скажет впоследствии так:

И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,
Что грядущего ночь не пуста, —
Затуманила сердце усталость и месть,
Отвращенье скривило уста...

/«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...»/

«Тщеславный», по собственному признанию Баратынского, уход от упрощенно понятой пушкинской гармонии оказался чреват немалыми потерями — как творческими, так и чисто человеческими. Но в самой категоричности мышления Баратынского есть что-то юношески вызывающее, максималистское. В отрицании его столько скрытой молодой энергии, душевной силы, что оно оборачивается собственной противоположностью, как всякая крайность.

Кроме того, в поздней лирике есть стихи «вовсе новые и духом и формой».¹⁴ «Были бури, непогоды...» почти свободно от навязчивой рассудочности. «Ахилл» звучит очень целеустремленно и отнюдь не безнадежно. Стихотворение «На смерть Гете» противостоит всем скептическим и нигилистическим утверждениям Баратынского о человеческой жизни. Даже «Недоносок» с его м е р ц а ю щ и м смыслом свидетельствует о подвижной внутренней сущности автора. «Поединок роковой» поэта и философа продолжался всю жизнь, но строгая преданность истине и бесстрашие на пути к ней не были поколеблены:

Ощупай возмущенный мрак —
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак,
И заблужденье чувств твой ужас улыбнется...

/«Толпе тревожный день приветен...», 1839/

Ненавидя рассудочность, он сам был ее пленником. Разъял душу поэзии, чувства, как Сальери — музыку. И бестрепетность эта заставляет трепетать,

¹⁴ Разбирая вместе с Жуковским после гибели Пушкина его бумаги, Баратынский сделал такое умозаключение о стихах Пушкина, прежде, видимо, не считая его поэтом **мыслящим**...

волосы подымаются, лоб леденеет, и мы спешим назвать поэта несравненным, глубоким, пронизательным, прозорливым даже. (Это, между прочим, очень близко XX веку). С этой же целью Баратынский принуждал свою музу, свою мысль к бесстрастию, «холоду» (холодность как принцип, что тоже очень в духе новейших теорий искусства: ср. хотя бы рассуждения манновских героев Тонио Крёгера и Адриана Леверкюна).¹⁵ Можно отметить и еще ряд черт, сближающих Баратынского с современными западными художниками: скептическое отношение к человеку и духовным ценностям, парадоксально сопряженное с многовековой традицией гуманизма, требование нетривиальности, «вкуса» при изображении чувств и т. п.

Однако упоение словом как таковым, звукописью, «крутой и поверхностной расправой с чувством посредством литературного языка» Баратынскому чуждо, но это — предмет для особого разговора. Существенно же то, что творчество Евгения Баратынского прочно вошло в духовный состав **русской** литературы, безошибочно отторгающей все ложное и бесчеловечное. Катарсис не часто посещает читателя Баратынского, но поэзия его вызывает особое состояние духа, поражая твердостью, самообладанием и силой незаурядной мысли, эстетически безупречно выраженной.

Умер Баратынский неожиданно, во время поездки по Италии. Смерть превала его голос, может быть, именно «в высших звуках», ибо в «Пироскафе» (1844), открыто мажорном, «италийском», есть явно итоговые, но и устремленные в будущее строки:

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол,
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!..

Плывя из Марселя в Неаполь, Баратынский вспоминал юношескую мечту о морской службе и этим «возвращением к началу своему» закончил земной путь.

Имея в виду стихотворение, которым начата эта статья, Осип Мандельштам писал: «Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени» (статья «О собеседнике», 1913 г.).

В этой **неожиданности** — неистощимое обаяние поэта Евгения Баратынского и его «бунтующей музыки».

¹⁵ Между тем в «методе» его работы есть нечто общее с цветаевской, с той «только» разницей, что где у Цветаевой — «жар», у Баратынского — «холод». Ее лихорадило в самую «разумную» минуту, он же оставался трезв и вьедлив в наблюдательности даже в минуту самую «безумную», словно предвосхищая заветы манновского Тонио Крёгера.

«ЛИЧНОЕ ПРИСТРАСТИЕ К ЖИЗНИ И ЛЮБВИ...»

Памяти поэта Александра Сопровского

В декабре 2000 года исполнилось 10 лет со дня смерти Александра Сопровского. Он родился в Москве, в 1953 году. Стихи начал писать еще в школе. После окончания школы учился с перерывами на филологическом и историческом факультетах Московского университета, работал бойлерщиком, сторожем, рабочим в экспедициях, занимался стихотворными переводами и репетиторством. С 1974 года издавал с Сергеем Гандлевским, Александром Казинцевым, Бахытом Кенжеевым, Татьяной Полетаевой и Алексеем Цветковым самиздатскую антологию «Московское Время». Первая серьезная публикация Александра Сопровского состоялась в 1981 году в «Континенте» (№ 28), а в 1982 году в двух номерах «Континента» были напечатаны его статья «Конец прекрасной эпохи» и стихи из книги «Встречный огонь» (№№ 32 и 33). В том же году в Вестнике РХСД (Париж, 1982, № 136) вышла его статья «Вера, борьба и соблазн Льва Шестова». За эти публикации в 1982 году Сопровский был отчислен с дневного отделения последнего курса университета. В 1983 году ему были вынесены сразу два прокурорских предупреждения: за антисоветскую агитацию и за тунеядство.

В 1984 году в «Континенте» (№ 47) была напечатана статья Наума Коржавина «Сквозь соблазны безвременья» (о поэзии А. Сопровского), в которой Коржавин писал: «Александр Сопровский обратил на себя мое внимание еще первыми своими стихами, напечатанными в общей с его друзьями подборке «Континента». Правда, внимание неуверенное — стихи могли быть и случайной удачей. Но его статья «Конец прекрасной эпохи», а затем уже и большой цикл стихов ясно показывали, что удачи эти не случайны, что за всеми удачами и неудачами стоит напряженная и богатая внутренняя жизнь, внутренняя работа, очень серьезная и ответственная, — настоящая. И что поэтому его отношение к поэзии лишено каких бы то ни было следов гениальничанья, еще недавно столь распространенного в «молодой» литературе. Статья эта — яркое тому свидетельство. Она не оставляет сомнения в том, что А. Сопровскому свойственно не только стихийное проявление вкуса (что отнюдь не малость), но и осмысленное понимание его сути. Тем и ценна статья А. Сопровского, что выступает против «своего», «нонконформистского» конформизма — за возврат к живому восприятию современности, к живому «требованию от бытия смысла и красоты» — короче, к живому творчеству. Впрочем знакомство с его стихами убеждает в том, что сам он от этого живого творчества не уходил никогда...».

Прочитывая стихотворение А.Сопровского «На Крещение» выдан нам был февраль», Коржавин писал : «Уж слишком полно выражает оно все, к чему пришел А. Сопровский: его боль и его победу. Победу, конечно, только в духовно-эстетическом смысле — ситуация, которая встает за стихотворением, далека от победной... Метель метет все время, вокруг всего стихотворения. Вокруг дома, где происходит

пир и где героям — неприятно. «И стоит в ушах бесприютный шум — / Даже в ласковом, так сказать, плену...». Бесприютность эта как-то тоже связана с образом метели, и мысль эта приобретает какой-то космический характер. Но, тем не менее, она несколько не аллегорична. Это самая настоящая метель. Просто, как во всяком подлинном произведении, она живет здесь не сама по себе, а в восприятии автора, навевая ему все, что как-то связано с его состоянием, со всем, чем он озабочен, что знает, что вынес, потерял, берег, на что надеется. Так что не удивительно, что из этой метели возникают традиционные для нее с пушкинских времен бесы, вернее, мысль о них; разумеется, во вполне современной интерпретации: «... сколь век ни лих, как ни тщится бесов поднять на щит». Но в метели этой не только безвидность и мгла, есть еще и нечто мобилизующее — бодрящий, что ли, холод? В ней и надежда — сквозь нее видится, как в конце концов поступит Господь с этими бесами. И вообще весь приподнятый тон стихотворения тоже непостижимым образом связан с ее присутствием. И все главное для творчества А. Сопровского — культ дружества, причастности, женственности, духовности, — все это становится живым и достоверным именно через эту метель, в связи с ней. Это реальное переживание, а не система взглядов. Это совсем не значит, что все реалии я воспринимаю так же, как и автор. Например, — точно знаю, что плохо метут улицы не только «у нас»: в гор. Брайтон (часть Бостона), штат Массачусетс, где я теперь живу, снег с тротуаров вообще почти никогда не убирается. Тем не менее не только стихи в целом, но и строки о дворнике Викторе мне очень нравятся. Видно, дело не в «узнавании» все же, а в общем контексте. Так же меня никак не раздражают строки о Кьеркегоре, хотя согласен я не с автором, а с Кьеркегором. Я действительно уверен, что у поэта нет других, во всяком случае, более важных забот, «чем послушно следовать за судьбой». Кстати, я отчасти за то и уважаю А. Сопровского, что он, судя по всему, всю жизнь именно этим и занимался. И стоило ему это очень дорого (послушание-то это ведь не начальству, а судьбе!). Весь вопрос, что называть судьбой поэта. Внутренняя сущность этих строк, то, что автор утверждает поэтически — радость освобожденного духа, — шире, богаче и важнее его умственных взглядов. Этим и «звенит» это четверостишие. Да и все стихотворение. А в принципе, и все творчество А. Сопровского».

Впоследствии «Континент» еще дважды публиковал стихи Александра Сопровского (№№ 47 и 65). В 1990 году, за несколько месяцев до смерти, Сопровский прислал письмо Владимиру Максиму, главному редактору журнала «Континент», которое тот напечатал в колонке редактора (№.64). Заканчивалось письмо словами: «Нет никаких оснований бояться, что деятельное участие в наших переменах как-то подыграет режиму, не имеющему по большому счету исторической перспективы. Зато есть все основания всеми средствами помочь оздоровлению нашего общества, возрождающегося на развалинах тоталитаризма. В этой связи и Ваш приезд в Москву кажется чрезвычайно своевременным. Опыт «Континента» — это опыт освобождения от порчи «советского образа жизни». Этот опыт был бы драгоценным в наших условиях. Если бы стало возможным издавать «Континент» в Москве, это было бы не отклонением от вчерашней бескомпромиссной линии журнала, но ее последовательным продолжением применительно к дню сегодняшнему...» .

За свою короткую жизнь — Александр Сопровский погиб, когда ему едва исполнилось 37 лет — он написал книгу стихов и полтора десятка статей. О двух из

них в послесловии к книге, вышедшей уже после смерти автора (Сопровский А.А. Правота поэта. М.: Ваш выбор, 1997), Григорий Померанц напишет: «Когда я впервые прочел «О книге Иова», я был поражен. Поразила духовная зрелость. Я стал чаще прикасаться к подобным глубинам уже на склоне жизни. И вдруг — в такие ранние годы! Какой-то внезапный прорыв, впадение в глубину, почти как во сне; в глубину, которую освоить — на которой жить — удастся не скоро и не всем; до конца — одному на целый век.

Сейчас, перечитывая текст уже на страницах «Нового мира», — я отметил слова, особенно поразившие меня когда-то, особенно близкие:

«Перед памятью погибших детей, перед оскорбленным религиозным чувством — ни о каком принятии не может быть и речи. Как, однако, не может быть речи о том, чтобы усомниться в бытии Бога. Для Иова бытие Бога никак не сопряжено с принятием зла...»

«Иов мыслит катастрофическим личным опытом («экзистенциально»). «Душевая сила Иова сквозь череду теснящих его катастроф выстраивает его жизнь в одно».

«Иову так и не было дано примириться с утратой. Ему было дано другое. Был открыт источник — откуда черпать силы. «Принимать» или «не принимать» — это всего только две стороны мертво-страдательного отношения к жизни, которому чужда вся иудео-христианская традиция. Искать новой жизни — другое, творческое измерение. В конечном счете — религиозно-творческое. Творческий источник открылся Иову в красоте и мощи мироздания.

И не новое счастье, не новые дети — и не «постепенно», не со временем — возродили к жизни Иова. Прямо в речи Господа из бури уже открылась Иову новая жизнь — и новое счастье, новые дети ее лишь воплотили и упрочили собой».

«За то, как отстаивал Иов правду свою, ему не досталось мира, переделанного по его правде. Однако нечто большее досталось ему. Причем не в последнюю очередь как раз за то, как он отстаивал свою правду. Иову досталась причастность творческой красоте и мощи Божьего мира. В этом исток новой жизни открылся ему».

Оказавшись в одной книге вместе с другими статьями это эссе, эта поэма в прозе не потеряла своей силы; но она стала менее неожиданной...

О любви, о свободе, о Боге — обо всем самом важном мучительно трудно сказать правду. Статьи Сопровского написаны смолоду, и в них есть категоричность юности. Но по меньшей мере два текста (об Иове и о Шестове) поднимаются в своей цельности над любой критикой».

В декабре 1990 года поэт ждал своей первой на родине подборки стихов в журнале «Огонек», она вышла уже после его смерти, как и его статья о Мандельштаме «Правота поэта» в «Учительской газете».

В автобиографии, написанной к книге стихов, которая была в 1987 году подготовлена им к печати, но так и не вышла при его жизни, Александр Сопровский написал: «Последние годы, проходящие под знаком неожиданных перемен, внушают новые надежды, но отнюдь не иллюзии. Сегодня в газетах пишут, будто литература должна не приукрашивать, но и не очернять нашу действительность. Перефразируя Пушкина, стоит заметить, что это (может быть) хорошая политика, но плохая поэзия. Сегодня, как и прежде, как и всегда, поэзия никому ничего не должна. Ею движет личное пристрастие к жизни и любви, к смерти и бессмертию, к истории».

В наше удивительное — одновременно и обнадеживающее, и обескураживающее — время, когда поверхность литературной жизни так пестро расцвечена бесчисленными поэтическими и прозаическими мыльными пузырями, призрачный радужный блеск которых слепит глаза не только критике, премиальным жюри, но нередко и нормальному читателю, не так уж легко разглядеть, что глубинное ее движение определяется вовсе не этой легковесной летучей стихией. Но — творческой энергией тех, кто порой не очень заметен в этой суетной тусовочной пляске, о ком чаще всего не шумит молва и о ком она быстро забывает, даже если когда-то и удостоила их минутным вниманием. Однако, полагаем, история нашей литературы будет помнить и воздаст должное именно им, потому что только подлинностью их «личного пристрастия к жизни и любви» создается ее достоинство.

Творческое наследие ныне мало кому известного Александра Сопровского принадлежит, несомненно, к явлениям этого ряда, и именно поэтому мы, продолжая традицию нашего журнала, хотим сегодня, в десятилетнюю годовщину со дня его смерти, напомнить нашему читателю об этом замечательном поэте и эссеисте, а тех, кто впервые от нас о нем сегодня услышит, и познакомить хотя бы с некоторыми образцами его творчества. Мы предлагаем вниманию наших читателей два неопубликованных стихотворения Александра Сопровского, подборку избранных его стихов из архива нашего журнала и повесть-воспоминание его вдовы Татьяны Полтаевой «Значенье сна», в которой читатель тоже услышит живой голос поэта.

•

Александр СОПРОВСКИЙ ===== (1953–1990) =====

* * *

Любимой, городу и власти,
Друзьям, проулкам и листьям
Посвящено дыханье страсти,
Нерастворенной в синеве.

Все, что внутри меня кипело,
Не уместаясь вне меня,
Я обращаю то и дело
В кипение иного дня.

И мир, поделенный на горе,
Но приумноженный стократ,
Перед землей предстанет вскоре, —
Вот так созвездия горят,

Так гениальные портреты
Изобличают мир души,
Так летним зноем перегреты
Отражены в речной тиши

Ольхи сплетения, — и вот
Рождается под небом мастер,
Чтоб жить не на живот, а на смерть,
Как всякий мир иной живет.

1975

* * *

Эта осень готова к любви —
Как бесстыдно и подслеповато
Прямо в дыры гремячей листвы
Проливаются взоры заката!

Листопад от парадных дверей,
И на улице ведает каждый,
Что по ходу таких октябрей
Эта жизнь оборвется однажды.

Расскажите мне как я умру —
Если срок мой оставшийся краток,
Я в лучистую эту игру
Так и выплесну горький остаток.

Как шуршит эта ветхая медь
В ожиданье прохожего счастья —
Я же помню, что жизнь, а не смерть,
Наше дело до смертного часа.

Что мне думать о завтрашнем дне,
На сегодня довольно заботы:
Я люблю тебя. Что же ты, что ты
Ни полслова не вымолвишь мне?

1975

* * *

Кто на Пресненских?
Тихо в природе,
Но под праздник в квартале пустом
Бродит полночь меж подворотен
Подкольной гармонии стон.

Вся в звездах запредельная зона.
Там небесная блеет овца
Или Майру зовет Эригона,
Чтобы вместе оплакать отца.
А на Пресне старик из Ростова
Бессловесное что-то поет.
Не поймешь в этой песне ни слова,
Лишь беззубо колышется рот.
И недаром обиженный дядя —
Честь завода, рабочая кость —
Вымещает на старом бродяге
Коренную, понятную злость.
И под небом отчаянно-синим
Он сощурился на старика,
Слово ищет, находит с усилием:
— Как тебя не убили пока?
Как тебя не убили, такого?
— А старик только под нос бурчит,
Не поймешь в этой песне ни слова,
Да и песня уже не звучит.
Тихо длятся февральские ночи.
Лишь гармоника стонет не в лад,
До созвездий морозные очи
На блестящие крыши глядят.
Поножовщиной пахнет на свете
В час людских и кошачьих грехов.
Волопас, ты за это в ответе:
Для чего ты поил пастухов?

1975

* * *

Ты помнишь: мост, поставленный над черной,
Неторопливо плещущей водой,
Колокола под шапкой золоченой
И стойкий контур башни угловой.
А там, вдали, где небо полосато,
В многоязыком сумрачном огне
Прошла душа над уровнем заката —
И не вернулась, прежняя, ко мне.

Когда же ночи темная громада
Всея синевой надавит на стекло,
Прихлынет космос веяньем распада —
И мокрый ветер дышит тяжело.

Но смерти нет. И от суда хранима,
Как будто куца в облачной дали, —
В налетах дыма черная равнина,
И пятна крови в гаревой пыли.
Пора мне знать: окупится не скоро,
Сверяя счет по суткам и годам,
Полночный труд историка и вора,
Что я живым однажды передам.

Настанет день, и все преобразится,
Зайдется сердце ерзать невпопад,
И будет — март, и светлая водица
Размоет ребра зданий и оград...
И поплывет — путей не разобрать —
Огромный город — мерой не измерить.
Как это близко — умирать и верить.
Как это длится — жить и умирать.

1977

* * *

Похолодание прошьет роскошный май
И зелень по чертам фасадов.
Душа прояснится... Как хочешь понимай
Игру сердечных перепадов.
А время спряталось. Исчезло без следа,
Как мокрой осенью безлистой.
И сердце падает — как будто есть куда,
Как бы в колодец — чистый-чистый.

1977

* * *

На Крещение выдан нам был февраль —
Баснословный, ветренный, ледяной,
И мело с утра, затмевая даль
Непроглядной сумеречной пеленой.

А встряхнуться вдруг, да накрыть на стол!
А не сыщешь повода — что за труд?
Нынче дворник Виктор так чисто мел,
Как уже не часто у нас метут.

Так давай не будем судить о том,
Чего сами толком не разберем,
А нальем и выпьем за этот дом
Оттого, что нам неприятно в нем.

Киркегор не прав: у него поэт
Гонит бесов силою бесовской,
И других забот у поэта нет,
Как послушно следовать за судьбой.

Да хотя расклад такой и знаком,
Но поэту стоит раскрыть окно —
И стакана звон, и судьбы закон,
И метели мгла для него одно.

И когда, обиженный, как Иов,
Он заводит шарманку своих речей —
Это горше меди колоколов,
Обвинительных актов погорячей.

И в метели зримо: сколь век ни лих,
Как ни тшится бесов поднять на щит —
Вот, Господь рассеет советы их,
По земле без счета их расточит.

А кому — ни зги в ледяной пыли,
Кому речи горькие — чересчур...
Так давайте выпьем за соль земли,
За высоколобый ее прищур.

И стоит в ушах бесприютный шум —
Даже в ласковом, так сказать, плену...
Я прибавлю: выпьем за женский ум,
За его открытость и глубину.

И, дневных забот обрывая нить,
Пошатнешься, двинешься, поплывешь...
А за круг друзей мы не станем пить,
Потому что круг наш и так хорош.

В сновиденье дапы раскинет ель,
Воцарится месяц над головой —
И со скрипом — по снегу — сквозь метель
Понесутся сани на волчий вой.

1981

Ода на взятие Сен-Джорджеса 25 октября 1983 года

Я много водки выпиваю,
Портвейном не пренебрегаю,
Закусываю не всегда.
Баб обаятельных хватаю
Порой за всякие места.

А в это время в Белом доме
Ты к сводке утренней приник,
У демократии на стреме,
Иных забот не зная, кроме
Прав человеческих одних.

А я все пьянку продолжаю,
Я это дело уважаю.
Блестит андроповка в стекле.
И ничего не совершаю
За ради жизни на Земле.

И солнцу есть предел на свете.
И злаки чахнут на корню.
А там, в овальном кабинете...
С чем я сравню тревоги эта?
С чем эти бдения сравню?

Весной на солнце снег растает.
Чашма пленительно блистает,
А то неплохо и пивка.
Меня запой не отпускает —
Или порой меня ласкает
Жены домашняя рука.

Горит рассвет над Потомаком.
Под звездно-полосатым флагом
Макдонольда победный флот
Летит, как коршун над оврагом,
Как рыба хищная, плывет —
И се! марксизма пал оплот.

И над Карибскою волной
Под манзанитою зеленой
Грозят Гаване обреченной
Сыны державы мировой:
А ты, Макфарлейн молодой,
И ты, Уайнбергер непреклонный!

Кого же я средь дикой пьянки
Пою, вскочив из-за стола?
Кто, ополчась на силы зла,
Кремлевские отбросит танки?
В ком честь еще не умерла?
Чьи баснословные дела
Вовек не позабудут янки?
Калифорнийского орла!

1983

* * *

Опять на пробу воздух горек,
Как охлажденное вино.
Уходит год. Его историк
Берет перо, глядит в окно.
Там город сумерками залит,
Повизгивают тормоза,
Автомобиль во мглу сигналист
И брызжет фарами в глаза.

Там небо на краю заката,
Вдаль от огней и кутерьмы,
Отсвечивает желтовато,
Проваливаясь за холмы.
И, бледно высветив погосты
За лабиринтами оград,
Осенние сухие звезды
В просторном космосе горят.

Быть может, через меру боли,
Смятенья, страха, пустоты
Лежат поля такой же воли,
Такой же осени сады.
Быть может, застилая очи,
Проводит нас за тот порог
Бессвязный бред осенней ночи,
Любви и горечи глоток.
Как будто легкий стук сквозь стену
В оцепененье полусна,
Как будто чуткую антенну
Колеблет слабая волна.
Как будто я вношу с порога,
Пройдя среди других теней,
Немного музыки. Немного
Бессонной памяти моей.

1985

* * *

Юность самолюбива.
Молодость вольнолюбива.
Зрелость жизнелюбива.
Что еще впереди?
Только любви по горло.
Вот оно как подперло.
Сердце стучит упорно
Птицею взаперти.

Мне говорят: голод,
Холод и Божий молот,
Мир, говорят, расколот,
И на брата — брат.
Все это мне знакомо.
Я не боюсь погрома.
Я у себя дома. Пусть говорят.

Снова с утра лило здесь.
Дом посреди болотец.
Рядом журавль-колодец
Поднял подобья рук.
Мне — мои годовщины.
Дочке — лепить из глины.
Ветру — простор равнины.
Птицам — лететь на юг.

1989

* * *

Ноябрьский ветер запахом сосны
Переполняет пасмурные дали.
Что значил этот сон? Бывают сны
Как бы предвестьем ветра и печали.
Проснешься и начнешь припоминать
События: ты где-то был, — но где же?
На миг туда вернешься — и опять
Ты здесь... и возвращаешься все реже.
Так в этот раз или в какой другой
(Уже не вспомнить и не в этом дело),
Но там был лес, поселок над рекой,
И синева беззвездная густела.
Там загоралось первое окно,
Шептались бабки на скамье у дома,
Там шел мужик и в сумке нес вино —
Там было все непрошено знакомо.

Там жили, значит, люди. Я бы мог
(Но веришь, лучше все-таки не надо)
Приноровить и опыт мой, и слог
К изображенью этого уклада.
Когда б я был тем зудом обуян,
Когда б во мне бесилась кровь дурная,
Я принялся бы сочинять роман,
По мелочам судьбу воссоздавая.
Тогда бы я и жил не наугад,
Расчислив точно города и годы,
И был бы тайным знанием богат,
Как будто шулер — знанием колоды.
Я знал бы меру поступи времен,
Любви, и смерти, и дурному глазу.
Я рассказал бы все... Но это сон,
А сон не поддается пересказу.
А сон — лишь образ, и значение сна —
Всего только прикосновенье к тайне,
Чтоб жизнь осталась незамутнена,
Как с осенью последнее свиданье.

1989

* * *

Спой мне песенку, что ли, — а лучше
Помолчим ни о чем — ни о чем.
Облака собираются в тучи.
Дальний выхлоп — а может, и гром.

Ничего, что нам плохо живется.
Хорошо, что живется пока.
Будто ангельские полководцы,
Светлым строем летят облака.

Демократы со следственным стажем
Нас еще позовут на допрос.
Где мы были — понятно, не скажем.
А что делали — то и сбылось.

1990

ЗНАЧЕНИЕ СНА

(комментарии к жизни неизвестного поэта)

в память Александра Сопровского

Вместо предисловия

Антологию «Поэты XVIII века» Саше подарили в день рождения. Он пролистал синенький томик, и в разделе «Анонимные авторы» показал мне одно стихотворение: это для тебя. Стихотворение называлось «Песня».

- Оно замечательное, я могла бы его спеть.
- Зачем же петь чужие стихи?
- А я сделаю так, что они будут моими.
- Это трудно, у тебя не получится.
- Поспорим?

Стихи, написанные на спор, назывались «Баллада о неизвестном поэте XVIII века», с рефреном — словами анонимного автора. Саша выслушал и сказал: «Ты написала это про меня, это я — тот неизвестный поэт».

— Э, нет, Сашенька, если я написала — значит это я тот поэт, а ты здесь выступаешь в роли красавицы.

Я хотела бы жить в замке. Со стенами, сложенными из гладких, неровной формы камней, за которые не проникает ни один звук. Только ветер и гулкое эхо где-то высоко под крышей, и если прислушаться, то слышно как далеко внизу бьются волны о каменную стену — бледный карандашный набросок на фоне ослепительно белой тишины...

Каждое утро я поднимаюсь по будильнику в 8 часов утра, полусонная бреду на кухню, ставлю чайник на плиту и бужу свою двенадцатилетнюю дочь-рас-трёпу, которая на дежурный вопрос гостей: «Кем ты хочешь быть?» — отвечает: «Редактором снов» (или что-нибудь в этом роде). Перед тем, как выпихнуть дочь за дверь, я с ней долго ишу учебники, тетради, наконец, ключи — они все пропадают в нашем доме.

В городе жара — 28 градусов, в квартире — ещё больше: из ванной вырываются клубы пара — не закрывается кран с горячей водой, и батареи почему-то тоже горячие. Я достаю разводной ключ, отвертку и отворачиваю прохудившийся кран. Кипяток хлещет струёй, толщиной в два раза большей, чем отверстие крана, и ад, написанный Дионисием на стенах Благовещенского собора, выглядит менее ужасно. Я сажусь на пол и думаю: есть ли шанс вернуться к исходной позиции, когда вода, хоть и текла, но не хлестала; я опять забыла, что в этом доме, в этом городе, в этой стране ничего нельзя трогать. Больше всего на свете я боюсь ремонтёров: сделал одно, они, непременно, сломают другое. В последний раз один такой умелец приходил полгода назад, стукнул

кувалдой по заржавленному крану, из которого вода не текла, и она потекла. На мой вопрос: «А как её закрыть?» — находчивый малый ответил, что я жаловалась, что вода не течет — теперь она течет, и я сама не знаю, чего хочу. Я знаю, чего я хочу, но я не послушалась внутреннего голоса и следующий ремонтёр, починив кран с холодной водой, свернул резьбу у горячего крана. Она текла до сегодняшнего дня и пусть бы себе текла — это все жара. Я делаю невероятное умственное усилие и спустя час, вся в испарине, с руками в черных разводах, завинчиваю кран — вода почти не течет.

Через полчаса, я выхожу из ванной в полотенце обернутом вокруг тела, с волосами с которых еще стекают капли воды и валюсь на диван. Я долго смотрю на белый потолок с растрескавшейся по шву штукатуркой и на бледные обои с картинками в простых деревянных рамах, а кое-где вовсе без рам, приклеенными скотчем. Здесь и лаконичные наброски цветным карандашом яблока, и несуществующие в природе два синеньких цветочка на синих же стеблях и один красный, похожий на тюльпан; влажная черемуха в стеклянном кувшине и нежный ирис с сетью тончайших прожилок, напоминающих стрекозиное крыло; наездница в красной амазонке с разноцветными шарами, расписанными акварелью и белый конь нацарапанный простым карандашом — цветы и лошади — любимые мотивы... Я сажусь за компьютер и пишу:

Мы встретились в 1973 году в одной из многочисленных литературных студий в тот день, когда обсуждали мои стихи. Я запомнила атмосферу натинутости и скуки и фразы вроде: «Невозможно поверить, что в наш атомный век кто-то может всерьёз восхищаться цветочками, листочками, облачком и тому подобной чепухой». Два голоса: руководителя семинара, Сикорского, а также его старосты и кумира, Жени, звучали явным диссонансом в общем хоре раздражения. И тогда поднялся один из гостей — невысокий, круглолицый, тёмноволосый, со стрижкой под римлянина, с большими ярко-синими глазами и пухлыми губами юноша. Он пришел с Борисом Шкурулаем, которого я знала по совместным поэтическим чтениям и встречала там и сям, и светловолосым молодым человеком, который не говорил, а только улыбался. Тёмноволосый говорил слишком уж умно, пускаясь в длинные отступления, и я мало что поняла и запомнила. А закончил неожиданно тем, что впервые за месяц хождения по разным литературным студиям он услышал живой голос, и если его обладательница хочет сохранить этот голос, ей следует скорее бежать отсюда. «У нас в университете есть своя студия, — сказал он мне в конце вечера, — приходишь к нам?»

Вспоминая это обсуждение потом, когда мы уже жили вместе, он надо мной подтрунивал: «Ты была в чудовищном желтом платье». «Это было мое лучшее платье — я сама его связала из мохера горчичного цвета», — возражала я. «И прическа у тебя была ужасная, как у подростка, отболевшего тифом, — продолжал он, — сейчас ты выглядишь гораздо лучше». Это правда, стрижка у меня была даже слишком короткая. Дело в том, что за неделю до нашей встречи школьная подруга привела меня в парикмахерскую, где мне отрезали косы и сделали «химию». На следующий день пережатые химические кудри отвалились и остались короткие колючие черные корешки волос, как у ежика.

— Если я выглядела так ужасно — зачем ты ко мне подошел?

— Потому что я увидел желтую ободранную кошку, которая выпустила когти и приготовилась прыгнуть.

— Точно. Я тогда подумала, что ты, вроде этих пижонов, и даже самый главный пижон.

Так мы познакомились и после студии долго бродили по ночному городу, пока не забрели на территорию старинного монастыря, поднявшись по замшелым, выщербленным ступеням сквозь проход в высокой монастырской стене. Из стены кое-где торчали чахлые прутья-деревца и нависшую над ней фиолетовую мглу рассекла, как молния, светлая и прямая красавица колокольня. За стеной, в центре монастырского двора стоял храм начала 16 века, обезображенный позднейшими пристройками до всему периметру, но крест над огромным серым куполом был редкий — с полумесяцем. За собором, как бы возвращая забредших сюда с небес на землю, расположилось современное здание поликлиники. «В этот монастырь Василий III сильно заточил свою бесплодную жену Соломонию, — рассказывала я, — а она взяла да родила (но к тому времени царь уже женился на Елене Глинской). Родила она пораньше, и не было бы в русской истории царя Ивана Грозного. Здесь сохранились кельи 17 века, в них до сих пор кто-то живет». «Один мой приятель», — сказал Саша, так звали моего нового знакомого. Мы обошли собор слева — кельи представляли собой низкую, длинную постройку из темного крошащегося кирпича с крошечными окнами и дверями, располагавшимися по фасаду: окно — дверь, окно — дверь, между ними почти не было промежутка. В одном из окошек горел свет и стоял на подоконнике столетник в горшке и старый чайник.

— Может, зайдем?

— Не-а...

Я рассмеялась в ответ на его неуклюжую попытку поцеловать меня, так как в это время у меня был «настоящий» роман со взрослым (и даже женатым) мужчиной. Он тогда оставил всякие попытки ухаживания и написал мне впервые через полтора года, когда я, сдав творческий конкурс в Литературный институт, неожиданно сбежала (чтобы разорвать свой «взрослый» роман) учиться в Ленинград.

Танюша, привет! С трехдневным опозданием получил твое сочинение. Думаю, что почтовые сексоты рады были ознакомиться с публицистикой большого поэта Мандельштама, чем и объясняется, что авиа письмо из Ленинграда в Москву шло четыре дня. Ну, да хрен с ними, пусть образовываются. Я немножко обалдел от твоего письма. В конце концов, все же разобрался в твоих теоретических построениях. Сам я уже давно отвык выражать в логической форме серьезные мысли, и даже статьи мои грешат стихообразностью. Но чтобы доказать себе, что не поглупел окончательно постарался во всем разобраться.

Писать стихи, я думаю нужно просто с предельной ответственностью за написанное. Поэт должен быть уверен, что все вышедшее из под его пера — предел честности самовыражения. То есть надо, я думаю, вступить в отношения личности с самим собой (хотя поэт вовсе не обязан каждый раз понимать до конца все выражения движения своей души). В отношении же к читателю стихи должны быть не столько понятны, сколько убедительно объяснимы, но это лишь

при условии какой-нибудь особенной загадочной красоты. Ориентироваться же на читателя, наружу — занятие суетное, ты умница и, видимо, знаешь это. Что же касается отдельных случаев психопатологической невнятицы — то это уже вопрос самовоспитания.

А вообще, если я начну получать от хорошеньких женщин послания о том, что реминисценция абстрактных идей в сфере семантики есть та область самоощущения духа, которая, потенцируясь, образует гармоническую имманентность, адекватную первоначальной субстанции... то жить станет как-то грустно. Ты бы про снежок что-нибудь написала. Вот у нас была зимняя гроза с молнией, громом и метелью, какой свет не видывал. Мы ночью с Лешей сидели у Сережи и вылезли на балкон смотреть это чудо — такие пьяные и восторженные. Такие дела. А я хорош — связался с поэтессой, которая четыре страницы излагает мне какую-то семиотику, а в конце просит написать о любви. Я получаюсь какой-то девочкой из провинции, которой морочат голову. Нет, Таня, и мы не лыком шиты, университетов, конечно, не кончали, но кой-какую смекалку имеем. О любви скажу тебе так: (далее следует сложный график).

Так что евона как. Я знамо дело соскучился и ты мне, стало-ть, пиши. Только не больно учено, годы наши не те, учить от науку вашу. И ежели я парень простой, так нечего надо мной изгаляться и образованием в глаза тыкать. Я может сам стишки пишу. Только никому не показываю, потому что нескладные. Счастливо тебе, Танюша... А.С.

Тогда, скучая в чужом городе, я написала письмо одному из общих знакомых с описанием ленинградских достопримечательностей и получила в ответ приглашение в гости на ноябрьские праздники. Я не очень удивилась, когда пришла и увидела в гостях Сашу. Он сообщил мне, что приходит в этот дом третий день, так как никто не знал, в какой из дней я позвоню и появлюсь, а потому здесь три дня, благодаря мне идет непрерывная пьянка. Впрочем, сначала собрание было довольно чинным. Молодые хозяева, представлявшие собой супружескую пару, беспрестанно называли друг друга «лапа» и больше были похожи на двух старосветских помещиков, чем на студентов университета. Саша галантно ухаживал за мной, но потом как-то очень быстро опьянел и уснул в дальнем углу трехкомнатной квартиры, откуда его с шумом вытаскивали всем собранием. Когда надо было уходить домой, из трех возможных провожатых я выбрала его (несмотря на его нетранспортабельность), как неприятность уже знакомую и потому мне опасную. В итоге неизвестно кто кого провожал. Далеко за полночь мы пешком добрались от Белорусского вокзала до Марьиной Рощи, и к концу похода Саша совсем промок (Марьиная Роща тогда, как и в прошлом веке, представляла собой скопление двухэтажных деревянных домов и глубоких луж) и протрезвел. Извиняясь за неудачное ухаживание, он не просил дать ему возможность реабилитироваться, а только помочь в одном неприятном деле. Хотя я была слегка удивлена происходящим, но почему-то не отказалась. На том и расстались, договорившись встретиться утром следующего дня, и он отправился домой пешком через всю Москву.

Неприятным делом, о котором шла речь, была поездка в военкомат, где не оказалось нужного человека и надо было ждать. Саша обрадовался (а то по-

шлют на переосвидетельство, представляешь, как неприятно изображать сумасшедшего перед взрослыми тетками) сказал, что ждать не будем, потому что нас с ним уже ждут в университете. Около главного входа в университет нас действительно ждал Боря в пижонской дубленой курточке с открытой кудрявой головой. Мальчики сразу же стали шутить, изображая диалог двух подворотенных выпивох, и закончили длинной импровизацией — целой поэмой в размере гекзаметра. Когда прощались, Боря меланхолически улыбнулся и сказал своим тихим голосом, обращаясь ко мне: «Танечка, не дружи с этим плохим мальчиком». Саша насупился, а потом расхохотался и потащил меня дальше. Мы еще куда-то ходили и ездили, всю ночь гуляли по ночной Москве и, прощаясь, договорились утром встретиться и непременно добраться до военкомата. На следующее утро, когда мы встретились, он сообщил мне, что военкомат отменяется, так как он уже пригласил к себе гостей и хорошо бы купить вина: не найдется ли у меня в долг три рубля?

Первым приехал прихрамывающий, с правильными чертами лица и южным выговором Лёша Петров, грустный, потому что с тех пор как мы мельком виделись в университете, его выгнали из общежития и он не знал, где сегодня будет ночевать. За ним прибыл Сергей Марков: высокий, обаятельный и абсолютно раскованный молодой человек. «Твоя первая нормальная баба», — сказал он, глядя на меня, но обращаясь к Саше. Когда мы поженимся, он в той же раскованной манере скажет: «Подожду, когда семейное счастье вам наскучит и вы начнете обманывать друг друга».

Мы сидели и пили вино, лениво перебрасываясь шутками: Лёша — невозмутимо и неожиданно и потому очень смешно, Сергей — с блеском и язвительно, Саша — когда нарочито грубовато, когда очень тонко, и всегда громко и добродушно хохоча. Так мы сидели до темноты, пока Лёша не уснул сидя на стуле и не упал с него. На шум из соседней комнаты прибежали возмущенные родители, и вся компания после нескольких звонков переместилась в дом на другом краю города. Хозяйка, принявшая нас в столь поздний час, была высокой темноволосой девушкой. Она принесла чай и несметное количество еды и домашней выпечки и все оставшееся время смотрела только на Лёшу. Потом все читали стихи и я для себя отметила стихи Лёши, и даже не стихи — я тогда не запомнила ни строчки — а их неожиданный звуковой и зрительный ряд. От Вали (так звали хозяйку) мы тогда выбрались далеко за полночь: Сергей уехал домой, Лёша остался в гостях, а мы отправились пешком из Измайлово в Марьину рощу.

Танюша, здравствуй еще раз! Я даже не знаю, получила ли ты мое письмо и написала ли ответ. Потому что у меня теперь нет паспорта, я его в невменяемом состоянии отдал шоферу такси, и не знаю толком, когда смогу выкупить. Это было одним страшным январским вечером. Мы — Лёша, я и Миша. сидели на традиционной фатере у Сережи и третьи сутки кряду кушали водку. Началось все с того, что я отрубился и проснулся от сильного удара в правый глаз. Оказалось, что Сережа бросил в меня резиновым тапком. Я поднялся, дал ему по морде, лег и заснул опять. Но история повторилась — я снова получил тапком в глаз. Мы с Сережей немного подрались и при этом называли друг друга нехорошими словами. В конце концов, я обиделся и уехал. Не успел я расположиться

дома поудобней и заварить чайку, как раздался стук в окно. Я открыл дверь и на пороге появился Леша с блуждающим взглядом и весь в крови. Он сказал жалобным голосом: » Я, кажется, Сереню убил.» Оказалось, что когда я уехал, Леша начал чуть ли не заступаться за меня и обвинять в чем-то Сережу. Но Сережа заснул. Тогда Леша взял свой приемник ВЭФ-202 (купленный накануне, заметь, в кредит) и стал антенной щекотать у Сережи в ноздре. Сережа обиделся, схватил антенну и сломал ее пополам. Леша тогда обиделся, взял весь приемник и кинул его об пол. Приемник не разбился, и Леша кинул его вторично, после чего ВЭФ разлетелся на мелкие кусочки. Леша крикнул, что на фиг ему теперь платить каждый месяц по 15 рублей, взял фарфоровую чашку и кинул в Сережу. Потом вернулся и собрался, обидевшись, уйти, — но услышал позади стоны. Он повернулся и увидел, что Сережа лежит в луже крови. Оказалось чашка разрезала тому висок. Тогда Леша, по словам Миши (находившегося там) сказал: »Ну вот, теперь меня посадят». А Миша, по словам Леши, сказал: »Ребята, у нас же водка налита, давайте пить». В конце концов, они вызвали скорую помощь. Миша пошел на улицу ее встречать, а Леша остался с Сережей и стал говорить, что вот он сейчас пойдет сдаваться в милицию. Еще он хотел повеситься, потому что ему было жалко Сережу и стыдно, что вот он убоины не ест, а человеку голову проломил....

В это время приехала Маиша, которую за час до всего этого Леша позвал в гости, и привезла три бутылки вина. На улице она встретила Мишу, и тот объяснил ей, что Леша, к сожалению, убил Сережу. Все вместе они дождались врачей, и Леша поехал с Сережей в больницу. Сережа по дороге говорил, что умирать ему совсем не страшно и что он всех прощает. Леша много плакал и все хотел вешаться. В больнице Сереже сделали пробу на алкоголь и, установив пьяное состояние, поместили в платное — типа вытрезвителя — отделение.

А Миша с Машей ночью пили вино, выпили все, что было, а потом занимались — ситуация так сложилась — еще чем-то странным, отчего сломалась раскладушка. Часов в 12 дня появился Сережа. Его отпустили из больницы, и он пришёл в ботинках на босу ногу, без носок и в тулупе на голое тело. Голова его была в бинтах (он и сейчас такой), а поверх бинтов сетка вокруг всей головы. Он был в хорошем настроении. На этот вечер у нас был назначен в его квартире очередной семинар. Собирались обсуждать Борю Шкурулая, и тот привёл с собой жену и литконсультанта из »Студенческого меридиана». Этому литконсультанту Боря сказал, что вот, дескать, есть такой салон, и там собираются молодые поэты. Когда тот увидел этот «салон» с лужами крови, добродушным хозяином без головы и музейным экспонатом — разбитым Лёшиным приёмником в углу, ему явно стало не по себе, особенно, после того как я любезно пояснил: »Тут у нас салон, напиваемся и друг другу морду бьём». Борова жена убежала минут через 20 после начала вечера. В общем, сама понимаешь, какой у нас получился «семинар» в этом салоне. Но выпили опять неплохо, и Лёша был очень тихий и понурый, и все очень дружили. Только вот Валя всё еще выглядела напуганной

Тогда, читая письмо, я весело посмеялась над историей, описанной Сашей, не зная, что через несколько месяцев сама стану участницей другой «кровавой истории». Основные участники и место действия были те же: Леша, Саша,

Сереза и тушинская квартира. Эта тройца, когда я их впервые увидела вместе, напомнила мне булгаковских героев: профессора Воланда с тростью, высокого Коровьева в пенсне и толстого кота Бегемота, качающегося на люстре, а тушинская квартира — нехорошую квартиру №50 из «Мастера и Маргариты». В тот день там были еще я и Лешина землячка Валя, в которую Леша был влюблен и которой посвящал тогда поэтический цикл с номером ее телефона вместо названия. Сидели читали стихи. «И что у вас с Таней какие-то страсти в стихах: все у вас кто-то виноват, кто-то расплачивается — у меня ничего такого нет», — заметил Леша Саше. В это время Сереза преувеличено шутливо ухаживал за Лешкиной любовью. Никто, в том числе и сама девушка, не принимал этого всерьез. Никто кроме «бесстрастного» Лешки. Потому что, когда те вышли из квартиры вдвоем в обнимку, Леша всерьез забеспокоился: «Как ты думаешь, Саня куда они пошли?» — и загрустил. Саша, стал утешать его следующим образом: «Забудь ее, Леха — это тебе она не дает, а с другими по кустам и подворотням таскается, таких на вокзале за три рубля сколько хочешь. А вот на друга Сереню не обижайся, бабу другую найдешь, а друга нет». «Оставь его в покое», — сказала я и увела жалельщика на кухню. Там мы болтали с полчаса, пока не послышался Лешин голос: «Кончай, Саня свои «шуры-муры» — я здесь, вроде как, жизнь кончил самоубийством». Мы бросились в комнату и увидели поднимающегося с дивана Лешу, с руки которого на пол стекала кровь. Саша потащил его в ванную, а я стала рвать наволочку на жгуты. Когда я смыла с окровавленного Лешиного запястья кровь и дрожащими руками накладывала жгут на порезанную руку, он поучал меня добродушно-ворчливо: «Ты не бант завязываешь — затягивай как можно туже».

В моих воспоминаниях о том времени всегда присутствовало множество людей, различных московских и питерских квартир, людей, с которыми я впоследствии подружилась или которых я больше никогда не видела; но чего никогда не было среди этих бесконечных хождений, это такси — то ли оттого что их вообще не было ночью в те времена, то ли от нищеты нашей тогдашней жизни. Такси появились позднее, уже в восьмидесятых, и связаны были с ночными возвращениями из Машиной квартиры, сменившей тушинскую, куда в восьмидесятые годы перекочевал наш литературный салон, который мы обычно покидали далеко за полночь, и где мы не только читали сами и слушали других, но и, подружившись с хозяйкой, бывали запросто. А еще такси связаны с покупкой водки по ночам, и возникали в красочных рассказах о невероятных приключениях Саши и его друзей (я сама не любила ни пить, ни покупать выпивку). Случаи, когда я выпивала больше двух рюмок вина, можно сосчитать по пальцам. В один из таких случаев Саше пришлось даже сунуть мою голову под кран с водой (кажется, это было на проводах за океан то ли Лёши, то ли Бори). Наутро Саша сказал, что не получил никакого удовольствия от выпивки, поскольку очень устал от необходимости приглядывать за мной или приводить в чувство. «Что же я такое делала?» — заинтересовалась я. «Все время, что-то говорила и что-то требовала — я не мог рта открыть!» — был ответ. А в тот, третий день нашего романа мы, наконец, добрались до моего Церковного переулка, поднялись на второй этаж по крутой деревянной лестнице и целовались так долго, что у Саши заболело сердце. Он присел на

ступеньку и сказал, что никуда больше не пойдет: «Третьи сутки, я хожу за тобой по пятам, я не спал две ночи, я промок и устал, позволь мне отдохнуть у твоих ног». В этот первый раз, как и впоследствии во всякий другой, я не приняла его слова за изысканный куртуазный оборот, а поняла их так, как услышала. «Хорошо, посидим здесь до первого автобуса, а потом ты попробуешь добраться домой». И неожиданно для себя добавила: «Обещаю, я сама приеду к тебе завтра утром».

Привет, Танюша! Я сижу на телеграфе, только что получил твое письмо. Сейчас напишу тебе и поеду к Боре пить кофе. Он написал стихи управдому Иванова, про то, как все хорошо; что мерзавца Солженицина выслали, и что всех старушек из церквей надо разогнать — пусть верят не в Божью мать, а в коммунизм. Стихи очаровательно нескладные, их одиннадцать штук... А потом мы пойдем на день рождения к Сереже, который снял в Тушино квартиру совсем близко от Бори. Вот на этой хате мы и будем заниматься праздником. Ты знаешь, в Москве сыкотно, как весной, я очень люблю такую погоду (жаль только, что это ненастоящая зима), и настроение тоже почти праздничное.

Меня очень тронули твои серьезные рассуждения о нашей любви и всем таком. Я, ты знаешь, пизжонства не люблю и ценю в людях умение быть глубокими и серьезными. Но, с другой стороны, серьезный нравственный анализ — это некий идеал, а идеал нравственности понадобился людям и был дан им Богом тогда, когда они предали естественную гармонию. Люди предали когда-то свой золотой век и поэтому вместо нормы — гармонии им был дан идеал — нравственность, чтобы за уши тянуть негодяев к испугу. Вот почему и был Христос с Его идеальной любовью. Но ведь был же когда-то этот самый золотой век. Когда люди просто бегали голышом по камешкам морского берега или валялись в лесу на мху. И это было еще лучше, чем любая нравственность. И в раю, когда мир кончится, тоже ведь не будет нравственности, хотя бы потому, что не будет и безнравственности: ведь оба эти противоположенные понятия существуют лишь в системе соотношения между собой...

Так вот, поэты всё-таки люди передовые, что ли — и в их душах должен быть элемент того изначального и конечного, что я называл золотым веком, гармонией. Поэтому, создавая все те тонкости, о которых мы друг другу пишем, мы все же должны уметь отрешаться от них — и просто жить — в силу данного нам жизненного таланта. Оставим рассуждения о нравственности — совдепам, и пусть они мучаются несоответствием своей жизни великим идеалам. Может быть, такой стыд поможет им избавиться от своей мерзости. А мы, проверяя внутри себя той же нравственностью свои поступки — зависящие от грязной нашей жизни среди людей — должны хотя бы внешне вести себя согласно идеалам красоты, а не нравственности, — чтобы хранить на земле гармонию. И те поступки, которые у совдепов выходят грязными — пусть выходят у нас забавными, то, что их мучает друг в друге — пусть заставляет нас восхищаться друг другом. Пусть нас не упрекнул в том, что мы похожи на них. Мы все делали не так — любили, разлюбливали, изменяли, даже обманывали (если обманывали) — пусть нас отделят от них на будущем суде. А что мы признаем в сердце своем — не их дело.

Танюша, ты ради Бога прости, что я так расфилософствовался. Лучше я опять про погоду — и скажу, что столько снега в Москве не было уже года четыре. И тает. Сейчас поеду в Тушино — там у реки народ на снегу, как на голландских картинках, знаешь, с конькобежцами...

Целую тебя, моя милая; как сказал Леша: «Оставайся полынью и злагом, в мире фауны каждый неправ, и пиши с отрицательным знаком языком вымирающих трав».

— Твой ход, Саша.

— Мне пришла бумага из психушки, в связи с перестройкой они снимают липовые статьи.

— Признайся, твоя сердечная боль на моей деревянной лестнице пятнадцать лет назад была тоже липовая?

— Нет. У меня вправду тогда заболело сердце: я никогда так долго ни за кем не ухаживал...

— Лучше бы не ухаживал. Я бы вышла замуж за Лёшу и жила бы себе припеваючи в Америке.

— Да, влипла ты, ничего не скажешь... А я ведь так и не отдал тебе три рубля, которые занял тогда, негодяй!.. Зато я тебя люблю. А еще я могу быть полезным — или ты думаешь, что Леша переводил бы для тебя Сафо и Саллюстия и читал бы на ночь Честертона и Чандлера?

— А почему тогда ты пишешь в стихах, что я унылая и усталая. Разве можно любить скучную женщину?

— Скучную нельзя, а тебя можно.

— Раз тебе нечего сказать — я пошла спать.

— Нет подожди. Вот смотрю я на тебя — ты такая земная и естественная, словом, настоящая, а я, как воздушный шарик, давно бы улетел в облака, ты одна удерживаешь меня у земли.

— Ладно, не улетай уж...

— Я сегодня подумал: почему я столько лет с тобой живу, ты же палец о палец не ударила, чтобы мы были вместе? Наверное потому что не могу тебя вычислить. Точнее я думаю, что могу, и вдруг, в какой-то момент, ты делаешь и говоришь то, чего делать и говорить, по моим представлениям, не должна и даже не можешь.

— А говорил, что самый умный.

— А я и есть самый умный — тебе шах и мат, значит, сегодня ты будешь рассказывать нашей чувеле сказку про дядюшку Дугласа.

У сказки про дядюшку Дугласа была своя история. Однажды Лёша (который перебрался к тому времени за океан) или Боря (который отправился следом) прислал нам весточку с симпатичной американской парой, писателем Дугласом Т. и его рыжеволосой красавицей женой. Я в это время ходила с животом, и Дуглас поинтересовался, как назовут будущего ребенка. Я ответила, что Саше нравится имя Катерина, а мне — Александр. «Кэтрин или Алекс» — уточнил он. И потом, каждый раз, когда они приходили в гости, пока были в Москве, они непременно приносили фрукты и соки и Дуглас говорил: «Это для Кэтрин». Когда американцы уехали, в одной из советских газет вышел фельетон, где

наш милый Дуглас был изображен коварным врагом Советской страны. Вырезку из газеты со смешными комментариями Саша послал новым знакомым, но ответа не получил, видимо они попали не по тому адресу. Потом родилась Катя и мы забыли об этой истории... Однажды вечером, когда меня не было дома, раскапризничавшаяся девочка никак не хотела засыпать без мамы и требовала непременно песню или сказку. Саша, предвидя беспокойную ночь (а ночь предназначалась для стихов), попытался договориться с дочерью: «Я расскажу тебе одну сказку, обещаю, если она тебе понравится, сразу заснуть». Сашина сказка, которая впоследствии пользовалась у девочки неизменным успехом наряду с маминной песней «Ходит, ходит кот по крыше», звучала примерно так:

Не знаю сколько пройдет лет, но ты вырастешь и станешь большой и красивой, Катюша. Однажды ты увидишь в небе белый самолет с опознавательными знаками Соединенных Штатов Америки. Самолет опустится перед твоим домом, и под звуки марша из него выйдет улыбающийся и подтянутый, в военной форме, дядюшка Дуглас. Он протянет к тебе руки и скажет: «Здравствуй, Кэтрин, я прилетел, чтобы увезти тебя отсюда в прекрасную страну Вермонт». «А маму и папу?» — спрашивает полусонная девочка. «И маму с папой», — соглашается Саша. Далее следовало описание красот удивительной страны Вермонт, на котором довольная Кэтрин обычно засыпала.

Историю про Дугласа и весь предшествующий диалог я вспомнила, когда через много лет перебирала бумаги мужа и наткнулась на черновик письма Боре, написанного сразу после отъезда американских знакомых:

Прости моё молчанье: водка-с / тому виной. / В июне у меня был отпуск, / читай: запой. / Кому похмельных мордобитий / чуковский ад.../ А мы, а мы на пьянку с Витей, / мы — в Ленинград. / А в Новгородке этом ночи / — белым-белы, / до ебли бабы там охочи, / гебисты злы. / Потом Москва и пьянка снова / — без перемен. / Ко мне от Саши Соколова / приехал мэн. / Летал он раньше в небе чистом / от ВВС, / а стал известным романистом / , сойдя с небес. / Мы ощутили за стаканом / души родство: / он покорила меня романом / «Of future war». / И обещал он темной ночью/ иль ясным днем /за нашей будущей дочкой / прислать «фантом». / И полуспившийся Сан Саныч, / живой едва, / расскажет ей об этом на ночь / не раз, не два. / И если дочка вдруг надулась, / слеза из глаз — / он ей шепнет: «Наш дядя Дуглас / не любит плакс».

Предположим, что жизненный сюжет дает толчок для развития сюжета поэтического, а последний возвращается в жизненное русло с поправкой на время, т.е. в уже другую жизнь. Таким образом, сюжет существует как бы в трех версиях, и чем ближе они друг к другу, тем большее впечатление вызывают (как объемное изображение в отличие от набора плоских картинок). Не случайно, что читатель так дотошно ищет подтверждения литературного сюжета в сюжете жизненном, а поэт так старается приблизить свою жизнь к жизни поэтического героя (или наоборот), даже ценой натяжек и подтасовок (жизнейских или поэтических). Но есть счастливицы, которым никогда не доводилось заниматься ни тем, ни другим, таков мой герой. Он был весельчак, красноречив, жизнелюб и безобразник, да вдобавок умница — сочетание редкое. Возможно, ум и ограждал его от лишних, суетливых движений, которыми так перит жизнь сколько-нибудь талантливого человека.

Танюша, здравствуй! Я вроде бы совсем раздвоился или рас-троился (с одним «с», прости за каламбур). Ты знаешь мою самодовольную любовь к поискам двойников... Теперь я читаю Лаури, ты его, наверное, читала, у тебя ведь есть эта книга — и совсем сливаюсь с этим консулом Джеффри, помнишь? Там и так весь роман состоит из разных пластов наплывающих друг на друга — а еще я тут включаю свой читательский пласт, и моя, Сани ... душа вполне уместно звучит в ключе этого англо-мексиканского словоблудия. Даже пишу я, видишь, так же вelerичиво, как Лаури или даже консул своей Ивонне.

Вся эта помесь шутовства с благородством — один теперешний я. Другой, полезный первому для здоровья — это деятель, литературный подвижник на ниве спасения русской поэзии. Делать что-то таким, с жиру бесящимся придуркам, как я — похвально и целительно, поэтому я и говорю, что для здоровья полезно. Что касается до третьего Сани, так это повседневная бездуховная скотина, много жрущая и не помышляющая о высоком. Прочел и вижу, что согласно критериям художественно-эстетического вкуса и такта — довольно о себе...

А жизнь идет быстрее, чем всегда. Как ни странно, наша антология действительно имеет шансы, в конце концов, появиться на свет. Было одно общее собрание и много сепаратных встреч по двое, по трое. Склок и крика было столько, что я начинаю верить: все мы действительно настоящие писатели. Я неистово занимался дипломатией, стремясь примирить как-то Лешино: «не понимаешь» с Сашиным: «вы не правы, господа». Спорили обо всем: от тезисов предисловия до того, а проводить ли черту под стихотворением. Сдобренные дикими криками Маши, эти споры породили во мне на всю жизнь ужас перед любой попыткой людей найти общую точку зрения. Меня во всей этой истории волновало только одно: чтобы сборник, какой ни есть, вышел. Потому все мои действия были направлены на то, чтобы народ меньше говорил и больше делал.

Я взял на себя первый этап работы — сбор и оформление рукописей. Особые хлопоты вызвало определение, кто на каком месте и по какому принципу будет стоять в книжке. Решили, чтобы каждый представил свой порядок, а затем вычислить средний. Я собрал все списки. Было много интриг, сговоров, подтасовок. Позавчера вечером я превратился в электронно-счетный прибор и вывел итог. После этой работы я вполне гожусь для подтасовок результатов выборных голосований при любом правительстве. Если бы Никсон пользовался моими услугами, не было бы никакого Уотергейтского дела...

Надоело писать о всех этих бумажных склоках, потому что в голове замелькали всякие «Куаунауак», «виски с содовой», «абсент» и прочее такое... Танюша, сделай милость, приезжай и побудь со мной.

Антология, о которой шла речь — поэтический самиздатский журнал «Московское время» — впервые вышла в 1975 году. Это было глухое время. У новых поэтов, заставших оттепель, были хотя бы воспоминания о чтениях на Маяковке перед многочисленной толпой, о литературных вечерах, диспутах и манифестах. На долю совсем молодых ничего этого уже не оставалось — читали не стихи на площадях, а самиздатскую хронику по домам: где, когда и кого посадили. И надежды не было — «застой» только начинался. Мы оказались в безвоздушном пространстве. Тогда-то и возникла идея антологии. Она нача-

лась с «внутренних», по домам, (в отличие от студийных) семинаров, где помимо чтения стихов и дискуссий (например, о нравственности и поэзии), обсуждались стихотворные книги избранного круга авторов. Все мы тогда писали не просто стихи, а стихотворные циклы или книги. Все, кроме Леши, который, был самым старшим в компании и наиболее сложившимся как поэт — он, по его словам, писал сразу собрание сочинений.

Почуствовав в первом выпуске антологии, Леша уехал в Рим, а потом в Америку на постоянное жительство, а те, кто остался, продолжили ее издание. За три года (с 1975 по 1977 гг.) в Москве вышло четыре выпуска, последний — помимо постоянных авторов — молодых московских поэтов, объединившихся вокруг университетской студии, включал и ленинградских поэтов, и поэтов СМОГа — «Самого молодого общества гениев» теперь уже старшего поколения. В представлении для заграничной публикации авторов «Московского времени» — а это был последний — пятый выпуск, Саша написал: *«... в этих условиях «культурный нонконформизм — не интеллектуальная роскошь, но «жизненное пространство» поэзии». Такой нонконформизм не подразумевает непременно формального модернизма, подкрепленного дешёвым эпатажем. Независимость не означает забвения традиций. Эпатаж — род заигрывания, маскирующий духовное поражение. Можно обращаться к современности, не отворачиваясь от неё, но и не заигрывая с нею. К такому нонконформизму и стремилась наша антология. Выразилось это не только в самом появлении «Московского времени» на свет, но и в его направленности. Мы пытались /по мере сил и возможностей/ отстаивать как — высокую традицию русского стиха, так и ответственность литературных отношений и оценок, которая также в традиции русской литературы — но бездарно растрочена в наши дни...»*

Эта же мысль прозвучала у него несколькими годами раньше в письме к другу. В ответ на просьбу Леши, стихи которого он высоко ценил, прислать отзыв о стихах, написанных в эмиграции, Саша переслал ему через океан целый трактат на 15 машинописных страницах — о поэтической личности и «о вопросах мировоззренческих,— но о тех, которые непосредственно связаны с поэзией как таковой, вплоть до версификационного этажа ее, которые прямо определяют поэтические свойства стихов и личности, или же прямо определяются ими». О творчестве, которое *«есть способ выстраивания личности в мироздании и способ преобразования мироздания через выстраивание живой личности; а жизнь вне творчества не есть жизнь,— а есть мёртвая зона небытия, где действительны законы смерти, то есть законы необходимости. А в творчестве /в живой жизни/ действуют законы освобожденной воли и все оно пронизано актами свободного человеческого выбора и свободной реакции Бога на этот выбор»*. И даже пространный исторический экскурс к вопросу об иронии разных стран и времен. В том числе и о современной иронии: *«Ирония — игра, а игра как культурный момент — тоже замыкается в себе, превращается в жонглирование звуками, словами, мыслями, даже целыми культурными пластами. В таком виде игра заполняет собой всю культуру. Но это не торжество игры, это ее вырождение. Это и вырождение иронии. Идеал такой игры — описанная Гессе игра в бисер. Но Гессе почувствовал не только головокружительное обаяние игры, но и ее обреченность на поражение... Что касается культуры, то мы лишь начи-*

наем выбираться из-под спуда антикультуры. Чтобы на деле создавать культуру в таких условиях, как наши — мало жизни и творчества, нужно подвижничество. А пока подвижничество не осуществлено, нет у нас позиции силы. Нет и почвы для иронии, есть почва для сдержанности и печали...». В письме речь шла об иронии, возведенной в художественный принцип, и опасности, таящейся в такой позиции, для серьезного поэта. Спор был принципиальный и друзья даже на время прервали переписку.

Это, когда дело касалось литературы, когда же дело касалось жизни, то никто так не любил, как Саша, поиронизировать и попридумывать разные шутки, как, впрочем, и все «веселое «Московское время» (так называл их поэт из смогистов и сам большой шутник — Аркадий). Их шуточных стихов хватило бы для создания поэтической репутации, не уступающей репутации иных профессиональных шутников от поэзии, часто таких скучных и занудливых в жизни. Мальчики же были молодые и веселые.

Получил письмо. Танюша, очень плохо, что ты болеешь: можешь ведь умереть. А тогда, сколько замыслов останутся неосуществимыми! Правда, я напишу много стихов на твою смерть — таких хороших, трогательных, страстных. Но какое тебе до них будет дело?.. Так что ты все-таки лучше выздоравливай.

Я, как и обещал, сдал кровь и отправил тебе пятерку. Восемь рублей отдам сегодня Боре. Он говорит, что вся первая закладка и вправду готова — так что дело только за тобой. Боря совсем уже было собрался в Ленинград, но в вечер отъезда напился на дне рождения своей девочки и остался там ночевать, причем я опасуюсь, что не с самыми платоническими намерениями. Таковы нравы века.

Я тоже был на том дне рождения. А как раз наутро отправился в Боткинскую больницу. Меня очень мучили: воткнули в вену иголку, а она (иголлка) оказалась засоренной. В итоге у меня под локтем все разворочено, и образовался большой синяк от кровоизлияния. Но двадцать пять рублей двадцать копеек выплатили аккуратно. Я отдал на антологию кроме восьми и двух твоих рублей еще пять от себя лично. Так что теперь я в прямом смысле слова — пролил кровь за антологию...

Зима у нас как началась, так и кончилась — 3 градуса тепла. Многочисленный выпавший снег занимается тем, что обильно тает. В Апокалипсисе Ангел говорит, что «времени больше не будет». Времен года — уже, по крайней мере, нет и не предвидится. Ну, и без них проживем. Хотя грустно. А ты меня любишь? Виду близящегося конца света это становится особенно важно...

Саша приехал в Ленинград, и тот поначалу показался ему старым запыленным городом, с закопченными домами, а Невский проспект узким и тесным. Я поселила его у своего приятеля, который снимал большую квартиру на Красной улице (сама я жила в общежитии). Улица эта, с революционным названием, в прошлом называлась Галерной из-за близости реки Невы. Улица тянулась с полкилометра параллельно набережной и заканчивалась аркой, соединяющей два здания: Сената и Синода. За аркой открывалась площадь с конным памятником основателю города и огромными древними липами, которые можно было обхватить руками лишь взявшись вдвоем за руки. Вместе мы исходили эту улицу

вдоль и поперек. Особенно нам нравилось местечко неподалеку от нее — это был островок, с мрачной каменной постройкой со всех сторон окруженной водой — все вместе напоминало средневековую Венецию. Вечером вода казалась живой, она шевелилась и дышала в каменных тисках. Она мерцала лунным зрачком. А когда в эту черную живую воду вдруг начинали падать звезды и вода вокруг вскипала горячими брызгами, то мы смотрели на этот звездный дождь, как завороженные. Один раз даже успели загадать желание.

Мы целыми днями бродили по городу. Однажды, когда шли по Невскому проспекту, залитому солнечным светом, вдруг хлынул сверкающий серебряный ливень: белое солнце, жестяные крыши и бледная позолота на зданиях двойлись, отражаясь в струях обрушившихся сверху и в лужах, тотчас образовавшихся. Мы тогда ослепли на миг и чуть не потеряли друг друга. Потом сушились в каком-то кафе, пробовали пирожки с разными видами начинок, смеялись и болтали, не переставая. В этот день мы пошли смотреть как разводят мосты — зрелище грандиозное и мрачное одновременно. Разведенный мост, двумя своими черными раскрытыми створками, показался нам тогда страшными адскими вратами. Мы заглянули в черную полыхающую желтыми бликами воду далеко вниз и я отшатнулась в ужасе, а Саша все смотрел туда, пока я его не оттащила от края бездны. В эту ночь мы не попали по «своим» домам и к утру, еле живые от усталости, оказались на последнем этаже чужого дома. Прислонившись к двухстворчатой, покрытой толстым слоем пыли двери, которой, кажется, сто лет никто не пользовался, мы прижались к друг другу, как два нахохлившихся воробья, и задремали. Среди ночи одна из створок двери распахнулась и громадный человек неожиданно мягким голосом произнес: «У меня гости? Давайте заходите, от меня как раз жена ушла».

Мы оказались в огромной пустой квартире. «Бывшая коммуналка, — сказал наш новый знакомый, — все соседи выехали, я здесь один». Ленинградская коммуналка была не похожа на мою московскую. Первая в большей степени сохранила остатки дореволюционной роскоши и планировку с неизменными двумя входами: парадным — для гостей и черным — для прислуги; шикарные мраморные камин, потолки с лепниной и причудливый застекленный балкончик, нависающий над улицей, как фонарь. Я вспомнила свою коммуналку на двадцать человек в длинном деревянном бараке в Марьиной роще, где я жила до пятнадцати лет. Детей было много, и когда они ссорились, то разбираться выходили родители, и Виткин отец снимал со стены подростковый велосипед, которым орудовал, как кувалдой на своем заводе. Теперь там ничего нет — ни моего барака, ни деревянных домов попристойней: в два этажа с резными наличниками на окнах, с резным карнизом и крылечком с периллами. Нет даже единственного каменного одноэтажного домика, облицованного плиткой с названием, оставшимся с дореволюционных времен: «Мучная. Мясная. Панфиловъ.» Одни новые семнадцатизэтажные коробки, среди которых я, когда была там в последний раз, заблудилась.

Когда я впервые приехала в Ленинград, то сразу почувствовала себя уютно и зябко. От всей этой, обрушившейся на меня парадной роскоши, прямых, расчерченных как по линейке, проспектов и широких открытых пространств исходило какое-то холодное высокомерие. Потом это ощущение прошло. По-

том я привыкла к вечному ознобу в помещении, сквознякам на улице, к туману и промозглой погоде, к насморкам и простудам — но тогда мне казалась, что я попала в царство ненастья. Когда приехал Саша я уже акклиматизировалась, но ощущение тепла появилось у меня с появлением этого, то серьезно, то веселого, но неизменно благодушно настроенного и отзывчивого юноши. В тот раз он прожил в Ленинграде месяц, писал стихи, ходил по литературным студиям — слушал не понравиться ли кто, познакомился и подружился с питерскими поэтами. Он подарил мне своих новых друзей и удивлялся: «Как это ты — второй год живешь здесь и никого не знаешь?»

Сам Саша не мог жить без друзей. В детстве он был одиноким, интеллигентным мальчиком, у которого весь класс списывал контрольные работы и домашние задания. Его родители, оба шахматисты, не захотели, чтобы Саша профессионально занимался шахматами — они считали, что это слишком богемное занятие для их сына. Откуда им было знать, что сын выберет занятие еще более богемное. Видимо, от этого детского одиночества — в юности, когда у него появились друзья, появился и своеобразный культ дружбы (он дружил даже с собственной женой). Своих друзей он очень любил, считал их добрыми, умными, талантливыми, словом, необыкновенными, и те довольно бесцеремонно пользовались этой его слабостью к ним. Того времени, которое Саша тратил, чтобы сделать за друзей что-то, помочь им в чем-то, защитить их от кого-то, хватило бы на несколько блестящих карьер, в том числе и одной научной. Но если бы вместо друзей он занимался карьерой, семьей и личными делами, то Саша был бы не Саша, а кто-то другой. Он мог часами по телефону отвечать приятелям на разные, интересующие их вопросы, совсем как справочное бюро. Мог озвучивать и тут же комментировать политические новости или осуществлять в двухчасовом телефонном разговоре поэтический и другой ликбез, не жалея собственного времени. Или вдруг сорваться, перевозить кому-то мебель. В нем совсем не было мелкого себялюбия. Если бы он знал, что у него осталась всего одна минута жизни и кому-то из друзей она потребовалась в тот момент, он отдал бы ее не задумываясь.

Любимая моя, Танюша, доброе утро! Сажу усталый-усталый, думаю о тебе и о снеге. О снеге, который сегодня, и о всяких других снегах из воспоминаний. Подробнее об этом снеге пока не буду, потому что я его слишком хорошо вижу и... в общем, не желаю сглазить, но, может быть, получится что-нибудь хорошее. Но могу рассказать о ветре, который с огромной скоростью пронесит — не отдельные облака по небу — а целое небо облаков. Если погасить свет в комнате или выйти в темную кухню, то в окно видно, как в прорывах этого великого переселения туч синее яркое холодное небо с ослепительной шербоатой луной. И сквозь облака тоже просвечивает синева. И все это несется; и жуткий ветер; и громыхает время от времени приоткрытая форточка в моей комнате... Такая ночь. А я, позволю себе заметить еще раз, думаю о тебе и о снеге...

Думаю я много, Танюша, о нас с тобой. Мне всё кажется, что мы стоим на пороге чего-то большого, простого и светлого, и если чуть-чуть постараться, то шаг будет сделан и победа будет за нами. Понимаешь, я смутно чувствую, что любовь к тебе дает мне какие-то дополнительные силы, которых я не ждал от

жизни, и этих сил достанет на двоих — только надо доверять друг другу... За пределами моей любви такой мрак и такая беспроектная мерзость, что я пишу, как и в прошлом письме: думай обо мне почаще. Всё это я попытался выразить в стихах, из-за умственной перенасыщенности они вышли неуклюжими, однако привлекут тебя...

Помнишь, мы хотели вместе читать книжки? Если тебе не трудно, возьми в библиотеке том пушкинской критики и публицистики. Это совсем не скучно (знаю, что ты не любишь критических книг), это кодекс чести русской литературы. Я тоже читаю это сейчас, вот и поболтали бы по приезду твоём. Вот и все. С прекрасным снегом тебя. А у вас как со снегом и со всем прочим? Пиши мне...

Р.С. Только что позвонила в дверь почтальонша и вручила (вынув меня голого из постели) твоё письмо. Бедная моя! Не простужай больше ног. Звонила Лена, говорит — вы дачу снимать хотите? Как будет пожар — приглашайте... Саня. Мне сегодня двадцать два года!

Пожар был на даче, которую я снимала с двумя подругами и одним поэтом-приятелем в Левашово, ближнем пригороде Ленинграда. К тому времени Саша особенно близко подружился с несколькими питерскими поэтами и — то они приезжали в Москву, то москвичи в Питер — эти поездки всегда сопровождались веселой выпивкой и приключениями, как правило безобидными. Потом Саша устроился на сторожевую работу и уже не мог куда выбираться. На Новый год я собралась к нему, а ключи от дачи отдала Сергею, который появился в городе перед самым моим отъездом. Приехав в Москву, я заехала домой отдохнуть и переодеться, перед тем как встретится с Сашей и поехать с ним в гости встречать Новый год. Не выспавшаяся — ехать пришлось в общем вагоне — я присела на диван и уснула. Проснувшись я от телефонного звонка, взглянула на часы: шел двенадцатый час. Звонил Саша.

— Что случилось. Я не могу до тебя дозвониться.

— Извини, я проспала.

— Не объясняй ничего, выходи скорее.

Конечно я опоздала, потому что расстояния в Москве совсем не такие, как в Ленинграде, и я успела отвыкнуть. Новый год я встретила на улице и весь год такой и был — бездомный.

Позднее, когда мы будем жить вместе, мне придется забыть о своей рассеянности, растерянности, избалованности и житейской неприспособленности, потому что у Саши эти качества присутствовали в устрашающей десятикратной степени. Он вечно что-то терял, что-то забывал, попадал в какие-то неприятные или беспокойные истории — находиться рядом с ним было опасно не только для собственного спокойствия, но иногда и для жизни. Когда он приехал с экспедицией на Север, первое что он сделал — это рассказывал начальник экспедиции — уселся на бочку с бензином и закурил. Близорукий в бытовой жизни, он был дальновзорок в жизни духовной и видел там на много шагов вперед. У него было глобальное видение предмета, потому он и наткался все время на те мелочи, что были у него было под носом, и падал, торопясь к своей главной цели. Чтобы быть с ним рядом, мне надо было лететь за ним вслед, сломя голову, не разбирая дороги, теряя на ходу шпильки, ручки, ключи и носовые

платки. Когда я уставала от этого бешеного темпа, я приостанавливалась и забивалась в какой-нибудь угол. Он делал еще с десяток кругов, пока не обнаруживал моего отсутствия и не возвращался туда, где потерял меня и не вытаскивал из моего убежища. Позже я привыкну и приноравлюсь к его странной походке и оставшуюся жизнь всегда буду при нем, как страховочная веревка.

А в ту ночь за новогодним столом, я пожелаю ему, чтобы удача была рядом с ним, как я была рядом, и чтобы без меня не было у него удачи. «Какая без тебя удача? — ответит он, — но тебе я желаю удачи со мной и даже без меня». Но без него удачи не было тоже. Когда через неделю я вернулась в Ленинград, выяснилось что Виталий (так звали моего соседа по даче) и Сергей, празднуя Новый год, каким-то образом подожгли эту дачу, хозяева всех выгнали, и мне теперь негде жить. К тому же у меня не осталось вещей, потому что приятели топили печку моим единственным приличным пальто, а потом байковым одеялом и бельем, потому что им «было холодно». После этой истории ее зачинщик Виталий спрятался у одной из своих жен, а Сережа извинялся за обоих и торжественно прочел, только что написанные стихи, которые заканчивались так: «Сгорел наш дом и где мы будем жить?» — «Не мы — а я, — возразила я ему, — ты-то вернешься домой к папе с мамой, а где буду жить я в чужом городе?» Больше тех стихов я никогда от него не слышала. Место в общежитии мне обещали только с осени. Покочивав два месяца от приятельницы к сокурсникам и обратно и измучившись вконец, я собралась в Москву, договорившись, что староста будет отмечать мое присутствие на занятиях.

Танюша, Танюша, Танюша ... Я все ласкаю тебя твоим же именем, но мои расчетливые ласки безответны — вот уже, сколько времени от тебя ни одного человеческого слова в мой адрес. Ну да я все это заслужил. Просто уже пять часов утра и по улице начинают шуршать машины. Я давно думал об одной древнегреческой истории, и вот, наконец, написал стихи. После стихов мне стало грустно, я потом объясню почему. А когда мне грустно, я тебе пишу, а когда я тебе пишу, ты мне не отвечаешь.

История греческая вот такая. Не знаю, помнишь ли ты, но однажды бог Дионис научил пастуха по имени Икарий изготовлению вина. Икарий сделал вино, попробовал и решил поделиться этим чудесным напитком с другими пастухами. Из них никто прежде вина не знал. Они выпили, словили кайф и решили, что Икарий отравил их, так как неожиданное состояние было им решительно непонятно. Тогда они убили Икария. Его дочь, Эригона, по этому поводу повесилась. Боги умилились этой трогательной историей и взяли на небо Икария, Эригону и собаку их Майру. Теперь это созвездия: Волопас, Дева и Большой Пес. Греки, по-моему, склонны были воспринимать свои мифы, как занимательные сказки, а не философские притчи. Но мне, с идиотской привычкой к глубокомыслию, эта история показалась весьма поучительной...

Кстати, этими стихами я тебе во многом обязан. Разговор рабочего с Пресни и ростовского люмпена я слышал, когда пятнадцатого февраля очень поздно ехал к тебе (и не застал тебя, помнишь?) А историю про волопаса я вычитал в твоей книжке «Легенды и мифы». Так что твоё проклятие насчет удачи без тебя ничем не нарушено.

Я вознесся было духом, и тут вспомнил, что на днях мне опять была повестка из военкомата. Это уже пятая за два года, по которой я не являюсь. Помнишь, мы ездили с тобой вместе — это была третья. Но промежутки времени между повестками уменьшаются. Они становятся все настойчивее, и я испугался, что все это скоро кончится и кончится для меня паршиво. И снова вспомнил о своих великих замыслах. «Надо успеть закончить» — подумал я. Ну закончу, а дальше что? Дальше ведь мне захочется делать из всего этого книгу, стало быть — писать еще, наконец, просто жить на свете! От кофе мысли у меня пошли самые фантастические. Был «умный» проект: поступить а la наш хромой друг, получить где-нибудь гражданство, вернуться туристом, спрятаться у кого-нибудь на даче или в квартире.» Но — подумал я — прятаться ведь можно, никуда предварительно не уезжая!» Тут от этого идиотизма мне стало совсем нехорошо, Прятаться, бежать — что это за жизнь? А тревога не проходит. Я подумал, что одному жить перед всеми этими перспективами очень холодно. И сразу начал тебе писать.

Ты говорила, что приедешь на восьмое марта, и не приехала. Я просил тебя приехать — ты тем более не приехала. Ты все обижена, или тебе наплевать, или тебя разозлили мои глупые рассуждения в позапрошлом письме? Ты все же могла бы... но я, кажется, снова начинаю строить из себя дурачка. Приезжай же, в конце концов, ради всего святого, а то я приеду в Ленинград, хуже будет.

Не знаю, позволяешь ли ты еще себя целовать. При встрече я бы сделал это и без разрешения, а в письме не осмеливаюсь.

В тот год я большую часть учебного времени провела в Москве, выезжая в Ленинград лишь на зачеты и экзамены. Саша целыми днями писал первую часть своего цикла лекций: «Русская мысль и русская художественная литература», которую называл вчерне «Корни эрзаца». Это была работа об отрыве лучшей русской мысли XVIII — XX вв. от художественного творчества и последствиях этого процесса. Виновниками этого отрыва Саша считал, «*во первых, сеятелей отвлеченного, и упрощенного, но легкого к употреблению идейного продукта; во вторых, литераторов, поддавшихся на это заманивание или замкнувшихся в эгоистически гордом эстетизме, саботируя живые идеи.*»

«*Пойми, — говорил он мне, — верно не то, что литература «служит», как частное общему, но только литература и воплощает идею; художественное творчество не «слуга» среди слуг, а первый министр идеи!*» Третьими виновниками он считал творцов живой идеи, понимавших роль художественного творчества, но недостаточно связывавших с ним судьбы своих идей. Художественное творчество живее отвлеченной философской мысли; оно есть жизнь самой философии; истинности и силы философских идей, опора для распространения идей в обществе. Идеи, не расцветшие в художественном творчестве, — ослабевают, иссыхают и гибнут».

Мы сидели: я на диване поджав ноги под себя с книжкой или вязаньем; он за письменным столом, строча что-то в тетрадь мелким почерком, и обрастая ко мне время от времени с какой-нибудь важной для него мыслью. Словом, все было «тихонько», как я любила. Как вдруг из Ленинграда приказал Виталик, тот самый, бывший мой сосед по даче, бритый наголо. Обрился

он в знак протеста против очередного допроса в Большом доме на Литейном, где располагался ленинградский КГБ. Разумеется его тягали не за поджог какой-то там дачи, но за нечто похожее: за антисоветский надписи (то ли на Петропавловской крепости, то ли на здании Сената) к которым он, по правде говоря, не имел отношения. В Москве его приняли как своего, за веселый нрав и громкие песни под гитару про поручика Голицына и коричневую пуговку. Дамам он читал нараспев свои стихи, забавляя их гладкой, как шар, головой, грубоватыми манерами и неожиданным вкрадчивыми, лстыивыми речами. На второй день он привел в квартиру к Боре (ту самую, где Леша убивал Сережу, и которую теперь снимал уже не Сережа, а Боря) продавщицу «с гладкими пятками». Где он успел разглядеть ее пятки, он не сказал. Заняв на два дня у «добренького и богатенького Буратины» — Бори двадцать рублей на личные нужды, этот кот Базилио прожил еще месяц в Москве. Его опекали, подкармливали, пока он не исчез также неожиданно, как и появился.

Мы сидели все в той же тушинской квартире, порядком измотанные многодневным провозом: Сергей с Борисом и Сашей, да я с питерской подружкой, я должна была уезжать через два дня. Боря занимал подругу беседой на балконе, Сергей с Сашей то пили, то спали, и я, всегда скучавшая на пьяных посиделках, собралась незаметно улизнуть. Надев свою коротенькую, старую шубейку и я уже стояла на пороге, но тут проснулся Саша. Увидев меня одетую он стал возмущаться и говорить, что другие женщины сидят со своими мужчинами, как положено, одной мне не сидится на месте и со всей силой потянул меня за рукав: «Не пушу!». Я рванулась и рукав остался в руках у Саши. «Как я теперь пойду?» — обиделась я и заплакала. Сергей бросился меня утешать, обещая поджарить грубияна на плите. Тогда Саша стал кричать на Сергея, чтобы тот не лез не в свои дела. С балкона вышел Борис с девушкой и попытался всех помирить; все заговорили вместе. Мне стало неловко перед подругой и я сказала, виновато улыбаясь: «Мальчики хорошие — только нервные».

Танюша, здравствуй! Сижу у себя на сторожевой службе, в сарае, часов восемь занимался напряженной ночной деятельностью — писал. А потом — в порядке легкого чтения — открыл Бахтина. Но вот фраза: «Эстетический анализ должен, прежде всего, вскрыть имманентный эстетическому объекту состав содержания, ни в чем не выходя за пределы этого объекта, — как он осуществляется творчеством и содержанием». На этой фразе у меня перестала думать голова — «принцип забыл» как говорил Леша, с отъездом которого развалилась компания, погасло солнце, с неба звездочка упала, а Боря начал новую жизнь, чтобы не было бардаков и чтобы его подруга вела со мной филологический разговор под звуки лютневой музыки.

Времени стало-ть десять минут пятого. Темное беззвездное утро. В свете прожекторов отблескивает снег. Березы шепчутся о моей любви к тебе (по-моему, красиво сказано). Что-то шуршит — я думаю, лось пришел, а кто-то решил бы, что это хулиганы, и, бормоча название любимой ненашей водки, потянулся бы к топору. А у меня топора нет, только сила убеждений. А вообще довольно тихо.

Меня мучит двойное чувство. Во-первых, виноватая нежность к тебе — особенно как вспомню, что порвал мной же воспетую шубку. Прямо плакать хочет-

ся. Но шубка защита, и поносив ее для меня еще несколько лет по большим праздникам, ты можешь смело припрятать ее для музея... А вообще я очень тебя люблю, уже видел во сне и, конечно, недостоин тебя.

Но, во-вторых, я на всех очень зол. Знаю, что по пьянке бываю нехорош. Но вот разница между мной и вами: вы в одиночестве бездельничаете. А на людях являетесь себя показать, изобразить якобы умный разговор и самоутвердиться... А я в одиночестве — работаю, причем без всякой отдачи извне, и если показываю себя, самоутверждаюсь, то за счет бумаги. А не за счет близких своих; причем утверждаюсь не суетно, а в высшем смысле. В гости же я хожу — отдыхать. Да к тому же люблю вас всех, сволочей, и потому не держу вас на дистанции. Вдобавок после всего я еще чувствую себя перед вами виноватым. А вы, напротив, склонны читать мне морали и подымать кверху указательные пальцы. А вам бы — на колени стать, видя меня на отдыхе, как юродивым ходили поклоняться, ища от них пророчеств.

Вот какой я хороший, а все — какие плохие. Сама видишь, что я, наверное, написал одни глупости. Во всяком случае, ты лучше всех, потому что имеешь на меня больше прав. И вообще ты хорошая-хорошая. Только глупая; но это, возможно в мою пользу: была бы умная — не любила бы меня. Если доведется иметь нам с тобой свой дом когда-нибудь, смогу и отдыхать, как хочется. Ты не против, если с будущей осени мы все-таки попробуем пожить вместе в Отрадном?..

Шиллер, я читал, любил во время работы держать ноги под столом в тазу с холодной водой. А у меня из-под стола дует так, что вот — надел теплые носки. Сюда бы Шиллера, и Гете, и Гердера, и кто еще там был — всю их группу «Буря и натиск». Интересно, понадобились бы им холодные тазы — и вообще, что бы они тут написали? Наверное, что-нибудь и впрямь «поисильней, чем Фауст Гете», как сказал Сталин Горькому о поэме «Девушка и смерть». Надеюсь, что дал тебе некоторое представление о своей веселой жизни. Танюша, я очень тебя люблю и мне грустно-грустно.

Передо мной незнакомый ландшафт, пустынный песчаный берег и шум прибоя. Человеческая фигура с раскинутыми в стороны руками, с головой запрокинутой вверх стоит в центре картины на фоне огромного, ослепительно-оранжевого шара. И человек, и солнце соприкоснулись с линией горизонта — час заката. Человек замирает на миг, он смеется и кричит что-то своей невидимой спутнице. Ветер уносит его слова, но я слышу ее ответ: «Ты заслонил мне солнце!»...

Мы поженились в 1977 году, после того, как я окончила институт и вернулась из Ленинграда в Москву. Моя питерская подруга Лена пригласила меня в гости к южным родственникам. Я пригласила Сашу, Саша — Сережу. Встретились мы все на каком-то полустанке с не запомнившимся мне названием, сели на поезд и оказались в горном краю, в пыльном маленьком городе. Но Ленины родственники отказались принимать такую ораву и мы, грустные, отправились на поиски гостиницы. Когда мы остановились посреди небольшой центральной площади, то неожиданно увидели московского поэта и своего приятеля Юру, и страшно обрадовались ему, заросшему и загоревшему, услышав его бас с раскатистым смехом. Выяснилось, что он работает в универси-

тетской экспедиции в горах, носит за начальником геодезический прибор на треноге, а сегодня приехал за провизией на грузовичке. Он сразу пригласил нас пожить в экспедиционном лагере, и унылое начало путешествия, как по взмаху волшебной палочки, обернулось сказочной поездкой в горную страну.

Дорога проходила высоко в горах, а внизу в узкой долине по всему пути, как путевые столбы, возвышались сторожевые каменные башни — напоминание о древних временах и выселенных аборигенах во времена не столь уж древние. К вечеру мы добрались до места: зеленой низины у самого подножья горного хребта, расщепленной надвое быстрой темной речушкой. Лагерь представлял собой несколько палаток, холодный родник бил из-под земли высокой струей сладковатого вкуса, зеленой и пахучей. Вкус и цвет волшебной воде придавала трава тархун, произраставшая здесь в естественном, диком виде и устилавшая, как ковер, все вокруг. Почти все время, проведенное в лагере, мы бродили по горным зеленым склонам, где можно встретить лишь пастуха с овцами и выше — там, где нет живой души, один лишь снег да голые камни и хрупкий горный цветок, напоминающий российский подснежник. Через неделю, на том же грузовичке, попрощавшись с радушными хозяевами и сфотографировавшись с ними на память, мы отправились в обратный путь, чтобы из одной горной столицы перебраться в другую.

Мы сидели в центре города, в подвальчике одного из домов странной архитектуры, сплошь с деревянными галереями, террасами и балкончиками по фасаду. Нас было четверо: жених с невестой и друг с подругой. Мы лениво потягивали белое сухое вино, когда официант принес две бутылки: «Вам от соседнего стола». За соседним столом сидели три курчавых черноволосых молодца, они заулыбались и закачали головами. «Надо отдариваться, — сказал Сергей, — здесь так принято». И за соседний стол отправился мой фотоаппарат. Тотчас на нашем столе появились еще несколько бутылок. «Пора уходить», — сказала я осторожно. «Кто же уходит от вина?» — воскликнуло веселое трио. Молодцы оказались торговцами с рынка и вызвались в благодарность за подаренную технику прокатить дорогих московских гостей по городу и к местному водоему, который хотя и назывался морем, но таковым не был. Машина, белый «рафик», стояла во дворе, мы погрузились в нее вместе с бутылками, фруктами и новыми знакомыми и через полчаса были на месте. В машине москвичей укачало и, выпив по прибытии по стакану, они уснули мертвецким сном прямо на песке. Мне не повезло, я почти не пила и единственная не уснула. Поэтому мне пришлось попеременно, то отбиваться сразу от двух кавалеров (водитель соблюдал нейтралитет), то выслушивать, что я им как сестра и как мать, и как они меня уважают. Потом проснулась подруга Лена и с веселым визгом бросилась в ледяную, в сравнении с обжигающим песком, воду. Внимание героев-любовников переключилось на новый объект, и я подошла к водителю, скучавшему в машине.

— Помогите мне вывезти мою компанию.

— А почему я должен помогать?

— Кто же мне еще поможет? Вы один не участвуете в этом безобразии.

— Не нужно было ехать.

— Нужно было бросить их?

— Ну хорошо, буди своих молокососов.

«Не шуми и оденься, ради Бога, а то ты их только больше распалешь», — сказала я подруге, громко возмущавшейся и раздававший звонкие пощечины разгоряченным аборигенам. Потом я стала расталкивать спящих и попыталась их поднять — одного поставлю, а другой уже упал и так несколько раз — я не выдержала и заплакала. «Что случилось, — встревожено спросил проснувшийся Саша, — почему ты плачешь?»

— Вставай скорее!

— А можно еще немного поспать?

— Да, но сначала посмотри как я буду топиться!

Водитель завел мотор, и я услышала, как он и его соотечественники кричат друг на друга на непонятном мне языке.

Мы вернулись в город, когда начало смеркаться. Вышли из машины, которая укатила тотчас и сели на теплые камни вымощенной улицы: надо было подумать о ночлеге. Не успели мы сделать и пары звонков из соседнего автомата, как рядом почти бесшумно остановилась черная «волга» и из нее вышли все те же знакомые. Тот, что постарше и пообходительнее, сказал: «Вам кажется негде ночевать, а у меня большой дом, будьте моими гостями». И чуть тише, обращаясь ко мне, добавил: «Я вернулся, потому что мне нравится твое упорство, только пришлось сменить машину и водителя».

«Почему бы нам ни поехать, по-моему, они неплохие ребята, вон наши друзья уже сидят», — сказал Саша. Действительно, наши друзья уже махали нам руками с сиденья машины. На это я ответила: «На улице тепло — я буду спать на скамейке». Когда одни недовольные друзья вылезли из машины, а другие недовольные друзья отъезжали, неудавшийся герой-любовник крикнул мне на прощанье: «Ты не москвичка, а уличная девка, раз собралась спать на улице». «А говорил: как сестра и как мать», — почему-то огорчилась я и залепила жениху оплеуху.

Ночевали мы не на улице, а в доме профессора местного университета, до сына которого все-таки дозвонилась подруга. Профессорская семья была в ужасе от услышанной истории, но оставила нас у себя и подкармливала. Деньги давно уже кончились, а почтовый перевод, который мы все ждали никак не приходил. До Сашиных экзаменов (он сдал творческий конкурс на переводческое отделение литинститута) оставалось несколько дней. «Может, пойдем пешком?» — спросил меня Саша.

— Пешком до Москвы?

— Будем ловить попутки, авось доберемся.

В этот безумный поход (пару тысяч километров за три дня) нас с Сашей провожала профессорская дочка, сунувшая нам пакет с помидорами и билеты на пригородный автобус. На этом автобусе мы и доехали до древней грузинской столицы, где по преданию стояла первая христианская церковь, один из столпов которой источал живительную влагу, исцеляющую больных. В память об этом был назван, стоящий на том самом месте храм Животворящего столпа, увитый каменной виноградной лозой. Здесь же неподалеку, на высокой горе, в устье двух рек уже тринадцать столетий стоит другой храм — Большая церковь Креста. «Сделай и нас стойкими, Господи, исцели от всех болезней и недугов!» — помолились мы, посмотрели сверху с высокого обрыва на окрестности и пошли по извилистой дороге вниз и вперед.

Мы долго шли пешком, поток машин из города иссяк (ни одна не остановилась — видимо, здесь еще не знали о таком распространенном в Европе виде путешествия, как «автостоп»), и мы шагали по пустынной дороге в долине. Здесь же у обочины в овраге и заночевали. Еда кончилась, спать легли на пустой желудок. «Как можно спать на земле, даже лавочки нет», — жаловалась я. «Зато настоящее южное небо и столько звезд! — Саша закинул голову вверх и показал рукой, — Вон там — твое созвездие, а вот это — мое, видишь, какое между ними расстояние! А здесь на земле мы вместе».

Проснувшись утром мы увидели то, чего не видели вчера впотьмах: вдоль всей дороги росли абрикосовые деревья. Мы подбирали с земли созревшие плоды или их и складывали в пластиковый пакет, пока откуда-то не пришла огромная свинья и не прогнала нас со своего пастбища. Первая машина, огромный фургон с арбузами, забрала нас и доставила к самому морю. Водитель искапался вместе с нами и, уезжая, оставил нам огромный полосатый арбуз. Двигаться с такой ношей было невозможно, и мы застряли здесь, лежа на желтом горячем песке и глядя на ослепительную полосу воды цвета светлого малахита. Мы были совсем одни.

— Ты не уснула? Посмотри, какая вокруг красота! А может быть, мы останемся здесь и никуда не поедем?

— Конечно, поедем, только вот немного загорю.

Мы прикончили арбуз только к вечеру. Мы выбивались из графика, мы опаздывали, оставалось полтора дня и тогда мы (была не была) сели в поезд. Проводница обнаружившая «зайцев», взяла себе «на память» мое серебряное колечко (ей больше понравились мои джинсы, но без штанов далеко не уедешь) и, поглядев на Сашу, сказала: «А с тебя и взять-то нечего».

Поезд домчал нас до среднерусской полосы, и оттуда мы, без приключений, переходя из одной электрички в другую, точно, день в день, прибыли на собеседование в литинститут. Присутствовавшему на собеседовании ректору не понравилась ни Сашина борода, ни Сашина сторожевая работа, ни сам Саша. «Я всегда вижу студента, из-за которого у меня в будущем будут неприятности», — так объяснил он свою капризность в приватной беседе со знакомыми знакомых. Так что можно было бы не торопиться и поваляться на диком песчаном пляже еще пару дней. В Московском университете не были так приветливы и приняли Сашу на исторический факультет.

После экзаменов на свадебной вечеринке, которую мы устроили для друзей, пока Боря (или Сергей) читал стихи «На matrimonialную связь жениха и невесты» («Таня, Таня дорогая, у меня в мечтах и снах, ты стоишь совсем нагая на красивых на ногах»), я спросила у Саши: «У нас ведь медовый месяц, а свадебное путешествие будет?»

— У нас уже было свадебное путешествие.

— Это когда мы все время что-то искали: то еду, то ночлег?..

Привет, Танюша! У нас уже совсем осень, холодно, пестрота в листьях, фонари отражаются в лужах, ветер. Сегодня две недели, как тебя нет, и все еще ни одного письма. Очень по тебе скучаю, поглядел недавно на фиолетовый твой свитерок и разволновался. По телевизору показывали фильм о природе «Осень в

Крым» — я выключил, тоскливо стало. Я без тебя разучился жить один, из рук валится всё...

Вспоминаю наши последние разговоры. Я человек непростой, а еще ты видишь меня «вблизи, со всеми» «штуками», вот поэтому тебе и нелегко меня уважать. Но — ведь именно поэтому от тебя требуется усилие великодушия, чтобы видеть и достойные мои черты. А иначе получается, что я тебя к себе приблизил, а ты платишь мне за это насмешкой над теми чертами, которые «вблизи лишь и видны». Я тебя люблю, и если бы я тебя не любил, ты бы мелочности моей (и проч.) не видела. Ты тоже не всегда «подарок», и я часто срываюсь, но умею отойти мысленно в сторону и взглянуть на тебя с воображаемого расстояния.

Видел наши стихи в «Континенте». Начинается с твоих, их там больше всего. Даже ты со своим напускным равнодушием, думаю, сумела бы порадоваться. Поздравляю!

Сегодня две недели, как тебя нет, и все еще ни одного письма. Точно так же ты не писала мне в Абакан, и в Севастополь, и на Памир (получается — уже три года не пишешь, даже четыре). Правда, два года назад ты болела, полгода назад — тоже было какое-то объяснение, не помню; наверное, и теперь есть какая-то причина. Я ведь дурак, и чему угодно поверю.

Завтра — послезавтра, кажется, смогу, наконец, выслать тебе деньги... К твоей маме я пока не ездил: идут дожди, и мне в такую погоду нечего на ноги для леса одеть. И в Ленинграде я не был.

Пока. Целую тебя. Не прошу писать — это, видимо, неосуществимо, так что не хочу обременять тебя.

Содержание этого письма напоминает содержание стихотворения об осени, написанного тогда же:

В Европе дождливо (смотрите футбольный обзор) / Неделю подряд: от Атлантики и до Урала. / В такую погоду хороший хозяин на двор / Собаку не гонит... (И курево подорожало). / В такую погоду сидит на изле взаперти / Прославленный сыщик — и пилит на скрипке по нервам. / (И водка уже вздорожала — в два раза почти: На 2.43 по сравнению с 71-м). / И общее мнение — что этого так бы не снес / (Ни цен этих, то есть на водку, ни этой погоды) / Хороший хозяин: не тот, у которого пес, / А тот, у кого «посильнее, чем Фауст у Гете». / Над Лондоном, Осло, Москвой — облака, будто щит, / И мокрых деревьев разбросаны пестрые рати. / Которые сутки подряд — моросит, моросит, / и в лужах холодных горят фонари на Арбате. / Сентябрь обрывается в небо. Глаза подниму — / Все те же над городом изжелта-серые тучи. / Когда бы ты знала, как нехорошо одному — / Когда бы не знал я, что вместе бывает не лучше. / Есть чувства, по праву приставшие поздней любви. / Гуляет над миром отравленный ветер разлуки. / Войди в этот воздух, на слове меня оборви — / Когда все из рук вон, когда опускаются руки. / Шаги на площадке. Нестоек наш жалкий уют. / И сон на рассвете — как Божья последняя милость. / И памяти столько хранит заваливший доскут, / А в памяти столько души — сколько нам и не снилось. / И я, не спеша, раскурю отсыревший табак — / И слово признанья вполголоса молялю былому... / В Европе дождливо. Хозяева кормят собак, / И те, как хозяева, с важностью бродят по дому.

Тот же сентябрьский вечер, та же непогода, дождь, пестрые листья, лужи и фонари. Правда, «фиолетовый свитерок» из письма в стихах превратился в «за-

валящий лоскут», хранящий некую память, грустное признание: «я разучился жить один без тебя» — в «отравленный ветер разлуки» и приобрел отрицательный оттенок «когда бы ты знала как плохо одному», замечание к характеристике «ты тоже не всегда подарок» получает обобщающий характер «когда бы не знал я, что вместе бывает не лучше». Простое: «я тебя люблю» становится «чувством по праву приставшим поздней любви», и «признанием... быломu», а время поменялось с настоящего на прошедшее. Раздраженное: «не хочу обременять тебя» получило обратный смысл: «войди в этот воздух, на слове меня оборви» — это уже не грусть, не раздражение — это настоящая тоска.

— Ты давно не пишешь стихов обо мне ...

— Тебе не повезло, у нас слишком благополучные отношения.

Вот оно — стихи пишутся, когда поэт чувствует беспокойство или неблагополучие в доме ли, в окружающем мире. Разлука разрушила благополучие. И вся эта любовная разборка происходит в окружении музицирующего Шерлока Холмса, мрачного Хозяина — Сталина, перекочевавшего сюда в компании с Фаустом и Гете из другого письма, хозяина собаки — европейского обывателя, и самой собаки, которая, как хозяин (трижды обыгранное слово хозяин и дважды — хороший хозяин) бродит по дому и по стихотворному пространству. Как мы видим, наш автор и поэт «непростой», с разными «штуками». Ссылки на плохой прогноз в футбольном обзоре и нынешнее и грядущее подорожание, прейскурант цен на водку и грустные картинки осеннего города — всё это создает редкий эффект присутствия и пронзительно-грустное настроение, насквозь пронизывающее стихотворение «войди в этот воздух, на слове меня оборви, когда все из рук вон» — в письме: «из рук валится все». Здесь все сошлось, и мы получили объемное изображение. А подтверждение тому — то, чего нет ни в стихотворении, ни в письме — список потерь — его нет, потому что он появится после написания, как подтверждение реальности произнесенного (написанного) слова и расплата за умение творить эту реальность. Часто стихотворцы предъявляют доверчивому читателю целый реестр несуществующих потерь и бедствий, или реестр чужих бедствий и потерь. У нашего автора ружье, которое висит на стене, всегда стреляет в него самого.

Свойство нашего времени — неопределенность, необязательность, случайность слов, их неподтвержденность, жизненная несостоятельность. Такое впечатление, что мы задались целью, говоря, ничего не сказать и делая, не сделать ничего такого, за что понадобилось бы ответить. Страх по-прежнему живет в нас и не дает нам вырасти из коротких пионерских штанишек. Меня занимает вопрос: какова была бы «Шинель», если бы ее написал не Гоголь, а его герой — писарь Башмачкин?..

Вернувшись, я застала мужа в жутком состоянии: похудевшего, осунувшегося, да вдобавок потерявшего все, что можно: портфель, куртку и даже пишущую машинку. Конечно, если бы я предполагала объем неприятностей, я вернулась бы раньше, предварительно выслав несколько телеграмм, но (вот и «объяснение»): море было теплым, ничто не предвещало бури, а очереди на телеграф и за билетами — километровые. Так что «не вошла», «не оборвала на слове». И деньги на новую машинку Боря собирал потом по всей Москве, ту самую, давая взнос на которую, Володя Кормер пошутил: «Только не говорите мне, что Со-

провский потерял её, а не пропил». Шутка о том, что, правда — невероятней всякой выдумки. О чем они говорят сейчас — два шутника, не соблюдавшие общезвестные правила: «да и нет не говорить, черное и белое не называть»?

Здравствуй Таня живо ли чувство наше два дня без тебя скучаю очень а что фотку твою не взял так это по глупости гадам буду не забывай мужа Саню. Здесь девочки плохие с мальчиками вино пьют поют песни а я от них в стороне держусь и сколько денег у меня никому не показываю как ты советовала люди всякие бывают нам чужого не надо а своего не дадим. А что вчера выпил немного так это ничего — неудобно было перед товарищами меня угощали я тоже купил все-таки мне с ними жить. Едем мы по Сибири скоро Тюмень через два дня будем в Абакане. Деревья тут растут как у нас и картошки много вдоль дороги. Ты себя береги пошли ли месячные не купайся кушай хорошо не ходи с мальчиками приеду морду набью будут приставать скажи я жив еще не для того вкалывать уехал чтоб с моей бабой играли в игры. Проехали Урал там очень низкие горы Кавказ красивей...

Вот такие дела Танюша. Если серьезно, то я и вправду очень скучаю. Ребята со мной ехали такие, что описанные Сережей уголовники — верх интеллекта по сравнению с ними. А главное, все какие-то злые, а о женщинах рассуждали так, как пьяному Мише или Сереже не снилось. Наконец, получил от тебя, письмо не письмо, но во всяком случае, какие-то отрывочные фразы, запечатленные твоей очаровательной ручкой не то на шоферской накладной, не то на бумаге, в которую была завернута селедка. Спасибо! Без писем тут еще хуже.

(Мы уже жили вместе в Москве и расставались только на время его практики или моего отпуска. Тогда, как и раньше, он непременно мне писал, у меня сохранилось с полсотни его писем.)

Надеюсь, милая, ты получила мою открытку и телеграмму, которые дали тебе понять, что я не умер (1) и не забыл о твоём существовании (2). Сегодня мы с Сережей вернулись из путешествия и ждали вас к обеду, но почему-то вас нет. Собираетесь ли вы вообще приезжать? Или, может быть, ты одна заедешь? Я уже до конца срока из Лишкявы никуда не выберусь. Буду ждать. Здесь у нас разного много: и хорошего, и дурного. Дурное сообщу при встрече, что бы ты не расстраивалась за меня до времени. Хорошее же то, как мы покатались по здешним краям. Попутки, товарные платформы, милиейские машины дали нам увидеть немало интересного. Сделали около 700 (в общей сложности) километров за 6 суток, из них пешком прошли около 100. Пили самогон с жителями литовских деревень, водку с уголовниками, ночевали в хуторах на сеновале — и так далее. Понятная часть этой информации — разумеется — не для моей мамы.

Восточная Пруссия — потрясающий край. Великолепные дороги, обсаженные мощными липами, зеленые своды листвы над шоссе в перспективе образуют арки, вроде как на Красной улице в Ленинграде. Добротные дома деревень сплошь крыты черепицей. И вокруг — сдержанные, светло-зеленые с коричневым оттенком тона, — холмы, луга... Литва похожа, но дома бедней, краски зеленей и ярче.

Я тебя люблю и соскучился. Я все тот же твой муда́к (2 место на конкурсе мудаков)... Очень, очень скучаю — даже с северными моими комплексами и дурными предчувствиями. Приезжай!

Р.С. Написал тебе вчера, а с тех пор особенного ничего не произошло. Просто решил написать еще, как я тебя люблю. А ты сегодня опять не приехала... Здесь над деревней — огромный белый костел. Купол как на Исаакии. Представляешь, на такую маленькую деревушку такая громада! Вверх по холму выложены в направлении к костелу белокаменные ступени. Сегодня в час дня зазвенел колокол, и весь народ потянулся по ступеням вверх. Это были похороны. Служба длилась час, а потом все пошло на кладбище и пели над могилой, пение разносилось по всей округе. А вечером все снова пошло к костелу. Обычай — вечер дня похорон собираться у костела и вспоминать умершего, говорить о нем. А сейчас идут поминки, слышно гармошку, как в России.. Я тебя люблю, Танюша. Почему ты не приезжаешь?

Он редко вел личные записи — личным дневником служили письма, но вел политический дневник с ежедневными записями «вражеских радиопередач», которые прерывались лишь во время путешествий. Тогда слушание «вражеских голосов» из-за «железного занавеса» было частью быта, как советского интеллигента, так и любознательного обывателя. Если в мире и в стране что-то происходило, то это сопровождалось либо глухим молчанием, либо невозможно причудливым потоком лжи. Так вот, если что-то происходило, немногие любопытные бросались к приемнику и пытались поймать сквозь «глушилку» голос крамольной передачи. Я помню, что в одной из таких передач, в рубрике «сделай сам» редакция одной из западных радиостанций предложила даже русским умельцам собрать по схеме противоглушильную антенну. Саша очень огорчился, что у него, как говориться, «руки — крюки», и что он не может сам сделать такую антенну.

Необычайная серьезность и даже педантичность Саши в политических, научных и литературных занятиях соседствовали с полным отсутствием инстинкта самосохранения и крайним житейским легкомыслием. Читая каких-нибудь Спинозу или Маркса, он непременно оставлял после себя целый конспект своих пометок и комментариев, записанный на полях книги простым, тонко отточенным карандашом. Обычно, если книга была библиотечной, и ее надо было сдавать, я стирала резинкой все записи. Однажды, застав меня за этим занятием, Саша пожалел меня: «Брось ты это, вряд ли кто-то в ближайшие несколько лет будет читать эту книгу и тем более вычислять автора надписей. Книга отправилась на свою казенную полку. А через три дня в квартире раздался звонок с телефонной станции: «Вы не желаете распарить телефон?» Для облегчения прослушивания телефона нас в один день отсоединили от спарщиков. К примеру, я десять лет не могу добиться, чтобы распарили мой телефон и вынуждена часами ждать, когда наговорятся мои бесцеремонные соседи. А еще через несколько дней Сашиного папу вызвали на работу и предъявили ему ксероксы «антисоветских и хулиганских» пометок сына на полях классиков марксизма-ленинизма.

Спустя какое-то время, а именно в 1982 году, после его зарубежных публикаций, в одной из которых были стихи: «Я и в юности нередко в эту пору здесь бывал и, прыжком доставши древко, флаги красные срывал», на очередные экзамены к Саше явился некто с птичьей фамилией, и один из таких

«экзаменов» продолжался несколько часов. Имея светлую голову, великолепную память и твердую уверенность в собственной правоте (он закончил школу с отличием по всем предметам, кроме четверки по поведению, как и положено настоящему хулигану), Саша отвечал под перекрестным допросом сразу нескольких преподавателей. Кончилось тем, что комиссия выкинула его на заочное отделение, объяснив необходимость такого решения вредным влиянием на сокурсников (решение лояльное по тем временам). Так из блестящего студента, которому на первом курсе прочили аспирантуру, Саша превратился в сторожа. Последнее место его работы — сторож церкви Ильи Пророка на Преображенке. Нетрудно догадаться, к чему все шло.

Привет, милая. Сессию я сдал. Выиграл выходит. Теперь от меня все зависящее сделано, а предстоящее в июне решится в зависимости от обстоятельств. Это решение я готов счесть за судьбу — при понятной несоизмеримости с судьбой этой низости. Тогда определяться и планы на два-три года. А пока я счастлив, что от меня больше ничего не зависит, что я свободен, что я только-только приобрел огромную бутылку портвейна и с ней куда захочу, туда и отправлюсь. И я целую тебя нежно и прошу порадоваться за своего Саню.

...Все было трагикомично. Я говорил тебе, что за женщина вела у нас курс истории СССР? И я писал тебе, что на доклад у меня оставались сутки. И я написал его за сутки, причем по объему он даже превзошел две предыдущие работы, в том числе англо-русскую. С утра, гордясь собой и опившись кофеом, пошел к этой бабе сдавать работу. Она говорит: «А где у вас план? В работе непременно должен быть план». — Такое я слышал последний раз лет десять назад, в школе. — «Вот вы сейчас пойдите и напишите план. И потом почему у вас в библиографии не указаны речи Ленина на I съезде земельных отделов, коммун и комитетов бедноты?» — Говорю: «Я их не использовал в работе». — «Это неважно, вы их о б я з а н ы включить в библиографию». — Горько мне было от унижения; сочинил я план; включил речи и с горя напился... За следующие сутки я выучил историю СССР и пошел сдавать. Когда я сказал, что к концу гражданской войны в РСФСР было 10500 колхозов, она поправила меня: «Десять тысяч пятьсот тридцать один». — Поставила она мне четверку...

А завтра мы с Володей и с Борей едем в Переделкино: 20 лет со смерти Пастернака. Ну пока. Буду теперь ждать от тебя известий.

Меня забрали на Лубянку прямо с экскурсии, когда Саши не было в Москве. Я поздоровалась с водителем и только открыла рот, чтобы сказать обычное: «Дорогие москвичи и гости столицы!» как водитель, посмотрев на меня с любопытством, сказал: «За тобой приехали». — «Кто?» — удивилась я.

— Госбезопасность. Ты что, валютчица?

— Я? Да с чего ты взял, что это ГБ?

— По номерам видно.

Действительно, в центре круга, который образовали несколько «икарусов», стояла черная «волга», на которую я сначала не обратила внимание. Дверца машины открылась, невысокий альбинос вышел из машины, подошел к автобусу и обратился ко мне: «Мы хотели бы с вами поговорить».

- Но у меня экскурсия.
- Ничего, мы договорились с вашим начальством, ее поведут другие.
- А я обязана ехать с вами?
- Будет лучше, если вы поедете, у вас ведь рабочее время?

Я села в машину под пристальными взглядами коллег, любопытными — экскурсантов и восхищенным — водителя. Машина помчалась по Москве, совсем пустой в этот ранний час.

— Я что преступница, что вы хватаете меня на глазах у двух сотен экскурсантов — вы меня дискредитируете в их глазах и в глазах моих коллег.

— Ну что вы, никто ничего не знает — мы соблюдали конспирацию.

«Он издевается надо мной», — подумала я. Я стала судорожно вспоминать советы из книги Альбрехта «Как вести себя на допросе», ходившей тогда в самиздате, и к своему ужасу не вспомнила ни одного. На лбу и висках выступила испарина, и я стала утираться носовым платком. «Вам душно? — подчеркнул услужливо спросил альбинос, — может быть, открыть окно?»

Мы подъехали на Сretenку к старинному бирюзовому особняку XIX века. В приемной меня попросили подождать, я ждала почти час. Наконец дверь ближайшего ко мне кабинета открылась, и меня пригласили войти. Навстречу мне поднялся высокий шатен в джинсах: «Георгий Иванович, — представился он, — я поражен, Татьяна Николаевна, такая изящная женщина и вступила на путь борьбы с советской властью!»

За вторым столом, поставленным перпендикулярно к первому, сидел уже знакомый мне альбинос. «Ну, не такая уж я и изящная, — ответила я, подразумевая свои 70 килограмм, — и никуда я не вступала». «А как тогда понимать вот это?» — он протянул мне отскеренные листочки парижского журнала «Континент». Саша написал в письме правду: наша общая подборка начиналась с моего стихотворения про Адама.

— Но это же любовные стихи!

— В антисоветском издании.

— А я об этом не знала...

— Тогда напишите, что вы против публикации в этом журнале, мы это напечатаем.

— Но я не против, меня так редко печатают, что я только рада.

— В таком случае скажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, как ваши стихи попали во Францию?

(По правде сказать, эти стихи вместе с другими перебрались через границу в сапоге одной искренней любительницы русской поэзии).

— Я их не скрываю, читаю вслух и дарю.

— То есть распространяете? Тогда прочтите это и подпишитесь.

И он подал мне другую бумагу, которая оказалась прокурорским предупреждением. Я не сразу сосредоточилась на прыгающих непослушных словах и строчках...

— Я не могу это подписать, здесь написано, что за следующую заграничную публикацию я получу три года тюрьмы.

— Что же вам бояться, если вы не собираетесь печатать свои стихи за границей.

— Я-то не собираюсь, но это может сделать кто угодно, а я — сиди. И потом, я не согласна с формулировкой: «за изготовление стихов ущербного содержания...»

Во время разговора альбинос сидел, писал что-то, и вдруг спросил меня задушевно: «Ваш муж много пьет; наверно, трудно жить с пьющим человеком?» Я с ненавистью посмотрела на него.

— У вас вся страна пьет, а вы беспокоитесь за моего мужа. Я с ним сама разберусь.

— Вот и разберитесь, Татьяна Николаевна, а то он уже одной ногой в камере и не на три, а на семь лет строгого режима. Да и о себе подумали бы, от нас зависит, будете ли вы и дальше работать на своей работе.

— У меня тяжелая физическая работа, я деру горло и в снег, и в дождь и не очень огорчусь, если немного отдохну. (Я представила, как завтра ко мне на экскурсию явится весь методический совет вместе с партбюро, и мне стало действительно не так уж горько).

— Вы нас неправильно поняли — вы вообще не устроитесь на работу по специальности (это вступил высокий майор). У меня тут до вас был очень известный литератор, и он не спорил, а молчал и внимательно слушал. А есть такие, которые готовы где угодно и что угодно напечатать за банку сгущенного молока.

И я подумала: кто получает банки, а кто предупреждения Лубянки...

«Если вы обо мне, то за всю свою жизнь я ничего не получила ни за одну стихотворную строчку. А если кто-то и когда-то получил, то вы ведь вы тоже работаете не бесплатно. За ту же банку сгущенного молока», — уточнила я и испугалась.

Майор окинул меня свысока долгим взглядом, как бы раздумывая: сейчас меня убить или потом, и сказал торжественно: «Да, не бесплатно. Но мы работаем за нашу идею».

— Так, может быть, у них тоже идея, только какая-то другая.

«Судя по тому, что вы говорите, мы с вами еще не раз здесь встретимся», — встрял альбинос и уткнулся в бумаги, показывая всем своим видом, что разговор окончен.

«Но я вовсе не хочу с вами встречаться», — вырвалось у меня. Во рту тотчас пересохло, и пот лил со лба градом. Выходя, я сказала: «До свидания». «Вот видите, — пошутил пижонский майор в джинсах, — вы сказали нам: до свидания, значит, мы еще увидимся».

— Надеюсь, что нет, ведь это не я говорю, а это русский язык вежлив.

Я вышла и больше никогда не водила экскурсий, и больше никогда не видела ни этих молодцов, ни их коллег.

После этой истории, Саша встретил одного из представителей поэтического андеграунда, о котором Боря сказал (написание мое): «Митрий Алексаных Пригоф, слова русского вассал, прочитал немало книгоф, еще больше написал», и который по его собственным словам писал нескладные стихи, потому что складные у него получались плохо, но однажды признался Саше, что он-то и есть на самом деле — второй Пушкин. «Ну, тогда я первый», — заметил Саша. Так вот когда Саша спросил у него: «Что же ты подписал прокурорское пре-

дупреждение? У нас баба и та не подписала». «Ей легче — у нее лирика, а у меня критика режима, — ответил тот, — и потом, это же только бумажка».

А я Саше сказала: «Оказывается, тебя я боюсь больше, чем ГБ. Так хотелось все подписать и поскорее уйти оттуда, но как представила, что ты мне устроишь по приезде, когда узнаешь, что я что-то подписала, не посоветовавшись с тобой».

А Саша написал другу:

Привет, Шкурула. Завтра получу от тебя, наконец, первую весть — не считая пьяной телефонной беседы в день твоего рождения.

В Москве либерализация: водку продают теперь и по воскресеньям, и после семи вечера, а винные отделы работают не с 11-ти, но с открытия магазинов. Это замечательная победа рабочего класса, всех трудящихся нашей Родины в одиннадцатой пятилетке.

Таню прямо с работы отвезли на Лубянку, где ей было предъявлено прокурорское предупреждение за «изготовление стихов ущербного содержания и опубликование их в Континенте». Она возразила, что стихи не изготавливаются, но творятся по вдохновению. Кроме того, спросила: кто же вправе определять стихи как ущербные? Майор Борисов отвечал ей, будто существует, специальная т р о й к а экспертов по таким делам; он сам признался, что входил в состав этой тройки и отрекомендовался филологом. На вопрос Тани: кто же тогда его любимый поэт, — майор назвал Егора Исаева. Поскольку объяснения эти ее удовлетворить не могли, предупреждение подписать она отказалась наотрез. Таким образом, ответ на твой вопрос «как дела?» предрешен заранее. Что касается твоего покорного слуги, то ему в той же беседе было обещано содержание в Лефортово из расчета по сорок копеек в день. Так сказать, «...он получил стол и квартиру в одном из королевских замков от щедрот его высокопреосвященства».

По словам майора, он и все другие, хранящие военную тайну мальчишки, всерьез и надолго занялись разбором изъятых у тебя седьмого декабря бумаг. Перефразируя Булгакова: ваш архив принесет еще немало сюрпризов. И вот, буквально через пару дней после этой устрашающей тягомотины, приносят моим родителям одновременно д в е бумаги за гербами и печатями, где меня слезно молят «от имени министра иностранных дел» государства Израиль переселиться на постоянное жительство в это беспокойное государство. Стало быть, — «Манька, пойдём ебаться?» — «Намек понял!»...

А в Москве тихо, пусто. Почти никого мы с Таней не видим. Нашей молодости, «Московского времени» и всего такого прочего — как не бывало... Скажу в заключение, что меня насторожило твоё сообщение, будто твоя «духовная эволюция» завершается. Я-то полагаю по наивности, что случается такое лишь одновременно со смертью. Шутка.

Никаких родственников у Саши в Израиле не было, власти сами прислали вызов. Сами потом и откажут — а он не станет особо просить. После 1981 года он не писал мне писем, потому что больше мы не расставались. Но наш диалог продолжится до самой его смерти.

Как-то, через год после гебешной истории, не помню по какому случаю, я как-то обмолвилась, что такой поэтический жанр, как ода, устарел: слишком длинно, тяжеловесно, напыщенно, словом — скучно. Саша с жаром бросился меня

разубеждать, но, видимо, не был удовлетворен результатом, потому что через день после очередной сводки по «вражескому радио» он показал мне листочек: «Я соблюл здесь все законы жанра, ты по-прежнему будешь говорить, что ода — устаревший и скучный жанр?» Так, в подвластном ему стихотворном пространстве вслед за прогнозом погоды в футбольном обзоре, разместились живые новости дня. Это и была «Ода», написанная на взятие Гренады в 1983 году.

Первая ее «публикация» состоялась через четыре года после написания, в начале второй оттепели, а именно летом 1987 года, в газете «Советская культура»: «Сдается, на Западе в последнее время наблюдается нечто вроде зуда по отношению к определенному рода строчкам, зарифмованным по-русски. Новая мода? Возможно. Одно из свидетельств такого рода преподнес читателям эмигрантского «Нового русского слова» называющий себя поборником некоего «Интернационала сопротивления» бывший советский гражданин Аксёнов. Он умилился невероятному путешествию московской «чердачной оды», отрывок из которой был зачитан на завтраке в Белом доме. В оригинале одический пафос не названного автора выглядит так: «Кто, встав однажды по утрунке, / марксистские отбросил танки? / Кого в веках прославят янки? / Калифорнийского орла!..»

Комментарии эти говорят сами за себя и интересны не они, а та замечательная неточная цитата несколько потерявшая форму, но не смысл, во время своего «невероятного путешествия» — она и это путешествие через океан и есть признание поэта. А в оригинале окончание «одического пафоса» не названного автора выглядит так: *...Кого же я среди дикой пьянки /пою, вскочив из-за стола? / Кто, ополчась на силы зла, / кремлевские отбросит танки? / В ком честь еще не умерла? / Чьи баснословные дела / Вовек не позабудут янки? / Калифорнийского орла!*

Здесь в стихотворном пространстве «Оды», как и в жизненном пространстве с ней связанным, закон жанра соблюли все участники действия: и тот, кто писал, и тот, кто читал, и тот, кто слушал, и даже тот, кто комментировал происшедшее с таким неподдельным возмущением.

Начиная с шутовского: «Я много водки выпиваю», автор, следуя российской одической традиции, изображает несерьезного поэта за его легкомысленными занятиями: *«Портвейном не пренебрегаю, / Закусываю не всегда. / Баб обаятельных хватаю / Порой за всякие места»* и противопоставляет ему американского президента, обремененного государственными заботами и уже сам, увлеченный его заботами, становится серьезен, а текст стихотворения становится похож на батальное полотно: *«Горит рассвет над Потомаком. / Под звездно-полосатым флагом / Макдональда победный флот...»* — герои «Оды» уже не веселая компания с «андроповкой», портвейном, пивком и «пленительно блистающей» в воображении поэта «чашмой», а члены кабинета министров Президента, его соратники: *Макфарлен молодой и Уайнбергер непреклонный*, и, наконец, сам Президент, *«ополчившийся на силы зла»*, которого в конце «Оды» поэт громко приветствует. И мы смеемся над автором Оды, точнее над его пафосом, над героем Оды и его пафосом, а главное над невероятностью ситуации. А через несколько лет в Москве, на Арбате, Саша встретится с эскортом, сопровождавшим президента Рейгана, который будет восторженно приветствовать многолюдная толпа. Такое не могло и присниться во времена, когда писалась «Ода».

Автор и его герой оказались на одной улице — так завершился в жизни поэтический сюжет.

Любую историю можно придумать, при большом старании можно сочинить биографию, похожую на легенду, а вот такую жизнь не придумаешь. Она — итог особого опыта — «жизни наугад», жизни, не рассчитанной, как расписание пригородной электрички, жизни с самыми невероятными и непредвиденными последствиями. Жизнь, которая оборачивается, как мы видим, не случайностью написанных слов и ответственностью за них. Саша интересовался окружающим больше, чем собой, и потому не сразу и не все угадал про себя, а точнее — не захотел угадывать: «идти вперед пути не выбирая», «когда бы я и жил не наугад» «ничего не загадываю наперед», — этот рефрен звучит в его творчестве постоянно. Но про свое время он угадал больше многих своих современников. Это из его записок 1975 г.: *«Соведения не есть учреждение, а есть наш воздух (вернее отсутствие воздуха). Она во всем — в поступках, в одежде, в манерах, в складе ума самого умного русского... в стиле речи... она в политике и нравственности, в экономике и культуре, в коммунистах и диссидентах, в рабочих и крестьянах, в интеллигенции. Пусть в мельчайших дозах — а много чаще на сто процентов — она есть в каждом и во всем. Нас будто затопило водой, и жидкость проникла во все поры организма. Она — это собственно бесчеловечность, отсутствие свойств живого человека, мертвечина. Соведения... выражает как конкретную государственную форму, которую приняла она, так и оттенок ненависти, которую я к ней питаю. Это не только политическая система, но и нравственное состояние целого народа...»* В 1990 году, уже во времена перестройки, он опять возвращается к этому вопросу, комментируя в своих записках, жалобы известного рок-музыканта из его интервью «Огоньку» о том, что рок умер, рок возвращается в подвал, что вот пришла гласность, и оказалось, что они никому не нужны, что нужны не они, а другие. *«Оказывается внутри рока есть какие-то свои пошляки, и вот они-то и пользуются спросом сегодня. — замечает Саша. — «А говорит-то мастер жанра, от которого двадцать четыре часа в сутки стонет телеэкран. В конце концов этот рок-музыкант договаривается до того, что «они»(советская власть) могут разрешить любую форму(да-да), но никогда не разрешат талант(только сегодня догадался?!))» — «Да они и талант могут разрешить,— заключает Саша,— таланту могут уступить: они всегда уступают силе, а талант сила. А вот живую душу...»*

Жизнь текла так, что записки о совдепии соседствовали с записями о природе лирики, бытовая (или необычная) житейская история становилась стихами, а чужие стихи становились поводом для смешных вариаций. Когда Саша впервые услышал песню Булата Окуджавы, в которой была строчка «давайте говорить друг другу комплементы», он тотчас переделал ее на «давайте предъявлять друг другу документы» и распевал повсюду, перевирая известный мотив. И уже эту его строчку я услышала с экрана телевизора из уст новомодного поэта в качестве собственной. «Чтение без ссылки на автора означает, что это уже классика», — подумала я.

Его жизнь текла, как река, двумя рукавами, двумя руслами, встречаясь и разбегаясь, перетекая из одного в другое: была ли это статья об Иове — это «.... творческое доказательство бытия Божия...» и стихотворные комментарии

к ней, официальное письмо Генеральному прокурору в защиту заключенного, сплошь состоящее из юридических хитросплетений и названий статей уголовного кодекса и его стихотворный двойник в более чем свободной манере с употреблением нецензурной лексики: *«Уважаемый товарищ Генеральный прокурор! У меня к тебе с Серегой есть серьезный разговор»*, зачитанный тогдашнему прокурору прямо по телефону.

Отголоски тех событий я нахожу не только в его стихах, но и в оставшихся черновиках писем к другу Шкурулаю, который жил тогда в Канаде, и на письма к которому Саша перенес свою неизменную любовь к эпистолярному жанру.

Привет. Получил очередную жалобу турка. Не обижайся, дядя шутит. Я всё понимаю насчёт выздоровлении и трагедий, но когда сидишь чуть ли не под домашним арестом — невольно глядишь на вещи менее философически. Впрочем, никогда я «философичности» не жаловал... Вдобавок же познакомился с твоим письмом Серёне, где ты огорчаешься, что нету всемирной конференции Лотманов в шапочках, а есть только пьянка, бабы, творчество, труд и смерть. Я бы на твоём месте не огорчился, но обрадовался бы такому открытию. В местности, где мы проживаем, перечисленные предметы либо опошлены, либо запрещены, даже смерть, как это художественно изобразил Зощенко в рассказе «О том, как жена не разрешила мужу умереть». Если же тебе нужен литературный процесс или что-то в этом роде — то зависит это, я не устану повторять, от нас самих. Суровый привкус действительности лишь возвышает цену достигнутого. Будем мужчинами.

Грустные стихи о русской лавочке меня тронули. Только вот «сам-друг» начинается не «сам себе друг», не «в одиночестве», но — вдвоём с кем-то, «друг» тут употреблено в значении другой, второй /см., напр., у Даля, т. IY, с. 13 (ср. тоже «сам-третьей» в «Моцарте и Салери»). Жду с нетерпением полного корпуса твоих канадских сочинений. Сетон ты наш Томпсон.

Вот ты пишешь, бесплатного тепла не хватает — и связываешь это с географией. А это связано, милый ты мой, только с возрастом да с тенденцией поэтического созревания, взросления, мужания. Много бесплатного тепла получил О.М. — в придачу к «Могиле неизвестного солдата»? Какое уж там тепло — «январь, на лестнице колючей разговора б». Или — С.Е. в придачу к «Черному человеку»? Я нарочно беру обстоятельства разные, виновников разных — и оба примера из географии среднерусской. «На середине рокового земного пути» загоняет нас пантера на чердаки не только парижские, но всех возможных городов мира. Поэзия только в юности даётся нам даром, соблазняя, дабы лишить невинности, голубоватым оргастическим туманом. А потом выясняется, что надо либо бросать её, либо жить, и взрослеть, и платить, и стискивать зубы...

ОВИР оказался, по-моему, ловушкой КГБ. Два с лишним месяца мы с Таней не сочиняли стихов, не думали об умном, не совершали ничего общественно-полезного. Таня без работы, сам я не могу никуда устроиться, пока документы не поданы: попроси я требуемую справку — меня миглом выгнали бы с любой должности, какой же смысл устраиваться... Каждый день зато мы бегали за всевозможными бумажками /в них же каждый раз отыскивался некий изъян/, выслушивали по ЖЭКам обвинения в резне палестинских беженцев — да печатали анкеты. Анкеты же, как тебе хорошо известно, таковы, что живому человеку, не парано-

ику, тем более стихотворцу, связно заполнить их — попросту невозможно. Стало быть, КГБ просто вырвал нас на всё это время из жизни — и окунул в это говно, дабы не омрачали мы ихнего литературного процесса, Так что жизни литературной никакой нет. И дышать нечем, и переговаривается народ какими-то придушенными голосами, и глаза у всех бегают. По всему по этому сложилось у меня тут как-то золотой осенью (в этом году осень необыкновенная) не то, чтобы стихотворение — но так, замечание: «на краю лефтортовского провала / и вблизи таможен моей отчизны /-я ни в чём не раскаиваюсь нимало, / повторил бы пройденное, случись мне, — / лишь бы речка времени намывала / золотой песок бестолковой жизни.»...

Шкурула, я всего самого-самого доброго тебе желаю. Выбирайся поскорей из армии безработных, и с людьми знакомься, и сам выдвигайся в люди. Перестань, наконец, надеяться на глупости. Прочее же тебе приложится, ибо отчаяние, как учили Киркегор, Шестов и я — рубеж веры и воскресения. Бывшее становится по воле Бога не бывшим, и утраченное повторяется, как это было с Иовом.

...Я открываю глаза, но мне кажется, что я еще сплю: гроздья винограда свисают прямо в окно, внизу ярко-зеленая лужайка и стена из неровного булыжника в зарослях роз, а впереди в дымке синие горы, которые отражаются в продолговатом озере. Я спускаюсь по крутой тропинке вниз к камням, где плещется вода. В трех шагах от берега не видно дна, а вода прозрачная и холодная, так что войти в нее медленно трудно даже на три шага. Я ныряю, подняв фонтан воды и вспугнув мирно дремлющих чаек, и плыву по направлению к горам, мне хочется добраться до противоположного берега, только я боюсь, что мне не доплыть, что это сон, и он кончится. Выйдя из воды, я ложусь на холодные гладкие камни и вспоминаю, что именно здесь бегали голышом Адам и Ева. Удивительное место, где рай соседствует с преисподней. Вчера мы спускались в пещеру, это местечко называется «чертова дыра». За жизнь много чего повидаешь, но то, что я увидела и почувствовала — было впервые. Там внизу, в пещере, где из всего многообразия природы можно было наблюдать лишь скудные крохи ее в виде скальных пород, песка, ракушек, отвратительного червя и ледяных капель, падающих на тебя откуда-то сверху, проводник вдруг потушил лампу, и мы оказались в кромешной тьме. Нас связывала всего лишь ниточка речи, взволнованной, звучащей в высокоом регистре и рассекающей, как ножом, тяжелое, молчаливое, черное пространство. И когда она оборвалась, я поняла, что н и ч е г о нет — не было ни отголоска звука, ни световой точки, ни течения времени, я растворялась в этой тягучей тьме — это и было н е б ы т и е. Меня выдернуло из этой черной дыры прикосновение дочери — она крепко сжала мою руку своей тоненькой рукой...

Здесь, далеко от беспокойного дома, под Лозанной у своих друзей я составляла для первой Сашиной книги библиографию его зарубежных публикаций. Отечественные публикации при его жизни отсутствовали, не говоря уж о книжке. Свою жизнь он прожил в нищете, без денег, признания, уважения и понимания иногда даже со стороны близких людей. Потому что был не корыстен и не умел обращаться в популярность, в банкноты и в тряпки духовные искания ума. Со своими мыслями о том, что «искать житейской победы для

стихов — безнравственно», о литературном подвижничестве и литературном плебействе, об ответственности литературы за происходящее, он был всем смешон — нелепый рыцарь в громыхающих доспехах, потрясающий допотопным копьём — последний Дон-Кихот уходящего тысячелетия.

— Саша, у нас опять нет денег. Скажи, почему мы так плохо живем? Предположим, раньше были плохие времена, но теперь перестройка, времена изменились, а наша жизнь не изменилась.

— Порядочным людям трудно в любые времена.

— Это не утешает. И потом, тебе не кажется, что твоя вечная бесплатная работа на благо отечества — это советский синдром.

— Не кажется, потому что то, что я делаю, как тебе кажется, для других — нужно прежде всего мне. Это тот воздух, без которого я задохнусь и умру.

— Что значит умру, а как же я?

— Если бы я знал, что умру, я бы прежде отдал тебя в хорошие руки.

— Могу себе представить эти хорошие руки — нет уж, я сама сумею за себя постоять.

— Тебе только так кажется, без меня ты непременно попадешь в какую-нибудь идиотскую историю, потому что у тебя совсем нет опыта общения с пошляками и глупцами. Впрочем, у тебя все должно быть хорошо. Вчера, когда я увидел, как ты заставила жующий зал, пришедший на порнуху, слушать себя, я подумал, что если ты станешь знаменитой — я тебя оставлю.

— Почему? Я бы тебя не оставила.

— Ты другое дело — ты женщина.

— У тебя есть выход — ты мог бы сам стать знаменитым.

— У меня нет на это времени.

— Значит, я не буду знаменитой.

Привет. Уже два месяца, как обещал писать тебе — да так и не собрался. Представь, отвлекал меня всё это время большей частью литературный процесс. Литературные клубы в Москве как грибы растут. Литературные кафе, фестивали, платные чтения, хозрасчёт, ротапринт. Обещают как будто кооперативные издательства. Но вот тут-то и начинается закавыка. «Оттепель» как бы и есть — но как бы её и нету... Так, по крайней мере, обстоит дело в литературе. Пользуются временем либо перестроившиеся на ходу аппаратчики, либо литераторы серые, средние, не успевшие подсутиться в брежневскую пору и вовсю наворачивающие упущенное на гребне новой волны. Вот этих двух сортов продукция и подается в основном как «оттепельная» — что создаёт атмосферу фальши.

Первый из московских клубов в качестве именно первого — обещал стать наиболее сильным, перспективным. И ленинградский пример, при всех его несовершенствах, имеется. Но ленинградцы-то свой клуб получили с боем в наихудшие времена. Оттого структура клуба более или менее воспроизвела реальное соотношение подпольных литературных сил, с достаточным числом достойных лиц у руля. В Москве все делалось «на волне», по моде, с карьерными перспективами. Оттого власть досталась людям, стиль которых ты знаешь: телефонные звоночки, обдѣлыванье делишек, не высовываться, сам понимаешь, старичок. Результат — одна самореклама, пробивание самих себя, да скучноватые скандальчики

(вроде праздника в пользу гувернанток из известного тебе романа). Всё это понятно, привычно, предсказуемо до банальности. В итоге все это заставило меня с некоторой даже демонстрацией отойти в сторону от клуба. Грустно, что в их компании оказался Дмитрий Александрович — человек все же как бы творческий и с концепциями. Выходя из клуба я ему открытое письмо написал: в общем о том же, о чём тебе пишу, но в несколько ином тоне.

Одну «оттепель» интеллигенция наша уже проспала — кажется, история повторяется. Но тогда было легкомыслие, молодой азарт, неумение закреплять достигнутое. Теперь — наоборот — все всё знают, никто ни во что не верит, полный цинизм...

Еще в 1981 году Саша написал: «Надежнее всего прижился у нас тип энергичного, «пробивного» циника, берущего своё и не высовывающегося, где не надо».

Этот, тогда «не высовывающийся» тип, и по сей день существует в российской словесности, только он «высунулся». Он «вышел из гоголевской «Шинели», как и его великие предшественники, не будучи ни великим, ни даже средним. Он праправнук бедного писаря Башмачкина: за столетие подрастерявший милые черты, которыми наделил его щедрый гоголевский талант — образчик неестественного отбора: уже не маленький человечек, а скорее мелкий бес, получивший новую профессию. Из всех его талантов, главный — умение считать, и каким бы творчеством он не занимался: писал стихи или картины, он от рождения б у х г а л т е р. Такой и когда пишет — считает: один пишем, два в уме.

В стране, которая категорически не признает никакого счета, перед таким человеком — свободное поле действия и полное отсутствие конкуренции. Любой проиграет ему, так как наш бухгалтер просчитывает даже собственную неудачу, и в итоге, все равно остается в выигрыше. Несколько лет назад он даже стал героем известного музыкального шлягера про милого бухгалтера, который отхватил себе кралю в красном пальто. Помнится, у его прапрадеда, долго не было пальто, а кралю вообще не было. Так что, казалось бы, можно только радоваться росту его благополучия и успеху.

Мне всегда нравилось смотреть на людей, которые считают, что они справедливо заслужили свой успех, награду, удачу. Не хотелось бы их огорчать, но справедливости скорее всего нет — речь идет не о понятии, а о таком явлении, как справедливость. Иначе как объяснить такую случайность, как жизнь и такую несправедливость, как смерть? Возможно то, как мы живем, и объясняет ошибку в определении: смерть — справедливость. Несправедливость существовала задолго до человека, появление которого и есть следствие несправедливости Божественного одиночества. Сейчас мне кажется — в этом все дело, но в двадцать лет библию читаешь как роман, и меня тогда больше удивило противоречие между представлением о мужчине — носителе силы и мужества и трусоватостью Адама, который нарушив запрет, и, испугавшись наказания, сваливает все на подругу: «Это не я, это Ева!» Это дало мне, как я считала, право долгое время снисходительно относиться к «сильному полу». Теперь я думаю, что проступок, за которым последовало изгнание из рая, единственно и оправдывает этот крик души: «Это не я!» Страх и попытка, пусть запоздалая, отмежеваться от зла — это то, что мы потеряли. Наказание потребовалось, чтобы научить нас

отвечать за свои поступки. Но мы учились ответственности по-своему. В попытке преодоления страха (а уж кто, как не мы, знаем, что такое страх) мы пришли к тому, чему нет оправдания — сегодня крик души — восторженное: «Это я напакостил!» Казалось бы, что уж ко всему этому наш милый бухгалтер не имеет отношения — да нет, имеет. Ведь это именно он чей-то нерасчетливый крик души просчитал и представил как беспроектный шлягер...

Привет. Думал ли я, например, что буду ходить по исполкомам и общаться с героями Галича, пробивая вечер памяти Галича в зале на 900 мест?.. Пока неясно, выйдет ли — никто не спешит брать на себя ответственность — но, что характерно» никто не хочет и запрещать, а частным порядком все партийные и советские чиновники хором твердят: любим, знаем, как замечательно. Вот какие времена. Месяца уже четыре только и делаю, что бегаю, звоню по телефонам, пишу речи да толкаю их с кафедр. Так что уж извини, будет опять похоже на реляцию с фронта; это лишь отражает действительность, я почти забыл, что такое частная жизнь.

Вот еще современный эпизод. Нас с Сережей приняли на семинаре критиков в ЦДД, в Дубовой ложе (той самой, где Галича исключали). Почитали стихов, ещё Витя с нами был. Там собрались все ведущие критики города. Один критик пытался по старой памяти говорить что-то о строчках и образах, но другой критик осадил его. Он сказал; Мы пришли не разбирать стихи этих поэтов. Мы пришли у них учиться свободе. 400 лет из нас воспитывали холопов. Теперь мы в газетах благодарим власти за предоставленную свободу — какое лакейство! Свобода есть естественное право. 15 лет мы морочили голову этим поэтам, обманывали их. Теперь мы должны заплатить им долг. Мы должны печатать не только их шедевры» но и проходные стихи — только так мы сможем хоть частично расчитаться с ними. Тогда третий критик сказал: «Нет, 15 лет мы спасли этих поэтов. Мы не развернули их близостью к тому корыту, из которого сами хлебали.» Вбежал пьяный поэт и крикнул: мы истребили крестьянство! мы разрушили страну! интеллигенция — давайте поглядим друг на друга, и мы поймём, что такое наша интеллигенция! В том же духе высказалась одна, оказавшаяся в живых, поэтесса. Только два фашиста из «Молодой гвардии» пытались отрезвить собравшихся, с дрожью в голосе доказывая, что перед ними — враги. Но их заткнули, обвинив в экстремизме. Критик из «Правды» особо отметил стихи «Отара в тумане» за обрисовку трагедии крестьянства... Так что приезжай, Шкурула, устроим тебе вечер в клубе «Московское время», десятку заплатим, почитаешь стихов, расскажешь об отсутствии литературы в зарубежье. Потом гулять.

Несколько лет назад чекист мне мрачно говорил, что у меня «трудности», которые плохо кончатся. А теперь «Правда» написала, что на рубеже 70-х и 80-х годов «трудности» переживала страна. Мне тогда, оказывается, сказали неправду. Это у них были трудности, а не у меня. Знал бы ты, какое это приятное чувство; наблюдать со своей колокольни за их перестройкой. Мне-то перестраиваться не надо...

За год до своей внезапной смерти в 1990 году Саша написал загадочное стихотворение про сон (*Ноябрьский ветер запахом сосны...*) Одно из после-

дних, оно о жизни «за миг до смерти». Казалось бы, просто сон, события которого, проснувшись, трудно припомнить, но это повторяющийся сон, где «*все непрощено знакомо*». Описание деталей и пейзаж этого сна даны не с места описания и даже не со стороны, они скорее напоминают снимок сверху (как при съемке с самолета: четкое изображение, но в уменьшенном виде и удаляющееся от точки обзора) и очень похожи на те видения, о которых повествуют люди, пережившие клиническую смерть. Это взгляд человека, который смотрит на себя самого и на то, что его окружает, сверху, когда душа его отделилась от тела и воспарила. Потому обычный осенний пейзаж с ветром, сосновым запахом, лесом, поселком и простыми деталями: загорающее окно, бабки на скамейке, мужик с вином — становится нереальным, торжественным и даже космическим. Неожиданно повествование обрывается: *Там жили, значит, люди. Я бы мог / (Но веришь, лучше все-таки не надо) / Приноровить и опыт мой, и слог / К изображенью этого уклада. / Когда б я был тем зудом обуян, / Когда б во мне бесила кровь дурная, / Я принялся бы сочинять роман, / По мелочам судьбу воссоздавая. / Тогда бы я и жил не наугад, / Расчислив точно города и годы, / И был бы тайным знанием богат, / Как будто шулер — знанием колоды. / Я знал бы меру поступи времен, / Любви, и смерти, и дурному глазу. / Я рассказывал бы все, но это с о н , а сон не поддается пересказу».*

Этот сон действительно никак не поддавался пересказу. Пока я думала о нем, все было в порядке, но как только я пыталась о нем написать — обнаруживался настоящий беспорядок: компьютерный вирус съедал именно эту часть текста, черновик бесследно исчезал и я восстанавливала его три раза. Вступая в отношения с чужими поэтическими строчками, ты обнаруживаешь зависимость от них. Чем точнее строка, тем больше от нее зависимость: если не надо сочинять роман, и сон не поддается пересказу, а ты пытаешься это сделать — расплатись. И ружье стреляет уже по тебе. По мне, значит... Только это особый, незаконченный еще сюжет, о том как я открыла Сашин ящик с выпорхнувшими из него неудачами и бедами. Незаконченным остался и последний сюжет Саши: детективный роман о Карле Марксе, материалы к которому он собирал несколько лет — четыре общих тетради — четыреста страниц сплошь исписанные цитатами из разных источников. На мой вопрос: а где же роман? Саша постучал по лбу: здесь. Разговор происходил за две недели до его смерти, когда стихотворение про сон уже было написано.

— Так запиши то, что у тебя там в голове.

— Обещаю — через пару недель сяду писать.

— Ты уже год обещаешь, не дай Бог, случись что — я ничего не смогу разобрать — здесь одни цитаты, да еще на английском языке.

— Значит, и не надо...

Что не надо: писать роман или разбирать архив, я тогда не спросила — я увидела, что ему неинтересно об этом говорить. Эти четыре тетрадки — кладбище известных ему одному мыслей, ставших в одночасье неинтересными их автору, лежат рядом с большой общей тетрадью — его подробным конспектом «Архипелага ГУЛАГ» Солженицина, после чтения которого, он отказался от своего замысла книги о совдепии. «Об этом уже написано, — сказал он, — и я могу спокойно пить водку и писать стихи».

Но вернемся к тому, что открылось поэту во сне, описанном в стихотворении: «А сон лишь образ и значенье сна — всего только прикосновенье к тайне» Таков итог «жизни наугад» — не знание тайны, то есть ее отсутствие, а лишь приближение к ней. Поэт не шулер, играющий крапленными картами. Творчество — нельзя свести к игре ума, как и жизнь — к простому пересказу. Человек всегда больше своей жизни и творчества, то что находится за их скобками и есть божественная тайна, не всякому дано прикоснуться к ней при жизни, никому — разгадать. Тайна останется тайной, поэт унесет ее с собой, но оставит нам подробное описание пути (оно в стихотворении) к месту, где лежит клад. Только вот какой клад? А это как посмотреть на жизнь: как на крутой подъем вверх к неумолимому успеху и славе, куда не всякий добирается, или как на невероятное приключение или авантурное путешествие, откуда возвращается не всякий. Рискованное мероприятие — «жизнь наугад» кружит голову не менее, чем слава и погоня за ней. Именно в «свободе жить», в ее рискованной непредсказуемости и был смысл жизни и источник вдохновения моего героя. Я же попала в это авантурное приключение волей случая. Меня просто втащил туда за руку, вопреки моему желанию поклонник Дюма и Стивенсона, Саша Сопровский, поэт и философ, любивший проверять свои поэтические и философские откровения на собственной шкуре. Он отпустил мою руку в последний перед гибелью момент.

Можно было бы закончить на этом, но стихотворение еще не закончилось и история тоже. Написав последние две строки «*чтоб жизнь осталась незамутнена, как с осенью последнее свиданье*», Саша спросил меня: «Не слишком ли банальный конец?»

— Ты сам говорил, что банальности боится только посредственность. И потом, когда свидание последнее, оно перестает быть банальным, но именно это мне и не нравится.

— Вот и Боря говорит: «Что это ты себе напророчил?»

Саша сделал попытку переделать: «Как с осенью прозрачной расставанье», но скоро вернулся к первоначальному варианту. «Там рифма неточная», — лаконично объяснил он. Как знать, может быть, заминка с неточной рифмой — эта попытка переписать судьбу — отсрочила его гибель. Возможно, свою гибель он ускорил тем, что поставил на весы судьбы против точной рифмы собственную жизнь. Но вот в чем я уверена: его не стало потому, что тот запас свободы жить и творить, который отпущен человеку на целую долгую жизнь, он израсходовал, не прожив и половины ее.

«Я никого лучше тебя не знаю. Есть люди очень хорошие, очень умные есть, есть очень мне близкие, но ты просто-напросто очень многие вещи делаешь так хорошо, как никто другой. Поэтому, когда ты мне это написала, я прочел твое письмо как приговор. Ты говоришь, я не очень верил в твою любовь, врешь, если я здесь чему-то верил — так это твоей любви. Я в тебя и в твою любовь верил, как в звезды — чтобы ни случилось, они всегда над головой, лишь бы была ясная погода. Я вот только и боялся «пасмурной погоды»... Иногда мне кажется, что эти строчки старого письма из незапамятного времени обращены не ко мне а к какой-то другой женщине, которая не отвечала на письма, не читала кри-

тики, не любила богемы и, как героиня Льва Толстого, после замужества сменяла свои девичьи таланты на простые умения быть женой

Наверное, только в живом зеркале женщина и может разглядеть свое лицо, а слова «я никого лучше тебя не знаю» — не характеристика, а ни что иное, как формула любви, где все в превосходной степени. И с обязательным обратным действием: на самом деле, это я никого лучше тебя не знаю, и это я — твоя должница... Хотя бы потому, что со мной ты был лучше, чем с самим собой и много лучше, чем я того заслуживала — я бережно храню, написанный тобой, мой портрет. Ты дал мне опыт беспокойной любви и «благополучной» семейной жизни, невероятной и странной в глазах обывателя. Но, главное, ты поселил в моей душе собственную веру в то, что доброта — не глупость, а ум и благородство — не исключение. Я и сейчас продолжаю верить в это, хотя жизнь не раз пыталась убедить меня в обратном.

В тот день он поехал к приятелю передать мое письмо с оказией. Я проводила его, как провожала все годы: «Когда вернешься?» — «Я тебе позвоню», — ответил он. Он позвонил мне с дороги, а вечером я забеспокоилась и стала звонить сама, как звонила всегда, когда его не было дома: не случилось ли чего? «Извини, все сегодня сдвинулось на несколько часов», — ответил Саша, когда я, наконец, разыскала его, — но я уже еду к тебе». Я ждала его и не спала. Около часа ночи раздался страшный грохот, это взорвалась Сашина бутылка с пивом, стоявшая у батареи. Напуганная этим происшествием и плохими предчувствиями я так и не смогла уснуть до утра.

Он не доехал до меня в ту ночь, потому что по дороге попал под машину, перебегая улицу. По показаниям свидетеля происшествия, Саша перебежал улицу перед машиной сигнализировавшей ему фарами издалека, а попал под ту, которая шла рядом с погашенными огнями... *«Я стал искать тебя глазами, но никак не мог найти. Мне, по-моему, никогда в жизни не было так страшно, и у меня было время вспомнить все страшные идеи, связанные со смертью и подумать о том, как будет больно перед концом. Кричать и звать на помощь было бессмысленно. Я не кричал. В момент, когда должно было начаться падение — я открыл глаза и увидел, что уже светает»...*

1996—1997, март 2000

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК каждый раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиально, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концеп-

туальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

Журнальная проза второго квартала 2000 года была на редкость разнообразной. Ей богу, когда говорят о расцвете современной словесности, то иногда нужно с этим соглашаться. Не всегда писатели радуют глубиной своих созданий, но в целом возникает пестрая, причудливая панорама влечений и увлечений.

Быть может, *из самого интересного* в прозе сезона — украинский роман Юрия Андруховича «Рекреации» в переводе Ю.Ильиной-Король («Дружба народов», №4). Обычно мы не обозреваем переводную прозу. Но можно сделать исключение. Впервые вышедший к читателю на русском языке, Андрухович представлен нам как писатель в Украине культовый. Вероятно, так оно и есть. Имеется в романе отпечаток возможной славы автора, есть яркая, неподдельная, соблазнительная и самоистребительная божественность не просто как тематический материал, но и как способ самоощущения автора. В романе описан карнавал в западноукраинском городке Чертополе в 1990 году: праздник Воскрешающего Духа. На праздник приезжают молодые литераторы, цвет новоукраинской словесности. Молодежь довольно непочтительная, даже буйная, бурсацко-кабацкого духовного сложения. Их глазами и увидено это действо. С ними происходит много забавного и серьезного, страшного, веселого, чудесного. Рекой льется вино. Звучат соленые шутки, а иногда за шутками следуют и действия. Появляется в городе вий-не вий, но какой-то богатый швейцарский чертушка. То ли души скупает, то ли рукописи. Попутно живописуется подъем национальных чувств, иногда уже и комичных. Так же попутно — спешно преодолеваемые страхи перед имперским чудовищем. Сатира и лирика смешаны в одном стакане. Эпилог романа, помеченный 1988 годом, грустен. Молодость прошла, творческие дерзания утасли, от былых мечтаний остался только угар... Красивая, стильная, пусть и довольно простая вещь. Сказать по правде, это первый встретившийся нам в современной украинской прозе роман, дающий радостную весть о реальном, непротокольном существовании этой самой прозы.

Сюжеты, переваривающие *советский опыт в разных его преломлениях*, не иссякают. Есть в этой отчасти мазохистской гастрономии и на сей раз кое-что небезынтересное.

Сергей Юрский сопроводил свое весьма занятное сочинение «Голос Пушкина» («Знамя», №5) подзаголовком «Апология 60-х». Это анекдот из питерской партийно-комсомольско-театрально-коммунальной жизни, вероятно все-таки лишенный документальной основы. 1962 год, отдельные активисты настроены на обновление форм своей работы — по почину неумоимого выдумщика Хрущева. Мелкий комсомольский функционер Ленчик Рашковский узнает о должностеле-попугае, который говорит голосом Пушкина. Возможность предьявить народу живой голос Пушкина кажется соблазнительной... Забавная история, рассказанная Юрским, органично вписывается в уже почти сложившийся жанр ленинградских абсурдомаразмов советской эпохи. Так ли уж хороши были там 60-е годы, сказать, исходя из данного опуса, трудно. Но в одном из авторских отступлений Юрский берет под защиту шестидесятников, ссылаясь на то, что те были простодушны, а это не дается «вам, нынешним».

Другая история Юрского, «Опасные связи» («Октябрь», №6), имеет гораздо более отчетливый мемуарный характер. Это воспоминания о вынужденных контактах автора с ленинградскими гэбистами в бытность его актером БДТ. Юрский не пошел на контакт с ними, с чем во многом и связывает постигшую его опалу, от которой он принужден был бежать в Москву. Однако задним числом не это волнует автора. Анализируя ход «операции по вдавливанию головы в плечи одного из граждан города Ленинграда», Юрский приходит к выводу, что он позволил себе слишком от всего этого зависеть, отчасти согласился с условиями подлой партийно-чекистской игры. Еще один аспект воспоминаний — рассказ о контактах автора с заграничными троцкистами из круга актрисы Ванессы Редгрейв. Троцкисты описаны со сторонним интересом, Ванесса же — с немалой любовью: это «политик от сердца». Вот такой у Сергея Юрского охват. (Ср. с актерскими мемуарами Качана — см. ниже.)

Новый роман Анатолия Азольского «Монахи» («Новый мир», №6) посвящен советским разведчикам, а отчасти средневековым монахам. Не поймешь даже, что для автора важнее, хотя о разведчиках рассказано гораздо более подробно. Может быть, Азольский намекает на то, что шпионы — это своего рода современный квазимонашеский орден? Тогда его мысль не нова. Ветерана органов Бузгалина отправляют в США, чтобы доставить оттуда на родину заподозренного в измене Кустова, ведущего разведдеятельность под видом коммерсанта. Оказалось, однако, что у Кустова случился тяжелый душевный вывих; он проявляется и в том, что герой временами воспринимает себя как странствующего монаха, брата Родольфо. Бузгалин то ли подыгрывает Кустову, то ли сам иногда погружается в этот бред, который становится коллективным. Сложным зигзагом, через Южную Америку, Австралию и Прагу герои добираются до Москвы, где, несмотря на подобие возникшей душевной связи, поочередно закладывают друг друга началству и в итоге оказываются на заслуженном отдыхе. В романе подробно исследуются мании и фобии шпионов, даются намеки на то, что это какая-то особая порода живых существ, чья человекоподобная наружность таит и моральную, и почти уже физиологическую специфичность и не должна обманывать читателя. Объективистская манера повествования у Азольского напоминает технику патологоанатома. Он препариру-

ет живые организмы, соблюдая меры личной гигиены. Такой подход к изображению персонажа, признаться, не стимулирует в данном случае читательский интерес. Возможно, средневековый бред героев видится Азольскому некоей высокой духовной альтернативной; возможно, именно жизнь и труд шпиона воспринимает он как участие человека в глобальном безумии эпохи. Но всё это приходится домысливать или угадывать путем рассудочного отвлечения от конкретной образности. Роман; пожалуй, не сложился. Кажется, Азольский потерял героя, который способен был вызывать симпатии, героя *одного с нами* жизненного удела, чей опыт обладал общезначимым экзистенциальным смыслом. Его новые персонажи чересчур экзотичны и как-то мелки. Посредственные герои посредственной эпохи.

Разведка нынче что-то в моде, в чем можно видеть и некое знамение, симптом текущего исторического момента. Проза **Анатолия Курчаткина «Победитель»** («Дружба народов», №4, 5; из книги **«Радость смерти»**, журнальный вариант) — это подробная история жизни советского чекиста-разведчика Георгия М.. Перед нами по-настоящему идейный советский человек с тем неисчерпаемым запасом жизненной энергии, которым обладали люди из первого поколения строителей светлого будущего. Человек незаурядный. Из тех, кто годился на гвозди, кто не заботился о комфорте и удобствах, а шел на всё «ради идеи». В Гражданскую он воюет на Дальнем Востоке, водит дела с китайцами. Во вторую мировую — в Турции, где организует покушение на германского посла. В конце сороковых попадает в опалу, отправлен в отставку и чуть не засужен. А ближе к финалу своей жизни он борется за реабилитацию друзей и как-то раз, вдохновленный новым партийным курсом, выступает на собрании с требованием разобраться в ответственности членов Политбюро за творившиеся при Сталине безобразия... Понятно, что такой человек-камень оказывается во все большем конфликте с меняющимися обстоятельствами. О жизни Георгия М. рассказано детально, чуть не с первого и до последнего дня. Описаны главные события. Подробно раскрыты мотивы его активности. Тщательно и небезынтересно воссоздан социальный фон. В сущности, Курчакиным весьма убедительно изображен типичный герой в характерных обстоятельствах. Автор не пытается судить героя. Он смотрит на происходящее его глазами, не пытаясь лишь отворачиваться от того, о чем сам Георгий М., наверное, забывал. Авторская тенденция дает о себе знать скорее по итогу богатой перипетиями жизни, в которой умевший побеждать иностранных противников разведчик терпит, не вполне даже сознавая это, поражение на своей советской родине. От всех подвигов, побед и борений остается только могила на Новодевичьем — с нелепой надписью на камне. Завершенная жизнь вопиет о своем смысле, но едва ли его получает... Уже приходилось в БСК оценивать другие вещи Курчаткина из этого его цикла. Интересный складывается подбор. И вообще этот автор, не столь заметный в последние годы, несколько старомодный по своим творческим ориентациям, явно набирает силу. Редко кто у нас умеет так тщательно, зорко и ярко изображать социальную среду и социальных в ней агентов, воссоздавать краски быта. Хотелось бы, конечно, чтобы Курчаткин вернулся к современности и попробовал охватить ее так, как удастся это ему в его исторической прозе. Интересный опыт.

А вот о последних вещах — да и в целом о творческой эволюции — **Владимира Маканина** этого не скажешь. Повесть Владимира Маканина «**Буква «А»**» («Новый мир», №4) — нечто вроде притчи. Изображается некая лагерная зона — явно псевдоним Советского Союза в целом как социальной структуры лагерного, тоталитарного типа. Заключенные лагерники, уловив подходящий момент, месяцами, день за днём, вырубают на отвесе скалы некое слово. Точнее, пока что лишь одну букву, «А». Это придает некий дополнительный смысл их выморочному существованию. Каким должно быть полное слово, про это, как выясняется, уже и забылось. Но из зернышка неплановой инициативы вырастает никем не ожидавшийся злак. Постепенно строгий режим в лагере отменяется. Случай от случая увеличивается пространство свободы для заключенных. Тщательно прописано это неуклонное развитие ресурсов свободы. А венчается повествование апофеозом безбрежной вольности, влекущей за собой всяческие безобразия. Освобожденные лагерники убивают друг друга, крушат сторожевую вышку и дружно гадят на запретной полосе... Отчего-то при чтении вспоминалась «Алая буква» Готорна (близость названия и мотива!). Там возникла коллизия свободы и закона. Здесь на месте закона — незаконное насилие и подавление; отчего и свобода приобретает форму тотального анархического бунта, лишённого творческой потенции. Финальный вывод отдаёт безразличным высокомерием. Не новая жизнь начинается в момент освобождения, а растут в округе кучи дерьма. Рабы остаются рабами. Убог у Маканина человек, ничтожен и опасен (впрочем, это не новость; таким же, по сути, было отношение к человеку и во многих других сочинениях писателя 90-х годов). Мысль-то Маканина понятна, но художественная реализация ее не слишком, скажем прямо, интересна. Повесть — довольно головная, холодная, невдохновляющая вещь. Да и скучновата она.

Еще одна повесть Маканина, «**Удавшийся рассказ о любви**» («Знамя», №5). История о любви писателя Тартасова и цензорши Ларисы. Это в советское время. Ныне же они — соответственно ведущий популярной телепередачи «Чай с конфетой» и содержательница небольшого, «домашнего» борделя. Любовь их, однако, не ржавеет. Бывшая цензорша ради любимого писателя идет, как на плаху, в постель к телебоссу, в прошлом — уже ее начальнику в цензурном ведомстве. Чтоб тот, значит, пристроил Тартасова на ТВ. Сам Тартасов писать бросил, предполагая, что то ль литература гибнет, то ли это он изношен донельзя. К финалу более справедливым оказывается последнее. Тартасов представлен там сексуальным маньяком, выпрашивающим у продажных девиц даром то, за что они берут деньги. В этом финале телебосс снова является к Ларисе за положенным, пригрозив, что сменит Тартасова «на Витю Ерофеева». А Лариса сознает, что ее новая жизнь все-таки достойнее прежней. В то же время бывший писатель тут же за стеной балуется любовью с девочкой, причем «в кредит», ввиду безденежья. Следует добавить, что в повести писатель/ведущий и цензорша/содержательница борделя регулярно путешествуют вместе и врозь в свое прошлое через разные щели. В частности затем, чтоб и там практиковаться в любимом постельном занятии. Повесть — опять-таки как бы притча о судьбе литературы и литератора, написанная языком газетного репортажа. На-

тужная, очень прямолинейная выдумка, смысл названия коей ускользает от понимания.

Повесть Николая Климонтовича «Конец Арбата» («Октябрь», №4; из книги «Далее везде»; парадоксальная подстраничная ремарка: «*Повесть написана при поддержке «Альфа-банка» и Литфонда России*») — лирическое повествование, воспоминание рассказчика о своих родственниках, которые жили когда-то в давно снесенном доме на Арбате. Приметы времени (60-е годы; «именно тогда началось разорение Арбата...»), детали, словечки. Сдвигаются исторические и культурные пласты. Гибнет старый Арбат. Уходит, иссякает, вырождается дворянская семья Шикачевых. В центре внимания — жизнь Шурки, четвероюродного дядюшки рассказчика, всего двумя с половиной годами старше его. С этим Шуркой рассказчик водил в детстве дружбу. Восхищался им. Да и было чем: начиная с «дворянской» наружности и кончая юной смелостью, цельностью, отчетливостью поступка. Жизнь Шурки, однако, не задалась. И автор находит тому социокультурные обоснования. Был он недостаточно *пластичен* для советской эпохи; не умел прощать себе и другим трусость, вероломство, ложь. Словом, автор изображает героя в негероических обстоятельствах, которые обрекают его на бесславье и смерть. Поведано об этом едва ли не со слезой. Попутно рассказчик свидетельствует свою антисоветскую настроенность тех лет, признается, что был легкомыслен и охоч до наслаждений, делится воспоминанием о своих амурных делах. В целом повесть объединена увлеченностью автора самим процессом припоминаний, интересом его к культурно-психологическому обиходу, оставшемуся в прошлом, темой ухода, иссякания, отмирания самобытной русской семейно-бытовой культуры. См. также вещь Климонтовича из того же цикла «**В подполье**» (Субботник НГ, 1 июля 2000) — воспоминания о жизни литературной богемы в советской Москве конца 60-х — 70-х годов. Бегло или подробно охарактеризованы персонажи тогдашнего андерграундного дна: Лариса Пятницкая, Игорь Дудинский, а также Батшев, Кропивницкий, Сапгир, Мамлеев, Хвостенко, Джемаль, Толстый.

В повести Леонида Зорина «**Господин Друг**» («Знамя», №4) изображен яркий писатель советских еще времен — индивидуалист и нонконформист Ромин. Остролов, мизантроп, повеса, гений. Увиден он глазами приятеля, Авенира Ильича, тоже писателя, человека скорей робкого и вежливого, с заячьим опасливым взглядом. Дружба у них странная, мучительная для Авенира. Кроме того, у Ромина роман с женой Авенира, о котором тот случайно узнает... В наше время Авенир становится душеприказчиком Ромина и говорит о нем что-то вдохновенное. В повести много сочных подробностей московской писательской жизни в позднесоветский период и тонких характеристических наблюдений (возможно, ради последних все и затеяно). С другой стороны, в фабульном вымысле есть некоторая искусственность и замученность.

Отчего-то слабее в прозе сезона вещи, посвященные нашей *современности*. И выбор немал, но выбрать нечего.

Чтобы с чего-то начать. Роман автора из Минска Елены Поповой «**Восхождение Зенты**» («Знамя», №4) — современная сказка о доброй фее, которая

ныне в духе времени предстает зарубежной благотворительницей, хозяйкой филиала международной филантропической организации «Благая весть». Действие происходит в некоей провинции, то ли белорусской, то ли российской. Столкновение западных благотворителей с постсоветскими обычаями и нравами, с хищной, растленной чиновничьей братией составляет основной предмет изображения. Город представлен как скопище уродов. Дикие, сударь, нравы. Непонятные европейцам. Быт в романе мешается с мистикой. Попова больше известна как драматург. Роман — первая публикация ее прозы. И, подобно Макашину, автор доводит здесь характерное до запредельности. Только сочиняется не притча, а скорее невеселая полусказка-полубыль.

Прозаик из Смоленска **Олег Ермаков** наконец меняет свою излюбленную тему. На время или навсегда заброшен вялотекущий роман о малахольном юноше из заповедника, дезертировавшем из армии. В повести «**Вариации**» («Знамя», №5) новый герой — смоленский композитор и музыкант Петр Виленкин. Он молод, беден, женат и получил приглашение на Рейнский фестиваль, участие в котором дает надежды на лучшую участь. Уже заняты деньги и куплен приличный костюм. Однако поехать в Германию Виленкину не суждено. Он встречает одноклассника, друга детства, в застолье у которого спьяна разрезает себе ножом руку. Повесть и начинается утром следующего за застольем дня, когда Виленкин обнаруживает себя в санузле — наспех перевязанным, помятым и похмельным. Далее Ермаков, не торопясь, вводит читателей в суть дела и изображает, как Виленкин бродит по городу и дачной местности, вяло переживает по поводу своего фиаско, страдая и за себя, и за жену Леночку, уже предвкушавшую грядущие музыкальные триумфы супруга. Теряется смысл жизни. Длится и длится затяжной, нудный и скучный поток сознания. Затем, мелькнув, пропадает какая-то девочка со своими девичьими мыслишками — и подольше задерживается в мире повести старик-отец друга главного героя, Василий Логинович. Он разговорами спасает Виленкина от мыслей о самоубийстве. Но и у старика свои стариковские проблемы, от коих он сам находит тот же, однообразный выход — самоубийство. Словом, все в смысложизненных заботах. «И ничего не ясно в его судьбе», — сказано в финале про одного из персонажей. Похоже, это общая установка автора. Герои Ермакова — существа недопроявленные. И это, видимо, принципиально. Столь уж загадочен человек, что можно лишь по касательной пройти мимо него, а большего нам не дано... Сказать по правде, такая установка автора выглядит сомнительно. Конечно, человек сложен и загадочен. Но если всё сообщение только к этому и сводится, то стоит ли вообще огород городить? Кажется, и на сей раз Ермакову не сопутствовала удача, уж слишком бледны его герои, слишком вяло о них написано. Даже самоубийство одинокого старика не будоражит читателя, какое-то оно... неубедительное (и сказано о нем в манере эпилога, скороговоркой). Экзистенциальные заявки не реализовались в полную меру.

Роман **Сергея Носова** «**Член общества, или Голодное время**» («Октябрь», №5) возвращает нас к осени 1991 года. Автор оставляет героя «безо всего». У него нет ни работы, ни денег, ни квартиры. Он знакомится с членами некоего общества и получает благодаря им хорошую работу. По мере развития повествования герой постепенно проникает всё глубже в тайну этого общества, кото-

рое получает всякий раз новое название. Сначала это было общество библиофилов, потом оно оказывается последовательно обществом кулинаров, вегетарианцев, антропофагов. Эти антропофаги раз в год спускаются в пещеру и созерцают огромный сталактит. Это — основной секретный ритуал членов общества. Удостаивается этой чести и герой. Роман основан на универсальности метафоры поедания-созерцания и построен как текст, увенчивающий петербургскую ветвь русской литературы, переполнен отсылками, аллюзиями, цитатами. Постмодернизм.

Роман Ильи Фаликова «Ливерпуль» («Дружба народов», №6; журнальный вариант) — запутанная любовная история. Героиня, Марина, сначала любила Бориса, а потом, что ли, полюбила его отца Зиновия. Описание будничных перипетий перемежается с обширными вкладами из дневниковых записей разных лет. Беллетристика, которую, однако, не назовешь удобочитаемой; иногда автор хочет подкупить читателя хотя бы смелостью выражений (типа: «она уносила в себе его семья»).

Рассказ автора из Волгограда **Александры Васильевой «Егора»** («Знамя», №4) — трогательная история о мальчике, который ищет мужа для своей мамы. Тонкая проза.

Рассказы Евгения Шкловского («Октябрь», №5) — случаи, парадоксы, характеры. В рассказе **«Кумир»** родители постоянно ставят юному Саше в пример его отдаленного родственника, «брата», популярного актера Георгия. И Саше начинает мерещиться, что Георгий — это не брат его, а отец. В финале же оказывается, что Георгий — даже и не брат, а тем более не отец, но лишь воспитательное средство. В рассказе **«Сатори»** московский мальчик уходит в йогу и дзен. У Шкловского неброская, интеллигентская манера вести рассказ и вкус к житейским неожиданностям, к нестандартному в жизни.

Рассказы Нины Горлановой и Вячеслава Букура в «Октябре» (№6) — о житейских перекрестиях, совпадениях и несоответствиях. В рассказе **«Нюся и мильтон Артем»** разборчивая девица трудолюбиво выбирает мужа. Сначала мент Артем ей вроде бы и глянулся, но потом показался обывателем, мечтающим о приземленном. Артем же живет пестрыми фантазиями и выдумками; чем-то из богатого арсенала он и хотел впечатлить Нюсю, да неудачно симпровизировал.

В рассказе **«Радость» Юрия Петкевича** («Новый мир», №4) повествует о галантных любовниках, которые общаются друг с другом со старомодной учтивостью. Фокус в том, что это — бомжи и алкоголики, и их манерное друг с другом обхождение, их речь разительным образом не совпадает с их образом жизни. Какая уж тут радость. Рассказ — то ли просто игрушка, то ли попытка автора сообщить о том, что «всюду жизнь».

Новые рассказы днепропетровца **Александра Хургина** («Знамя», №6) не хуже прежних. Современный городской быт, всякая рутина и уголовщина. Так, рассказ **«Ночной ковбой»** — сказ о туповатом милиционере, стоящем на посту в ресторане и довольном собой.

Как обычно, есть в прозе сезона вещи, трактующие *самочувствие и место «нашего» человека на чужбине.*

«Монологи» Дины Рубиной («Дружба народов», №4) — несколько рассказов из израильской жизни. Прямая, причем нецеремонная, свободная речь персонажей, выходцев из России, каждый из которых повествует о своем житействе. Один герой ухаживал за деньгами за стариками, а как-то раз был и кем-то вроде приживала при не совсем нормальном отпрыске богатого семейства. А тот к нему возьми и привяжись. А родственники — в шоке и хотят засадить отпрыска в тамошнюю психушку... Другой персонаж остро переживает террористические акты на улицах израильских городов. Третья убивает у богатой старухи и дружит с художниками; старуха обвиняет ее в краже бриллиантов, а художники просят съездить в Амстердам с выставкой их работ... Словом, шорох экзотичной, но такой в принципе, в душевной ее основе, понятной и своей, трудной и веселой жизни. Всё равно как поболтать по душам сразу с несколькими говорливыми неунывающими евреями...

Петр Алешкин в своих рассказах («Октябрь», №5) тоже в своем репертуаре. А репертуар его невеселый: превратности любви — несчастной, трагической, неудачной. В рассказе «Мой брат» рассказчик взял брата Валеру на Канары — отдохнуть, проветриться. А тот — непосредственный человек — спонтанно включился в разыгрывавшийся там средневековый рыцарский турнир. Да так удачно, что Валере предложили контракт. Далее его история дается в основном обзорно. Валера закрутил роман с танцовщицей, попал под нож, а потом сам убил соперника... Отчего-то подобные страсти у наших людей кипят ныне в литературе только вдали от родины: в Израиле и Венеции (у Дины Рубиной), а теперь и на Канарах. В родных же краях русский человек на randevu — вечный банкрот. В рассказе «Ален Делон» рассказчик влюбил в себя хорошую девочку, а сам чего-то испугался и оказался любви недостоин. Так-то вот.

В «Новом мире» (№4, 5) завершается публикация «сценарных имитаций» Марины Палей «Long Distance, или Славянский акцент» (см. о них в предыдущем выпуске БСК).

Повесть Марии Рыбаковой «Героиня нашего времени» («Дружба народов», №5) — что-то вроде словесного миража, где границы между жизнью и воображением смываются. Археолог-женщина в итальянском городке встречает преподавательницу русской литературы Елену Двинскую, которая почти сразу умирает здесь от лихорадки. Археолог пускается в раскопки, пытаясь понять, с кем же это ее столкнула судьба. Наводит справки в Америке и России. Двинская в восприятии разных лиц оказывается человеком сложным, с качествами, которые трудно свести воедино (да и не требуется, очевидно, по воле автора, сводить). Сначала кажется, что она всю жизнь мается из-за того, что в детстве увидела и рассказала учителям, как мальчишка-одноклассник шарил в раздельке по карманам. Сделала она это, мстя за обиды и насмешки. И теперь уверена, что именно после ее клеветы жизнь мальчишечья пошла наперекосяк. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Двинская, оказывается, смотрит теперь с тем, уже давно взрослым одноклассником общие сны, путешествует с ним по неведомым заманчивым краям. Повесть плавно перетекает в фантазмагорию. Героиня уходит в какую-то иную реальность, предварительно выслушав рассказ о сексуальных извращениях императора Тиберия на Капри (хорошо хоть не

Максима Горького; а ведь в подобной прозе могло вполне свободно быть и такое). Вещь у потомственной писательницы Рыбаковой получилась довольно культурная, но вполне бессмысленная. Самое в ней интересное — точность невыдуманных деталей западной жизни. А вот как понять название, опробованное уже Лермонтовым и Маканиным, сказать также трудновато. Об этом нужно, вероятно, спрашивать у автора.

Мемуары.

Сочинение протоиерея **Михаила Ардова «Вокруг Ордынки»** («Новый мир», №5) — новая порция воспоминаний плодовитого автора, в детстве и молодости вращавшегося благодаря отцу-литератору в художественной среде. Предмет Ардова — забавные истории, сценки, словечки, характерные фразы и т.п. На сей раз Ардов в подобном духе рассказывает об актере **Игоре Ильинском**, дирижере **Хайкине** (шутившем, что многие его беды — оттого, что в фамилии у него на месте буквы «у» буква «а»), певце **Утесове**, писателе **Катаеве**, литературоведе **Западове** (уподоблявшем себя **Федору Карамазову**) и других фигурах. Два таких наброска посвящены священникам и еще один — епископу **Григорию** (Габбе). На глубину очерковое повествование заведомо не претендует. Но беда в том, что и многие анекдотические истории читателю уже откуда-то известны.

«Свободное сочинение на свободную тему» актера **Владимира Качана «Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка»** («Октябрь», №4, 5), что называется, типичные актерские мемуары. В меру забавные, не в меру бестолковые, болтливые, пристрастные, напористые, с оговоренным домисливанием реально имевших место событий. В принципе — удобочитаемые. Чуть ли не самое интересно в мемуарах — это повествования о дружбе. Дружья для Качана значат много. Конфликт в Театре на Таганке увиден им в основном глазами «моего друга **Филатова**». Наводит на разные мысли рассказ о том, как однажды Качан и **Филатов** сочинили стебную пародию на «белогвардейскую песню» — «Дневник прапорщика **Смирнова**» («Танька»), — а ее запели во всем мире как настоящую, фольклорную эмигрантскую песню. Сам же Качан считает, что такие песни поют в компании как «оружие массового поражения», нацеленное на чувствительных девушек, чтобы ими «овладевать». Немало рассказано и о другом друге, еще со школьных времен, — юмористе **Задорнове**. Например, о том, как в молодости он однажды переоделся в женское платье и соблазнял на улице **Риги** мужчин. В целом претензии и заявки автора не всегда совпадают с предъявленным масштабом его личности или хотя бы с уровнем его актерской известности.

В мемуарах «**Неоткрытый космос**» («Дружба народов», №4, 5) вспоминает о своей карьере в отряде космонавтов **Валентина Пономарева** — одна из тех, кто отбирался для первого полета женщины в космос.

«**Записи**» поэта **Константина Ваншенкина «В мое время**» («Знамя» №5) — весьма свободное повествование во фрагментах, где воспоминания перемежаются с суждениями автора по разным поводам, прежде всего — о литературе и литераторах прошлого и настоящего. На страницах опуса появляются в этой

связи Окуджава, Трифонов, Слуцкий, Хлебников, Булгаков, Чуковский, Твардовский... Критика Урбана Ваншенкин похвалил за то, что тот давал себе труд вчитаться в стихи, а критика Анненского осуждает за неспособность вчитаться и нежелание понимать реальные намерения автора.

Среди произведений на *исторические темы* — «Догадки» Вячеслава Пьещуха («Дружба народов», №5). Это четыре фантастических истории-версии о Кузьме Минине, Лобачевском, Гоголе и Бухарине. Этюды на сей раз производят впечатление довольно вымученных. Самая забавная догадка — о том, что Бухарин на Лубянке был загипнотизирован. А в «Новом мире» (№6) у Пьещуха вышли два более характерных для него рассказа. Умные разговоры, литературные ассоциации, нелепые русские судьбы. В рассказе «Авель и сыновья» герой-изобретатель страдает от своего дара, потом подается в фермеры, но и в деревне он не нужен. Остается только уйти странником куда глаза глядят. А глядят они подчас на Запад. Во всяком случае именно туда засматривался и Николай Гоголь.

Кроме Пьещуха, о Гоголе пишет и Владислав Отрошенко. «Гоголиана» Отрошенко («Октябрь», №4) — сочинение в свободном жанре: заметки о классике. Самые яркие, пожалуй, страницы тут посвящены истории любви Гоголя к Риму (воспринимаемому как рай) и его отвращению к Германии и России. Ад Гоголя, по Отрошенко, — это холод, неподвижность и немцы; «Трудно, не хочется даже думать, что Гоголь — в аду». Рассказано о том, как Гоголь не любил показывать полицейским за границей свой паспорт и как просил у императора паспорт особый, чрезвычайный, в чем ему было, впрочем, отказано. Пространно поведано и о том, как Гоголь 14 декабря 1848 года потерял удерживаемый в его воображении призрак последней точки своей поэмы.

«Повествование в рассказах» Юрия Буйды «У кошки девять смертей» («Новый мир», №5) — на самом деле еще несколько рассказов в традиционном для этого автора духе. По-фолкнеровски строго очерченный пространственный локус. Советско-прусская провинция. Сороковые, пятидесятые, возможно — и шестидесятые годы: история в ее изменчивом течении не занимает автора, поэтому у него царит некое тягучее советское безвременье. Повседневность. Дикие нравы. Странные люди. Чудеса. Буйда в своих историях на палитре густого, тщательно детализированного быта смешивает редкостные краски: готическую фантазмагорию с советским гротеском, — отчего у него рождаются странноватые, причудливые кентавры. Иногда его проза трогает за живое. Но в данном случае этого, пожалуй, нет. Есть впечатление измышленности, словно бы давно разрабатываемая жила давно уже истощилась, а добытчик все истязает и истязает породу в попытке добрать по крупницам что-то свое...

В «Знамени» (№6) публикуется еще одно сочинение Буйды — «Щина». Подзаголовок его, кажется, таков: «Сумасшедшие записки о деяниях Божиих, совершенных литературным жителем по имени Ю Вэ». Это довольно объемистый прихотливо-замысловатый сборник пестрых фрагментов и этюдов с комически-философической подсветкой и расхожей абсурдинкой. Вот на пробу

два начала двух этюдов: «Если у вас в сердце завелся слон, постарайтесь не дать ему замерзнуть...»; «Замечательный поэт Игорь С. зашел в бакалейный магазин, купил банку гуталина, вышел, сел покакать и умер...». Думается, и этого достаточно, чтобы понять, что не столько богатое, сколько изощренное творческое воображение Буйды не знает здесь никакой узды.

«Русская коллекция» **Владимира Тучкова** («Новый мир», №5) — краткие рассказы о людях, которые коллекционируют разные вещи (пустые пачки из-под импортных сигарет, крепежные детали, женские трусики и пр.). Собиратели оказываются заложниками своих коллекций. Опыт в постмодернистском духе: эксплуатация приема каталогизации случаев. Вещь, в отличие от предшествующих сочинений Тучкова, не весьма остроумная.

«Сон Иокасты» **Светланы Богдановой** («Знамя», №6) определен как «роман-антитеза». «Антитеза», вероятно, традиционным интерпретациям мифа об Эдипе. Богданова предлагает новую версию этой истории. Старательная, культурная, несколько монотонная проза.

Рассказ **Ярослава Мельника** «Книга судеб» («Новый мир», №6) — фантастическая история. Некто издал многотомную книгу, в которой указал дату смерти всех, кто ныне живет на планете. Сначала предсказанию не поверили, но оно начало сбываться. Вот и Коля узнал дату своего ухода, а заодно и даты смерти всех своих родных и близких. Трудновато стало жить. Мельник описывает, как уходит из жизни некий богач (бледное подобие пира Тримальхиона). И вдруг в назначенный момент сын Коли Игорек не умер. Предсказания перестали сбываться.

Рассказы **Григория Петрова** «Родословное древо» («Октябрь», №4) — продолжение публикации его своеобразного романа (предыдущие публикации в том же журнале, 1998, №9; 1999, №9). Сказать по правде, решение Петрова публиковать роман по частям (пусть он и состоит из «самостоятельных новелл») — не весьма счастливая находка. Дождемся завершения, тогда и будем о нем говорить.

Драматургия.

Комедия **Бориса Акунина** «Чайка» («Новый мир», №4) — попытка дописать пьесу Чехова, превратив ее в детектив, притом — в многовариантный. Треплев не застрелился, а был убит. Каждый из персонажей, носящих имена героев Чехова, в восьми вариантах развития действия успевает оказаться убийцей. Такая вот помесь Чехова с Агатой Кристи. Акунин в собственном соку: остроумно и, кстати, сценично.

Журнальная проза **третьего квартала 2000 года** не столь богата яркими событиями, как публикации первого полугодия.

К числу *самых ярких литературных событий* первой половины 2000 года относятся прозаические опыты **Владимира Войновича**, **Анатолия Курчаткина**, **Сергея Юрского**. Теперь к ним добавляется и проза **Юрия Давыдова**.

В «Знамени» (№8) продолжается публикация романа **Ю. Давыдова** «Бес-селлер». Вышла третья книга (первые две — там же, 1998, №11, 12; 1999, №8).

Революция и контрреволюция, тайные службы, инструменты репрессии и провокации, извилины судеб, встречи автора со стариками, сохранившими обрывки воспоминаний, но затаившимися в глубоких складках суровой эпохи, опыт его собственных жизненных скитаний в том мире, который замечал присутствие автора только для того, чтобы стукнуть его побольнее (и все-таки он был: страдал, терпел, состоял на учете, писал свое имя гвоздем в бараке)... В своей новой исторической прозе Давыдов ушел от повествовательной связности линейного типа. Его нынешняя форма — композиционно свободное повествование эссеистического рода, рыхлое, как будто и небрежное, без осязаемого сюжетного стержня. Возникает ощущение, что автор бродит среди обломков былого, ощупывает их, толкает. Да и сам он уже (по историческому опыту и по длине своего жизненного стажа) почти стал таким обломком, и ему место среди остатков этого великого кораблекрушения, а потому он также подвергнут объективации, вписан в общий ход повествования... Пропала у Давыдова бывшая смысловая определенность. Повествование объединяется лишь интонацией трезво-скептического размышления об извилистых дорогах истории, о моральном эквиваленте человеческого существования — да сочувственным вниманием к героям, со многими из которых автор успел чуть ли не породниться в процессе архивно-сочинительских занятий. Давыдов, кажется, попытался как-то справиться с тем, что перестали работать его традиционные дидактические мотивации творческого акта. Когда-то они позволяли с чистым сердцем противопоставлять честного революционера Лопатина авантюристу Нечаеву, а борца за правду и справедливость Бурцева иуде Азефу. Реальность ложилась в жесткую логическую схему. Теперь не то. Попытка Давыдова продиктована острым разочарованием в результатах революционной свистопляски, открывшейся невозможностью отождествить себя с какой-то одной стороной в той политической игре, которая привела к глобальной катастрофе. Легко было жить, почитая безупречных Веру Николаевну Фигнер и Германа Александровича Лопатина, а порицая всяких там дегаевых и судейкиных. Казалось, такая позиция неуязвима, не говоря уж о том, что у нее в позднесоветских координатах был отчетливый крамольно-диссидентский колорит. (Выходило, что и у пламенных революционеров есть изъяны в конструкции, что от революции неотъемлема провокация и на всякого Лопатина найдется свой Нечаев. А если чуть подумать, то за фигурой Нечаева возникала и не менее рельефная фигура Ильича.) Размежевание автор производил по моральному признаку. Линия фронта проходит не между сыщиками и революционерами, а между людьми честными и порядочными — и ублюдками в форме и без. Но пока писатель Давыдов рылся в архивных тайнах, сама эпоха, о которой он размышлял, начала терять традиционную определенность. Привычные вехи, размечавшие отечественную историю, сгнили на корню. Прогрессистски-рационалистические объяснения исторического процесса обернулись фикцией. Не Давыдов открыл, что история России увенчалась тупиком мракобесной утопии, а беззаветная борьба интеллигентов с царизмом привела к гораздо худшему роду тирании. Но теперь он вынужден считаться с этим фактом как с непреложной данностью. Получается, если взять

глобально-исторический масштаб измерения, что личная порядочность и личное благородство в XX веке — вовсе не критерий безупречности. Герман Лопатин и ему подобные в реальной истории словно бы беспомощно зависли над бездной, в которой пошла тем временем писать жуткие кренделя совсем-совсем другая губерния. Как бы то ни было, еще вчера слишком солидарный с ними писатель не может не дать себе отчет в том, что субъективная честность порядочных идеалистов подозрительно близка к разряду тех самых благих намерений, которыми мостится дорога в русский ад. Писатель вынужденно фрагментирует теперь повествование для того, чтобы не давать слишком большой чертеж эпохи. Пусть лучше будут отдельные эскизы, наброски, точечные шедевры, субъективные наблюдения автора-героя, пусть будут всякие оговорки и проговорки. Но следует избегать окончательных формул, потому что их нет. Концы с концами не сходятся. И принципиально не сойдутся. Ибо разорвана детерминирующая связь между героем (и собственно собой как одним из персонажей) — и иррациональным и неморальным контекстом большой истории. Давыдов концентрируется на отдельной ситуации, отдельном человеке. Возможно, и себя в повествование он вводит неспроста. Он становится теперь лишь одним из героев, а вовсе не автором-демиургом. Он чужд всеведения и так же, как прочие, барахтается в сточных водах российской истории. Сосредоточен на себе и на своих точечных контактах с миром, своем экзистенциальном опыте. Чуть не единственное, что ему еще остается, — это сочувствие к рядовому человеку, захваченному водоворотом обстоятельств, брошенному в бездну бездн, где его личная воля не может справиться с назначенным ему уделом. Две первые книги романа (там же, 1998, №11; 1999, №8) были удостоены премии им. Ал. Григорьева, решением жюри Академии русской современной словесности. Есть, однако, и критические отзывы о романе, звучали упреки в однообразии, избытке неостроумных шуток и расхожих цитат.

Переходя к прозе *о современности*, раньше всего стоит сказать, пожалуй, о новой вещи Людмилы Улицкой, которая попробовала на сей раз вернуться к однажды удавшемуся ей жанру *семейной хроники* («Медя и ее дети») и предложила вниманию читателей обширное повествование «Путешествие в седьмую сторону света» («Новый мир», №8, 9; журнальный, сокращенный вариант; в полном виде выходит книгой под названием «Казус Кукоцкого»). Сначала описана история гениального врача-акушера, потом — его падчерицы. Вокруг них роятся родственники и знакомые. Есть в повествовании и примесь фантастики. Много живописных подробностей, много занимательного в деталях. Тематическая новизна связана, в частности, с тем, что главным героем хроники выведен врач-гинеколог, откуда в тексте тьма подробностей о матке, яичниках и т.п. Вообще автор открывает много новых для жанра семейной хроники ситуаций, позаимствованных из любовного романа, лирико-исповедальной прозы и т.п. Улицкая хорошо схватывает подробности жизни, но не умеет дать ей обобщенного осмысления, и хроника разваливается на бессвязные эпизоды. Жизнь красивая и живописная, богатая радостями и бедами, не имеет ос-

мысленной завершенности. Рыхлое, бессюжетное повествование. Культурный, интеллигентский сказ. Поэтому все-таки при всех ее достоинствах удачей одаренной писательницы эту вещь не назовешь

Вообще писатели ныне весьма нередко не решаются идти дальше своего ближайшего окружения, своих, как правило, довольно поверхностных наблюдений над мимоидущей рядом жизнью. Характерно, что большинство героев прозы о современности — *москвичи*.

В повести Юлия Дубова «Теория катастроф» («Знамя», №9) преуспевающий столичный предприниматель Юра Кислицын становится жертвой чиновника, провернувшего хитрую интригу с целью оттяпать кислицынский офис. Предприниматель замышляет страшную месть. Но в последний момент не справляется с поставленной задачей. Далеко ему до чиновника, с которого все, как с гуся вода. Картинка нравов.

В рассказе Романа Сенчина «Афинские ночи» («Знамя», №9) герой-молодой москвич мается от житейской тоски. Он по образованию и душевной склонности художник, а вынужден подвизаться в сфере мелкой торговли. Все ему осточертело: ничтожная служба, семейная лямка, жена с ребенком... С приятелями, в секрете от жены, герой отправляется в подмосковный городок Можайск, чтобы там поразвлечься на воле. Выпили, покурили травку, попробовали снять местных девиц. Однако провинциальные развлечения оказываются на редкость убогими, и еще больше растрывает эта неудача душу. Рассказ наводит на размышления как о духовном убожестве коммерческой цивилизации в современной России, так и о хлипкости нового, постсоветского поколения «художественной интеллигенции». Нет у него идеала, которому можно себя посвятить, а есть только бредовый быт. Такие выводы, возможно, чрезмерно общи и на глобальность Сенчин едва ли претендует. Но уж больно красноречивы изображенные им коллизия и характеры. Рассказ написан суховато, аскетично, репортажным стилем с примесью современного жаргона.

Житейский раздрай современности в ее столичной локализации представлен и в повествовании анекдотического рода «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» Дмитрия Стахова («Дружба народов», №8). В тексте два Половинкина. Один в современной жизни оказался неудачником и ищет свою планиду. Другой, типичный мафиози, наоборот, преуспел; он рассказывает в повести авантюрные истории из своей жизни. Ближе к финалу они оказываются в родстве кровном и духовном — и противопоставляются безымянному персонажу, *бедолаге*: изгою, отщепенцу, закономерно гибнущему. Мозаичское повествование иногда увлекает, но не отличается большой вынятностью и осмысленностью.

На этом общем фоне прозы «московской темы» выгодно выделяется повесть Марины Вишневской «Вот такой гобелен» («Знамя», №8) — история юной москвички Зины, которая мечтает стать попсовой певичкой, а тем временем перемагается в бедности, муж ее Вовчик оказался неуспешен в коммерции, ребенок висит на шее... А тут богатенькие родственники предлагают отдать Стишку им. И чувствует Зина, что это неспроста, что родственники не оста-

новятся и перед тем, чтобы впоследствии организовать какую-нибудь автокатастрофу и погубить Зину и Вовчика. Потому шиш им достанется Стишка. Повесть хороша как опыт воссоздания житейского обихода современной девицы, в меру циничной, но и с понятиями. Замечательно представлен этот пестрый, непрогнозируемый характер. В повести схвачены и передаются современные чувства, мелькают остроактуальные словечки, звучат сегодняшние ритмы городской жизни. Колоритно изображен и обиход московских «новых русских» — людей без принципов, несчастливых прагматиков. Забавно, что в новых декорациях богатые у Вишневецкой оказываются очевидными мерзавцами, а бедные — при всех их недостатках — выступают как хранители житейской добродетели.

Интересна и повесть **Ирины Муравьевой «Дневник Натальи»** («Октябрь», №9) — история прогрессирующего сумасшествия, своего рода «записки сумасшедшего», но с гендерной рокировкой: ведет их брошенная жена, несчастная мать, взбалмошная, даже заполошная особа. Мир увиден ее глазами, поэтому наверняка невозможно сказать, насколько соответствуют реальному положению вещей те картины, которые нам предложены. Видит же героиня в жизни своим затравленным, напуганным взглядом, естественно, одно плохое. Ярko описана беспорядочная жизнь дочери героини — родной, можно сказать, сестры Зины у Вишневецкой (последняя, однако, попыталась взглянуть на такого персонажа изнутри, и в этом ее удача). Мир сдвинулся с оси, свихнулся, так что неадекватность героини выглядит функцией от неадекватной действительности. Наталье, в частности, вообразилось, что ее некогда умерший в младенчестве ребенок на самом деле выжил... Отдаленно повесть напоминает «Время ночь» и прочие вещи Петрушевской и может даже рассматриваться как невольная пародия на манеру нашего магистра всей и всяческой чернухи, но именно невольная — изображению сдвинутого, неадекватного мира героини нельзя отказать в психологической достоверности и убедительности, а он признан все-таки настоящей человеческой болью, вызывающей сочувствие и сопереживание, и это — уже не от того, что в повести от литературы, а от того, что от донесенной жизни.

Проза **Афанасия Мамедова «Время четок (кляняйся и уходи)»** («Дружба народов», №9) — история жизни молодого бакинца. Он обживаетея — опять же в Москве. Герой женится на москвичке. Об этом рассказано с избытком необязательных подробностей и рефлексии персонажа. Не оставляют героя и автора и воспоминания об азербайджанской жизни. В целом, кажется, автор уже скребет по сусекам: он заново и не столь интересно, как прежде, описывает мироощущение европеизированного азиата, которому пришлось заново выбирать и строить себе жизнь после распада советской державы.

Московско-германскую прописку имеет романтического характера повесть **Максима Павлова «Машенька»** («Дружба народов», №7). О себе рассказывает здесь молодой преподаватель университета. У героя в Москве случился незапный роман с юной дамой. Но она уезжает вместе с мужем в Германию. Отношения продолжаются по телефону и во время встреч героев то в Москве, то в Германии. В финале герой возвращается с чужбины на родину. Это очень

многословное повествование о любви, кажется, нужно считать репликой на известную одноименную повесть Набокова. У Набокова, скажем прямо, качество прозы несравненно лучше. Уж лучше бы *этот* Павлов не сочинял римейков. Хватит с него, что он и так «второй» в современной прозе: однофамилец маститого О.Павлова.

Разительный контраст к столичной прозе являет маленькая повесть **Михаила Тарковского «Ложка супа»** («Новый мир», №7), обращающая нас к *жизни провинциальной России*. Этот писатель, уроженец Москвы, уже довольно давно поселился в селе, в Красноярском крае. Оттуда и его сюжеты. На сей раз изображен парень из енисейского села, Славка, подробнейшим образом описаны его запои и дан намек на незаурядность его натуры, которая, однако, едва ли когда раскроется в убедительной полноте. В последние годы Тарковский публикуется довольно регулярно. Проза его добротна, притом лишена идеологического нажима. Неудивительно, что публикационный курс писателя лежит от «Нашего современника» и «Москвы» к «Новому миру». По тщательности бытописательной отделки повесть Тарковского встает в ряд с лучшими вещами подобного рода в прозе «деревенщиков». Однако у автора нет большой идеи. По сути, повесть напоминает развернутый очерк характера из простонародья. Можно, впрочем, опираясь на густую фактуру повести, что-то и домыслить за автора — насчет измелъчания и самоистребления русского человека как очевидной закономерности.

В рассказе **Владимира Сотникова «Смотритель»** («Октябрь», №7) выведен еще один сибиряк, бакащик с Енисея Николай. Человек чудачковатый, похожий на героев Шукшина. Сочиняет нечто высокоумное. Рассказчик вспоминает об этом Николае, которого знал лет двадцать назад. А теперь нет ни деревни, где тот жил, ни тамошних людей...

Еще одна сибирская история — **рассказ Сергея Залыгина «Бабе Ане — сто лет»** («Новый мир», №7; это, кажется, последняя вещь недавно скончавшегося писателя). Баба Аня — из поколения абрамовско-распутинских старух 60-70-х годов. Но возраст иной и времена иные. Баба Аня уже никого не учит жить, а лишь ждет смерти. Ну, а пока та на подходе, случается с бабой всякое. В деревне царит полный беспредел. К бабе Ане является руководитель сельской администрации Яшка с двумя выпивохами (вроде тарковского Славки) и реквизирует все имущество. И некому вступить за бабу Аню в новой России. Только и помог сосед, что выкупил у отмороzków за поллитру бабино одеяло и вернул его старушке. «Сколько зла пережила на своем полном веку баба Аня, но сама злой не стала, что бы ни случилось, говорила: «Бывает, бывает».

Рассказ Александра Кузнецова «Мираж у Геммерлинга» («Новый мир», №7) — история о том, как затопили где-то на Курилах по приказу начальства рыбацкий пароход, чтобы получить страховку, как предварительно разграбили его, как случайно погиб при затоплении боцман. Картина духовного оскудения увенчана характерной трактовкой образа капитана. Это наружно суровый, но внутренне сдавшийся, капитулировавший человек. Такова, что ли, логика жизни, которая ведет куда-то вкрявь.

«Новочеркасские рассказы» Владислава Отрошенко («Октябрь», №8) воссоздают экзотику южного городка. Необычные люди, нравы, говор. Это тщательно отделанные этюды, то ли выдумка, то ли быль.

Анекдотичны и небольшие **рассказы Сергея Алиханова** («Дружба народов», №7), посвященные быту и нравам современности.

Рассказы Владислава Егорова («Дружба народов», №7) — из банной и больницы жизни.

«Псы Полесья» Игоря Клеха («Дружба народов», №7) — очерк плавания по реке Припяти. Описываются взаимоотношения человека и собаки.

В рассказе **Александра Хургина «Гуманоид»** («Октябрь», №9) герой, Шурик, вообразил, что он является посланцем далеких миров. Чтоб проверить свои догадки, Шурик решает проверить свою кровь в районной поликлинике. Здесь у него нашли болезнь и успешно Шурика залечили. В другом рассказе, **«Не спас»**, персонаж по фамилии Швецкий, побывав на кладбище, обнаружил, что памятник на могиле его родителей сброшен наземь. Причем совершенно ясно, что пострадал он из-за фамилии родителей, которая показалась вандалам подозрительной в национальном отношении. «Нечистокровными» кажутся хулиганам умершие Швецкие — вот в чем дело. Герой возвращает памятник на место. Но вскоре он снова лежит на земле. И это повторяется снова и снова. Огорченный герой решил установить на вершине памятника небольшой крест. Но и крест не помог... То ли перед нами дидактическое упражнение, то ли бесцельная проза о превратностях бытия.

Прозу, отсылающую к *историческим* перипетиям, рассмотрим в хронологическом порядке затронутых авторами тем.

«Вечера с Петром Великим» Даниила Гранина («Дружба народов», №5, 6, 7) имеют подзаголовок *«Сообщения и свидетельства господина М.»*. В этой масштабной прозе сочетаются исторический очерк жизни Петра и хроника современных стариковских посиделок. Воедино сплетаются достоверное и неочевидное.

Рассказ Василя Быкова «Пасхальное яичко» («Дружба народов», №9) — новая проза писателя на старую тему, к которой он возвращается снова и снова: безумие советских времен в Белоруссии. Председателя колхоза кличут Выползком. Это красноречиво его характеризует. Колхозники решили отпраздновать Пасху, а сверху пришло распоряжение празднования не допустить. Выползком зверствует. Не выдерживает его жена Ганна и убивает мужа вилами — ей суждено погибнуть в концлагере в финале рассказа. Бытовой, почти хроникальный реализм Быкова сопрягается со стремлением со всей полнотой представить беспросветный ужас советской жизни. Вероятно, не в последнюю очередь такая установка связана с острым переживанием Быковым драмы современного белорусского общества, которое оказалось не готово свести счеты с проклятым и убогим прошлым.

Роман Александра Мелихова «Нам целый мир чужбина» («Новый мир», №7, 8) строится его автором довольно традиционно. Как всегда у Мелихова, в центре повествования — ленинградский интеллигент. Как нередко — ученый (ма-

тематик) и еврей. Все эти признаки играют свою роль в повествовании, которое разворачивается в процессе воспоминаний героя о студенческих временах, о тогдашних эротике и политике, романах и застольях, друзьях и подругах. Воссоздание биографической канвы освобождает автора от необходимости строить замысловатую интригу. Ее и нет. Жизнь героя складывается довольно банально, и даже неожиданные ее повороты не особенно удивительны. Характер героя также слишком уже узнаваем и не обещает никакой новизны. Таких у Мелихова было уже немало. Многословный интеллигентский сказ у Мелихова несет на себе отпечаток шестидесятических вольностей. Он непринужденно вникает во всяческие интимности, тщательно разрабатывает пестрый внутренний мир героя, склонного к рефлексии. Есть у героя и подобие житейской философии. Состоит она в том, что всяк человек стремится к самоудовлетворению. Сиречь к мастурбации. Идея небогатая. Но роман все-таки богаче этой идеи. Есть в нем картины вузовско-научных нравов в 60-е годы, есть попытка представить тип научного начальника-самородка и самодура, есть просто забавные подробности. В конечном счете выходит, что социальные обстоятельства лишь создают фон жизни, а человек выносит из нее память о любви и дружбе, о самоотверженности и грехе... Не откажешь автору и в остроумии, во владении искусством увлекательной болтовни.

В рассказе Михайла Кураева «Разрешите проявить зрелость!...» («Знамя», №9) также воссозданы ленинградские реалии позднесоветской поры. Автором выведены заведующий кафедрой марксизма-ленинизма ленинградского театрального вуза и юный оболтус-студент по фамилии Доглатов. Доглатов несдержан на язык, по каковой причине он едва не был отчислен за идейную порчу; пришлось комсомольской организации брать его на поруки. В рассказе ярко воссоздана уже полузабытая атмосфера тотального лицемерия и бытового абсурда в последние десятилетия советского режима. Вероятно, есть у рассказа и реальная основа. Во всяком случае указано, что братом Доглатова был известный писатель, оказавшийся позднее в Америке (надо думать, Сергей Довлатов).

Рассказ Евгения Попова «Кто-то был, приходил и ушел» («Октябрь», №9) писался в течение 20 лет, с 1979 по 1999 год. Но уместился на пяти журнальных страницах. Героиня-музыкантша, вдова знаменитого телережиссера, однажды возвращается вечером домой — и обнаруживает, что дверь в ее квартиру распахнута. Ничего не пропало, но в голову Ирины Аркадьевны запала трудная мысль, которая вскоре привела ее из Ленинграда в Израиль. Как водится, вписан в действие и рассказчик, неотличимый от самого писателя. По обыкновению, Попов пересыпает повествование разного рода комментариями, пестрыми подробностями, всякой болтовней, но от этого положенная, как часто бывает у Попова, в основание рассказа некая «абсурдинка» все-таки не становится здесь богаче и глубже смыслом. Похоже, то, что было раньше для Попова внутренне органично, становится просто привычным приемом.

Повесть Андрея Житкова «Агитрейд» («Октябрь», №7) — об афганской войне. Солдатик Митя, не в силах выносить издевательства старослужащих, дезертирует из части. Он прибивается к отряду афганцев-партизан, но и здесь не чувствует себя своим. Очерково-бытописательная проза.

Воспоминания.

Документальный роман Елены Макаровой «Фридл» («Дружба народов», №9) посвящен Фридл Дикер-Брандейсовой, австрийской художнице, которая учила детей рисованию в нацистском концлагере Терезин, «спасала детей уроками рисования». Погибла героиня в Освенциме. Это подробное жизнеописание бескорыстной идеалистки, попавшей в смертельный переплет. Привлекаются письма Фридл Дикер и свидетельства очевидцев. Автор собирала материал в Чехии.

Анатолий Генатулин в «исповеди неудачника» «Что там за холмом?» («Дружба народов», №8) рассказывает о своей жизни; особенно подробно — о детстве: с рождения в башкирской деревне, с сиротства и всяких юношеских перипетий. Неожиданно для самого себя автор становится прозаиком. «Был шпаной, а стал писателем». Впрочем, о последних десятилетиях сказано в записках немного.

«Блики памяти» Владимира Огнева «Амнистия таланту» («Знамя», №8) — фрагментированные воспоминания писателя о жизни столичных литераторов при советской власти. Автор по-доброму вспоминает своих старых друзей и знакомых.

Продолжается публикация в «Новом мире» (№9) **«очерков изгнания» Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»**. Печатается вторая часть очерков (первая часть — там же, 1998, №9, 11; 1999, №2). Жизнь в Америке, всевозможные «заботаньки»: писательство, публикаторство, заслуги в этом близких родственников, эмигрантская периодика, отзывы о разных писателях, судебные процессы и опровержение всяческих клевет. Два фронта: защита автором России и православия от либеральных эмигрантов (Эткинд, Карлайл, Синявский...) и прочих русофобов, борьба с коммунизмом. Счеты с Сахаровым. «Сумасшедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны (...) Два жорна». В целом Солженицын успешно решает задачу отделения патриотизма от советчины. Но перипетии этой его борьбы оставляют сложное впечатление. Трудно сказать сходу, в чем тут дело. Может быть, в том, что Солженицын с пылом защищает страну, которой вообще-то уже нет. А ему кажется, что есть. Впрочем, читатель может сам вникнуть во все эти перипетии.

Повествование **Василия Аксенова «Иван»** («Знамя», №9) — трогательное воспоминание о внуке жены автора, замечательном американском юноше Иване Трунине, однажды по неясной причине покончившем с собой. В рассказе много неутоленной, безысходной любви к погибшему герою.

Столь же интимно-личностны воспоминания рассказчика в **рассказе Дмитрия Шеварова «Второй день Рождества»** («Новый мир», №8). Вместе с дочерью он отправляется в путешествие на свою родину.

Далее представим *опыты разного рода*.

Фрагмент **романа Алана Черчесова «Венок на могилу ветра»** («Знамя», №7) посвящен превратностям чувственных влечений. Среда — Кавказ. Время — неопределенное. Встречаются двое, и их влечет вихрь противоречивых чувств. Про-

за стильная, красивая, но и вязкая — за счет плотной, густой образности. Писатель стремится обо всем сказать своеобразно. Таким образом создается некое особое смысловое пространство, отчасти загадочное. Много непостижимого, неопределенного таится в душе человека. То ли этот вывод, то ли какой-то другой может сделать читатель. А может просто насладиться живописной, во многом самодостаточной фактурой словесной ткани. Черчесов — большой мастер слова, но по этому фрагменту неясно, есть ли у него заветное знание о человеке и мире. Или всё кончается лирико-импрессионистическим наитием.

Повесть Дмитрия Рагозина «Поле боя» («Знамя», №9) — полубред персонажа-участника некоей великой битвы. Очень стильно, поэтично переданы картины сражения и последующих перипетий в жизни героя. Это по заданию сюрреалистическое абсурдистское повествование. Вещь получилась холодно-элегантная и, пожалуй, затянутая. Именно: последующими перипетиями легко можно было бы пожертвовать, чтобы добиться большей яркости впечатления от нескончаемой агонии сражения.

В повести Бориса Хазанова «Корсар» («Октябрь», №9) герой получил наследство и исполнил сумасбродный замысел: отправился в турпоездку на некий таинственный южный остров, где туристу предлагается особая программа. Приключение состоялось, однако с незапланированными последствиями: герой оказался в какой-то ловушке — и гибнет то ли по причине злого умысла владельца отеля, присвоившего капиталы гостя, то ли стечением роковых, едва ли не магических обстоятельств. Как это обычно бывает у Хазанова, повесть представляет собой тщательно выстроенный этюд, где свобода рифмуется со смертью. Нет уверенности, что из него нужно извлекать какой-то глубокий философско-экзистенциальный смысл. Вероятно, перед нами самодостаточная композиция на заданную тему.

Повесть в новеллах Павла Сутина «Эти двери не для всех» («Октябрь», №8) — фантастические предположения о ближайшем будущем. По духу, кажется, антиутопия.

В рассказе Анатолия Курчаткина «Счастье Вениамина Л.» («Знамя», №7) антиутопия развернута гораздо эффектнее и brutalней. Мир захватили здесь огромные крысы-мутанты, вытеснившие людей в подвалы и норы. Главный герой, человек, в свою очередь переживает мутацию, становясь крысой, — и рад этому. **В рассказе же «Сфинкс»** героиня, Нина, «дает» мужу Стасу (врачу-венерологу) и приятелю Климу. Довольны оба. Троица путешествует на авто по Прибалтике. В лесу компания наткнулась на удушенника-парнишку, покончившего с собой, как выяснилось, оттого, что он заразился гонореей. Пока милиция, Стас и Клим со всем этим разбираются, Нина флиртует с молоденьким милиционером. Потом герои попадают в автокатастрофу. Стас погиб, Нина изувечена, у Клима пропало желание. Через десять лет отношения Клима и Нины возобновляются, причем снова Клим делит Нину с другим, на сей раз — с юношей Андреем. Боевые гримасы бытового развратца.

Рассказ Григория Петрова «Путь на Дно» («Знамя», №8) — вновь квазиисторическое попури. Смешаны все времена. Отречение императора рифмуется с поисками когда-то брошенного героем сына, давние убийства с новыми,

старый русский хаос получает очередные выражения. В финале герой-скрипач обещает найденному сынку никуда его от себя не отпускать. Одновременно их можно воспринять и как воплощение Николая П и его сына Алексея.

«Русские анекдоты» Вячеслава Пьецуха («Знамя», №7) — короткие парадоксальные истории, призванные иллюстрировать непредсказуемость русского характера и иррациональность русской жизни. Философия жанра в исполнении Пьецуха состоит, кажется, в том, что ничего сверх анекдота русская жизнь дать не в состоянии...

Короткие рассказы Бориса Екимова («Новый мир», №7) посвящены разным материям. Один — впечатления о степной балке. Другой — о степных молочных пенках, называемых «каймак». Третий — о цветах. Четвертый — о разной дворовой живности. Это лирические этюды, согреты сентиментально-пантеистическим чувством.

Уникальное явление — публикация интимного дневника художника Сергея Шерстюка, точнее той его части, которую составляют записи последнего года жизни — «Украденная книга» («Октябрь», №8). После гибели жены, актрисы МХАТа Елены Майоровой, Шерстюк остается безутешным и уходит в смерть.

2. Литературная критика

В критике второго квартала 2000 года есть несколько небезынтересных проблемных статей и обзоров.

Как всегда, на своем литературном посту Наталья Иванова. Уж раз-то в квартал она всегда готова предложить оригинальный взгляд на куда-то текущую словесность. С неизменным интеллектуальным посылом, с неизменных миросозерцательных позиций в статье «Бандерша и сугенер. Роман литературы с идеологией: кризис жанра» («Знамя», №5) она размышляет на заданную тему. В название вынесены новые житейские амплуа героев повести Макакина «Удавшийся рассказ о любви», в прошлом — писателя и цензорши (см. здесь раздел «Проза»). Черта времени, по Ивановой, — идеологический сумбур, идейная импотенция. То же и в литературе. освобождение от идеологий — самая отчетливая черта отечественной словесности 90-х. Даже идеологические сочинения Солженицына приняты равнодушно. В недрах литературы взрываются мины соц-арта, вторгаются тексты, ориентированные на эстетизм; и это тоже способствует деидеологизации. Новые авторы не идеологичны, а скорее метафизичны и «физиологичны». Идеология вытесняется технологией (об этом писали Пелевин и Климонтович). Литература утрачивает политический тонус, и это не всегда хорошо... Далее, однако, Иванова начинает вносить поправки. Есть Галковский и Павлов; есть критика и мемуаристика шестидесятников; есть идеологический роман Залотухи и Войновича; есть журналы «Наш современник» и «Москва». Чтоб свести концы с концами, критик вводит утверждение: в литературе противостоят две поэтики, две культуры: серьезная и смеховая. Вот тут-то и пригодился Макакин с его «Удавшимся рассказом...». Он истолкован как представитель смеховой культуры. Идеологический роман на

одной стороне поля культивируется в подвиде пародийного. А серьезно идеологический роман культивируют только «патриотические» издания... Иванова схватывает реальную пестроту ситуации, отсюда разнообразие ее суждений. Ситуация, кажется, еще сложнее, чем кажется критику, так что каждому ее утверждению можно противопоставить контраргумент.

Сергей Федякин в статье «О военной прозе» (Кулиса НГ, 12 мая 2000) пытается обозреть русскую прозу о Великой Отечественной. У критика получается, что чем дальше от войны, тем хуже проза о ней. У Федякина выходит, что лучшие ее страницы написаны Платоновым и Шолоховым. Проза Платонова близка «к вселенским сущностям», у него «особое чутье к боли жизни, ее мучительной правде». «Ореол святости, который лежал на этой прозе, отразил святость общего дела». Так аргументируется значимость рассказов Платонова. Вторая вершина — рассказ Шолохова «Судьба человека»: тема сиротства старших и младших, всегдашняя судьба всякого человека, «настигнутого бедой и озаренного всеобщей горестью». Обзор военной прозы (начиная с 60-х годов) дается Федякиным прихотливо, едва ли не с целью белло обозначить ее несовершенства, увиденные с уже обретенной критиком высоты. Из поколения лейтенантов отмечены только Воробьев и Курочкин. Далее еще Семин и Кондратьев. Существенна для Федякина мысль о том, что лучшие страницы военной прозы озарены святостью общего дела, «святостью ратного подвига, святостью солдатской чести». Прочие страницы поэтому — худшие. К ним отнесены «второсортный Швейк» Войновича, «идеологически прямолинейный» роман Владимира, проза Астафьева: он «превратился в жесткого правдоискателя, который ради своей маленькой правды готов губить ту Правду, которую пишут с большой буквы». (Хочется спросить у критика, не берут ли ее еще при этом и в кавычки?) Отсутствие света не позволяет, по Федякину, верить тем прозаикам, чей глаз устал его видеть... Таким образом, критик выходит на важный и едва ли получивший окончательный ответ вопрос: была ли Великая Отечественная война священной бранью — не в метафорико-риторическом, а в буквальном смысле? Но ответ Федякина, кажется, слишком уж прост, в духе максимы «С нами Бог». Оттого и теряют у него ценность многие отличные книги о войне, не претендующие на иконописание, но обжигающие свидетельством о драме человека в черном пекле века.

Марина Адамович в статье «Этот виртуальный мир...» («Новый мир», №4) в жанре проблемного обзора размышляет о современной русской прозе в Интернете. Не есть ли литература в Интернете — просто самиздат, не сумевший прорваться в «бумажный» мир? Не всегда. Как пример названа «Книга книг» Михаила Эпштейна. Она непереводаима в формы традиционной книги. Вероятно, именно в Интернете место и прозе Галковского, Кортасара, Павича, Кальвино... Предпосылка новой литературы в том, что Интернет создает раздвоенные реальности. Есть внеинтернетовская реальность — и есть реальность виртуальная, где также можно жить, выбирать, решать проблемы... Новая литература, как можно понять, не только порождение виртуальной реальности; она делает ее и своим предметом. Явление Интернета Адамович сопоставляет с актуальными явлениями духовной жизни: потерей чувства историзма и объективно-

сти мира, с консьюмеризмом и эпикурейством. Христианская традиция культуры заменена неоязыческой со свойственными ей магизмом и шаманством. Демокультура все потребляет. Интернет же создает для этого потребления технические условия. Критик анализирует некоторые тексты сетевой литературы, выявляя ее закономерности и сопровождая анализ иллюстрациями. Автор в этой литературе «виртуальный», коллективный, его как бы нет (сбывается мечта постмодернистов) — но в то же время это не простой, а отборный народ, чело-векобоги. Самодовольный демос. Коллективный виртуальный автор не опасается за свое инкогнито, идеально свободен от всех связей, от социальных до этической ответственности перед собственным именем. Литература творит миф, тяготея к метасюжетам и метагероям. По аналогии с Паутиной Интернета мифологизируется пространство бытия как таковое и пространство сознания (под-земелье-подсознание-многомерность и т.п.). Герой погружен в виртуальную реальность. Во временном отношении мир в этой литературе статичен. Проза ориентирована не на слово, а на речь. На поток устной речи с ее сказовостью. По закону устной повествовательной речи виртуальная литература теряет автора. Критик заключает: существует как особое явление литература Интернета. Ее не нужно возвращать на бумагу. Она рождена иной реальностью и подчиняется иным законам. Только Паутина предоставляет возможность для создания гипертекста, вбирает его инологику, метафизику и мифологию. А сегодняшний интеллект требует именно гипертекстов, любые иные кажутся примитивными баснями с обязательным довеском морали.

Андрей Гриппман в статье «Будет ли будущее» («Октябрь», №5) пишет о русскоязычной литературе США. Это довольно рыхлый, но местами весьма любопытный очерк тем, мотивов, стимулов творчества. С одной стороны, происходит акклиматизация. С другой, в означенной литературе нет мощных культурных силовых полей, но есть самобытная культура русских американцев.

Павел Басинский в статье «Как сердцу высказать себя» («Новый мир», №4) защищает теплое, гуманное, *сердечное* искусство и призывает *сердечно* взглянуть на современную литературу. Оппонентами его являются здесь критики Н.Иванова, А.Агеев, М.Липовецкий. Традиция сердечного понимания мира — естественное и необходимое условие русской литературы. Пример дается из Достоевского и Платонова. По Басинскому, «сердечная культура» требует коснуться обнажившимся сердцем внешнего мира, открыться в него, оказаться его маленькой частью. Это деятельная любовь. Высокой «сердечной культурой» отличается проза Бориса Екимова. Но есть и другие примеры этой культуры: Носов, Распутин, Бородин, Павлов, Уткин, Тарковский, Вишневецкая, Васильева, Василенко, Дмитриев. В целом у Басинского «сердце» оказывается, судя по всему, синонимом «Бога в душе». Закономерно, что Басинский ссылается на философа Ивана Ильина, у коего, кажется, и черпает основные идеи. Ныне в России состоялась «бессердечная» культура. Но это гибельный путь. И уже сегодня сердечность вдруг оказалась куда более ходовой монетой, чем злая воля и эффективность... Идея Басинского недурна, но как-то пока недалеко ушла в своей разработке. Да и в целом статья производит впечатление реплики-заявки. Понятие сердечности объемлет собой и самые простые, и неимоверно глу-

бокие движения души, входя в противоречивые отношения с жизнью человеческого духа. Поэтому употребление его в разговоре о литературе — едва ли панацея. В простых случаях (Екимов) подход Басинского работает успешно. А в более сложных? Неясно.

Гендерный аспект литературы стал предметом обсуждения в журнале «Октябрь». В статье «Терпение бумаги» (№3) писательница из Екатеринбурга **Ольга Славникова** предположила, что раз в литературу все больше идет женщины, то литературу ждет расцвет: ибо женщина на нежилое место не пойдёт. Тот же **Павел Басинский** в статье «Постфеминизм» (№4) делает отсюда парадоксальный вывод: следовательно, литература 19 века, создававшаяся мужчинами, была нежилым местом? На самом деле, считает он, все дело в специфике образования и отношения к литературным занятиям. Прежде эта специфика не располагала к вхождению женщины в литературу. А теперь положение изменилось: мы достигли в равенстве полов цивилизованной нормы; гуманитарные факультеты имеют более чем половину женского состава; литература все более становится частным занятием, как, например, макраме; а женщины сегодня охотно заполняют культурные области, покидаемые мужчинами, «области, из которых выветривается дух напряженного культурного строительства: больших идей, поисков новых форм и т.д.». «В литературе главным становится второстепенное: вовремя написанный и аккуратно подготовленный к печати текст, умение гибко и по возможности бесконфликтно строить отношения с редакторами и издателями, в том числе и с зарубежными...» То ли от себя, то ли вместо Славниковой Басинский провозглашает даже: «Мужскому духу давно пора мигрировать в какие-то более необжитые и неизведанные области». Заканчивает же критик тем, что фиксирует: душа-то у русской литературы была женская; и идеал автора-мужчины реализовался преимущественно через женские образы; с автором-женщиной же у нас должна начаться иная литература, воплощающая в себе мужской «ндрав» — жесткая, расчетливая, эгоистичная.

Другие темы в общепроblemных и обзорных статьях. Та же **Славникова** в статье «Двенадцать лет спустя» (№4) вспоминает о том, как в ее родном Екатеринбурге 12 лет назад «молодые писатели» «наделали шороху» спецвыпуском журнала «Урал». Это попытка оценить тогдашний спецвыпуск сегодняшним мерилom: а был ли эксперимент? Автор статьи считает, что его авторы часто путали новизну формальную с новизной тематической. У Славниковой выходит, что самыми радикально новаторскими оказались сочинения Иванченко и Верникова, где эстетика упраздняет этику. В 1999 году вышел второй спецвыпуск. И вот новые «молодые» уже не чураются нравственности, внедряют «позитивную нравственную программу средствами своей литературы». В варварские времена новая молодежь, ничего не прочитавшая в своей жизни, не слыхавшая ни о Макаине, ни о Битове, — не может не писать.

Вообще второй квартал 2000 года ознаменовался необычайной, имеющей мало precedентов плодотворностью **Ольги Славниковой** на критической ниве, о

чем скажем здесь сразу же, несколько нарушив тематическую рубрикацию обзора. Перед нами, несомненно, заявка на заметное место в критике рубежа тысячелетий.

В статье **«Критик моей мечты»** («Октябрь», №6) Славникова сочиняет образ идеального критика. Но, судя по всему, такового окрест себя не видит, а потому после пространно-туманных рассуждений на сей счет не довольствуется ожиданием критических щедрот, а сама принимается за дело. С переменным успехом. Мешает ей многообразие.

Ярко и умно, хотя не весьма оригинально Славникова пишет о **Викторе Ерофееве** по поводу новой его книги «Энциклопедия русской души» (**«Шествие голого короля»**: «Октябрь», №5»). Книга модная. Ерофеев срастил элитарность с маскультом. По форме это «вещь, построенная на внебрачных связях скучающих фрагментов». Больше всего статьи напоминают банальные эстрадные скетчи. По их поводу спорить бессмысленно. Славникова соотносит мысли Ерофеева с «обывательским» уровнем сознания, где востребовано именно такое красное словцо. Оно не возбуждает, а намертво припечатывает мысль. Проект беспроектный и безвыигрышный.

В статье **«Придаточное предложение»** («Дружба народов», №6) Славникова анализирует прозу **Афанасия Мамедова**. Это проза исповедальная, напоминающая семейный сериал. Ее нерв — воспоминания о Баку. Корни враждебности между автором и героем критик видит в стремлении автора оторвать от себя не такую жизнь, спихнуть ее персонажу, а жизнь не отрывается, приросла. См. также статью Славниковой **«Максим Соколов и его Мнемозина»** («Новый мир», №6).

Ряд статей посвящен **прозаикам, давно заявившим о себе и хорошо известным читателям со стажем**. В 90-е годы их новые вещи далеко не всегда вызывают восторг критики.

Евгения Щеглова отзывается о двух таких былых кумирах. В одной из статей она анализирует новую прозу питерца **Валерия Попова** (**«Куда пошли «грибники»**: «Дружба народов», №5). Попов разжалован из любимцев интеллектуальной элиты. Обидно и досадно. Было: вещное, плотское осознание слова, плотское и счастливо-полнокровное отношение к жизни. Попов радостно выпускал ее из рук, чтобы она пропела под каждым окошком. И вот полнокровный гедонизм сменился судорожными метаниями. То автор доверяет свой мощный гедонизм проститутке. То погружается в грустно-иронические размышления о современности. Далее критик упрекает писателя в невыстроенности сюжетов и внутренней жизни героев. Герои порхают по жизни безо всяких мотиваций, повествование строится из реприз, каламбуров и бурлескных сцен. Молодость прошла, и стало ясно: «жизнь не удалась». Читатель пропал, вокруг творится что-то непонятное. А писатель, как можно понять, так и не успел накопить спокойной и ясной мудрости.

Другая статья Щегловой посвящена **роману Юрия Бондарева «Бермудский треугольник»** (**«Нервные люди»**: «Знамя», №5). Критик взяла на себя труд внимательно прочитать новый опус прозаика, о котором давно уж ничего дель-

ного не пишут. В романе, констатирует Щеглова, воспроизводятся идеологические штампы «Нашего современника». Что можно сказать о нем нового? К этим штампам у Бондарева добавлены городской крен и бесконечные диалоги. Концентрация ужасов современной жизни в романе доведена до точки. Это вызвало у критика эмоциональный вскрик: «Ну, не надо уж так-то убиваться!» Даже в романе не так все и безнадежно, ежели в коллизии его всмотреться повнимательнее. Но Бондарев выбирает жанр бабьей истерики. Щеглова отмечает и попытку писателя пнуть покойного Д.С.Лихачева. Рецензия эта пробуждает воспоминания о тех временах, когда критическое выступление Игоря Дедкова о романе Бондарева вызвало бурю, а смелого критика тогда притравили. Ныне Бондарев настолько списан с корабля литературной современности, что и сказать об его новой прозе можно как бы походя, и едва ли многих потянет освежать о нем устоявшееся представление.

Литераторы-«деревенщики» также в этом сезоне удостоились внимания.

Надежда Ажгихина размышляет в статье **«Русская идея Федора Абрамова»** (Кулиса НГ, 17 марта 2000) о писателе, который был прозаиком-«деревенщиком» и публицистом-«западником». Изюминка авторской мысли именно в этой состыковке, казалось бы, нестыкуемого и состоит. Ажгихина пытается «отнять» Абрамова у новейших «неославянофилов» и делает это довольно доказательно. Не любил Абрамов кадить народу и относился к нему подчас весьма критически, развивая мысль о личной ответственности каждого за происходящее вокруг.

В «Новом мире» (№5) публикуется **«Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000» Александра Солженицына**, который акцентирует такие качества Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, безраздельное слияние с русской природой и русским языком. Распутин представлен как участник переворота в литературе на рубеже 70-х годов, когда большая группа писателей стала писать, как если бы никакого «соцреализма» не было, без каждения режиму. Их стали звать *деревенщиками*, а правильное было бы назвать *нравственниками*. Распутин выделился внезапностью темы — дезертирством. Его сильнейшее произведение — «Прощание с Матерой». Это масштабная вещь о крупном народном бедствии. Дан грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже еще огромней: неведомый переворот, сотрясение-расставание для всех нас. Повесть кончается грозным символом как бы нереальности нашего бытия: существуем ли мы вообще? Солженицын видит у Распутина «просветы метафизических сил». В «Пожаре» Распутин показал, какой полууголовной страна была к началу Перестройки. Далее Распутин отражал «новые и новые виды лютой жизни». Именно теперь, согласен Солженицын, «стало нельзя ж и т ь»; «у нас отняли и сокровенное, священное право — мирно отдать прах матери-земле». В пример Солженицын берет распутинский рассказ «В ту же землю» с сугубо мрачными социальными реалиями, в достоверность которых что-то слабо верится. Хочется согласиться с Е.Щегловой: в современной жизни много зла, но зачем уж так манихейски глобализировать и абсолютизировать его всеприсутствие?

То ли поэтом, то ли свидетелем всякой чертовщины и пестрого зла являл себя подчас и Юрий Мамлеев. Олег Дарк в статье «Маска Мамлеева» («Знамя», №4) утверждает, что опыт Мамлеева имеет уже лишь музейное значение. Он остался как гротескный пример русского метафизического поиска и затеянности в нем.

Что-то не заладилось с сатирическим изображением зла у Владимира Войновича. Так считает Елена Иваницкая, которая в статье «За правое дело» (Независимая газета, 12 апреля 2000) оценивает роман Войновича «Монументальная пропаганда». Критик интерпретирует эту вещь как пропагандистский и контрпропагандистский роман, имеющий целью напомнить людям, «что было при коммунистах». Роману даются такие, закавыченные и тем самым как бы иронические и двусмысленные характеристики: «масштабное полотно», «реалистическое полотно, с элементами гротеска», где «проводятся идеи». Повествователь постоянно растолковывает, разжевывает смысл нарисованных картинок. Для Иваницкой это «образцовый пропагандистский роман, который никого распропагандировать не может». Цитируя А.Немзера, который посмеялся над дежурной атрибутикой и риторикой романа, «свежего и питательного, как яблоко», Иваницкая возражает: «Роман так же прав, как правое дело» (намекая на симпатии писателя к соответствующему политическому движению). Представляется, что сатирический роман Войновича прочитан критиком поверхностно и явно предубежденно. Перед нами пример тенденциозной критики «поверх текста» (см. БСК в предшествующем номере журнала).

Александр Вальцев пишет о новой повести плодovitой Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев» (Независимая газета, 16 марта 2000). На сей раз Рубина превратила дорожный очерк в повесть, придумав трагическую раму (героиня узнает о своей смертельной болезни). Может быть, Рубина избрала не тот слог: слишком отдают все чудные прелести ее героини пресловутым «женским романом». Наконец, писательница возвращается и к теме инцеста, опробованной в «Последнем кабане из лесов Понтеведра». «Вот какие темы разрабатывает автор. Он хочет воспеть Венецию и благословить инцест. Что же, поэту нет законов, а большое искусство издавна питалось от ущербности и тайны».

От «старых классиков» — к новым.

Виктория Шохина в статье «Тайны Кремля» (Кулиса НГ, 3 марта 2000) рассуждает о «зоне Сталина в «Палисандрии» Саши Соколова и «Голубом сале» Владимира Сорокина», раскрывая содержательность некоторых мотивов. У Соколова Кремль — «место не только политическое, но и мистическое», «наша родная — русская, советская — мандала», это самоубийцы, убийцы, сцена, «гедонизм по-азиатски», уголовщина, презрение к любой отдельно взятой жизни, похоть власти и просто похоть. Тайная полиция у Соколова и демонизируется, и «иронически облагораживается». Соколов — «сын советского разведчика» — «вспомнил» и записал сюрреалистическим письмом версию о том, что Перестройка была инспирирована КГБ. Доминанта нашего отношения к миру, по Соколову, — некрофилия. Мы любить умеем только мертвых. Мы как нация заслуживаем только таких правителей, которые умеют разбивать (в смысле —

устраивать новые) кладбища. Этот вывод Соколова Шохина оставляет без комментария и переходит к роману Сорокина. У того Кремль — средоточие азиатской роскоши, византийской помпезности и феодального гедонизма; источник дурной, деструктивной энергии, миазмов садомазохизма. Похоть, насилие, пerversии пропитывают всю жизнь кремлевских обитателей, как жизнь античных богов и героев. Но самая сильная страсть — это похоть власти. По логике романа, Сталин остается с нами. «Судя по всему, навсегда». Писатели, по Шохину, шли сквозь лабиринты коллективного бессознательного к образу Сталина. Он — «наше всё», «самое красочное, самое впечатляющее воплощение подсознания и сознания нации». Сталин — «криэйтор и креатура столь любимой нами азиатчины, феодального жизнеустройства, роковым образом отчужденного от *живого* человека». Таков вывод Шохиной в манере реальной критики. Статья посвящается «дню смерти вождя».

Марина Абашева в статье «Магия тени» («Дружба народов», №5) размышляет о романах Ирины Полянской — автора, заявившего о себе уже в 90-е годы. Полянская «пишет добротнo и наркотически красиво». Притом что сюжеты не радужные. Повествование центрирует нежное и одновременно беспощадное мировосприятие. В «Прохождении тени» Полянская погружается во внутренний мир и осторожно огибаеt контуры Истории. В «Читающей воде» автор поворачивается к призракам нашей общей истории. Если «Прохождение тени» сложилось из двух повестей — истории слепых музыкантов и семейной саги, — то «Читающая вода» — из повести-портрета богемного вельможного советского режиссера и культурологического эссе о кинематографе, а с ним — и о ровеснике кино XX века. Кодом первого романа была музыка, второй закодирован языком и историей кино. Искусство у Полянской влияет на жизнь с магической силой. Писательница верна «поэтике теней».

Татьяна Тайганова в большой статье «Роман в рубище» («Дружба народов», №6) рассуждает о романе Светланы Василенко «Дурочка». В романе она видит знамение нового обретения русской литературой когда-то свойственного ей уровня глобальной ответственности. Такая проза реанимирует общественное самосознание, строит миф национальной идеи в христианском контексте. Многогласно-патетическая писательская критика.

Из многочисленных текстов постоянного обозревателя «Независимой газеты» **Марии Ремизовой** самый, наверное, интересный посвящен Людмиле Петрушевской (Независимая газета, 21 апреля 2000). Небольшая статья — емкий экстракт собранных вместе мыслей о творческой манере Петрушевской. Опыт гендерного анализа. У Петрушевской всегда плотный, упругий текст. Энергетическая насыщенность его очень велика. Слух для писателя первичен: она конструирует текст из не ей принадлежащих языковых единиц; отсюда эффект особой «объективности» автора. Петрушевская кажется рупором массы, это подлинно «народный» писатель. Только ее народ — сугубо городской и обязательно ущемленный. Причем женщины. Писатель приняла на себя обязанности «доктора по женским болезням». Это обрекло ее на узость не только тематическую. В ее прозе нет и не будет места рациональному, рефлексивному, отвлеченному. Зато есть все из сферы ощущений, психологии, намеков, полуго-

нов. Петрушевская выявляет хтоническую первичную женскую природу. Это выталкивает ее из реалистической прозы в миф и фольклор. Возникают суррогаты записанного фольклора. Национальный женский архетип, по Петрушевской: погруженное в бытовые (неразрешимые) проблемы, выносливое, но отчаявшееся существо, глубоко одинокое. Степень безнадежности этого «горизонтального» бытия неизмерима. Оно обречено на вечное прозябание. В текстах Петрушевской нет правых и виноватых; здесь действует логика «и то и другое». От персонажа вообще ничего не зависит. Зависит от обстоятельств, а они всегда враждебны. Проза Петрушевской безрелигиозна — но не атеистически, а первобытно, матриархально, когда Бога (и даже богов) еще нет, но есть какие-то смутные духи, которым, кстати, приносятся жертвы. Но есть в этом мире вертикаль личного художественного мастерства автора. Время ночь, но не первичная «Праматерь ночь», а ночь постановочная, тщательно срежиссированная. Петрушевская, по Ремизовой, единственный автор, которому удастся удержать полноценное равновесие на грани наивного и культурного текстов. Эти остроумные наблюдения Ремизовой, пожалуй, излишне закруглены. Все-таки не совсем ясно, как рассудок может порождать хтонический бред. И что это за рассудок. И если творчество есть признак богоподобия, то как это примирить с тем погружением в неоязыческие бездны, которое практикует творец?

Еще одна статья Ремизовой посвящена прозе Андрея Волоса («Свои и чужие в городе счастья»: Независимая газета, 14 апреля 2000). Хуррамабад Волоса — одновременно райский город счастья и город-призрак, наполненный ужасом и смертью. Он описан «снаружи» и «изнутри». Действующее лицо этой прозы — история. История русских в Таджикистане. Обживание, слияние, отторжение... Так много вложено в эту странную землю, но установился новый порядок, когда имеют значение только жестокость и сила. Сама война становится смыслом — больше тех денег и больше той власти, ради которых началась. Волос показывает также технологию власти в бывших среднеазиатских республиках. Человек-трава там противостоит хозяевам жизни с их холодным расчетливым умом или соскочившим с катушек бесшабашным куражом. Хозяева жизни не знают любви, ни к кому... Волос занимает позицию принципиальной отстраненности, категорической объективности. Он работает на зрительный образ. У него короткая проза без словесных изысков. Удивительно точна его прямая речь. В этой прозе нет сентиментальности, но есть безразличие.

Одна из статей Ремизовой посвящена прозе писателей-эмигрантов в журнале «Континент» №102 (Независимая газета, 4 мая). Лучшими критик считает рассказы Марка Пераха. Лагерный опыт автора здесь обобщен таким образом, чтоб проявить критические точки бытия, поневоле становящегося экзистенциальным. Автор нарочито выискивает самые парадоксальные ситуации, характеризующие царящий в жизни абсурд.

Оценивая роман Андрея Коровина «Ветер в оранжевое», Мария Ремизова (Независимая газета, 9 февраля 2000) отмечает, что после Венедикта Ерофеева, измерившего глубины русской натуры, пользуясь лишь меркой в 0,5 и 0,75,

это, может быть, первая серьезная попытка вернуть разговор на заданную тему (питие) в достойное русло. Однако автор чего-то недоговаривает. В романе, который строится как автобиография, неясно, что же так гнетет героя-рассказчика. Заходит речь о самом важном — и тут автор начинает говорить обиняками и полунамеками.

О повести Михаила Тарковского «Шыштындыр» Ремизова пишет (Независимая газета, 18 апреля 2000), что у Тарковского тема одна: о том, как не сложилось у мужчины с женщиной. Он любит тайгу, а она, видимо, недостаточно. Но теперь писатель, наконец, выговорил мысль до конца. Причину разлада герой ныне ищет в себе. Важно, что во всем этом присутствует чувство вины. В повествование входят ноты раскаяния и просветленной грусти.

Ряд статей Марии Ремизовой посвящены литераторам, которые, интересно когда-то начав, продолжают не столь убедительно.

Так, она размышляет о новой прозе Марины Палей (Независимая газета, 18 мая 2000). У критика ощущение, что встречаешься с совершенно другим, неизвестным тебе автором, который не мог написать те вещи, которыми некогда прославилась Палей. Раньше она ориентировалась на мощную эмоциональную нагрузку текста, теперь в дело пущено рацио. «Ланч» — опус о художнике-мизантропе. Он мир обвиняет, что им движут деньги, а его мизантропией что движет, если все его обвинения к недодавшим деньгам же и сводятся? Ремизова предполагает, что Палей солидаризируется с персонажем. Аргумент — «стоящая за якобы рациональными рассуждениями нагая и незащитная эмоция, которая по существу и является подлинным автором текста». Это стонет обиженный на мир автор, которому этот проклятый мир чего-то очень желанного ему не дал. Очень жалко Марину Палей. И особенно жалко, что хороший прозаик стала писать такие *жалкие* и мертворожденные тексты.

В статье «Вниз по лестнице, ведущей вниз» («Новый мир», №5) Ремизова оценивает новый роман Михаила Шишкина «Взятие Измаила». Это, пожалуй, одна из самых принципиальных для критика статей. Палей живет, кажется, в Голландии; Шишкин — в Цюрихе. В том и другом случае это как-то корреспондирует с направлением творческих усилий. Однажды в романе «Всех ожидает одна ночь» Шишкин сымитировал дух русской классики, создав филигранно стилизованный текст. В этом с ним не сравнятся ни Уткин, ни Сорокин. Правда, тот роман при совершенстве формы оказался довольно скучным по содержанию. Новый эксперимент на той же тесной лабораторной площадке — «Взятие Измаила»: роман разновременных языковых пластов, языковой стихии, задавившей собой все — прежде всего сам *смысл* текста. Впечатление от структуры романа — хаос, какофония. Фрагменты разных текстов не сочетаются друг с другом. Возможно, автор стремился к полифонии, но неудачно. Шишкин философствует с лингвистикой в руках, но *есть у него и фрагменты, вызывающие сопереживание*. Для этого избрана беспроигрышная тема — дети. Но присутствие таких фрагментов рядом с чисто экспериментальными вызывает недоумение. Тут либо этическая индифферентность, либо художественная нечувствительность. В своем романе Шишкин идет в русле современной западной романистики, где предметом изображения стал язык. Оттуда ушел живой человек. Роман не ста-

вит и не решает человеческие проблемы. Когда *не болит и не стыдно*, в искусстве остается в основном развлекаться. Шишкин встроился в этот интеллектуальный извод западной культурной парадигмы. А следует ли русской литературе подстраиваться под этот очевидно *преходящий* мировой стандарт?

Мария Ремизова пишет и о последних повестях Владимира Маканина «Буква А» и «Удавшийся рассказ о любви» (Независимая газета, 6 мая и 1 июля 2000). Относится критик к новой прозе Маканина довольно скептически. Писатель обличает современность, изображает дрянное, сам соскальзывая на плоскость изображаемого, собственно это дрянное *производ*я. Критика шокирует и огорчает банальность и третьесортность метафоры, отсутствие конечного очищения в «Букве А», неизощренность и жестокость фантазии Маканина, невыносимая банальность в «Удавшемся рассказе...». «Весь мир — бордель, скажи, какая новость!».

Наконец, отметим статью Марии Ремизовой о пьесе Бориса Акунина «Чайка», опубликованной в «Новом мире» (№4). Она расценена как резвая игра карандаша на полях чеховской пьесы. Вышло пошло. Пошлостью пропитан слог. Пародия ниже пародируемого текста. Если же это игра, то она бессельна. Ну а если Акунин разрушает дискурс русской классики, то он уязвим, разрушает очень уж по-салонному, в перчатках. Сорокин или Яркевич работают честнее. Пьесе Акунина Ремизова противопоставляет пьесу Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», где автор вложил в свою версию шекспировского сюжета свою личную самостоятельную идею. Вот этого у Акунина нет. Секрет его успешности — в дефиците беллетристизма в современной словесности. Акунин — самое что ни на есть комильфо, салонная штучка, литературный бонвиван и душка. В нем, прибавляет Ремизова, «современная российская критика обрела соразмерного себе беллетриста». Этим Акунин выгодно отличается от Пелевина, который «играет не на литературном, а скорее на философском», отчего не всякому читателю понятен.

А Илья Кукулин (ЖО «Ex libris НГ», 6 июля) пытается осмыслить последнюю прозу Маканина в контексте его творчества в целом. Две важные черты Маканина: склонность к психологическому гротеску и трагикомизму (персонаж как олицетворенный невроз) — и особая роль подзнания и общего душевного фона, как правило, тяжелого и вязкого. Герой постепенно уязвляет в непредсказуемой ситуации, придуманной и контролируемой не им; вообще неизвестно кем. Автор тоже не знает, что с ним будет. Отсюда проживание, прокапывание и тяжелое выяснение психологического парадокса. Человек пытается осознать свою жизнь, но не понимает ни что такое осознание, ни где он находится, и кроме личных проблем — крах жизненных планов, потеря воли — его преследуют неизвестные ему силы, превращают его жизнь в тюрьму.

Александр Гаврилов в статье «Секс, ложь и медиа» («Новый мир», №4) в небрежно-эссеистической манере оценивает прозу Эргали Гера. Первая новость — существуют «давние поклонники геровского таланта». Вторая — у Гера есть «писательская слава». Ее составляют «редкостная легкость писательского дыхания, удивительная пластика эротического языка и редкая в постсоветской литературе податливость на современность». Современность Гера — это

разные виртуальные игры: создание бестелесного тела, телефонная эротика как проект тотального искусства (входящий в этот новый мир преобразается сам). Но у Гера нет единого эпического дыхания. Он — рассказчик, а не романист.

Игорь Зотов (Независимая газета, 22 апреля 2000) напоминает о трех «малоизвестных» авторах: Михаиле Иванове из Москвы, Андрее Лебелеве из Парижа, Сергее Солоухе из Кемерово. Их объединяет то, что издателям они не интересны. Критик досадует.

О «замечательном», «оригинальном» писателе Солоухе пишет и **Николай Александров** («Картинки» Сергея Солоуха: «Дружба народов», №5). Он тоже обижается на невнимание к талантливому сибиряку. Якобы только Андрей Немзер к его творчеству неравнодушен. (Кстати: в БСК сочинения Солоуха не раз отмечались.) Прозу Солоуха Александров воспринимает «спинным мозгом». И она доставляет ему «почти физическое наслаждение». Витиеватая изысканность сочетается со светлым даром, без утрусства. Ностальгия любовных переживаний молодости, поэзия сердца. Автор идентифицируется со взглядом героя. Вещи растворены в чувствах, переживаниях, мыслях героя. Герой пользуется для их называния метафорами. Поэтому сам герой лишается внешнего облика. Принципиальна поэтика недоговоренности, умолчания, намека. Ведь в большинстве рассказов речь идет об интимном и сокровенном.

О поэзии «в общем и целом» критики пишут редко. Здесь наиболее обычные статьи и рецензии по *персоналиям* — в широком диапазоне оценок.

Татьяна Вольтская в статье «Поэзия от Фомы» («Знамя», №4) утверждает, что современная поэзия переживает взрыв чувственности. «Осязание идет впереди зрения, губы, произносящие слова, особенно пристально ошупывают каждую букву». Аналогии такому опыту подбираются из Библии: Адам, Фома. В подтверждение привлекаются поэты Кекова, Пурин, Кальпиди, Кононов, Павлова (последние трое оцениваются критически).

Валерий Шубинский в статье «Волшебная палочка» («Октябрь», №6) размышляет о творческой эволюции Тимура Кибирова. Апогей его славы — середина 90-х годов. А теперь она идет на убыль. Кибиров когда-то сумел выразить несчастное сознание советского человека времен крушения Империи — одержимость ненавистью к своему прошлому и бесконечная зависимость от него. А новую социальную реальность Кибиров использовать как материал не сумел. Совершенствовал технику («Парафразис», 1997). Но теперь пишет нарочито небрежно. Выставляет напоказ бытовую хандру. В этом есть вызов. Но нет иронии, провокации и т.п.. Кибиров всегда был певцом обывательского сознания и не стеснялся этого. Герой его сборника «Нотации» (1999) — добропорядочный и добрый обыватель, сытый и трудолюбивый, не желающий гибнуть ни за металл, ни за идеал, принявший всем сердцем протестантскую этику, но по-православному чувствующий свое перед лицом этой этики несовершенство. Ему не нравятся Дюма, Деррида и Ницше. Кибиров стал открытым, твердым и честным певцом открытого общества с твердыми моральными устоями и честными ментами... Шубинский сравнивает Кибирова с Козьмой Прутковым.

Публика и критика дали ему основания считать себя гением, которому дозволено дарить небрежные плоды вдохновения, беззастенчиво делиться мельчайшими переживаниями, проповедовать прописи... Критик считает, что Кибиров был рожден быть маленьким поэтом. На время он стал большим. Волшебство закончилось. А повадки великана, уставшего от подвигов, остались.

Сергей С. Шаулов пишет о сборнике Виталия Кальпиди «Запахи стыда» («Рассуждение о зеркалах»: «Знамя», №5). Кальпиди доводит прием метафоризации до логического абсурда: В его системе все приобретает не только переносное, но прямо противоположное ожидаемому значение. Связь с речевой традицией через ее отрицание превращается в «лингвистический нигилизм». Тем не менее возникают аллюзии и скрытые цитаты (Гоголь, Пушкин). Программна здесь легкость поэтического бытия. Снижаются и высмеиваются и творчество, и любовь.

Илья Кукулин оценивает новые стихи Глеба Горбовского (Независимая газета, 10 февраля 2000). Горбовский совместил в себе официального советского поэта и одного из самых ярких авторов неподцензурной литературы Ленинграда. Одна из его песен стала народной («Когда качаются фонарики ночные...»). Наиболее нетривиальные стихи распространялись все-таки в самиздате. Есть впечатление, что Горбовскому была важна контрастность его творчества. Теперь он часто печатается в одиозных газетах и журналах, пишет идеологизированные стихи. Но разброс и тут велик. Лирический субъект новых стихов — одинокий, незаметный, виноватый, кающийся и поэтому живой. «Воробей», а не «соловей». На этой почве сделана попытка синтезировать официального и неофициального Горбовского в 90-е. по Кукулину, не слишком удачная. «Создается ощущение, что Горбовский давно перестал различать в своем творчестве живое и картонное». Нищий, потерянный и живой человек берется писать о бедах России, не видя, что эти беды у него — только публицистические абстракции. Они не переживаются, а схематизируются.

Владимир Александров в статье «За здоровье постмодернизма» («Знамя», №4) пишет о поэте Ленисе Новикове. Критик выстраивает такой ряд суждений. Новиков — поэт песенной традиции. Для песенной традиции в русской поэзии характерна тяга к саморазрушению поэта. Поэтому за Новикова страшно. Не ему диктовать условия игры, в которой он существует. Сокрушенный таким вынесенным им самим приговором, критик в финале пытается найти какое-то утешение, но едва ли успешно.

Леонид Шевченко («Из жизни людей»: «Знамя», №4) видит в стихах Марка Шатуновского «драчливый диалог между Прекрасным Ребенком и падшим версификатором».

Стелла Моротская в статье «Все — Димочкой хотели называть?» («Знамя», №4) рассуждает о поэзии Дмитрия Воденникова. Автор считает, что вообще «о стихах надо говорить только в режиме любви». Поэтому она не берет на себя право выступать в роли критика. Она берет на себя «право любить». С этими стихами Воденникова она спит и просыпается. Их она знает почти наизусть... Ну, и так далее. Уникальный текст для критических разделов толстых журналов. У нас в гостях стенгазета.

В третьем квартале 2000 года авторы *проблемных статей и обзоров* касаются разных сюжетов.

Михаил Берг в обширной, академического тона статье «О статусе литературы» («Дружба народов», №7) подробно разрабатывает вопрос об изменении социального статуса русской литературы. Анализируется становление литературоцентризма, затем ослабление этой тенденции, европейские аналоги, воздействие факторов цензуры и рынка. В финале, в частности, утверждается, что аудиовизуальная культура присваивает себе власть посредника между письменной культурой и потребителем.

Нина Малыгина в статье «Здесь и сейчас: поэтика исчезновения» («Октябрь», №9) ставит вопрос о том, существует ли сегодня литературный процесс. Автор уверена, что литература нынче есть, что у нее открылось новое дыхание. Есть у серьезной литературы и свой читатель. Далее Малыгина анализирует образ современности, который создают в своей прозе А.Дмитриев, О.Славникова, Л.Улицкая, М.Вишневецкая. У всех этих авторов в центре внимания — близкий по духу авторам отечественный интеллигент. В прозе настойчиво повторяются вариации мотива утраченного или возвращенного рая, а сегодняшняя действительность воспринимается как пространство, мало пригодное для жизни. Проза сигнализирует об опасности исчезновения интеллигенции в России.

Владимир Березин в статье «Левая и экстремальная литература» («Октябрь», №9) пишет о молодых бунтарях в современной русской словесности. Это «младший» Алексей Цветков, Витухновская. Эта литература рождена массовой коммерческой культурой, считает Березин. По сути, это не литература, а более или менее успешные PR-акции, быстрое тасование информационных поводов, предназначенных для того, чтобы заинтересовать обывателя. Привлечь его, как привлекают фильмы ужасов по телевидению. (См. ниже также о статье А.Тарасова.)

Ольга Славникова в статье «Партия любителей П.» («Октябрь», №9) рассуждает о модных писателях: В.Пелевине, В.Сорокине, Б.Акуnine; анализирует феномен литературной моды, литературного успеха сегодня. Названные литераторы доставляют удовольствие. Их проза — аналог пиву в телерекламе. Славникова делится впечатлениями от прочитанного, прежде всего — от романов Акунина. Она не находит в них высоких достоинств.

Акунин привлекает внимание и **Натальи Ивановой**. В статье «Жизнь и смерть симулякра» («Дружба народов», №8) она фиксирует: русский постмодернизм в литературе быстро расцвет и быстро увял. За аргументами критик обращается к монографиям М.Эпштейна и И.Старопановой. Акунин же находит себе место как конечная точка в процессе эволюции от соц-арта к русс-арту. Впрочем, у такой литературы, по Ивановой, нет «базы интеллектуально-культурного расширения». Далее Иванова анализирует опыт использования В.Маканиным изобретений постмодернизма и защищает от критиков его «Букву «А».

Марина Адамович в статье «Судеб скрепенье» («Дружба народов», №9) размышляет о мемуарной литературе наших дней. В поле ее внимания — сочинения Ирины Тарковской, Михаила Ардова, Аллы Андреевой. Критик сосредоточена на выявлении лица необщего выраженья у этих авторов.

В «Литературной газете» состоялось обсуждение феномена сетевой литературы. Дмитрий Быков в статье «Детиратура» (№28-29) утверждает, что специфической сетевой литературы нет. Есть способ существования в Интернете разных писателей. Здесь же публикуется *Круглый стол* на эту тему. А в №31 Быкову дает ответ известный организатор литературного процесса в Интернете Дмитрий Кузьмин (в чьих литературных способностях Быков сильно сомневался). Кузьмин пишет, что есть три формы литературной жизни: устная, письменная и сетевая. Он подробно описывает приметы последней.

Самая интересная часть сектора критики — *статьи и рецензии о прозаиках и их литературных творениях*.

Е.Невзглядова в статье «Эвтерпа с черного хода» («Новый мир», №8) предлагает свои заметки о лиризме в прозе. Из современных авторов упоминаются И.Полянская, Л.Петрушевская, В.Попов, А.Дмитриев, В.Сахновский, Д.Пругула, А.Васильева.

Валерий Мильдон в статье «Изменчивость и наследственность» («Новый мир», №8) пишет о повести Евгения Федорова «Проклятие», опубликованной в «Континенте» (№100). Это эпическое полотно, где автор не знает решений, ибо занят воплощением. Он размышляет о том, как соединить изменчивость с наследственностью в рваной и парадоксальной русской культурной истории.

Михаил Золотоносов в статье «Карусель, или За что я люблю Войновича» («Московские новости», №26; 4-10 июля) анализирует роман Владимира Войновича «Монументальная пропаганда». Он не согласен с теми, кто видит в романе дешевую подделку. Войнович выполнил социальный заказ на исторический роман о последнем десятилетии. Он анализирует традиции русской общественной жизни. По Золотоносову, Войнович установил, что в России категория вины отсутствует как таковая. Внимание писателя в основном концентрируется на традиции террора и беспощадности. В этом современная жизнь оказалась наследницей ленинизма-сталинизма. Наша история — крутящаяся карусель, заляпанная кровью и грязью. Традиции террора, заложенные великим Лениным, живут и побеждают всех и каждого. Это главный итог историко-генетического изучения Войновичем советско-русской истории. Режим не меняется. Главную партию по-прежнему играет тайная полиция и ее выдвиженцы.

Павел Басинский в статье «Монахи и резиденты» («Литературная газета», №31) размышляет о прозе Анатолія Азольского, по поводу его романа «Монахи». Писатель работает много и хорошо, но зачем? В романе рассказываются интересные вещи, но Басинскому многое не нравится в прозе Азольского. От нее остается ощущение сухости, слишком сделанности. Уж слишком эта проза просчитана. Роман невозможно не дочитать до конца. Но дочитав, начинаешь жалеть героев Азольского. Автор слишком расчетливо ими манипулирует. Ну хоть бы раз отпустил их на волю. Хоть бы раз сам взглянул на них с интересом.

Александр Касымов в статье «Щигля» («Знамя», №7) анализирует прозу Евгения Попова. Строит он свою статью замысловато, не совсем понятно — к чему. Сухой остаток: Попов открыл, что маленький (мелкий) человек живет в

маленьком мире, в Поповском районе. Адекватный жанр для такой жизни — рассказ. Попов никого не клеймит, всех понимает и всем сочувствует. Иронии много, а карикатур нет. В статье много небезынтересных частных соображений о Попове и поповщине.

Внимание критиков привлек роман Павла Крусанова «Укус ангела».

Илья Кукулин в статье «Как упонительны в России «ангела» (КО «Ex libris НГ», 22 июня) пишет, что это интеллектуальный боевик на актуальную тему. Создана новая реальность, соединяющая черты России разных веков, Византии и Рима. Крусанов обыгрывает новейший миф — конспирологию, согласно которой человеческая история есть поле борьбы между космическими силами, и их на земле представляют разнообразные «агенты влияния». Якобы любой земной правитель — либо сам колдун, либо рядом с ним есть компетентный в тайных науках реальный правитель или тайный советник. В основном стилистика романа восходит к Павичу. Крусанов изобрел, как можно эту стилистику применить к анализу русской действительности и современного русского сознания.

В основном солидарен с Кукулиным и Станислав Шуляк («Общая теория русского поля»: «Литературная газета», №38). Крусанов разворачивает мифологическую картину другой России, вобравшей в себя метаисторию Европы и мира. В поиске параллелей Шуляк добавляет к Павичу Маркеса.

В «Знамени» совсем с других позиций отозвалась о романе Крусанова Галина Ермошина («Князь Кошкин и псы Гекаты»; №7). Это книга для потребителя историко-биографических фантазий. Она удовлетворяет приятные ожидания. Константинополь взят. Сильный лидер явился и утолил тоску по вождю. Вагон мистики и магии. Прелести деревенской жизни. Любовь брата к сестре (инцест)... Крусанов играет с клише. Стиля, личного способа видеть мир, в романе нет. Роман небезобидный: так приучают обывателя к тому, что диктатура возможна, а война чем-то даже и привлекательна. Игры умеют обрывать непроницаемой серьезностью и расправляться со своими создателями. Злободневные вопросы Крусанов чувствует. Но хотелось бы смотреть им в глаза. Пристально и всерьез. Без игры.

Александр Тарасов в статье «Преодоление постмодернизма» («Знамя», №7) пишет о прозе Алексея Цветкова (младшего) — получившего в последнее время известность писателя и политика то ли левацкого, то ли фашистского толка. Цветков решает литературными средствами философские, психологические и политические задачи. В этом смысле, считает Тарасов, он наследник Достоевского и Камю (!?). Сознание Цветкова катастрофично, и он приветствует грядущую катастрофу. Он готов быть со-творцом и активистом катастрофы. На этом основано его радостное ожидание. Сознание Цветкова дуалистично, как у гностиков. Но он доводит дуализм до четкой классовой позиции, вставая на сторону пролетариата. Художник должен увидеть в себе пролетария, преодолевшего отчуждение. Цветков отрицает и ненавидит буржуазное общество, буржуазную цивилизацию, буржуазную культуру и буржуазную политику. Отрицает политкорректность, противопоставляя ей позицию воина, бойца. Презирает мещанство и конформизм. Уподобляет либеральное мироустрой-

ство смерти. Осмеивает церковь и религию. Для него революционная практика выше искусства. Текст превращается у него в призыв. Цветков живет жизнью подавляющего большинства, а потому пришел к выводу, что такая жизнь неизбежно приведет человека к вооруженному сопротивлению. Грядет новое поколение революции («партизаны») и начнет борьбу, основанную на самопожертвовании, презрении к смерти и полном отказе от всякого компромисса. Статья Тарасова — реферат сочинений Цветкова с обильными и огромными цитатами. Этим она и полезна.

Александр Вознесенский в статье с устрашающим названием **«Русский писатель предпочитает малолеток»** («Независимая газета», 21 сентября) пишет о **«Книге мертвых» Эдуарда Лимонова**, одно время тесно связанного с Цветковым. Единственным достойным для себя собеседником Лимонов объявляет Бродского. Гордится же тем, что нынешней его спутнице жизни было 16 лет в момент знакомства.

Евгений Ермолин и **Ольга Славникова** столкнулись на страницах «Дружбы народов» (№7) в споре о **Марине Вишневецкой**. Не вполне лицеприятное мнение о прозе Вишневецкой Ермолина энергично оспорено Славниковой. Ермолин в статье **«Улица, фонарь, аптека»** считает, что многие удаchi Вишневецкой второстепенны. Ее проза обычно весьма профессиональна. Она вполне отвечает современному культурному стандарту: тому, которой предполагает начитанность и эрудированность, памятьливость, способность освоить и удачно использовать достижения предшественников, свободное владение техникой сюжето- и характеростроения, вокабуляром, слогом и интонацией... Текст иногда вызывает даже ощущение чрезмерной литературной обработки. Много ума и искусственности, но мало непосредственного авторского чувства. Сочувствие к персонажу сведено к техническому минимуму. Кажется характерным, что у нашего автора ослаблено чувство большого исторического времени. Нагрянул местный, постсоветский *конец истории*: остановка нашего паровоза на необозначенной в маршрутной карте станции. Но эта жесткая прописка в сегодняшнем внеисторизме, очевидно, сильно ограничивает перспективу такой литературы. Малая история слабо, слишком внешне сплетена с большой. Легче всего Вишневецкой удается выход в сферу автономного сознания героя, обладающего своеобразным мировидением. Она — мастер детально изображать психологический обиход, богатый нюансами и переходами. В то же время этот тщательно выписанный обиход нередко оказывается у нее самодовлеющим. Ей, кажется, глубоко неинтересны социальные, политические и тому подобные идеи, программы, концепты. Вишневецкая затягивает в мир не очень значительного героя, разбалтывая персонажа до последней крайности. Поэтому не столько туда погружаешься (открывая по дороге что-то важное), сколько там бултыхаешься. Как в обширной, но мелкой луже. Налицо эстетская проза точных мелких наблюдений, самоцельной и самодостаточной художественности. Плоская проза.

Ольга Славникова в статье **«Вышел критик из тумана»** берет Вишневецкую под защиту и отражает атаку на нее, руководствуясь в основном логикой «сам дурак». Ермолина она обвиняет в доктринальности, в присваивании судейских

полномочий. Славникова эти полномочия решительно отбирает у Ермолина и забирает их себе. Аргументы ее таковы. Бессмысленно подходить к прозе Вишневецкой с заранее заготовленными мерками, потому что она, эта проза, — живое явление. Проза Вишневецкой не-иерархична. Здесь мы имеем дело не с сопроматом, но с биологией текста, где важнейшая часть процессов протекает в области языка. Писательница артистично сливается со своими персонажами. Это род влюбленности в героя или в героиню. И не приставайте поэтому к ней в вопросах.

Леонид Костюков в статье «Я вам пишу — чего же боле...» («Дружба народов», №8) делится впечатлениями от прозы Виктории Фоминой. Это настоящая женская проза, антиэкстремальная, передающая действительный опыт женщины.

Валерий Липневич в статье «Эта страна, или Мученики архетипа» («Дружба народов», №8) рассуждает о прозе Евгения Шкловского. В ней дается психопатология невротизации переходного периода. История болезней современника. Герои этой прозы прозябают. Писатель составил каталог свершившихся опасений и неудач. У Шкловского нет благополучных героев и счастливых концов.

Виктор Топоров в статье «В браке с непредсказуемым настоящим» («Литературная газета», №34-35) рассуждает о романе своего приятеля Евгения Витковского «Павел П.». Это фантастическая проза, стилистически «ориентированная на позднего Набокова, прочитанного сквозь призму Кржижановского».

Александр Уланов в статье «Душа и танец» («Знамя», №9) пишет о прозе Бориса Фалькова (роман «Тарантелла»). В романе найдено много достоинств экзистенциального рода. Даются отсылки к «Волшебной горе» Манна, к Музилю и Ницше.

Майя Кучерская в статье «А любви не имею» («Новый мир», №8) анализирует прозу священника Ярослава Шипова. Это рассказы о жизни современного прихода. Стилистически они восходят к прозе деревенщиков. Но неожиданный ракурс: повествователь — священник. В основе большинства историй — личный пастырский опыт. Это большая редкость. Но критик находит в этой прозе и крупные изъяны духовного свойства. Для о.Ярослава очевидность — онтологическое скотство собственных персонажей. Мрак, источаемый шиповскими грешниками, так густ, что черты их лиц почти неразличимы. Пьяницы, блудники, безбожники, лентяи, убийцы... Единственный до конца положительный герой — сам батюшка. Он даже производит в книге чудеса. Книге не хватает тепла, любви.

Мария Ремизова в статье «Дороги, которые выбирают» («Независимая газета», 22 сентября) пишет о повести Анатолия Генатулина «Там, за холмом». Это автобиографическое повествование, в котором автор акцентирует равнодушие окружающих к бедам его семьи в давние, детские его годы. Тяжелое детство сильно повлияло на самоидентификацию автора. Генатулин задает вопросы: как я, не знавший русского языка, толком не учившийся в школе, мог стать русским писателем?.. И как осмелился порвать со своей языковой и

социальной средой, забыв родной язык, бросив свой край, посвятив себя культуре другого народа? Вероятно, бремя несчастий имеет ту меру, за пределами которой не бывает счастливых развязок.

Лев Пирогов в статье «Дело рук утопающих» («Литературная газета», №38) отмечает как первый опыт художественного повествования о чеченской войне роман Александра Проханова «Идущие в ночи». Действие романа путается в юбках Метафоры. Художественные средства не соответствуют задаче — создать масштабное полотно об истории и духовных судьбах русского, чеченского и еврейского народов. Возникает подозрение, что демонстрация техники нужна автору для маскировки публицистического каркаса. Как можно понять, рецензент считает, что это предположение верно лишь отчасти. В романе есть не такой уж и публицистический смысл: «синтез добра и зла при посредничестве смерти». Хотя есть и «полезный» идеологический довесок. Мысль Пирогова не слишком-то членораздельна; о каком «синтезе» он говорит — понять трудновато. Для него однако важно, что Проханов первым ответил на насущный тематический запрос.

О поэзии почему-то пишут теперь мало.

Сергей Завьялов в статье «Русская поэзия начала XXI века» («Дружба народов», №8) делится свободными, эссеистически необязательными суждениями на заданную тему. В финале он выдвигает следующие задачи для русской поэзии: смена исчерпавшей себя системы стихосложения (вероятно, верлибром); включение в общеевропейский контекст; осознание «конца логоцентризма» (поэт теперь — не больше, чем поэт).

Ольга Лебёдушкина в заметках «Небедная Люда» («Общая газета», №38) рассуждает о «деревенском дневнике» Людмилы Петрушевской «Карамзин». Писательница на сей раз пришла к читателю как поэт. Свежа и среда — деревня. Сельскую жизнь, считает Петрушевская, нельзя наблюдать со стороны. Наблюдатель в этом мире неуместен. И неуместность — его мука и боль. Боль возникает из утонченного ощущения безвкусицы всего, что «интеллектуально», рядом с постоянством чужой беды. Невыносимая тяжесть каждого отдельного креста, однако, уравнивается свидетельствами о божественном устройстве мироздания.

Критики о критике и журнальной политике.

Павел Басинский в статье «Солженицын — критик?» («Литературная газета», №30) замечает: о критике Солженицына молчали, пока он не написал о Бродском. И тут заискрило. Басинский полагает, что в статье Солженицына о Бродском высказано то, что думают и говорят о поэте именно самые простые читатели. Как можно понять, «самые простые читатели» и обладают, по Басинскому, критерием истины. О Твардовском Солженицын пишет с сознательным умалением собственной личности, иногда буквально опровергая то, что писал в «Теленке». А в статье о Евгении Носове «большой» Солженицын каким-то чудом растворяется в «маленьком» Носове, делая это без натуги, без высокомерия, с каким-то даже наслаждением.

Дмитрий Бавильский посвящает свою статью «Утопия Б.Д.» («Знамя», №9) творчеству критика и переводчика **Бориса Дубина**. С точки зрения Бавильского, Дубин произвел чуть ли не революцию в критике, после которой по-старому писать уже нельзя. Неприлично. Как оказывается так же важно, как и *что*. Именно приключение мысли, чужой, непредсказуемой, делает путешествие вдоль произведения единственно увлекательным. Что сказать по поводу измышлений Бавильского? Дубин действительно замечательный литератор. Но считать его методу открытием можно лишь на фоне железного и деревянного советского официоза.

Олег Павлов в статье «Пир победителей» («Литературная газета», №23) всей мощью своей аргументации обрушился на журнал «Новый мир» и его современный курс. В журнале утрачено нравственное отношение к публикациям. Нет личностей, есть только престижная витрина. Духом и смыслом журнала остаются личность Твардовского и творчество Солженицына.

В №27 газеты эту тему поддерживали еще несколько авторов. **Лев Пирогов** в статье «Киты выбрасываются на берег» констатирует, что толстые журналы охвачены идеологической апатией. Журналы позиционируются в качестве академичного литературоведческого издания. Поиск нового языка эпизодичен. Случился исход авторов в Интернет. Выходит, что литературные журналы — перезревший плод былого несовершенства издательского дела. Сейчас журналы издательствам больше не конкуренты. Естественно печатать рукопись не в журнале, а книгой. Но Пирогов не считает, что журналы обязаны умереть, хотя курс их и самоубийствен. Он предлагает меры по реанимации журналов и интереса к ним. Для этого у каждого журнала должно быть свое лицо, своя идеология. И им надлежит друг с другом спорить.

Андрей Коровин в статье «Толстые в сети» полагает, что столичные толстые журналы не нужны. Литература живет в книгах, а не в журналах. В журналах живет литературный процесс. Но сегодня он стал «воображаемым, не-настоящим, виртуальным» (?). В толстых журналах, считает молодой прозаик, уже давно нельзя прочесть ничего интересного и хорошего — или же его так мало, что не стоит и искать. Потому эти журналы никто и не читает. Но! Коровин полагает, что *в провинции* толстые журналы необходимы. Там они — средство реального объединения авторов, читателей, вообще интеллигенции; точка сбора культурных сил. Вот провинциальные журналы и нужно бы поддерживать. А не тратиться на премии, вручаемые москвичами и питерцами друг дружке и т.п.

Иной взгляд у **Юрия Никоничева**. В статье «Изгой мейнстрима» он спорит с Павловым. Тот все больше выступает на публицистической ниве, а вот художественные его произведения стали блекнуть. Забыл Павлов, что и сам-то он ярко дебютировал именно в «Новом мире» в 1994 году — «Казенной сказкой». Итак, «Новый мир» был и остается первым журналом России. Заодно Никоничев хвалит и «Континент», за прозу Бориса Евсеева

Обзор подготовил Евгений Ермолин.

3. Художественная проза в петербургских журналах

Петербургская проза продолжает удивлять контрастами: нечастые проблески талантливых текстов сочетаются с беспомощностью, норовящей скатиться к провинциальному уровню.

В «Сентиментальном дискурсе» Вл.Новиков /«Звезда», №№ 7,8/, «романе с языком» /так обозначено произведение в подзаголовке/, автор его, известный профессор-филолог, весьма подробно и тщательно описывает личную /интимную/ жизнь профессора-филолога Андрея Владимировича. 22-летний выпускник МГУ сначала женится на 33-летней даме, дочери высокопоставленных родителей, в один момент оказывается вознесенным в номенклатурные выси — и расходится с женой, будучи застигнут с другой. Далее — новая женитьба, за ней — следующая, самая, пожалуй, любопытная, ибо юная красотка предпочла его, уже 45-летнего, богатому рэкетиру. Однако дело не заладилось и с ней, как и со следующей, еще более юной... В романе, пожалуй, чересчур много «языка», то есть витиеватого и порой невнятного словоговорения, что наводит на мысль, будто автор, как деревенский хитрый мужичок, ловчит и говорит обиняками. Разгадывать обиняки делается утомительно.

Повесть «Мощи» Александра Нежного /«Звезда» № 9/ относит читателя в далекие 20-е, в городок Сотников, где в Никольской церкви служат братья — два священника и диакон. На их глазах происходит осквернение святыни — мощей преподобного Симеона, санкционированное большевистскими властями. Повесть выгодно отличается от нынешних зачастую фарисейских писаний на церковные темы, поскольку автор исходит не от обрядоверия, а от подлинной веры. Что и спасает повесть от почти неизбежного для этой тематики елейного тона.

Обширный роман Светланы Розенфельд «Первая леди» /№№ 7, 8/ поначалу увлекает читателя /особенно читательницу, ибо касается специфически дамских проблем/, но постепенно начинает раздражать очевидной беспомощностью. Автор попросту не сводит концы с концами. Первая леди — длинноногая, влюбленная в себя девица, жена главы поселковой администрации, все время рвется куда-то в верхи, и это — единственная видимая линия романа. Характеры героев остаются непрописанными, отчего сюжетные кульбиты сваливаются на читателя абсолютно произвольно.

«Записки прошлого человека» Ал.Мещерякова /«Нева», 2000, № 8/ лишний раз убеждают, что краткие заметки из записных книжек — едва ли не самый «читательный» жанр. Нет-нет да и натолкнешься на меткую подробность, а то и на умную мысль.

Парижу и Петербургу посвящена специальная тематическая книжка «Невы» /№ 9/. «Полезные заметки о Париже» Вл.Рекшана, типично туристские впечатления неизбалованного путешествиями петербуржца, довольно любопытны, хотя автор вовсю старается показать себя прожженным путешественником. К этим заметкам по духу приближаются и **«Чужие вещи»** Михайла Богатырева — «дневник нищего». Роман французской писательницы Наташи Мишель **«Жизнь за-**

мечательного человека» /перевод Алины Поповой/ являет собой любопытный пример изощренной игры со словом, виртуозного владения языком. Однако то ли русскому уху чужд этот словесный фейерверк, то ли слишком расходится он с психологической подоплекой событий, но постепенно язык как бы отрывается от содержания, становясь самостоятельным героем романа. И читатель уже следит не за жизнью 40-летнего «замечательного человека» Сортса, влюбленного в Еву, внезапно куда-то исчезнувшую /которая, как в подлинном детективе, отыскивается совершенно неожиданно — да она, оказывается, и не исчезала никуда/, а за причудливо изукрашенной речью.

Любопытен очерк **С. Осовцова «С парижской аттестацией»**, посвященный судьбе актрисы Лидии Яворской, хорошей знакомой А.П.Чехова.

О Константине Коровине и Федоре Шаляпине рассказывает **Ан.Петров** /здесь же — и небольшой рассказ самого К.Коровина о Шаляпине/.

Рассказ ныне живущего во Франции **В.Приimenко «Она»** не относится к парижской тематике, но полон настоящего французского духа — галантного преклонения перед женственностью и грацией, в каком бы возрасте ни находились описываемые дамы. Разве что автор чересчур добавил в рассказ патоки.

Обзор составила Евгения Щеглова

ОТ РЕДАКЦИИ

По недосмотру редакции в №102 «КОНТИНЕНТА» на стр.153 обозначено, что автором статьи «Российское предпринимательство в 1990-е годы: культурный аспект» является Гелена Гошило, тогда как статья написана ею в соавторстве с Надеждой Ажгихиной. Приносим наши извинения авторам статьи и читателям.

Художник В. Лаврентьева
Компьютерный набор и верстка С. Точкиной

ЛР № 066469
Подписано в печать 13.02.2001. Формат 60х84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 25,00. Усл. печ. л. 23 . Тираж 3200 экз.
Заказ № 1213

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука. 121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

**ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»**

принимается во всех отделениях связи России.
Спрашивайте красно-бело-синий каталог «Роспечати».
Наши подписные индексы

73218

и

71682

(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал. В 2001 году она составит всего

100 руб. – годовая подписка;

50 руб. – первое полугодие.

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

«AD MARGINEM» – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7

«БИБЛИО-ГЛОБУС» – Мясницкая, 6

«ГИЛЕЯ» – Большая Садовая, 4

«ГРАФОМАН» – ул. Бахрушина, 28

«ЛЕТНИЙ САД» – Большая Никитская, 46

«ЭЙДОС» – Гагаринский пер., 21

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"
РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Новые стихи

Владимира Алейникова
Фаины Гримберг
Льва Дымарского

Владимира Лапина
Инны Лиснянской
Геorgia Марка

Игоря Петрова

Новые романы, повести и рассказы

Сергея Алиханова
Сергея Бабаяна
Владимира Баранова
Ирины Васюченко
Алексея Домбровского
Алексея Иванникова
Юлия Кима
Бориса Козлова

Рээт Куду
Владимира Маканина
Евгения Попова
Вячеслава Пьецуха
Марии Ремизовой
Владимира Торчилина
Евгения Федорова
Елены Холмогоровой

В разделах

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС

- ♦ Статьи и очерки Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Фаины Гримберг, Юрия Екишева, Андрея Зубова, Наума Коржавина, Елены и Евгения Пастернаков, Ирины Петровской, Марка Пераха, Ларисы Пияшевой, Лидии Польской, Григория Померанца, Леона Тайвана, Виктора Тополянского, Юрия Щеглова

В разделах

ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- ♦ Статьи и очерки Льва Айзермана, Павла Басинского, Элиота Боренштейна, Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Марии Ремизовой, Виктора Яковлева
- ♦ Беседы о современном искусстве с Сергеем Арцыбашевым, Анатолием Васильевым, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским, Генриеттой Яновской

